



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

5 lar 4338.3.3

Harvard College Library



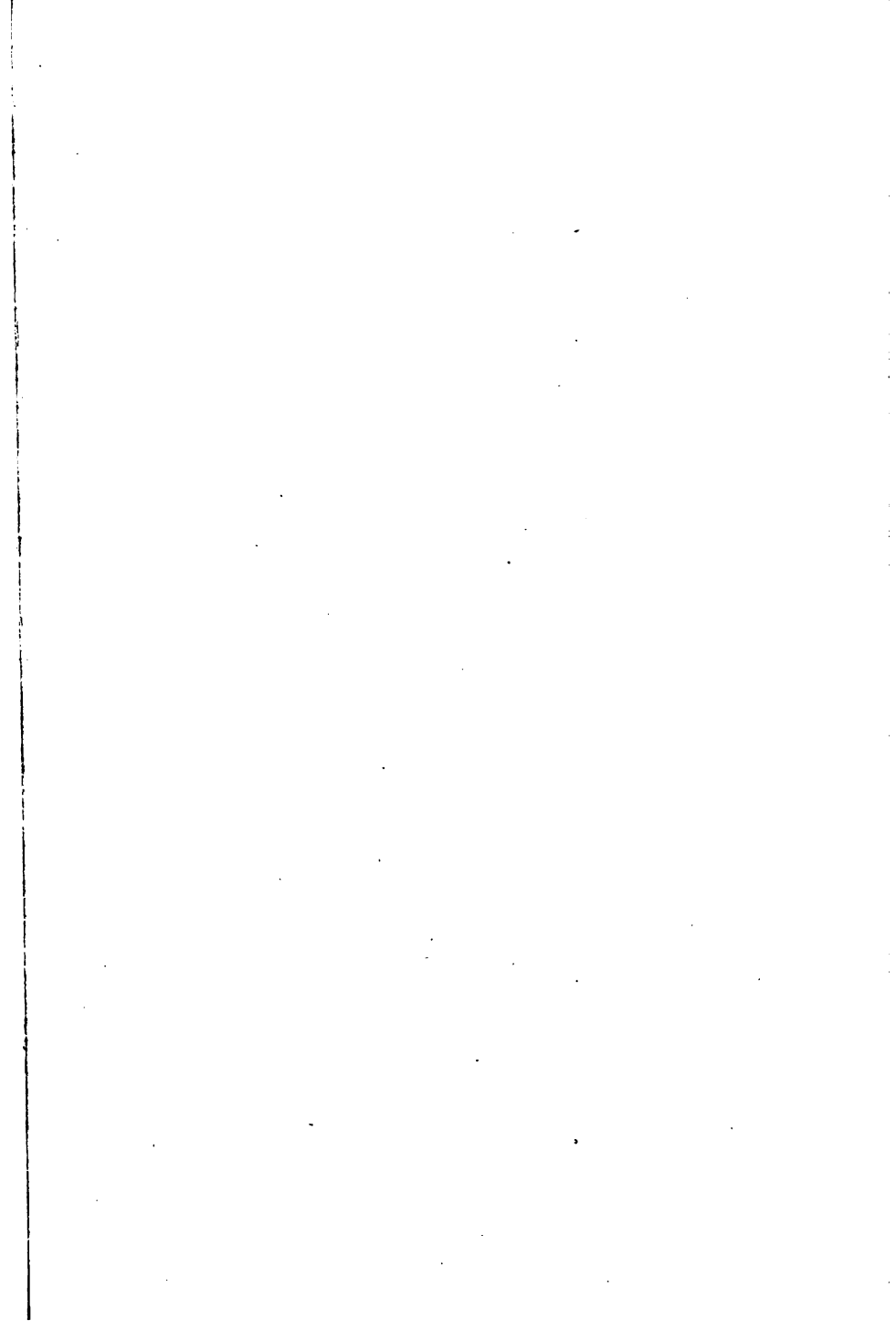
FROM THE BEQUEST OF

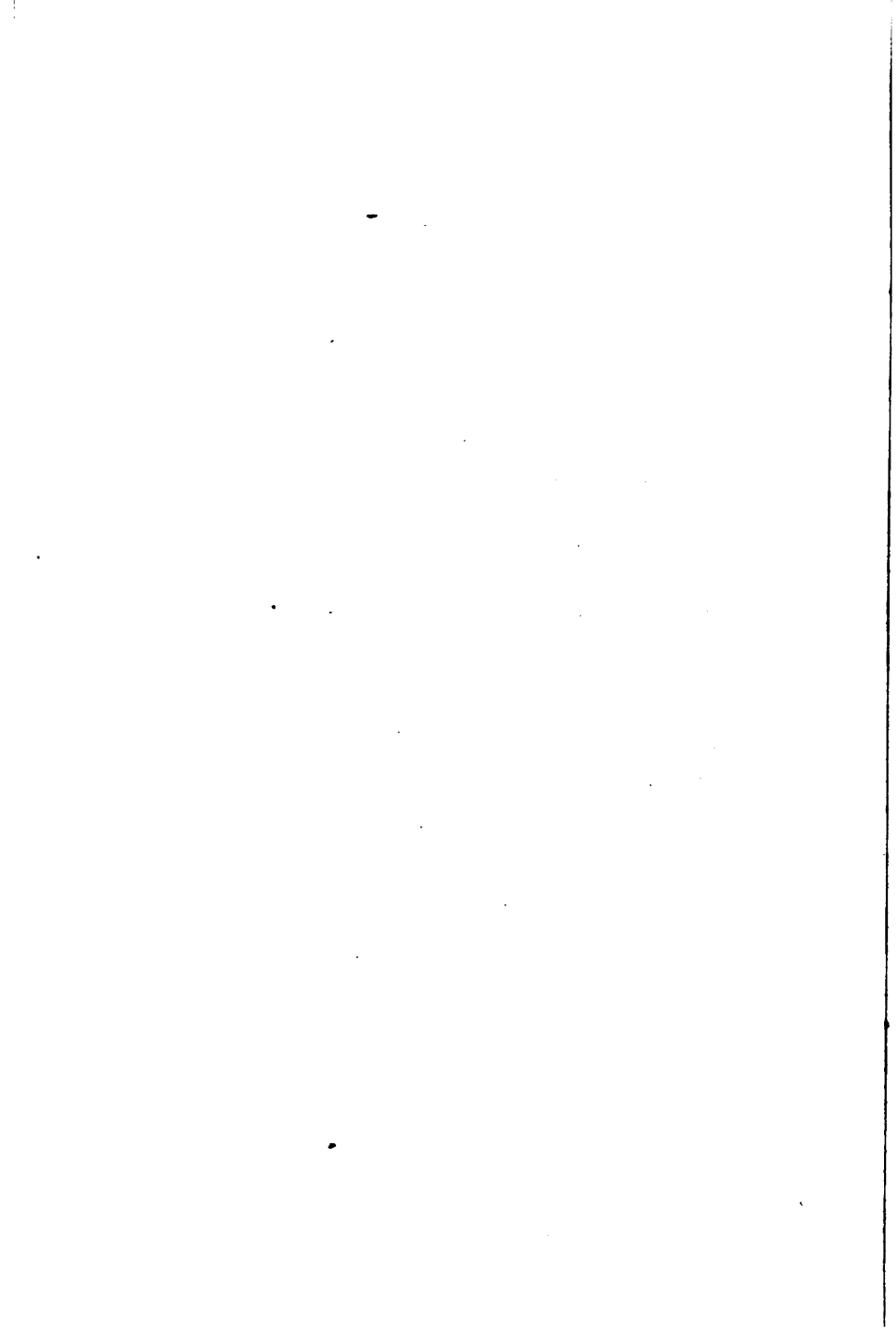
THOMAS WREN WARD

TREASURER OF HARVARD COLLEGE
1830-1842









СОЧИНЕНІЯ
Г. П. ДАНИЛЕВСКАГО.

ТОМЪ СЕДЬМОЙ.

ИЗДАНИЕ ВОСЬМОЕ, ПОСМЕРТНОЕ,
ВЪ ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ,
СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1901 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1901.

Slav 4338.3.3



Ward fund



Типография А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

БЪГЛЫИ ЛАВРУШКА ВЪ ПАРИЖѢ.

(РАЗСКАЗЪ.)

Въ началѣ весны 1860 года, передъ отъѣздомъ изъ Парижа, мнѣ привелось обѣдать въ тамошнемъ русскомъ трактирѣ, содержимомъ нѣкимъ господиномъ Петромъ Ахчауловымъ. «Pierre Achtschauloff, restaurateur russe» значилось на его карточкахъ, тыкавшихся вамъ, какъ новичку, вездѣ, даже среди газетъ и журналовъ, въ кабинетѣ для чтенія, при редакціи журнала «Le Nord». Общія подстреканія знакомыхъ оказались и здѣсь, какъ почти всегда, пустякомъ. Забавный кабачокъ представился тѣмъ же французскимъ отелемъ, съ маленькими столиками, некрашенными полами, усыпаемыми ежедневно бѣленькимъ пескомъ, съ посредственными винами, изъ такъ-называемыхъ туземныхъ, дамой-счетчицей за конторкой и печальнымъ результатомъ всѣхъ парижскихъ обѣдовъ, выходомъ изъ-за стола «впроголодь». Зато здѣсь вамъ подавались, и теперь еще, вѣроятно, подаются весьма сомнительнаго свойства квасъ, гречневая каша, борщъ съ бураками, разумѣется, на винномъ уксусѣ, кулебяка съ вязигой, паюсная икра, болѣе похожая на сгустокъ отъ чернилъ, чѣмъ на икру, чай и прочія тонкости, безъ которыхъ, какъ говорятъ, не обойдется желудокъ русскаго человѣка. Взглянувши на часы и сообразя, что есть еще средства утолить голодь за табль-д'отомъ въ отелѣ Франциска I, гдѣ я засѣдалъ ежедневно съ молодежью изъ русскихъ художниковъ, давно обстрѣленныхъ и неспособныхъ поддаться на слабость посѣтить г. Пьера Ахчаулова, я уже всталъ и взялся за шляпу, какъ съ одного отдален-

паго столика также всталъ благообразный блѣлокурый господинъ, въ сѣромъ простенькомъ пальто и подошелъ ко мнѣ.

Извините-съ!..—началъ онъ по-русски.

— Чтò вамъ угодно?

— По двумъ вашимъ словамъ въ отвѣтъ здѣшнему хозяину я рѣшилъ, извините, что вы... чиновникъ-съ!

— Ошибаетесь; почему же вы такъ думаете.

Блондинъ вынулъ бумажникъ, досталъ оттуда карточку и подалъ мнѣ, со словами:

— Извините. Я вашъ соотечественникъ; я русскій эмигрантъ-съ.

На французской карточкѣ значилось: «Лоранъ, второй швейцаръ въ домѣ барона Ротшильда».

— Чтò же вамъ угодно отъ меня?

Блѣлокурый господинъ попросилъ меня къ окну.

— Извините меня, — началъ онъ добрымъ голосомъ: — я нуждаюсь въ совѣтѣ... Многихъ я здѣсь въ ресторанѣ-съ переслѣдилъ и относился къ многимъ-съ. Все господа важные или занятые весельемъ-съ. До того ли имъ...

— Въ чемъ же ваше дѣло?

— Вы не чиновникъ?

— Нѣтъ, не чиновникъ.

— Въ университетѣ вы учились? Законамъ учились?

— Учился..

— Позвольте васъ попросить меня выслушать; если угодно къ садъ, тутъ по близости-съ, на лавочку...—Я пошелъ съ Лораномъ въ садъ, примыкавшій къ какому-то дворцу или казармѣ... Мы сѣли на лавочкѣ. Мой собесѣдникъ вынулъ красивый портъ-сигаръ и предложилъ мнѣ отличную «баядеру».

— Ахъ!—сказалъ онъ:—какъ тутъ ни весело, а все-таки поневолѣ обрадуешься живой родной душѣ. Двѣ недѣли, какъ я выжидалъ и искалъ человѣка, съ кѣмъ бы посовѣтоваться. Въ наше посольство идти жутко: такъ мало знакомствъ имѣю-съ между нашими: занятъ очень-съ. Я бѣглый крѣпостной человѣкъ-съ одного полтавскаго помѣщика-съ, а зовутъ меня, то-есть звали когда-то-съ дома, Лаврентіемъ Даниловымъ Блинченко, а по-просту-съ Лаврушкой...

Лаврентій Данилыч помолчалъ, глядя на толпу щеголихъ, мелькавшихъ мимо насъ.

— Долго вамъ рассказывать, сударь, какъ я сюда попалъ и какъ тутъ остался. Когда-нибудь сообщу. Теперь же дѣло

вотъ въ чемъ: тутъ баринъ одинъ есть; забѣжій и добрый баринъ; только совсѣмъ прожился—слабый, хворый, денегъ нѣтъ, а ко всему этому здѣсь соблазну манить—ну, и тянется: совсѣмъ уже, такъ сказать, уронилъ себя... извѣстно-съ, прогорѣлый!.. ну, а народъ тутъ расподлѣющій,—шельма на шельмѣ... Жаль, а помочь некому; силы надъ нимъ нѣту никакой, а силу надо...

— Такъ вы думаете, что я...

— Вы мнѣ, сударь, скажите одно: могутъ ли по нашему, то-есть русскому, закону вытребовать барина обратно, положимъ такъ, въ Полтаву, что ли?

— Кто? правительство?

— Нѣтъ, не казна-съ... А дѣти—могутъ? У него двое и уже взрослыхъ; славныя были дѣтки—Саша и Соня-съ, то-есть теперь уже Александръ Аркадьичъ, выходитъ, и Софья Аркадьевна... Вѣдь пропадетъ человѣкъ; почитай уже теперь по улицамъ побирается, паяцомъ за деньги готовъ стать къ расподлѣющему какому французу.

— А есть имѣнiе у этого господина въ Россiи?

— Было-съ, триста душъ, да теперь уже ихъ нѣту... прокутился...

— А дѣти чѣмъ обезпечены?

— Отданы были въ обученiе чрезъ бабу; у бабки теперь вѣрно и живутъ, своего достатку нѣтъ. И жива ли бабка, не знаю...

— Ну, врядъ ли что тутъ силой сдѣлаешь; дѣти могутъ только писать ему, надо уговаривать.

— Уговоришь его! совсѣмъ пропалъ, какъ есть...

Мы еще поговорили. Я обѣщалъ навести справку въ посольствѣ, дать ему отвѣтъ черезъ недѣлю и простился съ нимъ.

На разставанъи Лаврентiй Данилычъ замаялся.

— Скажу ужъ вамъ всю правду... Вы все равно въ посольствѣ узнаете, извините—этотъ баринъ Аркадiй Андреечъ... Дольскiй—былъ когда-то мой баринъ. Двѣнадцать лѣтъ назадъ мы вотъ съ нимъ вмѣстѣ бѣжали сюда, при Тамаринѣ-съ, какъ разъ при республикѣ этой бѣжали и прогорѣли. Кабы не Господь-Богъ, да Миколай-чудотворецъ, и я бы, можетъ статься, въ тюрьмѣ какой сидѣлъ. А теперь, благодаря Бога, въ хорошихъ людяхъ живу...

— Да, мѣсто хорошее; вы, кажется, у Ротшильда въ домѣ?

— Точно такъ-съ, у нихъ; баронъ распродобряющiй че-

ловѣкъ-съ, какихъ искать въ мірѣ. Сперва я у него выѣзднымъ былъ, а потомъ въ швейцары попалъ и комиссіи иногда имѣю по дѣламъ: по городу, отъ конторы...

— Сколько вы жалованья получаете?

— Deux milles francs d'appointements et deux milles de commissions, — сказалъ Блинченко, съ чистѣйшимъ парижскимъ выговоромъ, принимая при этомъ всѣ ухватки туземца: — двѣ тысячи франковъ жалованья и двѣ тысячи комиссіи, квартиру и одежду-съ.

— Это хорошо...

— Только ни днемъ-съ, ни ночью, вѣрите ли, покоя нѣтъ! Теперь же я выпросился, извините, — я жду вашего одоженія-съ—не оставьте!..

И онъ опять заговорилъ по-французски и повторилъ адресъ своей карточки. Странно! По-французски онъ говорилъ какъ истый парижанинъ; казалось, слушаешь (шепчетъ франта на Итальянскомъ бульварѣ. Какъ заговорилъ опять по-русски, о Парижѣ и помину нѣтъ: будто слушаешь разговоръ дворника у лавочки на Поварской или въ Гороховой.

— Вы давно изъ Россіи-съ?—спросилъ онъ.

— Недавно.

— Что ваши крѣпостные?

— Дѣло обсуждается! нельзя, — много хлопотъ.

— Тѣ-акъ-съ; насчетъ тоже-съ откуповъ, тутъ говорятъ, будто у насъ свободно будутъ водку продавать. Правда это?

— А васъ это занимаетъ?

— Да-съ, въ Миргородѣ у меня сестринъ мужъ шинкаремъ сидитъ, такъ какъ бы мѣста не утерять, много дѣтей... А правда тоже, извините...

— Ничего, ничего, что такое, говорите!

— Правда, тоже, тутъ произошелъ слухъ, что будто богача купца Самокишина въ Москвѣ на цѣпь къ столбу приковали за то, что народу чай изъ бурьяну поддѣльный продавалъ? Мы у него въ домѣ у Покрова съ баринномъ стояли, и будто народу было дано, всякому человѣку, право и дозволеніе три дня и три ночи плевать на него и бить его по щекамъ за это жидовство-съ?

— Кто это вамъ сказалъ? это чистѣйшій вздоръ!

— Пріятель тоже, скажу вамъ, русскій и какъ я—лакей тоже, бѣглый изъ Крыму, писалъ. Онъ бѣжалъ, значить, дуракъ, во время войны, да три года у англичанъ и потеръ лямку

во флотѣ; а теперь въ Лондонѣ на улицѣ Гей-Маркетъ, въ турецкой кофейнѣ официантомъ служить, уже тоже третій годъ. Онъ въ англицкихъ газетахъ начиталъ. Вы, я думаю, его видѣли, коли въ Лондонѣ были, — его *est notre* эмигранты знаютъ—такъ его Данилкою и зовутъ. На-дняхъ это тоже опять пишетъ мнѣ: «ну, братъ, Лавруша, поздравляю: у насъ сѣканцію отмѣняютъ». Шутникъ такой, что на-поди! Извините-сь, опять заболтался. Au revoir!

Мы разстались. Но я плохо сдержалъ данное слово. Ранѣе недѣли судьба унесла меня въ Италию. Выборы въ Тосканѣ, смуты въ Римѣ, Неаполь и Венеція, Гарибальди въ туринскомъ парламентѣ — все это были такія впечатлѣнія, среди которыхъ по-неволѣ забылся и обѣдъ въ русскомъ кабачкѣ у Пьера Ахчаулова, и разговоръ съ Лораномъ Блинченко. Но зато едва я воротился въ Парижъ и въ квартиркѣ художника М., гдѣ бросилъ часть своихъ вещей, наткнулся на карточку съ именемъ и адресомъ мосье Лорана, — я отправился въ посольство, переговорилъ съ чиновниками, порылся даже въ сводѣ законовъ и поѣхалъ отыскивать знаменитую улицу Лафитта и еще болѣе знаменитый домъ барона Ротшильда. Мнѣ кстати нужно было справиться въ банкирской конторѣ барона объ одномъ векселѣ, и я вошелъ въ контору. Цѣлое министерство представало моимъ глазамъ. Клерки за столами, главноуправляющіе съ пушистыми бакенбардами, мѣшки съ золотомъ, кучи билетовъ, кассы за металлическими сѣтками оконъ; общая тишина, мѣрные шаги по коврамъ и плавное скрипѣніе сотни перьевъ; самъ молодой, блондинъ баронъ, худощавый и красивый, «султанъ червонцевъ и цѣлковыхъ», въ мягкомъ креслѣ огромнаго, сіяющаго каминомъ, кабинета, съ сигарой, за подписаніемъ бумагъ—все это заняло меня. Но я сѣвшилъ обратно въ приемную и потомъ внизъ.

— Что угодно, мосье? — спросилъ меня дежурный привратникъ.

— Мосье Лоранъ?

— А, мосье Лоранъ; знаю, знаю; вы вѣрно его землякъ? Онъ все ждалъ кого-то; его теперь нѣтъ дома! Онъ съ баронессой въ Булонскомъ саду. Но вы пожалуйста въ его комнату, онъ живетъ выше меня; о, онъ истинно достойный малый и живетъ по заслугамъ выше меня — вотъ, по этой

же, черной лѣстницѣ... А-а? Козакъ!.. козакъ! Хе-хе!.. Vous êtes tous des kosaks!

И дворникъ, лукаво подмигнувши, почему-то громко разсѣялся. Я вошелъ въ комнатку второго этажа, сопровождаемый дворникомъ. Это была конурка въ пять шаговъ; желѣзная кровать, подъ фланелевымъ одѣяломъ, два стула, столикъ у единственнаго окна, на столѣ два подсвѣчника, зеркало, папка съ бумагой, карандашъ и чернильница, кляпка съ канарейкой надъ окномъ, а на стѣнѣ на гвоздѣ обернутое простыней платье. Апрельское солнышко весело свѣтило въ комнату, канарейка заливалась на всѣ лады. Я склонился къ столу и сталъ писать записку. Дверь отворилась за спиной привратника.

— А! Это вы! я васъ давно ждалъ! — крикнулъ мнѣ на порогѣ поспѣшно вошедшій Лаврентій въ голубой ливреѣ,шитой золотомъ, въ штиблетахъ и съ блистательными гербами на пуговицахъ.

Онъ сухо выслалъ подобострастнаго дворника, снялъ ливрею, облачился въ пальто и сѣлъ.

— Да, я васъ ждалъ, ждалъ! Гдѣ вы были, сударь?

— Въ Неаполѣ, въ Сицили, въ Туринѣ; гдѣ я не былъ?

— Гарибальди видѣлъ-съ? Вотъ герой; нашъ Суворовъ-съ!

— Видѣлъ въ парламентѣ и даже къ нему на домъ съ другими русскими водили; видѣлъ его и на улицѣ, — передъ студентами рѣчь держалъ...

— Да, герой человекъ, я думаю, такого и нашъ Ермоловъ бы не побѣдилъ. Тутъ шла на него по лавочкамъ тайкомъ подписка, и я два франка далъ. Хотите курить? Что же наше дѣло?

Я передалъ ему справку. Оказывалось, что г. Дольскаго по требованію дѣтей выслать не могли, — да врядъ ли дѣти и захотѣли бы хлопотать о такомъ папенькѣ. Мой разсказъ произвелъ горькое впечатлѣніе на Лаврентія. Онъ склонился на руки, волосы упали ему на лицо. Прошло минуты три.

— Проналъ человекъ! а что за человекъ былъ! Спасибо за справку; сталъ бы я вамъ жизнь его теперь разсказывать, да надо идти. Баронъ отпустилъ всего на пять днѣй; теперь дни такіе...

— Что же теперь такое?

— Да теперь... страстная недѣля-съ, страсти; а вы задутились и забыли? Надо гонѣть, надо въ нашей церкви о

службахъ справиться. Извините, пойду туда, а къ вамъ опосля заверну-сь...

— Ну, ужъ нѣтъ, Лаврентій Данилычъ, за грѣхи мои и я пойду съ вами. Въ самомъ дѣлѣ, я среди здѣшняго счета чиселъ и запутался.

Мы пошли бульварами. Шли долго; Лаврентій Данилычъ, какъ началъ рассказывать, все не умолгалъ. Прошли и Маделену, и Фобуръ-Сентъ-Оноре, и другія улицы. Заходили и въ нашу прежнюю церковь. Тамъ, во дворѣ, мой товарищъ отыскать помѣщеніе одного изъ причетниковъ родного клироса и у него справился о времени вечеренъ, всенощныхъ и обѣднъ. Помню я, что и этотъ причетникъ поразилъ меня тѣмъ же, чѣмъ поразилъ сперва и Лаврентій. Мы разговорились, въ веселой хорошенькой гостиниѣ этого дьячка русской парижской церкви, передъ каминомъ, установленнымъ фарфоромъ, среди уютной мебели, обитой трипомъ; по стѣнамъ висѣли картины масляными красками, при нашемъ входѣ изъ-за пьянино встала маленькая дочь дьячка, игрившая что-то изъ оперы. Самъ онъ заговорилъ по-французски — чистѣйшій парижанинъ, и даже слово «ragbleu» употребилъ; заговорилъ по-русски — прямо дьячокъ изъ-за Москворѣчья; даже ругательства родныя ввертывалъ подчасъ въ свою рѣчь. Тридцать лѣтъ онъ живетъ въ Парижѣ при церкви, въ полномъ довольствѣ; усвоилъ себѣ всѣ ея привычки, всю обстановку туземнаго счастья и комфорта, а воротись на родину, одной косички на затылкѣ первое время не будетъ, — сохранилъ въ себѣ всю святую Русь въ точности.

— Ну, — сказалъ Лаврентій, справившись у причетника: — мы на день еще свободны; такъ слушайте же далѣе, до конца!

Мы вышли на улицу Берри, оттуда набережной Сены въ Тюльерійскій садъ, и бесѣдовали до самаго вечера на лавочкѣ, у знаменитаго фонтана...

— Мы бѣжали двѣнадцать лѣтъ назадъ изъ Россіи. Мой баринъ-сь, какъ я сказывалъ, былъ богатый помѣщикъ. Вы меня извините, коли я что неприличное вамъ скажу: надо говорить правду. Баловался мой баринъ сызмальства, хоть былъ и дворянинъ; набереть, бывало, ребятишекъ, какъ изъ корпуса прѣдетъ, запрягаетъ ихъ въ колясочку, играетъ всячески, а послѣ и съчетъ; это, говорить, для фронту. чтобъ послѣ боялись; насъ, говорить, тоже въ корпусѣ и

въ зачетъ сѣкали. А потомъ получилъ офицерскій чинъ, сейчасъ въ отставку поступилъ, завелъ собачню, своръ десять, тутъ уже и я въ комнаты попалъ. Начались попойки; господа сосѣдскіе съ нимъ пьютъ, охотятся, объѣдаютъ его, а потомъ надъ нимъ же смѣются, дуракомъ его за глаза зовутъ. Была у насъ по сосѣдству семейка, сущіе жиды. Какъ отецъ нашего барина померъ, его эти люди заловили,— попросту — женили. И узнали же мы эту барыню нашу! Какъ поселилась это въ нашей усадьбѣ, вѣдьма-вѣдьмой такъ и глядитъ, что ужъ я отъ нея терпѣлъ — и сказать трудно. Скоро раскусилъ ее и нашъ баринъ. Сперва пивалъ крѣпко, а тутъ уже просто закурилъ такъ, что на-поди. Какъ уже тамъ случилось, были у нихъ уже и дѣтки, сынъ и дочь, а баринъ часто сталъ изъ дому отлучаться, все на охотѣ, все на охотѣ — собаки воютъ, барыня бѣсится, на служанкахъ вымещаетъ. Разъ мы воротились изъ отъѣзжаго поля, а дома недоброе дѣло — полонъ дворъ судейскихъ, слѣдствіе идетъ — барыня померла «скорописною-съ смертью» — какъ спала, такъ уже и не встала-съ. — Дѣвки наши задушили... Похоронили ее: баринъ сѣздитъ къ своей матери, дѣтей тамъ оставлялъ, а послѣ взялъ гувернантку, — швейцарку, что ли, только она больше по-французски все говорила, глазаѣя такая, полногрудая да разбитная, а прежде тихая-тихая была и все его въ плечо цѣловала. Ну, а уже тутъ вы, сударь, догадаетесь. Послѣ этой грызотни и вѣчной свалки въ домѣ, гувернантка повела все дѣло на чистоту; и дѣтей смотреть, и людямъ говорить все вы, и на кухню побѣжить, и бѣлье барину поштопаетъ, рубахи накрахмалить и вымоетъ, а тамъ стала вензеля на нихъ чудовые вышивать. И дались же ему послѣ эти вензеля: учиться и прежде дѣти не учились, а съ ней и недавно. Покинула она какъ-то сидѣнье съ дѣтьми, взяла свое платье и пошла къ барину въ кабинетъ примѣрять; я чистилъ посуду въ буфетѣ — слышу начался у нихъ хохотъ. Баринъ все что-то говорилъ по-французски, а она смѣется, пищитъ по временамъ, а тутъ стали двигаться стулья, она въ залу выскочила. Не прошло и полчася, баринъ выходитъ скорыми шагами и ко мнѣ, самъ въ землю смотреть: «Лаврушка, говоритъ, пойди, закрой мнѣ ставни въ кабинетѣ, что-то нездоровится; а мадамъ мнѣ лѣкарство сдѣлаетъ, ступай!» Заперъ я ставни съ надворья; они и затворились вдвоемъ,

и пробыли такъ до вечера. Дѣтей я и накормилъ и спать уложилъ; да уже ночью она вышла, и говоритъ: «тишь, Лаврушъ; мосе малады!»—И пошелъ съ той поры у насъ стыдъ и срамъ; зажилъ съ нею баринъ, какъ женатый; старуха-ключница, Мавра' Федосѣевна, его няня, еще и слать постель имъ вмѣстѣ на двоихъ стала. Это бы еще ничего; сперва-было сосѣди къ намъ, какъ обрѣзали, перестали ѣздить, а потомъ помирились и, какъ ни въ чемъ ни бывало, мѣнялись съ нашими визитами и даже Эмеренціи Карловнѣ, гувернанткѣ-то этой, ручку цѣловали. Забрала тогда насъ въ руки новая барыня пуще нашей родной; сама лично ничего не дѣлаетъ, а все мужа на насъ напускаетъ. Скоро дѣтей спровадили къ бабулкѣ,—а бабушка хоть небогатая, да добрая такая была; а сами сейчасъ на зиму въ Москву, и меня взяли съ собой. Тамъ баринъ сталъ выѣзжать въ маскарады, въ театры, ѣздили къ намъ разные господа, больше актеры изъ французскаго театра. Тутъ Эмеренціи Карловна понесла... Ужъ какъ радъ былъ этому нашъ баринъ-то, Аркадій Андреевичъ; ужъ я таковой радости и не зрѣлъ отродясь.—«У меня, Лаврушка, говоритъ, сынъ французъ будетъ!»—а самъ такъ и прыгаетъ, такъ и мѣшетъ. Ну, французикъ родился не живой, почти что какъ щенкомъ она, треклятая, опоросилась, танцуетъ и на попойкѣ у одной своей пріятельки. Долго была она хвора, а тамъ опять они закурили—ѣхать да и ѣхать въ Италію.—«Мы, Лаврушка,—говорилъ баринъ:—въ хижинѣ на берегу большого озера станемъ жить, какъ пастушкі; это и для здоровья Мусиньки (такъ онъ ее звалъ) нужно!» Тутъ ужъ я не утерпѣлъ.—«Эхъ, для чего вамъ, баринъ, хижина, коли у васъ Всесвятское, триста душъ и барскія палаты находятся; да и чѣмъ въ вашей вотчинѣ, сударь, рѣка Ворскла хуже озера итальянскаго какого большого?»—Но они уже норѣшили.—«Дуракъ, говоритъ, ты, Лаврушка, и настоящаго счастья не понимаешь; а впрочемъ—мы тебя тоже туда возьмемъ!»—«Лаврушъ-дурнушъ!» такъ меня и звала эта гувернантка съ той поры. Ну-съ, баринъ сперва заложилъ, а потомъ сталъ искать случая продать Всесвятское; тутъ вмѣшалась бабушка его дѣтей, жаловалась—ему не дали заграничнаго паспорта, онъ подговорилъ меня—мы черезъ Одессу и убѣжали въ Турцію, а потомъ прямо въ Италію. И точно, водѣ Неаполя есть озерко у взморья, тамъ мы и

поселились: сперва я боялся, что поймають и въ Сибирь сонлютъ. А постѣ обошелся. Зажили мы. Я хожу корову пасти, дрова собираю, на базаръ въ Кастелламаре (деревушка она, что ли, за Везувіемъ есть такая) хожу, салатъ, овощи, фрукты покупаю; а баринъ все ходитъ въ такой большущей соломенной шляпѣ, по морю катается, рыбу удить, на огни Везувія по ночамъ съ любовницей смотреть и оба ровно ничего не дѣлають больше. Покупають, погуляють, полежать, спать лягутъ; я опять имъ и тутъ ставни закрываю, какъ во Всесвятскомъ. Выспятся, опять поѣдятъ, опять это пошатаются по камнямъ, выкупаются или рыбы половать, и опять спать. Она растолстѣла, жирныя такія губы и плечи стали, глаза подернуло поволокой, такъ и пышетъ вся, сталъ толстѣть и мой баринъ, но меньше. Онъ все на лакрима-кристи, да на алеатико сталъ налегать; тамъ вина такія есть. Тутъ начала голова у него болѣть, приливами, глаза какъ кровь, еле уже ходитъ, а тутъ и желудкомъ сталъ сердечный объѣдаться; я дважды за докторомъ ѣздилъ на ослѣ въ городъ, кровь ему бросили. Прошло такъ мѣсяцевъ семь; смотрю, оба замутились; приваляло ихъ маленько что ли такое житье — хлопають только глазами; она книжку читаетъ, онъ зѣваетъ, да курить. А тутъ и казусъ произошелъ. Надо вамъ знать, что баринъ мой былъ очень ревнивъ еще и къ своей прежней барынѣ, и къ этой; а она со скуки, что ли, или такъ — шутя, одинъ разъ и залучила меня въ садъ. Сперва все ходила около съ зонтикомъ, какъ я корзинку плелъ, а потомъ подошла и взяла меня за щеку, а сама, смотрю, дрожитъ, и какъ пахнетъ отъ нея всякими духами: «Лаврушь-дурнушь,—говорить:—полюби меня, я тебя озолочу!»—Я, сударь, такъ и обомлѣлъ.—«Non, говорю, impossible, нельзѣ; баринъ убьетъ изъ пистолета!» А она по-французски мнѣ въ отвѣтъ, я тогда уже понималъ и самъ начиналъ говорить: «не бойся, деньги мнѣ всѣ уже на мое имя переведены; бросимъ его, убѣжимъ — онъ мнѣ противенъ!» И она тутъ плюнула на траву, а сама держитъ меня за голову, я же на корточкахъ сижу съ корзинкой. — «Нѣтъ, я отвѣтить, не могу, и я васъ не люблю, Эмеренція Карловна; у меня, скажу вамъ по правдѣ, тутъ итальяночка по любви ходитъ...» Позеленѣла барыня, сама усмѣхнулась и отошла. Въ тотъ же вечеръ мой баринъ, ни за что, ни про что, впервые въ

жизни поколотить меня. Сосѣдскіе кучеръ и садовникъ на меня взѣлись. — «Дуракъ русскій, брось своего господина, вѣдь ты тутъ свободный, тутъ крѣпостныхъ нѣтъ!» — «Даромъ, пусть бьетъ, а я все-таки его не кину! На то онъ баринъ — а вы дурачье». Черезъ два дня она выпроводила барина куда-то, сама пришла ко мнѣ въ садъ опять: «а что, — говоритъ, смѣючись и не поднимая глазъ: — испытать?» — «Испытай, говорю, сударыня, такъ что же?» — Она кинулась ко мнѣ на шею и давай меня цѣловать... ей-Богу! такъ и горить, ласкаетъ, дрожитъ, шельма, и въ глаза цѣлуетъ, и въ щеки, и въ губы — насилу я оторвался отъ нея, ей-Богу-съ, какъ Іосифъ прекрасный въ исторіи. Она мнѣ притрозила и ушла. А тамъ разъ ночью ко мнѣ въ коровникъ пришла... Тутъ уже я все барину сказалъ. Не повѣрилъ онъ сперва, сердечный, а потомъ — и заплакать. Плачетъ, какъ малое дитя, хнычетъ: «пропалъ я, Лаврушка, какъ собака, теперь ужъ я предчувствую — она меня броситъ. Гдѣ она?» — «Въ ваннѣ сидитъ: Клара съ нею» (это служанка старая была)... — «Броситъ теперь она меня, и я пропасть...» — Да чѣмъ же вы, сударь, говорю, пропали? Возьмемъ мѣсто на пароходѣ и, черезъ Одессу, воротимся опять домой; коли Всесвятскаго родового вашего не выкупимъ, такъ по-крайности хоть въ хуторѣ какомъ въ Малороссіи сядемъ на хозяйство. Вонъ, Дорошъ, лакей Павленка-съ, въ Римѣ мнѣ говорилъ, что у нихъ земля подъ Бахтутомъ ничуть не хуже-съ, чѣмъ въ этой Кампаньѣ-съ, али хоть бы и по близности Неаполя; вспомните наше село, вареники; да и пшеница наша не въ примѣръ лучше здѣшней». — «Ты, Лаврушка, вздоръ мелешь; знай, братецъ, что теперь я нищій — меня вызывали черезъ газеты; имѣніе продано съ аукціона, а мои всѣ билеты у Цезаре въ Римѣ я перевелъ на ея имя, послѣ того, помнишь, вечера, какъ мы за Монте-Пинчіо въ лѣсокъ ѣздили и оставались тамъ до зари. Ахъ, братецъ, женщина! Вотъ адъ и рай вмѣстѣ, что за пылъ и что за страсти! Ты не вкусилъ этого, дуракъ, и потому не знаешь... Ну, да авось это еще перемелется!» — Только нѣтъ! какъ узнала она, что я барину все открылъ, волчица-волчицей стала, — насъ, безпаспортныхъ, еще миловали — мнѣ выхлопотали какой-то плакатъ на итальянскомъ языкѣ и отпустили; баринъ и глядѣть на меня, сердечный, не могъ, а она такъ просте

расхворалась, какъ я отходилъ. Клара только передала мнѣ тутъ знаками, что она ночью барина по щекамъ била, и онъ передъ нею на колѣнкахъ прощенья все за что-то просилъ. — Тутъ я переѣхалъ въ Анкону, а потомъ въ Падую къ бывшему харьковскому профессору—окулисту В***—по одной рекомендаціи, поступилъ въ услуженіе. Профессоръ вывезъ большое состояніе, имѣетъ виллу-съ, а ѣстъ донынѣ-съ по памяти ботвинью и дѣлаетъ себѣ дома квась. — Оттуда я уѣхалъ сюда, въ Парижъ, и тутъ уже остался. Только Парижъ мнѣ, скажу вамъ, сперва больно не понравился. Въ первый разъ, какъ я пріѣхалъ, тутъ правилъ Ламартинъ-съ: изъ здѣшнихъ помѣщиковъ онъ въ короли на три мѣсяца былъ выбранъ; мнѣ тогда какъ-то не казался Парижъ,—грязно такъ, улицы узенькія, сырыя, сами французики такіе обшарпанные, голодные ходили. Правители это въ шарфахъ черезъ плечо вездѣ показывались, знамена раздавали, краснымъ виномъ поили народъ. Тамъ ихъ камера такая была, народъ у входа толпился, задиралъ всякаго. Епископа ихняго гдѣ-то въ переулкѣ осмѣяли, грязью въ лицо ему кидали; а у одной княгини на каретѣ, среди улицы, гербы кирпичомъ постирали и ее еще заставили выйти въ двери и на дѣло смотрѣть, стоя. Какъ бывало въ камерѣ что скажутъ такое, такъ и закипать улицы оборванцами, какъ улей пчелами; сейчасъ за камни; мостовыя разберутъ и драка. А тутъ я изъ Италіи прибылъ черезъ нѣсколько лѣтъ—вездѣ тишина и всѣ такіе чистые и выбритые ходятъ. Полиціи пропасть, и Наполеонъ, какъ наши генералы, сталъ въ мундирѣ ѣздить по городу, да еще и съ конвоемъ...

— Ну, такъ вы пріѣхали въ Парижъ; а баринъ вашъ гдѣ же дѣлся?

— Я тутъ сталъ служить у французовъ, сначала по ресторанамъ, а тамъ и въ конторахъ, за швейцаровъ. Завелась у меня здѣсь тоже любовишка, извините, больно мою полтавскую Настю напоминала—такая же свѣжая, да добренькая, да съ черною косой... Ыздилъ я съ ней въ гуляночныя дни за-городъ и въ окрестныя сады, въ театры и на смотры войскъ. Она разряжена и я. Разъ тащимся мы въ омнибусѣ въ Буа-де-Булонь; я высунулся изъ окна и смотрю на щегольскіе экипажи; вдругъ слышу изъ одной коляски громкій женскій голосъ: «Лаврушъ, Лаврушъ, Ани-

малы!» Оглянулся: Эмеренція Карловна, и кинула она мнѣ наскоро свою карточку съ адресомъ; выскочилъ я изъ омнибуса, сконфузилъ и любовницу свою, поднялъ карточку, а коляска съ Эмеренціей Карловной улетѣла, и она мнѣ только рукой поцѣлуй послала, а сама хохочетъ и съ нею въ коляскѣ офицеръ усатый, да черный, тоже заливается, хохочетъ. Взбѣсила меня эта баба; думаю себѣ, пойду, справлюсь хоть о баринѣ. Насилу отыскалъ ея квартиру, почти за городомъ, за прежнею чертою городского вала, только квартира отличная, цѣлый домъ въ саду и палисадникъ выходитъ на улицу. Зашелъ я прежде въ сосѣднюю лавочку пива выпить, а самъ давай разспрашивать хозяина, кто такой занимаетъ этотъ домъ съ садомъ. — «Богатая дама русская изъ французовъ, — отвѣтилъ мнѣ веселый хозяинъ лавочки: — деньги сорить, домъ вѣчно полонъ безнечныхъ гостей — идетъ картѣжъ, попойки справляются аккуратно, а на-дняхъ полиція вмѣшалась и у нея былъ комиссаръ, по поводу одной ея шутки». — Чтѣ же такое? Лавочникъ оглянулся. «Видите ли, говорятъ, она обобрала одного русскаго барина въ Россіи, тысячу на двѣсти франковъ, выманила у него эти денежки, а его прогнала или гдѣ-то бросила больного. Теперь она въ связи съ капитаномъ изъ гвардейскихъ вольтижѣровъ, такой здоровенный мужчина, еще прежде былъ у меня въ невылазномъ долгу за пиво и сидръ. Ну, она съ нимъ почти открыто живетъ, кутить по загороднымъ баламъ, — а этотъ баринъ-то русскій выздоровѣлъ, да какъ-то и доплелся до Парижа...

— Ну, ну??? — «Доплелся, узнавъ ея адресъ черезъ хозяйку отеля, гдѣ онъ съ ней впервые остановился, когда ѣхалъ изъ Россіи, — и отправился къ ней. Она его не приняла. Двѣ недѣли онъ ходилъ тутъ, бѣдняга, около ея оконъ, какъ нищій, почти-что милостыню готовъ былъ просить, — двери ея не отворились для него. Я его зазвалъ, все это узналъ и три раза давалъ ему даромъ, бѣдняку, каштановъ и пива. Но на-дняхъ у нея была попойка, онъ опять пришелъ и сѣлъ вонъ на ту скамеечку у воротъ ея двора. Вижу, я, отворилось у нея окно, толпа молодежи высунулась съ нею оттуда и давай кричать: «мосье, мосье! какъ же о васъ не доложили, пожалуйста!» Онъ вошелъ къ нимъ, и постѣ того тамъ раздавались такіе крики, смѣхъ и возгласы, что мы и мои посѣтителы изъ сосѣднихъ мастер-

скихъ и лавочекъ только плечами сдвигали. Ночью этого господина отвезли за-мертво пьянаго,—а утромъ тамъ былъ комиссаръ и у нея взяли какую-то подписку. Говорятъ, что въ этой компаніи веселыхъ гостей моей съѣдки ея бывшаго обожателя подпоили, заставили пить и плясать національные русскія пляски и потомъ, нарядивши его шуткомъ, сдѣлали съ нимъ еще какую-то наглость. Онъ этого на утро ничего не помнилъ; но кто-то изъ собесѣдниковъ проврался, и госпожу эту взяли подъ присмотръ полиціи и слѣдять, откуда у нея взялось состояніе. Спрашивали, говорятъ, этого чудака, осмѣянаго ея обожателя, не у него ли она выманила какую-нибудь подлость деньги; но онъ ее не выдалъ и отрекся отъ всего». Что вамъ прибавлять къ разсказу лавочника? Скажу вамъ, сударь, одно: былъ я у нея, водила она меня по комнатамъ, показывала ихъ убранство, свои вещи, свою спальню, ванну, зимній садъ съ теплицами, вспомнила про Россію.—«Э! ты! Кстати, хочешь назадъ въ Полтаву?» — спросила она меня. Я не отвѣтилъ ни слова.—Сударыня,—говорю,—гдѣ мой баринъ? гдѣ вы его дѣли?—Она слегка поблѣднѣла.—«Москѣ Дольскій теперь свободенъ; онъ мнѣ измѣнилъ и мы разстались; онъ, кажется, въ Швейцаріи... фермеромъ живетъ на хозяйствѣ». Мы были одни; я не выдержала и говорю по-русски:—«Эмеренція Карловна! сминитесь; у васъ души нѣтъ—баринъ мой вовсе не тамъ, а здѣсь, въ Парижѣ, и съ голоду умираетъ!»—она взглянула въ окно искоса и засмѣлась:—«Tiens, моя душа: если бы у меня не было этого (она показала сперва на ротъ, потомъ на лобъ и потомъ на лѣвый бокъ), этого и этого, если бы я не хотѣла ѣсть, не думала жить и не имѣла бы надежды любить,—я бы поняла тебя. А теперь—прощай! Да кстати: хочешь ли въ лакеи-друзья; ты еще такъ же хороша, какъ была въ Италіи; я тебѣ дамъ ваканцію у одной моей подруги, содержательницы шоколаднаго магазина на бульварѣ? Подумай!»—А баринъ мой, баринъ-то?! — сказалъ я, трясаясь отъ злости и омерзѣнія-съ:—вамъ его не жалко? не жалко его дѣтокъ, вашихъ учениковъ, Саши и Сони?—«Ха-ха-ха-ха!»—захохотала она во все горло, потомъ, топнувъ ногой, указала мнѣ на дверь и закричала:—«вонъ отсюда, коленакъ!»—Я оглянулся, кругомъ насъ и въ этой части дома не было ни души. Я молча кинулся на нее и уже въ точности не

упомню, чѣмъ, сколько времени и по чѣмъ я ее билъ... Помню только, что на ее крикъ стали останавливаться у окна прохожіе, потомъ окно со звономъ лошнуло и ворвался ко мнѣ какой-то толстякъ-булочникъ, а потомъ розняли насъ и другіе! У меня отняли изъ рукъ ножку стула и на полу подняли обломокъ шандала. Ее полумертвую отвезли въ страннопримную богадѣльню; голова у нея оказалась безъ косы, — чѣмъ я отрѣзалъ ее, и донынѣ не соображу, — въ двухъ мѣстахъ была пробита, а на лицѣ и на рукахъ оказались у нея такія раны, что едва я могъ спастись и доказать, что мстилъ ей за господина, но не думалъ ее убить до смерти. Черезъ два дня въ здѣшнихъ газетахъ появилась статья, подъ заглавіемъ: «Русскій тигръ, или анекдотъ на улицѣ Звѣздъ съ русскимъ рабомъ и парижскою сиреной, за стараго любовника». Я просидѣлъ болѣе полугода въ тюрьмѣ; ко мнѣ являлись и угрожать, и упрощивать. Мой адвокатъ оправдалъ меня, и я вышелъ, но бѣдствовалъ долго безъ мѣста. Тутъ-то отыскалъ меня по газетнымъ статьямъ мой баринъ... Боже милостивый! Въ какомъ я положеніи его увидѣлъ... какой-то камлотноый камзольчикъ, купцыа жидовскія брючки съ чужихъ ногъ, видно, прямо съ рынка, и поверхъ всего старенькая плисовая, какъ у паяца, курточка, — старый престарый, волосы до плечъ, сѣдина прошибаетъ сильно, небритый и подъ хмелькомъ. Воротился я какъ-то съ поисковъ за мѣстомъ въ свою конурку, смотрю, бокомъ у окна баринъ стоитъ. Я такъ и обомлѣлъ. Баринъ, голубчикъ, Аркадій Андрейчъ, вась ли я вижу? Да въ слезы отъ радости, да къ ручкѣ его. Онъ руку не далъ поцѣловать, и самъ не смотритъ, стыдится. «Ты, Лаврушка, говоритъ, много не рассказывай и не унижайся, хоть и бывший мой крѣпостной. А ты лучше вотъ что: поставь мнѣ, братъ, выпить, червячокъ точить, надо заморить. Помнишь, какъ во Всесвятскомъ: «Антошка, Пашка, Лаврушка, вы, звѣрь, водки!» А ты кричишь «въ секунды!» и бѣжишь. Бѣги, Лавруша, и теперь». — За метался я, сказать вамъ по-правдѣ, какъ бывало точно въ старину, и самъ зналъ, что онъ уже не баринъ, а заметался и за виномъ махнулъ во весь опоръ; что дѣлать — прибылъ старый баринъ! Вотъ угостилъ его; онъ и говорить: «теперь давай мнѣ денегъ, я безъ денегъ ничто; а ты на ноги меня поставь, Лавруша!» — Гдѣ мнѣ, — говорю

ему, — денег достать? Я самъ, Аркадій Андреевъ, супъ изъ крысъ ѣмъ, камушками закусываю по мостовицѣ, да и тѣхъ, вонъ, Бонапартъ-императоръ поубавилъ по улицамъ, чтобъ баррикада французовъ не строилъ, съ тѣхъ поръ, какъ мы были съ вами тутъ, ваше благородіе! Ейже-ей, баринъ, съ голоду приходится помирать... — «А все-таки ты меня долженъ ублажить». Занялъ я у одного пріятеля сорокъ франковъ, да взялъ впередъ въ кафе Бюффона-съ, куда нанялся на годъ, шестьдесятъ франковъ въ счетъ жалованья и фракъ свой заложилъ. Но не долго были барину эти сто франковъ. Черезъ два мѣсяца онъ опять притаился ко мнѣ и занялъ у меня уголь въ каморкѣ. Какъ онъ и чѣмъ тутъ жилъ, уже не знаю; писалъ, сказываютъ, кое-къ-кому и въ Россію, да не получалъ оттуда ожидаемаго. Дѣтей вспоминалъ, плакалъ о нихъ, — а возвратиться не хотѣлъ. Какъ-то подвернулся сюда одинъ молодчикъ, изъ нашихъ полтавскихъ, встрѣтилъ его, сказался, вспомнилъ его же былую хлѣбъ-соль — взялъ его къ себѣ тутъ въ качествѣ собесѣдника. Должно стать, что и этотъ баринъ тутъ прогорѣлъ. Прошло съ тѣхъ поръ еще три года. Я бѣдствовалъ невообразимо; не дослужа забранныхъ шестидесяти франковъ, заботѣлся... Помѣстили меня въ больницу черноработныхъ, вылѣчили, а послѣ заставили отслуживать. И я работалъ на каменной работѣ у племянницы моихъ теперешнихъ господъ, баронессы Ротшильдъ, на ея дачѣ. Тамъ меня узналъ аббатъ изъ русскихъ, Саламахинъ, Ѳадей Сергѣичъ, и рекомендовалъ въ лакеи сперва къ племянницѣ бароновъ, а потомъ и къ нимъ самимъ — спасибо ему. Тутъ я теперь и стою. Только не такъ устроилась судьба моего барина-то. Вдругъ, слышу — смагилъ его какой-то фокусникъ и сталъ возить въ колывагѣ съ обезьянами, попугаями и учеными медвѣжатами. Смотрю, разъ по бульвару съ сигаркой ходитъ, на лавкѣ въ Тюльерійскомъ саду сидитъ, на публику смотреть, и выбритый, въ пальто съ чужого плеча, раздастъ объявленія про этого фокусника. Я и пошелъ къ фокуснику въ балаганъ; глядь, а баринъ-то мой и билеты у него продаетъ. Я было понялся. «Ничего, — говоритъ, — prenez un billet, cher Lavrouchka, одинъ франкъ двадцать сантимовъ, первый рядъ!» — Баринъ, — говорю: — Аркадій Андреевъ, васъ ли вижу здѣсь! Вспомните ваши степи, Всесвятское, своихъ дѣтокъ! Воро-

титесь лучше домой; вамъ ли у паяцовъ проживать? Вѣдь у васъ своихъ триста слугъ было... — «Дуракъ ты, братъ Лавруха,—сказалъ онъ мнѣ на это,—мы тутъ равны, да я же и въ опалѣ, въ зломъ скандалѣ... фр!» Онъ уже тогда начиналъ приемами говорить, какъ въ театрѣ, и многихъ господа смѣшилъ. «Батюшки, батюшки,—подумалъ я,—что съ человѣкомъ не бываетъ!»—Тутъ меня отличили, прибавили жалованья. Саламахинъ разсказалъ барону о моей сценѣ за барины съ тою-то воровкой, разорившей его, и статью ему про меня читалъ. Баронъ прозвалъ меня *utai Kovask*—говорить и приблизилъ меня еще больше къ себѣ. Съ нимъ тутъ я и въ Лондонъ ѣздилъ, тюки возилъ; послѣ оказалось, что то было золото и его кредитныя бумаги, еще почище золота. Главный клеркъ барона, нѣмецъ, шутъ такой, особенно меня, скажу вамъ, оцѣнилъ, и теперь я уже съ конторскими за однимъ столомъ обѣдать сталъ... Много тутъ всякаго народа изъ нашихъ бѣглыхъ. И люди будто уже не наши, не свои; одному не зачѣмъ ворочаться домой, другому нельзя; всѣ при мѣстахъ, и будто благополучны и благоденствуютъ. А ударить тутъ между нами родину вѣсть какая, точно въ колоколъ въ Иванъ Великомъ,—или бранять насъ, или войной на насъ собираются, или пожары гдѣ большіе, наводненія, дороговизна, такъ сейчасъ собираются и заставляютъ газеты читать, либо всѣ гуртомъ въ церковь.

Мы оба помолчали. Стало уже темнѣть.

— Гдѣ же теперь вашъ бывший баринъ Дольскій?

— Въ тюрьмѣ-съ сидитъ... тяжело мнѣ это сказать! Сидитъ за пустячный долгъ. Увлекся у фокусника какою-то фокусницей, да въ долгъ на нее и набралъ нарядовъ, а продавецъ и засадилъ его.

— Что же его никто не выкупить?

— Да я первый выкупить бы его, только онъ опять туда попадетъ. Совсѣмъ развратный сталъ, излѣнился въ конецъ, а тутъ и навозу залежаться не дадутъ, не то что человеку. Вотъ кабы его въ Россію! А то и мени онъ осаждастъ письмами, да ужъ теперь я и боюсь, какъ бы онъ не вытребовавъ меня, по правдѣ, опять къ себѣ въ крѣпостные!

— Ну, на это закона нѣтъ, чтобъ онъ требовать могъ, если самъ безъ паспорта.

— Все такъ, да я вѣдь крѣпостной. Вотъ хоть бы дѣти его самого отсюда взяли, что ли!

Я записалъ адресъ его дѣтей и далъ слово извѣстить ихъ, воротившись въ Россію. Мы встали.

— Ну, какъ же вы, Лаврентій Данилычъ, свою судьбу устроить думаете?—спросилъ я.

— Послужу у барона; теперь изъ жалованья и комиссій моихъ порядочная сумма уже составляется. Еще побуду, авось тогда и свое дѣло начну; лавочку, что ли, открою... Послѣ женюсь... Оно теперь и въ Полтаву манить... да жутко какъ-то... Законъ еще неизвѣстенъ... А коли бы Всесвятское было наше и баринъ тамъ жить бы—вотъ, ей-ей, кажется, воротился бы. Чтò въ этой ливреѣ, чтò въ этой свободѣ! Честью завѣряю, страшно; ну, какъ потребуютъ, да по этапу отошлютъ...

Я заспорилъ, удивленный такимъ понятіемъ; доказывалъ, что Парижъ не полтавская губернія и что будь только честень, здѣсь сберегутъ не хуже, чѣмъ на застольной во Всесвятскомъ, или по паспорту въ Миргородѣ.

— Нѣтъ, скучно, баринъ, становится. Все не свое... двѣнадцать лѣтъ степеней не видѣлъ...

«Ужъ не хитрить ли онъ», — подумалъ я, — что за дичь подобныя убѣждения. Мы разрываемъ крѣпостныя связи, а онъ жалѣетъ о томъ, что его баринъ не во Всесвятскомъ, а въ долговой парижской тюрьмѣ».

«Вотъ она старая-то Русь», — подумалъ я.

Передъ моимъ выѣздомъ изъ Парижа, Лаврентій Даниловичъ Блинченко, или иначе, гражданинъ Франціи, мосеѣ Лоранъ, зашелъ ко мнѣ проводить меня; таскать мои чемоданы, сходилъ мнѣ за кое-какими покупками, прилаживалъ мнѣ на дорогу всякую вещицу, чистилъ съ обычнымъ русскимъ лакейскимъ форсомъ чистѣйшаго русскаго издѣлія мои сапоги и, наконецъ, весь запыхавшись, выразился такъ:

— Эхъ, сударь мой! Вѣдь вотъ тутъ и кожи-то такъ выдубить не смогутъ, какъ у насъ. Что здѣсь за сапоги! Мѣсяцъ поносилъ и бросай, или носи триковья ботинки по грязи этого каторжнаго макъ-адама. А вотъ въ Полтавѣ нашему барину завсегда Коржъ сапожникъ шилъ; такъ вѣрите: по семи мѣсяцевъ безъ починки носились — даже тошно было чистить... Оно, видите ли,—будь и здѣсь проч-

ность какамъ въ завіреніи тоже, что вотъ тебѣ не отошлютъ въ другую какую деревню, я бы воротился, хоть сейчасъ, барину радъ былъ бы снова служить, лишь бы во Всесвятскомъ. А то Наполеонъ всѣхъ выдать можетъ, какъ бѣглыхъ.

Лаврентій задумался. Въ это время на бульварѣ Боннувель, гдѣ я стоялъ, затрубили трубы и полился молодцоватый громъ военного гвардейскаго оркестра. Мы подбѣжали къ окну. Быстрымъ захватскимъ маршемъ шелъ отрядъ гвардейскихъ зуавовъ; музыканты, съ табличками нотъ передъ глазами, шли и играли на ходу какую-то необыкновенно-подмывающую штуку. Веселая толпа блузниковъ, дѣтей и щеголей шла слѣдомъ, заглядывая на бритыя головы и алая фески импровизированныхъ алжирцевъ. Громадные omnibusы катились за городъ. Былъ какой-то не то народный, не то императорскій праздникъ. Я взглянулъ на опечаленное и задумчивое лицо Лаврентія.

— Поѣдемъ-ка добровольно въ Россію,—сказалъ я.

Нѣтъ, боюсь, да и барина по правдѣ жалко; какъ я ворочусь безъ него и что скажетъ старая барыня. Сегодня отъ васъ къ нему забѣгу, вотъ принась ему деньжатъ на табакъ...

И чудакъ показалъ десятифранковую монету.

— Вы же теперь знаете мой адресъ! пишите мнѣ въ Россію,—сказалъ я ему.

Онъ опять помолчалъ.

— Если бы земли намъ дали, кажется, и я скорѣе бы домой воротился. Матери нѣтъ у меня; только тѣтка, да и та продана вмѣстѣ со слободой. Ну, да все ничего; воротись баринъ, сядь опять во Всесвятскомъ — вотъ такъ бы и пошелъ! Жаль его, сердечнаго. Надо бы ему и бѣлья сегодня; чортъ знаетъ, однако, по правдѣ сказать вамъ, извините, что это за человекъ такой: ему бы только лежать, ничего не дѣлать.

Лаврентій махнулъ рукой и болѣе не говорилъ ни слова.

— Наше вамъ почтеніе-съ!—сказалъ онъ и вышелъ, давъ слово мнѣ писать.

Я подождалъ, пока онъ спустился по лѣстницѣ изъ восьмого этажа моей конурки, именовавшейся апартаментомъ номера сорокъ-четвертаго, и нагнулся изъ окна надъ улицей, смотря, какъ уйдетъ Лаврентій. Внизу онъ показался

снова уже въ ливреѣ барона Ротшильда, которую онъ, очевидно, оставлялъ у привратника. Онъ ловко застегнулъ золотыя пуговицы на блѣдно-голубомъ кафтанѣ, съ малиновыми отворотами, загнулъ на бекрень круглую, съ кокардой сіятельнаго и магическаго герба, шляпу, подтянулъ на рукахъ перчатки, вынулъ, не сѣша, на послѣдней ступенькѣ крыльца, знакомую уже душистую «баядеру» — закурилъ ее отъ сигары какого-то прохожаго полковника, остановленнаго имъ однимъ легкимъ кивкомъ головы, заложить руки въ карманы, и пошелъ, гордо поглядывая, въ толпѣ праздныхъ зѣвакъ, всякаго отѣнка и всякихъ націй и возрастовъ. И гдѣ были въ это время мысли смиреннаго Лаврухи? Во Всесвятскомъ? въ Мазаской ли тюрьмѣ? У сестринаго ли мужа въ Миргородѣ или гдѣ на теплой, давно-оставленной печкѣ какой-нибудь блѣдухой Гади или черноволосой Насти?

Въ Россіи я прожилъ уже два мѣсяца осени 1860 года. Варшава и Подѣсье, поѣздка по шоссе на Кіевъ и Царства Польскаго, между сплошныхъ зеленыхъ вѣковѣчныхъ дубравъ, стонавшихъ тысячами птичьихъ стоновъ, съ перелѣтавшими черезъ бѣлое полотно свѣжей новой дороги лисицами и какими-то еще темно-сизыми, пушистыми звѣрами, величиной съ большую кошку; потомъ возвратъ на родимый хуторъ на парходикѣ новаго общества, по Днѣпру, еще въ полую воду его картинныхъ береговъ, то плоскихъ и песчаныхъ, то крутыхъ съ лѣсами и скалами, — все это мелькнуло и смѣнилось тихой жизнью маленькаго домика среди ровной, гладкой и окаймленной однимъ небомъ поляны, у маленькой рѣченки.

Но моя родина въ это время уже была полна давно ожидаемыми слухами. Въ воздухѣ было чутко, хотя все ждало и жило по-старому. Сосѣдній священникъ сѣздалъ въ городъ и привезъ къстаи мою почту. Я кинулся къ газетамъ. Въ кучѣ почтовыхъ пакетовъ мелькнуло письмо съ заграничнымъ знакомымъ штемпелемъ и французскою почтовою маркой, на которой хорошо сразу узнался и бонапартовскій примелькавшійся глазамъ профиль, и его знакомаѣ борода. Пока мой гость раскуривалъ трубочку и собирался вторично заговорить о пшеничкѣ, обѣщанной ему не въ зачетъ прежнихъ субсидій, я распечаталъ письмо. Оно было отъ Лаврентія Блинченко изъ Парижа.

Вотъ оно.

«Милостивый государь, Александръ Сергѣичъ! Милостію Божіею, нашъ баринъ Аркадій Андреевичъ Дольскій, въ болѣзнь Святыхъ Маделены, сего дванадесятаго августа, 1860 года, померъ. Жизнь ихъ была при жизни злосчастна, а смѣрть и тѣмъ паче. Я пахаранилъ ихъ на свой шчѣтъ; последнеи дѣньги стратилъ, равно-жѣ какъ и на леченіе ихнее. Силы души моеи нѣту—а разсказать трудно о ихъ канчинѣ—почти какъ нищіе сканчались. Но Богъ меня за нихъ не оставитъ. Напишите при чемъ мнѣ быть. Я больно часто отлучался для нихъ отъ должности, и уже мнѣ отказали отъ службы у барона, — а дворникъ, что былъ ниже меня по леснице, слукавилъ и теперь взять мое мѣсто. Я же почти опять безъ куска хлѣба. Не напишите ли вы моимъ господамъ Софѣ и Александру Аркадьевичамъ; пусть мене вазьмутъ, наймутъ, а я имъ за деньги на возвратъ на родину мою въ Рассею отслужу. А я ихъ батеньку до-смотрѣлъ до конца, и живата маю не жилѣлъ; а готовъ я опять имъ служить по найму, либа пусть mine земли да-дутъ, какъ тутъ пишутъ и слыхатъ про законы. Вы же ихнимъ милостямъ припомните, что я и ихнія милости вы-носилъ на рукахъ; а Ликсандра Аркадьичъ мне когда-то шутя волосы прожгли... Вашего благородія усердный слуга Laurent.—Septembre 9. 1861. Paris».

По отысканному адресу я сейчасъ написалъ подробно къ вдовѣ немѣвшаго чина отца г. Дольскаго. У нея точно жили прежде ея внуки; но она умерла, и вмѣсто нея мнѣ отвѣтила какая-то госпожа маюрша Скрибина, что наслѣд-ники Дольскіе живутъ въ большой бѣдности — сынъ Але-ксандръ служилъ въ пѣхотѣ, а нынѣ въ отставкѣ, по слу-чаю огорченія отъ товарищей запиваетъ, принятъ однимъ купцомъ въ откупъ, находится въ Рязани по акцизной ча-сти дистанчнымъ, но гдѣ онъ именно живетъ, Скрибина не знаетъ, а что сестра его была въ Нижнемъ замужемъ за мелкопомѣстнымъ дворяниномъ Горшковымъ, нынѣ овдо-вѣла, живетъ въ Калугѣ, въ пожилицахъ, или компаньон-кахъ, на Московской улицѣ, въ домѣ почетной гражданки Стрѣшневой. Я написалъ къ госпожѣ Горшковой письмо въ январѣ, а въ апрѣлѣ этого 1861 года получилъ отъ нея слѣдующее письмо, писанное очевидно смѣлою и бой-кою, но безграмотною до тошноты рукою военного писаря,

бьющаго въ составленіи писемъ отъ солдатокъ, горничныхъ и неутѣшныхъ вдовъ изъ дворянокъ на краснорѣчіе, а под-
писанное страшными каракулями самою дочерью покойнаго
Дольскаго, умершаго въ больницѣ св. Маделены въ Па-
рижѣ, недавно еще владѣльца степныхъ полтавскихъ угодій
и трехъ-сотъ душъ во Всесвятскомъ... Боже! И отецъ ся
ѣздили искать наслажденій въ Неаполь, въ Байскій заливъ,
но той триумфальной тропѣ, по которой ѣздили во времена
сказочной древности сказочные императоры Рима! Жалкая
отрасль угасающихъ дворянскихъ родовъ...

«Милостивый государь и преусердный благодетель и бла-
готворитель мой! Вашему Высокоблагородію благоугодно было
въ вашъ воишъ во Францію навестить мѣсто жительства
нашего покойнаго родителя, но не извѣстились мы, видѣли-
ли вы его, не видѣли-ли, а холопа и слугу нашего Лав-
рушку Блинченко нашли-же. Преусерднейше и низкающе
кланяясь вамъ, а мы васъ тоже не зная, въ слѣдствіи от-
ношенія Вашего Превосходительства отъ сего истекшаго
января 16-го дня 1861 года, имѣемъ честь всенижающе
извѣстить. Теперь уже вышло положеніе вышнихъ властей
о крестьянахъ и дворовыхъ, а такъ какъ оный бѣглый нашъ
холопъ Лаврушка обизанъ намъ прослужить въ полномъ по-
виновеніи господамъ еще два года, или-же платить намъ
оброкъ, заплатя-же и за истекшіе двенадцать годовъ об-
рокъ-же, какъ и слѣдуетъ понимать оныя законы, то мы
съ братцемъ Сашею списались черезъ добрыхъ нашихъ бла-
готворителей, купца Должикова и купца Ножикова, и по-
ложили черезъ васъ, высокоуважаемый генералъ, просить:
о высылкѣ по этапу изъ города Парижа, Франціи фран-
цузскаго королевства, въ Россію въ горотъ Калугу въ домъ
почтѣнныя гражданки Стрешневой, онаго бѣлаго и безпач-
портнаго бродяги нашего изъ дворовыхъ Лаврентія Дани-
лова сына Блинченка. И буде оныя прибудетъ по этапу, то,
уплатя намъ за двенадцать летъ оброкъ, и два года от-
сужа, или-же заплатя тоже, то мы ему дадимъ вольную.
Ваше-же Превосходительство просимъ извѣстить насъ не
оставить въ томъ-же времени безотлагательно, куда намъ
обратиться черезъ какого посланника или амбассадера, о
взысканіи по законамъ съ итальянцевъ, и французовъ, и
съ кого именно, буде вамъ извѣстно, за укрывательство и
передержательство въ сіи двенадцать лѣтъ и семь мѣсяцевъ

безпачпортнаго и беглаго нашего слуги и подданнаго Лаврушка Блинченко. Ему-же мы обещаемъ наше прощеніе и благословеніе. А тетка его и сестринъ мужъ также померли. Сіе ему тоже скажите.—Мы-же преусердѣннѣе и нижеюще еще къ вамъ приобщаемъ: извѣстите, есть-ли у васъ супруга, или дѣти, или мать, или тетушка, дабы мы знали, за кого Бога молить. А когда место мнѣ или братцу найти можете въ вашихъ окрестностяхъ, и того преусердѣннѣе принесемъ за васъ мольбы ко всевышнему. — Апрѣля 10 дня, 1861 года.— За не грамотную, ея собственною рукою подписано составителемъ письма отъ ея особы: «*Софья Горикова*». — Приписка въ концѣ послѣдней страницы: «У насъ въ городѣ Калугѣ живетъ Шамиль. Не вы-ли содѣйствовали къ его плѣну? Мы читали вашу фамилію. Помогите же и о Лаврушки» *).

Снявъ точную копію съ этого письма, я послалъ подлинникъ въ Парижъ и вскорѣ получилъ превеселую записку отъ москѣ Лорана. Онъ извѣщалъ о своемъ счастьи, что интриги дворника Ротшильда снова побѣждены, что онъ получилъ снова прежнее благоволеніе барона и его старшаго клерка, даже еще болѣе прежняго, именно, ему обѣщали мѣсто правителя фермы на дачѣ барона въ Перигѣ, что на зиму они снова будутъ въ Парижѣ, а теперь пока ѣдутъ на воды на островъ Іеръ, а оттуда въ Туринъ къ сестрѣ его новой госпожи, гдѣ онъ надѣется увидѣть Гарибальди, и что изъ Турина онъ отпросится у своей хозяйки на поклоненіе къ мощамъ Микола чудотворца въ Неаполитанское бывшее королевство, въ градъ Бари, а тамъ—«*что Богъ дастъ*».

Новаго своего адреса москѣ Лоранъ мнѣ теперь не передаетъ, и потому, вѣроятно, къ узнанію о дальнѣйшей его судьбѣ надо считать слѣды окончательно утерянными.

1861 г.

*) Монхъ однофамилецевъ при отчетѣхъ о взятіи Шамилля—не упоминалось.

СЕЛО СОРОКОПАНОВКА.

(ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ ДЕПУТАТА ***).

«Ходить птичка весело
«По тропинкѣ бѣдствій,
«Не предвидя отъ сего
«Никакихъ послѣдствій!»
(Изъ одного альбома.)

Я объѣзжалъ свой депутатскій участокъ въ*** уѣздѣ, съ цѣлью собранія свѣдѣній о помѣщичьихъ имѣніяхъ, для обсужденія губернскаго комитета объ улучшеніи быта помѣщичьихъ крестьянъ. Больше двухсотъ имѣній стояло въ моемъ спискѣ. Много было досадныхъ случаевъ. Иного владѣльца не застанешь дома, — а ѣхать часто приходилось верстъ за семьдесятъ. Другого и застанешь, да не вдругъ уломаешь отвѣтить на печатную программу; надъ всѣмъ они задумывается. Нѣсколько владѣльцевъ, въ томъ числѣ двѣ барыни, даже вовсе отказались отвѣчать; они были — неграмотные. Дѣло, впрочемъ, извѣстное — стоитъ только пустить повѣстку, что вотъ-моль любопытно узнать, сколько въ такомъ-то округѣ рабочаго скота? — «А, — подумаютъ владѣльцы, — тутъ что-то неладно; это налогомъ обложить хотятъ!» — И въ отвѣтахъ на повѣстки окажется, что въ уѣздѣ вовсе нѣтъ рабочаго скота.

Описавъ имѣнія покрупнѣе, съ псарнями, винокурнями, сахарными заводами и музыкантами, изъ міра каменныхъ палатъ, башенъ съ звонящими часами и размалеванныхъ сельскихъ конторъ, я на время спустился въ міръ крошечныхъ мелкопомѣстныхъ захолустьевъ — поѣхалъ по хуторамъ и хуторочкамъ...

Хутора.. много вы измѣнились съ тѣхъ поръ, какъ среди васъ жили незабвенные Аванасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна. Конечно, и донынѣ въ вашихъ зеленыхъ весяхъ, безданнымъ и безпопчинно коптя православное небо, живутъ многіе родные по крови этихъ милыхъ «младенцевъ-стариковъ». Но все ужъ не то. Тѣ же тихіе домики, и также тутъ ѣдятъ и пьютъ, а много воды утекло и многое измѣнилось.

Со мною, въ качествѣ секретаря и землемѣра, ѣхалъ нѣкто Абрамъ Ильичъ Говорковъ.

Съ нимъ мы, между прочимъ, завернули въ многодѣльческое село Сорокопановку.

— Что это за Сорокопановка? странное имя!—сказалъ я Говоркову, когда мы спустились съ зеленого холма и поѣхали ровною, гладкою степью.

Скоро засвѣжѣло. Близи были поемные берега большой рѣки. Лугъ, весь въ тростникахъ и озерахъ, шелъ по ея лѣвому берегу. Правый былъ гористый. Съ этого-то праваго берега приходилось намъ подъѣзжать къ Сорокопановкѣ. Ни облачка на небѣ. Только вдали гдѣ-то нахлобучилась сизая туча, и наискось падали изъ нея полосы дождя... А это что? Не то овцы, не то дикіе гуси. Подъѣзжаемъ ближе. На зеленомъ раздолѣ, мѣрно выстроившись въ рядъ, ходила стая журавлей... Вотъ они закидѣли насть, остановились; всѣ головы вытянулись; всѣ слѣдятъ за нами. Но мы ихъ не спугнемъ. Они опять склонились и длинными носами долбать землю, должно быть, подбирая народившуюся гусеницу или кузнечиковъ.

— Сорокопановка,—заговорилъ Абрамъ Ильичъ:—какъ мнѣ ее не знаты! Вотъ это что: здѣсь испоконъ-вѣка живутъ мелкопомѣстные панки. Какъ будемъ ѣхать, увидите три глубокихъ оврага. Гдѣ эти яры сошлись, тутъ она и начинается; все хатки да хатки, и въ каждой помѣщикъ или помѣщица со своею дворней. Такъ здѣсь жилось еще при Екатеринѣ. Говорятъ, что шутникъ Потемкинъ поселилъ здѣсь какихъ-то маіоровъ, числомъ ровно сорокъ, за какое-то отличіе изъ цѣлой арміи, и далъ всѣмъ дворовыхъ и землю. Село назвали сперва Маіоровка; но въ простонародьи, да и сами поселенцы прозвали потомъ свою деревню Сорокопановкой, отъ сорока панковъ, ея обитателей; такъ она и теперь зовется. И какой это все народъ забористый

и съ гоноромъ! Еще ихъ дѣды, первые поселенцы, никому не давали проѣзда: а эти, хотя и болѣе тихаго нрава, да все байбаки и себѣ-на-умѣ. Полиціи спуску не даютъ, и многіе буйны. Промежъ нихъ мало грамотныхъ. Иного даже и не отличишь отъ мужика. Пашеть землю, ѣздигъ ямщикомъ. А спросишь—дворянинъ. У рѣдкаго больше двадцати-тридцати десятинъ земли; а дворянъ есть у каждого. Господа и слуги ѣдятъ вмѣстѣ, даже иные живутъ въ одной хатѣ. Странныя прозвища повывелись черезъ браки. Иной выдать дочь, самъ умеръ, а зять на его мѣсто сѣлъ со-стороны. Другіе продали участки и выѣхали въ городъ. Но есть еще между ними и старые люди...

— Чѣмъ же они болѣе живутъ?

— Такъ, болѣе ничѣмъ. Иной цѣлый день трубку курить, лакей ее перемѣняетъ, да чешется у двери. Другой лошадами торгуетъ,—сущій цыганъ. Барыни сѣютъ бакши, огороды содержатъ; барышни грандъ-пасьянсъ въ карты расклады-ваютъ, про жениховъ гадаютъ. Неурядица у нихъ страшная. Никто не хочетъ уступить и покориться старшему. Хотѣли-было завести у нихъ какое-нибудь начальство, да стали въ раздумѣ: къ какому роду общества отнести такой поселокъ? Городъ не городъ, деревня не деревня. Будь это мѣщане, въ посадъ бы ихъ обратили; будь вольное крестьянское село, выбрали бы изъ обывателей голову, сотскаго или старосту. А то вѣдь, что ни дворъ, то и помѣщикъ. Созовутъ жите-лей въ уѣздъ:—«Выбирайте себѣ голову или сотскаго!»—«Вотъ еще, пойдемъ мы въ сотскіе! Мы дворяне!»—И дѣлай съ ними, что хочешь. Такъ и не выбираютъ себѣ началь-ника. Шумъ, гамъ,—наѣдетъ становой, такъ насилу выбе-рется; иной разъ и обывательскихъ лошадей не достанетъ, хоть пѣшкомъ за десять, за пятнадцать верстъ въ казеннукъ свободу иди. А тяжбы? Однажды судились два сорокопъ-новскихъ панка. Дѣло въ томъ, что шли они откуда-то съ фурами и одинъ другому далъ, во время жары, на сохра-неніе тулупъ, а тотъ его взялъ да и пропилъ въ первомъ кабацѣ, пока его пріятель тамъ же лежалъ безъ ногъ. Надо было передъ становымъ доказать, что одинъ у другого взялъ тулупъ и отдать его назадъ.

— А вѣдь мы же шли?—спрашиваетъ истецъ.

— Шли.

— Мнѣ же стало душно?

- Стало.
— Я-жь тебѣ его отдалъ?
— Отдалъ.
— И ты же его взялъ?
— Взялъ.
— Гдѣ же онъ?
— Чтò?
— Тулунъ.
— Какой?
— Что я тебѣ далъ.
— Когда?!

Минута молчанія. Истецъ переводитъ духъ и начинаетъ снова:

- А вѣдь мы же шли?
— Шли.
— Мнѣ же стало душно?
— Стало.
— Я-жь тебѣ его отдалъ?
— Отдалъ.
— И ты же его взялъ?
— Взялъ.
— Гдѣ же онъ?
— Чтò?
— Тулунъ?
— Какой?
— Да что я тебѣ далъ.
— Когда?!

И дѣло опять начиналось словами: «а *тыдѣ* мы же *шли*?» Становой кончилъ тѣмъ, что позвалъ «дневальныхъ» и обоихъ тяжущихся выгналъ.

Но вотъ и сама Сорокопановка.

Я высунулся невольно изъ крытой истечанки и велѣлъ остановиться.

Лѣвый берегъ рѣки шелъ вдаль, весь затопленный плѣсами еще недавняго половодья. Мы были на правомъ. Пока кучеръ оправлялъ лошадей, мы встали въ сторонѣ. Мой спутникъ прищурился и улыбнулся.

— Вотъ помѣщикъ Куличокъ,—сказалъ онъ, тыкая пальцемъ въ воздухъ:—онъ выскѣкъ сосѣда за карточный долгъ; а вотъ и его высѣченный сосѣдъ Вѣлопятай: живутъ они теперь дружно. Вонъ, гдѣ видны крылья мельницы, живетъ

престарѣлая дѣвушка, Любовь Вѣнцеславская, писательница и поклонница всякаго рода птицъ, пѣвчихъ и простыхъ, отчего ея домъ напоминаетъ собою рай или, скорѣе, лавку московскаго охотнаго ряда.

Болѣе получаса Абрамъ Ильичъ, какъ демонъ въ легендѣ великаго поэта, рассказывалъ исторію крошечныхъ домиковъ, сидѣвшихъ бочкомъ и въ разсыпку по зеленѣющимъ косогорамъ. Всѣ они тонули въ садахъ. Кое-гдѣ торчали бревна колодезныхъ журавлей, скворешницы, бѣлыя избы и опять сады.

— Чьи эти два чистенькіе дворика? — спросить я Горькова.

Дворики, какъ оказалось, принадлежали двумъ сорокопановскимъ дамамъ, Дарья Адамовнѣ Павловой, съ лѣвой стороны рѣки, и Дарья Адамовнѣ тоже Павловой, съ праваго берега рѣки. Какъ ни странно случай, но должно прибавить, что сосѣдки, жившія другъ противъ дружки черезъ рѣку, дѣйствительно носили одинакія имена и фамилии, хотя не были сродни другъ другу и не имѣли рѣшительно ничего схожаго. Потомство этой фамилии искони существовало и по лѣвую, и по правую сторону рѣки. Эти дамы были, притомъ, совершенно разнаго характера. Дарья Адамовна, съ лѣвой стороны, была подвижная и румяная, съ носомъ, торчавшимъ вверхъ; затѣйница подтрунить на чужой счетъ, затѣйница устроить свадьбу или небывалую ссору въ посторонней семьѣ и потомъ весело и беззаботно обо всемъ посплетничать. Дарья же Адамовна, съ правой стороны, хотя была также ничуть не прочь и подтрунить, и устроить свадьбу, и посплетничать,—но зато почти никогда не улыбалась, не вертѣлась, все дѣлала молча и сурово, безъ смѣха и прибаутокъ, и даже была нѣсколько падка къ меланхоли... Иначе, Дарья Адамовна, съ лѣвой стороны, была, какъ о ней выражались въ Сорокопановкѣ, Дарья Адамовна Комедія, а Дарья Адамовна, съ правой стороны—Трагедія.

Въ то время, какъ сосѣди этихъ помѣщицъ съ обѣихъ сторонъ рѣки занимались хлѣбопашествомъ, иной разъ сами ходили за бороною и плугомъ, сами ковали лошадей и держали шерсть съ ковъ,—сосѣдки предоставляли свое хозяйство двумъ задорнымъ и зубастымъ работницамъ, а сами только гадали на картахъ про молодыхъ пожарателей дѣвичьихъ снокойствій или, какъ говорили тамъ о нихъ, про

«ненасыщенныхъ сердцеѣдовъ» и «безпардонныхъ сумасбродовъ», и проводили время въ пріятныхъ разговорахъ... Въ то время, когда рѣчка замерзала или пересыхала, онѣ посылали по вечерамъ просить другъ дружку «на свѣчку», то-есть посидѣть, поболтать и поработать вѣстѣ, не вводя себя въ лишній изъяснѣ на освѣщеніе; когда же рѣчка весной пышно стремилась свои воды межъ родныхъ береговъ, онѣ выходили, черезъ огороды, на пустой еще берегъ, и переговаривались другъ съ дружкой черезъ рѣку...

— Ну, какъ же тамъ у васъ все идетъ?—вѣжливо начинала Дарья Адамовна Трагедія, поглядывая черезъ рѣчку и сурово шевеля спицами шерстяного чулка.

— Да ничего, тѣтенька, очень хорошо,—отвѣчала Дарья Адамовна Комедія, веселымъ и почтительнымъ тономъ, также шевеля спицами чулка.

— Ну, хорошо, хорошо... и терновку перелили въ бутылки?

— Перелила...

— И солодъ уварили, Дарья Адамовна?

— И солодъ...

— Скажите! Вотъ какъ!.. Такъ, значить, и кабана посадили кормить съ розговѣнья?

— Посадила.

— Вотъ какъ! Скажите!.. Это очень даже, скажу вамъ, любопытно, Дарья Адамовна!—произносила угрюмая сосѣдка, то блѣднѣя, то краснѣя отъ зависти.

— Да-съ, любопытно! а вамъ-то что, завидно, что ли, тетенька?

— Ну, матушка, завидно, не завидно, а скажу вамъ по правдѣ, что сегодня вамъ селезень переплылъ ко мнѣ въ огородъ...

— Ну, такъ что-жъ что переплылъ?

— А то, матушка, что каналья я буду, если не сверну ему головы!—произносила Дарья Адамовна Трагедія, едва шевеля отъ злобы спицами чулка...

— Ну, матушка, говорите это поповой кобылѣ, а не мнѣ! Да я еще и посмотрю, какъ вы свернете селезню голову.

— А что, развѣ?

— Да то же, что каналья и я буду, если и другому кому тогда... не сверну головы!

— Какъ? такъ это мнѣ?—подхватывала Трагедія, задыхаясь отъ бѣшенства.

— Вамъ! именно вамъ!—язвила сосѣдка.

— Ну, тогда ужъ позвольте вамъ послать кукишъ!—проносила Трагедія, протягивая руку въ направленіи къ лѣвому берегу рѣки.

— А при этой вѣрной оказіи позвольте послать и вамъ цѣлыхъ два!—кричала Дарья Адамовна Комедія.

Трагедія на это совершенно терялась и, помолчавъ, извѣляла убѣжденіе, что съ такою злодѣйкой, какъ ея сосѣдка, надо говорить мужику, а не дамѣ.

— А вы, Дарья Адамовна, кажется, просто мерзавка...—кричала противница.

— И, матушка! мерзавка, не мерзавка, только всѣмъ ужъ извѣстно, что у васъ иногда губы пухнуть...

— Какъ пухнуть? отчего? —спрашивала озадаченная Комедія: — это быть не можетъ, и я этого никогда не замѣчала!

— Можетъ-быть, только замѣчала это я! я! я!—кричала съ ожесточеніемъ Трагедія: —и еще я вамъ доложу, что вы въ спальнѣ въ шкапу держите водку и пьете ее на ночь, и отъ того у васъ носъ бываетъ краснаго цвѣта и глаза не свои.

— Тыфу!—плевала на это негодующая Комедія и, сказавъ: —бѣсъ, а не женщина!—уходила домой, переволнованная до глубины души.

Иногда, впрочемъ, такая бесѣда кончалась неожиданнымъ миромъ и каждая сосѣдка, сказавъ: «ну, матушка, вы себѣ, если хотите, гуляйте, а мнѣ пора за работу!»—расходились по домамъ. Но въ другое время, встѣдъ за шишами, плевыми и всякою перебранкой, утомленные барыни высылали на рѣку своихъ работницъ. Зубастыя бабы оглашали тогда окрестность не хуже запальчивыхъ героевъ Иліады.—«Да ты ужъ замолчи!» кричала одна работница другой, стоя на илестѣ огорода: «ты ужъ замолчи, потому что я ужъ знаю, какая ты!»—«Ну, а какая же я, какая?»—«Да такая же, какъ и твоя мать!»—«А какая моя мать? говори, сякая ты, такая! говори?»—«Да такая же, какъ и ты!»—«А я какая, сякая ты, такая?»—«Да такая же, какъ и всѣ вы!» И этотъ речитативъ, при сбѣжавшихся съ обѣихъ сторонъ рѣки зрителяхъ, тянулся нескончаемо. Слободка долго вод-

повалась, раздѣлившись на два враждебные лагеря, ратующіе каждый за свою обывательницу и не знающіе пощады и снисхожденія...

Но таковы судьбы человѣческаго сердца! Подходили чьи-нибудь именины или крестины, и обѣ сосѣдки, если былъ случай переправиться черезъ рѣку, встрѣчались снова друзьями, ухватившись за руки, чокали другъ дружку въ губы, произнося: «ахъ, это вы, душечка! вотъ пріятный сюрпризъ!»

Разъ какъ-то (случилось это въ самую засуху) Дарья Адамовна Комедія прибѣжала послѣ обѣда, запыхавшись, къ Дарьѣ Адамовнѣ Трагедіи, залилась слезами и упала ей на грудь.—«Что съ вами, душечка?—спросила хозяйка.—«Ахъ, и не спрашивайте! Я такъ взволнована, такъ взволнована!—«Да что же тамъ такое?» Гостя достала платокъ, отерла глаза и, вынувъ изъ-подъ лифа письмо, сказала: «Вотъ послушайте, ангелъ! вотъ какой со мною сдѣлался неожиданный случай!»

Она стала читать:

«Къ хищницѣ отъ жертвы:

«...Милостивая государыня и, если смѣю такъ назвать, другъ не только мой, но и всего человѣчества, Дарья Адамовна! Успѣхи дружбы вашей ко мнѣ заставляютъ сдѣлать открытіе: я влюбленъ—голову совсѣмъ потерялъ. Разумѣется, вамъ участь: блаженство посланное, а моя? чѣмъ же я виноватъ? хоть въ рѣчку! сна не имѣю, цѣлую ваши ручки; если же когда вы обратите взоръ на меня, то прошу не откажите подарить меня вашею рукою; вы меня знаете; теперь же пришлите мнѣ нитокъ на карпетки, всего одинъ мотокъ и не забывайте дрожащаго

«Ивана...» (фамилію гостя прикрыла пальцемъ)

«а также и шерсти, только той, которую купили въ городѣ, а не вашей, а письмо держите въ секретѣ!»

Гостя кончила, но отъ волненія не могла произнести ни слова и сидѣла, потупясь, какъ пойманная съ папироской пансіонерка...

— Ну, что же, шерчикъ, очень рада! — возразила суровая хозяйка: — женихъ нашедся, не надо упускать! вотъ и все!..

— Ахъ!—воскликнула гостя, и радостныя слезы снова зачастили по ея щекамъ.

Вслѣдъ затѣмъ сосѣдки стали шушукаться и шушукались до того, что положили, наконецъ, увѣдомивъ милаго жениха, начать дѣлать приданое...

Черезъ недѣлю послѣ этого рѣшенія, счастливая сосѣдка, получившая письмо, также сидѣла послѣ обѣда. Дверь открылась и въ ея комнату вошла Дарья Адамовна Трагедія. Эта вошла гордо, молча поклонилась и таинственно сѣла на диванъ... На ея рукѣ висѣлъ ея обычный ридикюль. Она раскрыла его стальную пасть и стала оттуда вынимать на столѣ разныя вещи. Вышелъ изъ этой пасти сперва клубокъ шерсти и двѣ огромныя деревянные спицы съ начатымъ чулкомъ, вышелъ потомъ бронзовый наперстокъ, тамбурная иглка, оловянные очки, рогулька для ковырянья въ ушахъ, пузырекъ съ нюхательнымъ табакомъ, клочка два ваты для затыканія ушей, стальной игольничекъ, ножницы и кирпичикъ, обернутый въ чехоль, для припиливанья работы. Суровая гостя разложила все это въ большой симметрин на столѣ, скинула нитяныя перчатки, безъ пальцевъ, осѣдлала носъ очками и, вооружась спицами, пронесла:

— Ну, матушка, и я къ вамъ тоже... съ новостью!

— Съ какою? — спросила хозяйка, настороживъ уши, какъ москвѣ въ то время, какъ, перележавъ всѣ бока у ногъ мечтающей хозяйки, она неожиданно услышитъ: «Жю-жю!» или «Фидель», ты философствуешь?» и подниметъ къ хозяйкѣ оскаленную мордочку...

Гостя оставила спицы, взглянула черезъ очки, сказала: «Ну, пропала и я, ма-шеръ», — вынула со дна ридикюля письмо и стала его читать:

«Хищницѣ отъ жертвы:

...Милостивая государыня и, если смѣю такъ назвать, другъ не только мой, но и всего человѣчества, Дарья Адамовна! Не терзайте меня, а я готовъ сейчасъ жениться на васъ! У меня наслѣдство сорокъ десятинъ и мельница — жду отвѣта; не мучьте, потому что мучить можно муху или что-нибудь другое, но не мучьте меня, нѣжный другъ, душечка! Слова ваши лютяся, какъ бы алмазы изъ вапней фортуны, когда васъ слушаю, и притомъ у васъ чисто русское сердце.

«Иванг...» (фамилію гостя прикрыла также пальцемъ).

— Что же это? — вскрикнула помертвѣлая Комедія.

— А что?

— Да одна и та же рука.

— Врете!

— Нѣтъ, вы врете.

Раздѣлились двѣ звонкія пощечины, свалка. Полетѣли чепцы съ головъ. И снова Сорокопановка чуть не полгода была раздѣлена на два враждебныхъ лагеря.

— Ну-съ, Абрамъ Ильичъ, теперь за дѣло,—сказать я Говоркову, въѣхавъ въ Сорокопановку:—гдѣ списокъ? Тычко, Крячко, Макарищенко... Съ кого бы начать?.. Оно, разумеется, статистика тутъ мало чѣмъ поживится. Лѣсовъ и фабрикъ, конечно, не имѣется, сахарныхъ заводовъ, оркестровъ, промышленности и торговли—также. Однако, все-таки надо составить списки крестьянъ и дворовыхъ; измѣрить, хотя приблизительно, землю подъ ихъ усадьбами; спросить цѣну земель и строеній, узнать о содержаніи дворовыхъ... Вы послали сюда новѣстки съ печатными программами отъ предводителя?

— Какъ же-съ, послалъ.

— Куда же намъ ѣхать? гдѣ выбрать исходную точку своихъ дѣйствій? Не къ Павловымъ же ѣхать...

— Советую къ Вѣнцеславской... Она образованнѣе другихъ. У нея и домъ побольше. Дворъ стоитъ въ рошѣ, за косогоромъ, надъ рѣкой. Отъ нея можно послать новѣстки о явѣ на съѣздъ и къ другимъ.

Мы поѣхали къ Вѣнцеславской.

Былъ знойный полдень, когда песчанымъ побережьемъ, мимо сорокопановскихъ дворовъ, домиковъ и хатъ, мельницъ и огородовъ, мы въѣхали въ опушку густой дубовой рощи, круто взбиравшейся въ гору и примыкавшей къ общей околицѣ поселка. Въ этой рошѣ стояла глухая и невѣдомая міру усадьба Любови Павловны Вѣнцеславской.

Пробираясь между дубами и орѣшниками, между упругими ихъ корнями, издали мы замѣтили раза два мелькнувшую крышу новаго тесоваго домика. Скоро въѣхали во дворъ. Куча какихъ-то зданій, амбарчиковъ, голубятень, кладовыхъ и погребовъ — стояла по сторонамъ двора. За низенькимъ, длиннымъ домомъ видѣлся садъ, изъ котораго шли тропинки къ сорокопановскимъ дворамъ. Дворъ былъ чистъ, подметенъ и усыпанъ пескомъ. Среди двора пры-

гала, оставляя слѣды своихъ лапокъ, безхвостая ручная сорока. На перилахъ крытой галлерей сидѣли двѣ тоже ручныя старыя совы. Туча голубей кружилась въ воздухѣ, спускаясь къ кровлямъ двора. На шнуркѣ вдоль галлерей висѣли мѣшочки съ сушеными травами, распространившими въ знойной тишинѣ разные полевые и лѣсные запахи. Мы остановились, какъ околдованные, и самъ назойливый обывательскій колокольчикъ, издавъ неловкое теньканье, будто устыдился и замолчалъ... Вприпрыжку черезъ дворъ куда-то пробѣжалъ, какъ угорѣлый, огромнаго роста, рыжій голландскій пѣтухъ. За нимъ другой—бѣлый. Куры подняли гдѣ-то невообразимый крикъ.

Мы постояли, поглядѣли и пошли на крыльцо. Ни души не было и тамъ. Вдоль стѣнъ и у дверей крыльца, до самаго потолка, шли клѣтки съ разными птицами, и сколько ихъ было здѣсь: мохнатыя, пестрыя, кривоносыя, длинноносыя, большія, малыя и всякія, сидѣли и порхали по разнообразнымъ клѣточкамъ и клѣткамъ. Двѣ сойки взапуски передразнивали собаку; изъ-сѣда черныя, старый воронъ, какъ нѣкій магъ, сидѣлъ на скамьѣ у порога, уставя на воздухъ огромный носъ...

Мы прошли далѣе переднюю и еще какую-то комнату въ цѣлотахъ. Зала встрѣтила насъ низенькими комнатками, низенькими свѣтлыми окнами, какъ показалось намъ — будто даже неправильно расположенными, и кучею картинокъ, ярко озолоченныхъ полуденнымъ солнцемъ. Здѣсь были гравюры временъ Павла и Екатерины: иллюстрированная «Исторія Жильблага», «Погибшая невинность Катерины Дуранси», «Малекъ-Адель», «Повѣсть о львѣ и дитяти», словомъ, десятки тѣхъ картинокъ, передъ которыми и теперь еще съ любопытствомъ останавливается рѣдкій посетитель подобныхъ мѣстъ, въ комнаткахъ, гдѣ случайно зажились лица или преданія прошлыхъ временъ. Вышитыя подушки на кушеткѣ, вышитыя сидѣнья на стульяхъ, коврикъ съ индѣйцемъ и турчанкою у фортепьяно,—дополнило обстановку залы.

Мы откашливались. Сперва вѣжала, также кашляя и волоча параличную ножку, престарѣлая, крохотная и совершенно разслабленная бѣлая болонка, съ глазами, до-чиста заросшими длинною шерстью. За нею вошла престарѣлая и тоже будто не слишкомъ здоровая, востроносенькая и ху-

денькая хозяйка, съ сѣдыми локонами, съ платкомъ въ рукѣ и въ зеленомъ ситцевомъ платьѣ, узоръ котораго представлялъ смѣсь какихъ-то цвѣтовъ и оленьихъ головокъ.

— Извините, господа, что я васъ заставила ждать!—заговорила сорокопановская барыня.—Я догадываюсь о причинѣ вашего прїѣзда... не такъ-ли?

Съ этимъ словомъ она присѣла на стулъ, приглашая и насъ садиться на диванъ. Мы обмѣнялись привѣтствіями и пояснили ей подробнѣе нашу цѣль.

— Ахъ, помилуйте, очень рада! Помилуйте, я никогда не прочь! Я всегда была готова; я даже губернатору не разъ говорила, что надо дать свободу нашимъ крѣпостнымъ людямъ. Даже мое стихотвореніе объ этомъ онъ хотѣлъ помѣстить тогда въ вѣдомостяхъ. Очень рада, господа, дать вамъ отвѣты на все. Вотъ видите, какую анахореткой я здѣсь живу. Съ той поры, какъ кончила курсъ въ пансіонѣ, я уже сорокъ два года здѣсь живу безвыѣздно, среди сада, цвѣтовъ и моихъ птицъ... Люди! Эй! Палашка, бесѣлка, кто тамъ?

На звукъ ея дребезжащаго голоса явились въ дверяхъ нѣсколько веселыхъ и улыбающихся головъ. Полныя, здоровыя, румяныя лица слугъ такъ и говорили: «жизнь наша хоть куда: ѣдимъ и спимъ мы вдоволь и будутъ ли также хороши наши дни послѣ, какъ теперь, у этой рѣдкой барыни, это еще вопросъ...»

— Кофею! Да отпрячь лошадей господъ чиновниковъ.

— Мы не чиновники, — вмѣшался Говорковъ: — они по выбору, а я частно занимаюсь землѣмѣрствомъ!

Хозяйка повернулась на стулѣ, утерла носъ, запачканный табакомъ (она нюхала), и долго не могла сказать ни слова, глядя на насъ съ восторгомъ и такъ бы озадаченная приливомъ неожиданныхъ, бывшихся харужу, сладкихъ чувствъ.

— Да, да! — заговорила она:—наконецъ сбываются мои грѣзы, и я умру спокойно! Давно я ждала и думала... Наши крѣпостные люди будутъ свободны... Наконецъ-то, часъ пробилъ! когда же это совершится?

— Скоро-съ! комитетъ открытъ, и теперь его члены собираютъ послѣднія свѣдѣнія! Свѣдѣнія нужны черезъ... двѣ недѣли. Вы ваши отвѣты приготовили?

— Мои?... Нѣтъ... Я не ожидала, чтобъ такъ скоро...

— Помилюйте, да повѣстка у насъ уже третій мѣсяць...

— Повѣстка?!—спрашивала сама себя добродушная старушка:—зачѣмъ же свѣдѣнія? Развѣ нельзя безъ нихъ?

Говорковъ вступился за канцелярскій порядокъ. Она задумалась. Потомъ встала, ушла въ гостиную и вынесла оттуда, въ пыли и совершенно оплетенную паутиной, повѣстку комитета, съ печатною программой.

Я былъ озадаченъ.

— А ваши сосѣди, сударыня, господа сорокопановцы, приготовили свои отвѣты?—спросилъ я.

— И они, вѣроятно, какъ и я,—отвѣтила Вѣncesлавская.

— Нехорошо, Любовь Павловна!—отнесся Говорковъ:—а мы надѣялись на васъ. Какъ же теперь намъ быть?

— Ахъ, Боже мой! Мнѣ право совѣстно! Какъ же тутъ помочь? Ахъ, право досадно и совсѣмъ совѣстно!

И она стала набивать носъ душистымъ табакомъ, отъ котораго распространился по комнатѣ запахъ жасмина...

— Дѣло простое, — выѣхался я: — всѣ почти владѣльцы Сорокопановки имѣютъ развѣ однихъ дворовыхъ. Значить, намъ нужны свѣдѣнія только о числѣ дворовыхъ людей, о ихъ содержаніи, о ихъ усадьбахъ и работахъ. Списокъ дворовыхъ мы уже получили по вашему селу изъ казначейства. Остается намъ сообщить о ихъ содержаніи, и о работахъ и оцѣнить ихъ усадьбы, а мы измѣримъ хотя приблизительно вашу подусадебную землю по каждому двору...

— О содержаніи, о работахъ, цѣну усадьбамъ?—повторяла про себя въ раздумьѣ хозяйка:—гдѣ же тутъ опредѣлить? Жили у меня, ѣли мое, ходили въ моемъ, какъ тутъ считать!.. Да тутъ и на цѣлый годъ будетъ работы, а не на двѣ недѣли...

И она развела руками.

— Да у меня же и земли кстати нѣтъ, — продолжала она: — есть домъ и кухня, да садъ, да и только; люди живутъ въ кухнѣ, ѣдятъ постное и скоромное... Какъ тутъ высчитать? Право, какъ тутъ опредѣлить? А впрочемъ, дѣлайте, какъ знаете...

Мы стали ее утѣшать, что нужныя свѣдѣнія соберемъ въ одинъ, а уже много въ два дня. Она опять понюхала табакъ и задумалась...

Подали кофе, потомъ завтракъ, и не оглядываясь, какъ подали и обѣдъ. Мы сидѣли и толковали о старинѣ. Говор-

ковъ, между тѣмъ, написать циркулярную повѣстку ко всему сорокопѣновскому обществу, съ приглашеніемъ явиться въ 4 часа пополудни, въ тотъ же день, въ домъ госпожи Венцеславской, для сужденій объ общемъ дѣлѣ, къ такому-то депутату губернскаго комитета по улучшенію быта помѣщичьихъ крестьянъ. Повѣстка была вручена призванному въ залу, совершенно круглому и румяному мальчику, увально лѣтъ пятнадцать. Ему сказано: обойди, а еще лучше, обѣгай всѣхъ господъ по селу; дай прочесть бумагу и росписаться и проси къ 4 часамъ къ Любови Павловнѣ; да скажи, что непременно. Въ повѣсткѣ прибавлено: «просить захватить печатныя программы, разосланныя три мѣсяца назадъ, и отвѣты на нихъ, буде таковыя готовы». Мальчикъ, бравъ повѣстку, смѣлся. Улыбнулись и мы съ Говорковымъ, глядя на его круглыя щеки, русую, плотными рядами стриженую голову и жирное, круглое туловище. Въ открытое окно было видно, какъ этотъ толстый Меркурій перебѣжалъ садъ, не безъ труда, вскарабкался колючій плетень и перевалился черезъ него въ сочную и густую граву чьего-то сосѣдняго огорода, а оттуда зашагалъ въ темной рощѣ, зеленѣвшей на той сторонѣ рѣки...

Намъ зѣвалось. Какое-то блюдо, вкусное, сытное, съѣденное за столомъ, особенно склоняло къ дремотѣ. Птицы пѣли; листья чуть шушукали. Запахи всякаго рода пробирались изъ сада въ окно. Любовь Павловна сидѣла, тоже задумавшись. Абрамъ Ильичъ прямо заснулъ. Я кашлянулъ. Мы извинились передъ хозяйкой, запросто попросили позволенія соснуть и, тыкаясь носами въ дверь, пошли въ коридоръ...

— Какъ-же-съ, и комната готова,—замѣтила кротко хозяйка, обративъ къ намъ совершенно сонные глаза: — кстати, и другіе подоспѣютъ тогда!

Мы очутились въ темной и прохладной комнатѣ, съ запахомъ инбиря и чуть-ли не калганнаго корня, выходившимъ изъ какой-то конторки; нащупали перины, подушки и завалились спать.

Два, чуть-ли даже не три часа мы спали. Ни лучъ свѣта, ни жуужканье назойливой мухи не прерывали сна. Инбирь и калганъ приятно щекотали обоняніе. Тишина въ домѣ и кругомъ была невозмутимая. Я помню, что заснулъ, все обдумывая въ потьмахъ: «откуда проникаютъ эти запахи? изъ шкапа, или это наливки стоятъ гдѣ-нибудь на полкахъ,

или на печкѣ вверху, и пахнутъ... «Глаза какъ-то сами собою раскрылись у меня перваго. Гражданскія заботы возникли въ умѣ.—Какъ же это?»—разсуждалъ я впотѣмахъ:—«свѣдѣнія комитету нужны скоро, особенно о мелкопомѣстныхъ; а эти господа, кажется, и не думаютъ о важности ихъ составленія?»

— Абрамъ Ильичъ!—пешнулъ я:—Абрамъ Ильичъ!

Говорковъ очнулся.

— А? что?—спросилъ онъ.

— Не пора ли вставать?

— Нѣтъ, поснимъ еще. Никого что-то пока не слышно. Къ чему же...

Сонъ опять сталъ меня одолевать. Но подъ окномъ загготалъ гусь, а потомъ пѣтухъ затрубилъ, какъ военная труба, и мы встали.

Свѣтло и весело встрѣтила насъ опять та же зала, съ картинками и гарусными подушками. Только вмѣсто собачки по полу уже ходили двѣ галки, въ сафьянныхъ панталончикахъ, серёжкахъ, и, по остроумному соображенію, для чистоты, съ ситцевыми мѣшочками подъ хвостомъ.

— Вотъ,—замѣтилъ Говорковъ, зѣвая во весь ротъ:—губернскому предводителю грозятъ, что крайній срокъ подачи свѣдѣній для комитетовъ не будетъ отсроченъ,—а Любовь Павловна, передъ такою реформою, мѣшочки подъ галокъ подвязываетъ!

И онъ опять зѣвнулъ, за нимъ и я.

— А что?—спросилъ Говорковъ:—я думаю, парижскіе и лондонскіе публицисты никакъ не воображаютъ, чтобы дѣло у насъ такъ дѣлалось, чтобы мы, положимъ, такъ зѣвали?

— И я думаю то же...

Мы опять зѣвнули и расхохотались. Никто не являлся въ залу. Въ открытое окно къ сторонѣ двора было видно только, какъ два какихъ-то мальчика, игравшіе предъ тѣмъ въ бабки, спали, раскинувшись на землѣ, а престарѣлая комнатная женщина, сидя у амбара на землѣ, спала, держа въ рукѣ недовязанный чулокъ съ прутками и, развѣся губы, клевала сѣдою головой.

— Что-жъ тутъ дѣлать?—спросилъ я:—сосѣди не собираются, да и хозяйки нѣтъ, а время уходитъ. Скоро и вечеръ: завтра надо еще въ три мѣста бѣжать? Что намъ дѣ-

лать? Вѣдь все это спить, Абрамъ Ильичъ, спить вся деревня, какъ въ сказкѣ.

— Спить, да еще какъ! слышите?..

Изъ коридора въ это время послышался тоненькій, очевидно женскій, хотя довольно забористый храпъ: звуки вылетали изъ комнаты самой хозяйки.

— Надо готовить астроябію, — сказалъ сердито Говорковъ: — хотя одну или двѣ усадьбы обойдемъ и нанесемъ ихъ на иланъ.

Мы отправились къ нетечанкѣ, достали ящикъ съ астроябіей, разбудили мальчиковъ, спавшихъ подъ сараемъ, и отрядили ихъ добыть колья. Старушка подъ амбаромъ спала попрежнему. Мы пошли въ садъ. Передъ нами, съ обрыва надъ рѣкой, открылась вся разнообразная и живописно-пестрая картина Сорокопановки. Вотъ рядъ мельницъ по косогору. Вотъ хатки и домики, въ раскидку, бокомъ и спинной одни къ другимъ, раздѣленные садами, оврагами и просто площадями зеленыхъ пустырей, величиной въ иное хуторское поле. Волы, коровы и лошади ходили по этимъ пустырямъ. Въ одномъ мѣстѣ, среди села, паслось цѣлое стадо овецъ; въ другомъ кто-то запахалъ пол-площади подъ гречишу и на неогороженной пахати уже всходила зелень. Толстыя, дряблыя и совершенно лысыя отъ дородности свиньи пятались привольно по всѣмъ угламъ села, тыкаясь въ калитки и почесывая спины у крылецъ и оконъ. Стая голубей носилась въ безоблачномъ небѣ. На три или на четыре версты раскидывалась во всѣ стороны любопытная Сорокопановка, село не село, посадъ не посадъ и городъ не городъ, а всего этого понемножку...

— Ну, долго же этотъ мальчишка-посланецъ будетъ обходить съ повѣсткой господъ здѣшнихъ обывателей! — сказалъ Говорковъ: — я думаю — просто спить гдѣ-нибудь на дорогѣ, подъ заборомъ!.. Каково? — продолжалъ онъ, — ни души не видно — всѣ спятъ! Смотрите, гдѣ же тутъ дожидаться кого-нибудь на нашу сходку?

И въ самомъ дѣлѣ, несмотря на близкій вечеръ, Сорокопановка была еще царствомъ мертвыхъ. Кое-гдѣ только заливались криками горластые пѣтухи, да дюжины двѣ индѣекъ въ чьемъ-то огородѣ прерывали общую тишину длинными возгласами.

— Вотъ если бы, — сказалъ Говорковъ: — какой-нибудь

французскій миссіонеръ случайно забрелъ сюда и не зная, что это Россія, онъ прямо сказалъ бы въ своихъ запискахъ, что былъ въ такомъ-то селѣ Верхняго Кіанга, Соро ко-пан-чун-ху... И свиньи даже напоминаютъ про Китай!..

Явились мальчики, отряженные за кольями. За ними со двора показалась и Любовь Павловна. Протирая глаза и съ подуряженными отъ сна щечками, она, слегка зѣвнувъ и закрывъ ротъ бѣлою ладонью, подошла къ намъ, когда мы ставили астролябію и наводили ее на уголь ея усадьбы.

— Что это? Вы уже и за работой! Ахъ, что значить неустойчивость! — начала Любовь Павловна: — это не то, что мы.

— Долгъ требуетъ! — сурово замѣтилъ Говорковъ, копаясь у кольевъ и неистово вколачивая ихъ въ землю.

— Вотъ, мы начнемъ съ вашего уголка, Любовь Павловна! — сказалъ я, наводя вѣхи далѣе къ усадьбѣ священника, а за нимъ нѣкоего подпоручика Свербѣева.

— Ахъ, какъ же это? — проговорила Вѣнцеславская, шагая за нами вдоль плетня: — не освѣжились! а я велѣла вынести сюда и варенья.

Мы вышли на улицу. Мальчики ставили вѣхи, тянули цѣпь; Говорковъ отмѣчалъ углы въ записной книжкѣ. У дома священника надо было взять вправо и вести вѣхи по крайямъ огорода Любови Павловны. Тутъ вышелъ самъ отецъ Павелъ. Поглаживая лысину, онъ молча намъ поклонился и съ недовольнымъ и пристальнымъ любопытствомъ смотрѣлъ на вѣхи. Подоспѣла и Ѳедосья съ подносомъ. Мы наложили на блюдца варенья и стали ѣсть.

— Что это, Любовь Павловна, прошлогоднее? — спросилъ отецъ Павелъ.

— Разумѣется, прошлогоднее! Гдѣ-же еще быть новому!

— Эхъ, братъ, да говорятъ тебѣ — лѣвѣе, — ворчалъ, между тѣмъ, Говорковъ, направляя парня съ вѣхами. Онъ свернулъ за тополи, огибая усадьбу Вѣнцеславской.

Когда мы съ блюдами въ рукахъ, облизываясь, немного позамышлялись съ отцомъ Павломъ, начавшимъ рассказывать, что вотъ у какихъ-то Андреевыхъ дѣти въ сыпи, Говоркова окружили новыя лица.

Сѣдовласый и толстый старикъ, едва передвигая ноги, подошелъ къ астролябіи, уставя на нее отекища щеки; какая-то низенькая, коренастая, круглая дамочка въ чер-

номъ коденкоровомъ платьѣ и такомъ же чепцѣ, съ огромною нижнею, почти коровьею губою и сѣрыми глазами навывкатъ, ходила тутъ же, съ палкою, судорожно подергивая на рукѣ ридикюль, изъ котораго торчали бумаги. Другая дама, въ голубой полинялой шляпкѣ, блѣдная, но съ черными южными глазами и черными густыми бровями, стояла также въ этомъ обществѣ, будто попавъ сюда невзначай. Это были: старикъ Свербѣевъ, дамы — известная уже Трагедія и Комедія.

А между тѣмъ, вдали стали показываться и другія лица. Съ горы отъ мельницъ шли: неслужащій дворянинъ Чубченко, съ неслужащимъ же сыномъ Чубченкомъ-младшимъ, оба съ виду простые мужики, въ простыхъ мѣщанскихъ свиткахъ и съ длинными бородами. Отъ моста близъ рѣки отдѣлилась группа новыхъ дамъ, предводимыхъ огромнаго роста усатымъ господиномъ, въ красной рубахѣ, ополченскихъ сапогахъ и съ эспаньолкой. По хлыстику въ его рукахъ, а болѣе, разумеется, по эспаньолкѣ, нельзя было не узнать въ немъ общаго вздыхателя и сердцаѣда. Всѣ эти лица молча подходили, едва намъ кланялись и, перешептываясь, останавливались въ сторонѣ. Всѣ съ подозрительно недоувѣрчивымъ вниманіемъ слѣдили за нашими дѣйствіями.

Такъ, я думаю, слѣдили японцы отважныхъ моряковъ, нѣкогда смѣло отводившихъ себѣ квартиры въ недоступныхъ дотогѣ Іедо и Нагасаки; такъ и индійцы время Кортеса встрѣчали бѣлыхъ пришельцевъ на берегахъ своихъ заповѣдныхъ рѣкъ...

Работа шла своимъ чередомъ. Никто попрежнему не рекомендовался. Солнце обливало даль, сады, кровли домиковъ и насъ самихъ яркими лучами.

Первый отозвался подпоручикъ Свербѣевъ.

— Па-а-звольте-съ! вы, кажется, не такъ уголь взяли! — замѣтить онъ Говоркову.

— Чего-съ? — свирѣпо огрызнулся Абрамъ Ильичъ, поднявъ отъ колышка налитое кровью и озлобленное лицо.

— Надо взять вотъ какъ... Когда я былъ въ плѣну у Шамиля, онъ попросилъ меня снять видъ своего гарема... Ну, я и снялъ.

— Можетъ быть, можетъ быть! — возразилъ со вздохомъ Говорковъ, докидывая послѣдній уголь.

Группы оживились.

— Вотъ трудолюбіе!—отозвалась Вѣнцеславская.

— Да-съ!—подхватила чей-то женскій голосъ:—за жалованье можно!

Сказавшую поспѣшно остановили. Свербѣевъ принялся помогать Говоркову. Пошла общая бесѣда. Изъ воротъ Дарья Адамовны Комедіи вынесли стулья; кое-кто сѣлъ. Явился коверъ, нѣсколько лавокъ. Всѣ сѣли. Новые знакомцы къ намъ присмотрѣлись, стали разговорчивѣе.

— Да не выпить-ли, господа, тутъ же и чаю?—спросилъ кто-то изъ толпы.

— Отлично, отлично!—отозвались голоса.

Пошли за самоваромъ и за чашками. Дарья Адамовна Трагедія побѣжала за сливками.

Всѣ усялись съ печатными программами вокругъ стола. Чернильница отца Павла поставлена передо мною, явились перья и бумага.

— А что, господа-депутаты, — сказалъ Свербѣевъ: — мы люди простые, гдѣ намъ постигать ваши статистическія тонкости. Вы намъ диктуйте, а мы будемъ писать...

Я улыбнулся.

— Этого нельзя!

Вѣнцеславская разливала чай; какая-то дѣвица курила папиросу за папиросой. Всѣ пріумолкли. Я объяснилъ данныя мнѣ отъ комитета инструкціи.

— Что, господа, откладывать! берите перья. Пишите въ клѣткахъ противъ ревизскихъ душъ, сколько у кого крестьянъ и сколько дворовыхъ.

— Да у насъ почти у всѣхъ одни дворовые...

— Такъ и пишите, дворовые.

Всѣ написали; пошли толки. Павлова-Трагедія объявила, что у нея всего одна душа, мужского пола, отличный поваръ, но что онъ уже два года содержится въ губернскомъ острогѣ и что она его показываетъ теперь потому, что онъ большихъ достоинствъ и что она надѣется получить за него выкупъ. У Павловой-Комедіи по ревизской сказкѣ оказалось другое любопытное явленіе: у нея было три души женскаго пола—бабка 50 лѣтъ, дочь ея 28 и внучка 14, хотя перья двѣ значились *незамужними*.

— Теперь, господа, сколько у кого грамотныхъ?—отнесся я: — какіе вамъ платятъ оброки, сколько у кого недоимки,

и во что обошлось кому обученіе ремеслу или мастерству вашихъ дворовыхъ?

Написали и это. Свербѣевъ, между прочимъ, хватилъ, что ему обученіе кузнеца обошлось въ 1000 руб. серебромъ...

— Бога вы не боитесь, Сысой Иванычъ, — усмѣхнулась Павлова-Трагедія, заглянувъ въ его бумагу: — ну, гдѣ же тысячу? Да вашъ Парфенка обучался за харчи...

— Ну, такъ сто рублей! — смягчился, глядя на меня, Свербѣевъ.

— Пишите тридцать цѣлковыхъ и баста! — отрывая отецъ Павелъ: — и то широкогато.

Свербѣевъ молча вписалъ въ клѣтку 30 и вздохнулъ. Между тѣмъ, Дарья Адамовна Комедія задвигалась по стулу, собиравшись что-то сказать.

— Что вамъ, сударыня? — спросилъ я.

— Я, право, не знаю, какъ тутъ быть! — сказала она: — двѣ ревизіи сряду у меня люди были показаны при сорока-пяти десятинахъ земли, а у меня земли, кромѣ усадебной, нѣтъ уже давно, болѣе двадцати лѣтъ, ни клочка...

— Въ острогъ, матушка, въ острогъ засадятъ! — бухнулъ Свербѣевъ, подмигивая на остальныхъ.

Число господскаго и крестьянскаго скота, количество земли пахотной, сѣнокосной, лѣсной и выгонной также было записано примѣрно. Всѣ справлялись другъ у друга, вписывали и не замѣтили, какъ въ полчаса съ небольшимъ главные статьи программы были рѣшены.

— Перейдемъ теперь къ оцѣнкѣ полевыхъ и усадебныхъ участковъ, — сказалъ я: — а также къ настоящему положенію.

Всѣ стали въ духъ. Бесѣда не умолкала.

Вечеръ лилъ потоки огней и, казалось, не хотѣлъ сходить съ неба. Даже обѣ Павловы повеселѣли и дружно разговаривали.

— Вы, Сысой Иванычъ, первый назначайте: по чему кладете десятину пахотной земли? — спросилъ отецъ Павелъ Свербѣева.

— А по чему? Меньше нельзя, какъ сто цѣлковыхъ: вѣдь это на вѣчныя времена отходить.

— Какъ сто?! — Полтора ста!!.. — отозвался чей-то голосъ, и всѣ за нимъ зашумѣли и никого уже нельзя было разслушать.

— Меньше двухсотъ нельзя! — до охриплости и съ гнѣвой

у рта кричала незамѣченная до тѣхъ поръ, совершенно сморщенная старушка, безъ одинаго зуба во рту и съ чернымъ зонтикомъ: — нельзя! какъ можно, и того мало... и того... Видь это наше, наше! Да говорить же вамъ—наше! Триста... Меньше трехсотъ нельзя!

Она расплакалась.

— Полноте, гдѣ же слыханы такія цѣны,—сказалъ я:—вы на себя накличете бѣду, вызовете недовѣріе правительства...

Всталъ Свербѣевъ.

— Нѣтъ, ужъ па-а-звольте; вотъ, на примѣръ, мой хлыстикъ: онъ стоитъ въ лавкѣ цѣлковый—да купецъ-то можетъ за него просить хоть пятьдесятъ. Спросъ мѣры не знаетъ. Когда я былъ въ цѣлну у Шамила, онъ одинъ разъ и говоритъ: что, говоритъ, можно взять за этотъ архалукъ?..

— Ну, пошла коза на базаръ!—возразилъ священникъ.

Всѣ были въ замѣшательствѣ.

Я пустился объяснять, какъ цѣнятся земля. Всѣ соглашались со мной. Но цѣну требовали все-таки невозможную. Уже въ сумеркахъ помирились на 75 цѣлковыхъ.

— Засѣданіе закрывается!—сказалъ я, раскланиваясь:—завтра надо будетъ по планамъ опредѣлить величину усадебныхъ участковъ cadaго. Абрамъ Ильичъ займется этимъ съ утра и къ обѣду все кончить.

Всѣ встали, удивляясь, какъ это скоро все кончилось.

Всѣ начали наперерывъ приглашать меня и Говоркова, кто на ужинъ, кто на ночлегъ, кто на все время пребыванія нашего въ Сорокопановкѣ на квартиру. Но мы отказались, не желая обидѣть прежней хозяйки, Вѣncesлавской, непокидавшей меланхолическаго выраженія своего маленькаго лица. Всѣ изъявили желаніе провести насъ до ея дома. Мѣсяцъ взомель и обливаль яркимъ свѣтомъ сады и тихія улицы. Соловьи пѣли, прерывая наши толки о содержаніи дворовыхъ, о ихъ одеждѣ и обуви и о цѣнности усадебъ. Дарья Адамовна Трагедія распространялась о стоимости сѣрыхъ штановъ для повара Терешки, а неграмотный Чубченко-сынъ — о цѣнности башмаковъ и юбокъ отцовскихъ работницъ. Вечеръ закончился катаньемъ по рѣкѣ на лодкѣ отца Павла, причѣмъ Свербѣевъ не преминулъ заломить фуражку съ кокардой на бекрень и затянуть волжскую пѣсню, а потомъ вкленилъ рассказъ о катаньи на лодкѣ по ка-

кой-то рѣкъ у Шамиля. И когда отецъ Павелъ сказалъ запросто: «вренъ, Сысой Ивановичъ, на Кавказѣ такихъ рѣкъ нѣту!» подпоручикъ прибавилъ: «Есть, хотя мы еще до нихъ не доходили!».

Блаженные, тихіе уголки! Свербѣва вообще слушали не безъ любопытства. И никто во всей Сорокопановкѣ (не перечь только отецъ Павелъ) такъ легко не разъяснялъ европейской политики, не мирилъ и не ссорилъ Австріи съ Франціей и Англии съ Италіей, какъ Свербѣвъ. Рѣшили на рѣкъ, что вѣрнѣйшая цифра стоимости годового содержанія дворовыхъ съ души будетъ высшая 40, средняя 20 и низшая 10 руб. сер. въ годъ.

— А какъ вдругъ по сорока пѣлковыхъ велятъ намъ платить дворовымъ въ годъ, если мы это подпишемъ?—робко спросила Павлова-Комедія.

— Ну, что же, и будете!—сказалъ, усмѣхаясь, Свербѣвъ. Общество смолкло и потруилось въ думу.

— Э, господа,—сказалъ подпоручикъ:—совѣтую, нишито больше; а то еще скажутъ, что вы морили людей голодомъ!

Мы распростились съ остальными и ушли въ усадьбу Вѣнцеславской, гдѣ снова улеглись въ знакомой комнаткѣ съ запахомъ инбиря и калгана. Кто-то постучалъ въ окно—я отворилъ его.

— Вы потрудитесь,—сказалъ съ надворья Свербѣвъ:—завтра назначить сходку здѣшнимъ дворовымъ, надо имъ пояснить, чего имъ ждать и кого слушать.

— Такихъ сходовъ въ нашихъ инструкціяхъ не положено,—отвѣчалъ съ кровати Говорковъ.

— Нѣтъ, какъ ужъ хотите, а я ихъ вамъ соберу,—настаивалъ у окна Свербѣвъ:—смотрите же, поговорите. Боньню!..—Онъ ушелъ.

Инбирь и калганъ скоро насъ усыпили.

Было совсѣмъ свѣтло, когда я открылъ глаза. Говорковъ сидѣлъ, сгорбившись, противъ свѣта и держа у самого носа конецъ гусиного пера, свирѣпо чинилъ его, отхватывая ножомъ огромные куски.

— Вотъ,—говорилъ онъ:—и толкуй! Да тутъ такой хаосъ, что и не приведи Господи!

— А что такое?

— Да вотъ вамъ-то хорошо, а я съ зари возился, но хотѣплюнь...

— Что же именно?

— А то, что въ этихъ усадьбахъ самъ чортъ ногу сломасть. Обошелъ я, представьте, всю дачу сорокопановскую, чуть солнце взошло. Что же бы вы думали? Спросишь: покажите, гдѣ границы вашей усадьбы, двора, сада, огорода? А они въ отвѣтъ: «то мое, что видите, да и то, чего не видите и что перешло вонъ туда, это его проклятый отецъ отмежевать насильно и объ этомъ мною уже прошеніе подано!» И пошло: хвостъ одной усадьбы влѣзъ въ бокъ другой, садъ этого втемяшился въ огородъ того, а посреди ихъ всѣхъ усылся колодезь или свиной хлѣвъ третьего. Какъ тутъ ихъ усчитать? Все перепелось и спуталось. Жили прежде безспорно, а теперь, какъ пошло дѣло на объявленіе правъ, такъ на стѣну лѣзутъ. Чубченко грозитъ жаловаться на Свербѣева и на меня, Павлова-Трагедія даже съ полѣномъ за какимъ-то Никищенкомъ по улицамъ стала бѣгать,—носится съ бумагами и тычетъ мнѣ подъ носъ. Ходятъ толпами, на плетни влѣзаютъ и смотрятъ, что я дѣлаю. А двое подъ рукою объявили напросто, что поколотятъ всякаго, кто ихъ обмѣритъ.

— Ну, и что же вы?

— Приблизительно прикинулъ всякую усадьбу и баста. А тамъ пусть они же сами окончательно опредѣляютъ свои границы.

Мы вышли въ залу. Хозяйка сидѣла за чайнымъ столомъ. А по полу уже ходили и галки съ мѣшочками, и куцая сорока, и параличная болонка. Не успѣли напиться чаю, какъ явились жареные въ сметанѣ перепела, форшмакъ изъ карася и селедокъ, яичница съ ветчиной и еще что-то.

— Однако, пора бы и дальше,—сказалъ Говорковъ, выпуская подъ сюртукомъ на спинѣ запасныя пряжки:—но что-то господа обыватели нейдутъ.

— Да вотъ и они!—сказала хозяйка, глянувъ въ окно.

Вчерашніе наши знакомцы вошли снова и чинно сѣли въ залѣ. Всѣхъ набралось человѣкъ двадцать.

— Программы готовы?—спросилъ я, обращаясь ко всѣмъ.

— Готовы.

— Абрамъ Ильичъ! потрудитесь внести въ списокъ имена представившихъ.

Свербѣевъ тоскливо взглянулъ на Чубченка. Тотъ поведъ плечами.

— А крестьянъ скоро у насъ выкупить?—спросилъ Свербѣевъ.

— Мнѣ неизвѣстно.

— Полноте насъ корочить! Мы не дѣти...

— Какъ рѣшить комитетъ и какъ утвердить выше,—прибавилъ Говорковъ.

— Ну, а барщина крестьянину будетъ три дня на крестьянъ и шесть дней на дворовыхъ?.. Видь у насъ всѣ дворовые,—отнеслась Винцеславская, тоскливо деля свои взгляды.

— Не знаю и этого. Все дѣло рѣшить губернской комитетъ...

Младшій Чубченко перешелъ на цыпочкахъ къ старшему и что-то сказалъ ему на ухо. Они размахивали руками.

Свербѣевъ долго и упорно чесалъ у себя въ затылкѣ и сохлѣлъ, ворочая пальцами кровью глазами. Наконецъ онъ подошелъ ко мнѣ, взялъ меня за руку и сказалъ:

— *Bien merci*, за все—за все... мерси-сь... Но позвольте на пару словъ...

Отведи меня въ соседнюю комнату, онъ сказалъ: «ничего, ничего», заперъ дверь, опять подошелъ ко мнѣ, хотѣлъ что-то сказать, кашлянулъ и не могъ выговорить ни слова. Руки его дрожали, лицо было въ поту. Глаза смотрѣли въ землю.

— Экутѣ,—началъ онъ, оглядываясь:—насъ никто не видитъ! Я человекъ прямой... Безъ тонкостей... Скажите всю суицую правду, что тамъ съ нами будетъ? Я никому не скажу! а вамъ нужно. Откройте по секрету... Экутѣ—между честными людьми.

— Да говорю же я вамъ, что ничего не знаю... Видь я выборный, вамъ же дворянскіе...

— Ну... экутѣ!.. полноте—я вамъ...

Свербѣевъ сунулъ руку въ боковой карманъ сюртука.

— Вотъ... благодарность... помилуйте, между нами... это приношеніе всего нашего общества,—прошепталъ онъ, дрожа и, красный, какъ ракъ, сжимая мои руки.

Я разсмѣялся, отволъ его руки.

— Или мало?—спросилъ онъ, еще болѣе смѣиваясь.

— Полноте; не стыдно ли вамъ!—сказалъ я, отступая къ двери:—я вашъ же товарищъ! Клянусь вамъ, я ничего болѣе не знаю... Честью вамъ клянусь.

Свербѣевъ быстро сунулъ опять руку въ карманъ, круто

повернулся на каблукахъ, вышелъ въ залу, и я видѣлъ, какъ онъ свирѣпо махнулъ головой въ направленіи ко мнѣ, какъ бы говоря: «не поддается, хриstopродавецъ!»

Собраніе встрѣтило меня съ отмынной сухостью.

— Итакъ, вы ничего намъ болѣе не скажете?—спросила Вѣncesлавская.

— Ничего, къ сожалѣнію...

Подпоручикъ, между тѣмъ, оправясь и презрительно стукнувъ ногою, дерзко ходить по залѣ, шагала передъ самымъ моимъ носомъ. Хозяйка хотѣла-было начать веселый разговоръ, но Свербѣевъ обернулся къ остальнымъ и сказалъ:— «что же, господа! здѣсь намъ болѣе нечего дѣлать. У! Тончайшій человѣкъ». И онъ, съ судорожнымъ смѣхомъ, развелъ въ мою сторону руками.

Положеніе мое дѣлалось невыносимо. Всѣ стали раскланиваться. Я откланивался усердные поклоны.

— Па-а-звольте, однако!—отозвался опять Свербѣевъ:—у отца Павла, если угодно, во дворѣ собраны здѣшніе крестьяне и дворовые. Поговорите съ ними. Мы просимъ васъ.

— Право, господа, невѣжѣмъ... Ну, что же я имъ буду говорить? Не время еще, ничего еще не рѣшено!

Говорковъ кивнулъ мнѣ пальцемъ. Я подошелъ къ нему.

— Позвольте мнѣ поговорить за васъ; я поговорю!—сказалъ онъ шопотомъ.

— Ну, извольте! пойдемте!—сказалъ я вслухъ и взялъ шапку.

Мы пошли всѣмъ обществомъ. Вѣncesлавская, провожая насъ съ крыльца, изъ-за кучи птичьихъ клітокъ, объявила, что рано еще уѣзжать и что намъ слѣдуетъ остаться отобѣдать. Лошадей нашихъ уже запрягли, и мы отказались, благодаря отъ души хозяйку. Садомъ мы поили къ усадьбѣ священника. Изъ-за плетня мы увидѣли толпу крестьянъ, челоуѣкъ въ пятьдесятъ. Священникъ, въ подрясникѣ, ходилъ передъ ними и что-то имъ объяснялъ. Дворяне презрительно остановились въ сторонѣ. Свербѣевъ, съ проницательной улыбкой, косясь на меня, издали помахивалъ хлыстикомъ и крутилъ усы. За ними слѣдовала уже запряженная наша иеточанка.

— Ну,—шепнулъ я Говоркову:—что же вамъ рѣчь? Пора ужъ ѣхать!..—Говорковъ обдернулъ фалды своего скюртука,

ступилъ шагъ, кашлянулъ, глянулъ въ землю и, какъ-то странно пискнувши, началъ:

— Что, ребята, вѣрите ли вы мнѣ?

Отвѣта не было.

— Я васъ спрашиваю, вѣрите ли вы мнѣ и тому, что я скажу? Иначе не стоить и словъ терять.

Двое изъ передняго ряда крестьянъ усмѣхнулись. Остальная толпа хранила молчаніе. Всѣ, держа въ рукахъ шапки, смотрѣли внизъ. Это были большею частью дворовые, бобыли, бобылей, то-есть батраки мелкопомѣстныхъ. Лица угрюмыя, притупленныя отъ лѣни и праздности. Одежда у всѣхъ была сборная: у одного тулупъ, у другого ополченскій поношенный кафтанъ съ нумерованными пуговицами; у кого бѣлая рубаха, съ гребешкомъ на веревочкѣ; у кого дырявая свитка, или порывчатый плисовый жилетъ. Здѣсь же стояла плечистая сердитая баба, въ сапогахъ и въ старомъ кучерскомъ армякѣ.

— Вѣримъ, говори!—робко сказалъ молодежавый, широкоплечій паренъ, въ кожаномъ фартукѣ, нѣчто въ родѣ кузнеца или скорняка:—отчего не повѣрить—на те ты присланъ, ваше благородіе.

— Ну, такъ слушайте же!—сказалъ Говорковъ, усиливая голосъ. Крестьяне сдвинулись тѣснѣе.

— Давно уже, ребята,—продолжалъ Говорковъ:—давно у васъ идутъ толки о вольности. Не такъ ли?

— Еще бы!—послышалось среди дворянъ.

— Ну, такъ знайте же, что господа сами хотятъ вамъ дать вольность. Да надо только подождать... Въ Россіи пятьдесятъ да и съ хвостомъ еще губерній, а въ губерніяхъ по 10 и по 15 уѣздовъ. Ну, и совѣтуются теперь всѣ эти пятьсотъ уѣздовъ, какъ бы дѣло вышло лучше.

— Ну, а метла на небѣ, звѣзда-то, что по вечерамъ видна, что значить?—спросилъ изъ толпы сѣдой, какъ лунъ, старикъ. Ему не дали договорить и удержали его за полы...

Абрамъ Ильичъ не умолкалъ. Его слушали внимательно. Отецъ Павелъ, надѣвъ очки, что-то торопливо приписывалъ въ раскрытомъ на подоконникѣ Евангеліи.

А солнце свѣтило ярко и вмѣстѣ безмятежно. Птихи и другія птицы затихли и будто также внимали несслыханнымъ рѣчамъ Говоркова. Тучка набѣжала на солнце. Прохладная тѣнь надвинулась на луга и на половину села, съ зеленою-

щими на берегу и далеко видными усадьбами Павловыхъ. За церковью раздавалось серебристое ржанье жеребенка, искавшаго потерянную имъ, среди огромныхъ есельскихъ пустыррей, мать.

Часа черезъ два крестьяне разошлись, молча, не глядя другъ на друга и долго не надвывая шапокъ. Слова Абрама Ильича ихъ какъ-то озадачили. Парень въ кожаномъ фартукѣ особенно долго не могъ утомониться. Онъ стоялъ на бугрѣ, среди улицы, провожалъ глазами остальныхъ, и мысли его, казалось, были далеко-далеко...

— Что, Абрамъ Ильичъ, о чемъ думаете? — спросилъ я Говоркова, когда мы вышли изъ Сорокопановки.

— Скверно на душѣ! — отвѣтилъ мой спутникъ: — никого, кажется, не обидѣлъ, а что-то такъ неловко, такъ неловко...

1859 г.

~ ~ ~ ~ ~

ФЕНИЧКА.

РАЗСКАЗЪ.

I.

Школа.

«Вы осмотрѣлись и видите, что вы въ юнкѣ. Прическа головы, передникъ, талия и все въ порядкѣ. Вы очень довольны, что вы не мальчикъ, и дѣласто книжесень».

Вопросы жизни Пирогова.

— «Гдѣ остановился Носъ Ковчегъ.

— «На Арбатѣ...

Сцена на экзаменѣ.

Случилось какъ-то, въ одной изъ южныхъ губерній, губернскому предводителю дворянства заѣхать въ бѣдный выслухъ, на перепутьѣ съ какого-то званого пира. Пока кучеръ выбивался просѣякомъ напрямикъ, собралась сильная гроза. Небо обожгло тучами. Не успѣла карета поровняться съ дверью низенькой мазанки, а довольно тяжелый сановникъ вскочить въ сѣни, какъ дождь хлынулъ и громъ раздался у самыхъ оконъ. Заходила ходономъ бѣдная мазанка, и захлопотался при видѣ высокаго почитателя старикъ-хозяинъ, отставной, или, собственно, уволенный безъ прошенія изъ сосѣдняго суда, протоколистъ Басорскій. — «Ахъ ты, Боже мой, Господи!»—воскликнулъ онъ, мечась безъ толку въ темной каморкѣ. Съ трудомъ напялилъ онъ зеленоватый сюртукъ съ бронзовыми пуговицами, провѣлъ ладонью по бородѣ, усѣянной сѣдой щетиной, тяжело вздохнулъ, засто-

гнулся на всѣ пуговицы и съ треномъ явился къ его превосходительству.

— Кто тамъ?

— Это я, ваше пре—ство! хозяинъ!

— А! ты откуда?

— Здѣшній, тутъ и родился-съ...

Слуга подъ шинелью пронесъ изъ кареты снадобья для чаю, сигары и французскую книжку. Предводитель усѣлся къ окну. Чтеніе, однако, не шло въ голову. Дождь лилъ, какъ изъ ведра; ручьи съ ревомъ неслись подъ колесами кареты и ногами свѣсившихъ уши лошадей.

— Васька! Да гдѣ же у тебя глаза-то? — крикнулъ садовникъ въ окно, указывая пальцами.

Сѣдовласый кучеръ Васька молча спялъ попону и укрылъ любимую пристяжную лошадь. Подали чай. Хозяйка стерла со стола.

— Много у васъ земли?

— Десять десятинъ, ваше пр—ство! — грустно отвѣтилъ хозяинъ, ступивъ отъ двери и пощипывая то пуговицу, то пазыльные волосы на бородѣ.

— Гм! Есть еще какія-нибудь угодья, заведенія?

— Есть овечки, пара воловъ; траву косимъ, корову держимъ, свиней кормимъ, куръ.

— Что же, это хорошо!

— Гдѣ хорошо, ваше сіятельство! Сбыту вовсе нѣтъ. Городъ далеко, дорога большая тоже, сами изволите знать. Вотъ у нашего засѣдателя, черезъ рѣчку, лѣсу тысяча десятинъ, дубу; цѣны никакой нѣтъ, ну, никакой ровнехонько—такъ и гнѣтъ. По рѣкѣ бы его хорошо сплавлять. За полтора ста верстѣ оглобля полтинникъ стоитъ. Такъ и сидимъ; какъ пройдетъ кто-нибудь, получишь тамъ за сѣно, да за чай. А то и на сапоги, да на юбочку жепѣ не хватаетъ...

— Какъ же ты, чѣмъ живешь?

— Перебиваемся кое-какъ.

— Да, о лѣсѣ ты, дѣйствительно, вѣрно замѣтилъ; по рѣкѣ его точно хорошо бы сплавлять. Написалъ бы ты, братецъ, просятъ, вышнему бы начальству передать...

— Не могу, ваше пр—ство; мнѣ запрещено просятъ подавать, подлинску взяли...

— Отчего?

— По злой судьбѣ, такъ выравиться — штрафовать,

якобы въ ябедахъ и въ составленіи клузныхъ бумагъ замѣшанъ...

Предводитель на это ничего не сказалъ.

Буря, между тѣмъ, утомилась. Гость напился чаю, закусилъ личинцей, сдѣланной наскоро хозяйкой, толстой апоплексической бабой въ миткалевой юбкѣ и въ платкѣ на головѣ, спросилъ: — прояснилось-ли на дворѣ? — получилъ утвердительный отвѣтъ и велѣлъ подавать лошадей.

— Ну, любезнѣйшій, тѣмъ же мнѣ тебя отблагодарить? — спросилъ гость, вынимая, хотя еще не развязывая, кошель. Хозяинъ въ это время явился съ подносомъ.

— Не откажите наливочки! — сказалъ онъ.

— А, очень радъ! однако, какъ же насчетъ платы-то? что съ меня возьмете за сѣно и за закуску? — все еще улыбаясь и не развязывая кошелька, прибавилъ гость.

Жена глянула на мужа, судорожно запахнулась платкомъ и, кланяясь, отвѣтила:

— Ничего намъ не надо, ваше превосходительство; мы и на чести одной довольны, а о васъ слышались — о вашей добротѣ!

— О, нѣтъ, нѣтъ, я этого не хочу. Говорите, говорите, что вамъ надо? не надо ли мѣста? Я все сдѣлаю, все могу! — отвѣтилъ гость, пряча кошель въ карманъ.

У жены при словѣ о мѣстѣ дрогнули руки. Изъ ея памяти еще не выходили тѣ свѣтлые городскіе дни, когда купцы несли къ ней сахаръ, муку, рогожки, рыбу и все. Мысль о попыткѣ получить новое теплое мѣстечко пріятною улыбкою расположилась и на лицѣ мужа.

— Если ужъ ваша милость, если на нашу дворянскую бѣдность...

Въ это время предводитель случайно взглянулъ въ окно.

По прояснившему двору, вприпрыжку по лужамъ, бѣжала изъ сосѣдняго мелколѣся дѣвочка, лѣтъ семи или восьми, въ одной рубашечкѣ, босая и съ лукошкомъ какихъ-то ягодъ. Не замѣтивъ кареты за угломъ, она разлетѣлась и стремглавъ вскочила въ сѣни. Капли сбѣгали съ ея густыхъ, нерасчесанныхъ волосъ и дрожали на полныхъ, изъ-сиза раскраснѣвшихъ щекахъ. Глаза внимательно и пугливо остановились на незнакомцѣ.

— Чья это? — спросилъ предводитель.

— Дочка наша; простите, такая глупая, шаловливая! —

отвѣтила мать, дѣлая знаки глазами на гостя дочери— ушла за ягодами, пострѣлёнокъ, да и промокла.

— А! Очень рады! Привезите ее ко мнѣ, и я ее пристрою. Ты хочешь, дѣвочка, въ городѣ жить?

Дѣвочка закинула за плечи длинныя волосы и молча поведя глазами изъ сѣней въ растворенныя на крыльцо двери.

— Ваше пр—ство! вѣкъ будемъ Бога молить! —заговорилъ отецъ.

— Ну-да! ну-да! Вы ее доставьте мнѣ, а тамъ уже я ее пристрою!

Съ этими словами гость сѣлъ въ карету, лошади двинулись. А мужъ и жена долго еще стояли, глядя то на дорогу, то на дочку, и тутъ же положили, что не надо упускать такого благодатнаго случая.

— Вотъ, нечаянно-негаданно, —судили они: —Господь далъ праздникъ; теперь ужъ Фенюча наша —отрѣзанный ломоть. Какъ тамъ ни говори, а все же со двора долой, съ рукъ делой, и сами сыты будемъ. Промаячить тамъ, какъ ни на есть, живучи у больныхъ людей. Еще и денегъ припасеть и насъ прокормить. Богатая рука хоть кому помога.

Черезъ мѣсяцъ, Иванъ Григорьевичъ Басорскій, обитатель уединеннаго хутора, запрягъ пару воловъ, одѣлся въ свою чунарку, взялъ кулекъ съ закуской и припасеннымъ кстати на базаръ масломъ, посадилъ съ собою дочку и отвезъ ее въ губернскаго городъ. Былъ вечеръ, —лакомка-предводитель воротился съ именинъ отъ губернатора. Жена встрѣтила его еще въ коридорѣ.

— Что это ты, Павелъ Романовичъ, затѣялъ? Какихъ это ты нищихъ вадумалъ брать на прокормленіе?

— Какъ? что?—спросилъ съ пѣвностью мужъ, давно, поправдѣ, забывшій и стоянку на хуторѣ, во время грозы, и свое общаніе.

— Да помилуй, тамъ съ утра въ людской ждетъ тебя какое-то чучело, съ краснымъ носомъ, и такъ странно смогреть. Онъ привезъ какую-то дѣвочку.

Позвали нежданнаго гостя. Сановникъ, тѣмъ временамъ, соная зубочисткою въ зубы, все уже успѣлъ припомнить, и собѣстно ему стало послушаться супруги, которая настандала, чтобы скорѣе этихъ непрошашахъ прогнали со двора.

— Хорошо, мой любезнѣйшій, хороша! Ступай себѣ, по-бѣжай, твое дѣло рѣшеное. Ступай, я позабочусь о судьбѣ

твоей дочки! — сказала предводитель, принимая изъ дрожащихъ рукъ просителя бумаги о рожденіи и крещеніи дѣвочки.

— Ваше превосходительство, не оставьте!

Иванъ Григорьевичъ не распространялся болѣе потому, что, въ чайнѣ разлуки съ дочерью, закатилъ уже порядкомъ за галстукъ въ сосѣднемъ кабачкѣ, и на утро, съ трудомъ помахивая на воловъ, съ предводительскаго двора поѣхалъ обратно на хуторъ.

Дѣвочка приведена къ барынѣ. Въ ситцевомъ платьишкѣ, материнскомъ полиняломъ платкѣ на головѣ и съ загрязнившимися ножками, она не понравилась генеральшѣ.

— Какъ тебя зовутъ?

— Химочка...

— Это чтѣ такое? — спросила генеральша въ носъ, оправляя одежду замарашки и относясь къ своей наперсницѣ Марѣ Кондратьевнѣ, тощей, вдовой и бездѣтной домоправительницѣ изъ вольноотпущенныхъ.

— Это имя у малороссовъ значить Афімья, Феничка. Притомъ же, сударыня, какіе теперь дворяне у насъ бѣдные! Стыдно смотрѣть!

Генеральша еще строже взглянула въ лицо дѣвочки.

— Грамотѣ умбешь?

— Умѣю-съ...

— А руки отчето у тебя выпачканы, а?

Дѣвочка съ напряженнымъ удивленіемъ взглянула собѣ на пальцы, потомъ на блѣдныя, начавшія дрожать, губы предводительши.

— Чтѣ же ты не отвѣчаешь? а? Говори же?

— Ахъ, сударыня, да вы посмотрите, вѣдь ужъ это таково заведеніе, — возразила домоправительница: — вѣдь у нея и глаза, какъ у кошки, смотрять. Чтѣ ты смотришь такъ на барыню? У, звѣрѣногъ...

Домоправительница не кончила. Нервная генеральша глубоко вздохнула, закатила глаза, потребовала капель и, охая, опустила въ кресло. Къ вечеру дѣвочка была сослана на кухню.

— Я тебя, Павелъ Романовичъ, не понимаю! — сказала предводительша мужу: — ну, какъ быть до того малодушнымъ, безъ характера, до того флютеромъ, что куда вѣтеръ поѣдетъ, туда и ты? Выдумали прежде мыльные пузыри пу-

скать, и ты началъ; потомъ въ столицахъ стали обеды задавать всякимъ пробѣжимъ артистамъ и знаменитостямъ, и ты туда же. А теперь ударились все на благотворенія, и ты за ними! Да гдѣ же твой характеръ? Это просто смѣшно и жалко!

Мужъ сталъ утѣшать.

— Да помилуй, душа моя, о чемъ твоя забота? Твоей заботы быть тутъ не должно! Пойми меня, и только! Горе въ томъ, говорю я тебѣ въ тысячный разъ, что ты никогда не понимала и не хочешь понять ни моихъ замысловъ, ни моихъ стремлений и идей. (Жена возвела глаза къ небу и, вздохнувъ, сильнѣе прижала стилинку съ эфиромъ къ носу). Нынче вѣкъ такой! Надо отличать себя въ кругу сословія стремленіемъ къ добру. Надо поражать, ярко биться въ глаза. *Coup d'état*, ма-шерь, во всемъ! На моемъ мѣстѣ отъ меня требуютъ, ждутъ добра...

— Хорошо добро! разводить цинцихъ! Лучше бы вы подумали объ уплатѣ вашихъ долговъ, да поменьше въ карты съ дворянами играли!

— Ну, слушай, эту дѣвочку еще можно взять на руки, это еще—дита природы.

— Смѣшно и глупо, смѣшно; и больше ничего! И съ чѣмъ это сообразно! У самого состояніе на волоскѣ, сытъ въ гвардіи служить, дочь — невеста и почти на выдачѣ, а онъ, какъ Евгеній Сю, по вертепамъ бѣдности ходить, да подбираетъ себѣ членовъ въ богадѣльню! Паясничество, и больше ничего!

Въ это время дверь тихо отворилась; съ кошачьей улыбкой, чуть трогаясь ковра, вошла и стала у порога Марѳа Кондратьевна.

— Что тебѣ, Марѳуша?

— Тамъ, сударыня, эта дѣвочка, которую ихъ милость приказали позволить оставить на кухнѣ, просто на стѣну лѣзетъ: реветъ-ревмя, какъ батракъ какой. Просто удержи нѣтъ, и какъ бы еще чего дурного не сдѣлала!

Барыня выразительно взглянула на мужа.

— Вотъ тебѣ и стремленіе къ добру, и дита природы! (Домоправительница, постоявъ немного и не замѣчая къ себѣ участія, вышла). — Слушайте, милостивый государь, — сказала, даже вскочивъ на кровать, супруга: — я не желаю, я не хочу, чтобъ эта дрянъ тутъ оставалась долѣе; сейчасъ ее вонъ! Слышите ли? сейчасъ!

Мужъ, уже знаи насквозь свою жену, тоже не отличавшуюся знатнымъ происхожденіемъ, мало обратилъ вниманія на это ѣдкое восклицаніе.

— Посуди хладнокровно, — сказалъ онъ, потирая лысину: — ее можно отдать въ пансіонъ. Пять лѣтъ она тамъ пробудетъ: двѣсти цѣлковыхъ въ годъ, и того тысяча. Пансіонъ мадамъ Барежъ, — очень хорошій пансіонъ!

— Да это курамъ на смѣхъ! У тебя нѣтъ тысячи цѣлковыхъ на карету для дочери, на роуль, а ты бросаешь въ грязь! У тебя сынъ безъ порядочной верховой лошади; долтъ въ опекуновъ совѣтъ за два года не заплаченъ!

Мужъ задумался. Наконецъ, нагнулся къ уху жены и шепнулъ ей:

— Ну, что же, душа моя, дѣлать? Срокъ мой исходитъ; скоро новые выборы. Надо, во что бы то ни стало, пустить въ ходъ какое-нибудь благодѣаніе въ пользу бѣднѣйшей части сословія! Объ этомъ заговорять, и дѣло въ шляпѣ. Судьба этой дѣвочки должна быть устроена, и я ее устрою.

Прошло нѣсколько дней. На таинственныхъ совѣщаніяхъ въ спальнѣ было положено замарашку одѣть и приготовить къ поѣздкѣ. Предводительская дочка, напыщенная и гордая барышня, тронутая слегка оспой, сидѣвшая съ утра за фортепиано, которое, впрочемъ, какъ-то ей плохо покорялось, и надменно-молчаливо выходившая къ гостямъ, что не мѣшало ей лицу украшаться еще отменно-прекрасивыми угорьками на лбу и на носу, взялась за снабженіе ее платьемъ. Изъ старой распашонки, съ обильнымъ запасомъ ругательства, передѣланъ мѣниловатый нарядъ, куплены козловые башмаки. Волосы заплетены косами и перевиты бархаткой, въ руки данъ носовой платокъ.

— Ты умѣешь читать? — спрашивала предводительская дочка.

— Умѣю.

— А молитвы знаешь?

— Знаю.

— Кто же тебя училъ читать?

— Горихвостовъ, Петръ Михайловичъ, сосѣдь нашъ; а паленъкъ все некогда было!

Посадили Феничку въ экипажъ, съ предводительскимъ секретаремъ, и повезли по широкой улицѣ. Дѣло въ томъ, что предводитель, по старому знакомству и новымъ отноше-

ніямъ, былъ друженъ съ директрисой мѣстнаго благороднаго института. Старушка была у него въ долгу за какую-то значительную услугу съ его стороны передъ губернаторомъ и, какъ разсудительная женщина, ждала только случая отблагодарить его. Онъ написалъ къ ней, что высылаетъ на ея заботы, для помѣщенія въ «благодѣтельное для сиротъ учрежденіе», бѣдную дѣвочку-дворянку, дочь «престарѣлаго», «немецкаго» и «заслуженнаго отставнаго чиновника» его губерніи, дѣвочку, просто чудомъ открытую имъ среди страданій убогой семьи, въ одну изъ его побѣдокъ по службѣ, по бѣднѣйшимъ закоулкамъ края. У директрисы случилась свободная вакансія, и дѣвочка была тутъ же принята и записана въ первый дѣтскій классъ подѣ именемъ *Евфиміи Исаановны Басерской*. Новая ученица вошла подѣ кровѣ опрятнаго, щегольского, красиваго зданія, съ золотомъ надписью. Утро стало смѣняться вечеромъ, уроки рекреанціями, прогулки репетиціями. Много смѣнилось босыночекъ, износилось чулковъ и передничковъ. Дѣтство уступило мѣсто отрочеству, отрочество юности. Тамъ прибавилась округлость, вѣдѣсь увеличена мѣрка платья, тамъ зашевелились неясныя грѣзы. Изъ ребенка незамѣтно стала взрослая дѣвушка...

А между тѣмъ, пока совершилось десять узаконенныхъ лѣтъ, много судебъ прошло и внѣ ея мѣста воспитанія. Предводитель вскорѣ былъ не избранъ, уѣхалъ въ огорченіи въ деревню, гдѣ и скончался отъ удара, среди долговъ, на рукахъ жены и дочери. Его мѣсто увидѣло трехъ новыхъ преемниковъ. О дѣвочкѣ Басерской забыли всѣ. Да мало думали о ней и собственные ея напѣнька и маменька. Знали они, что куда-то, по милости генерала, въ науку отдана ихъ дочка, а куда именно и въ какую науку, они, грубые люди, даже хорошо и не дознавались. Матушка, здоровенная баба, попрежнему возилась съ утра до поздняго вечера, доила коровъ, варила обѣдать и ужинать, яростно скребла ножомъ бѣлый липовый столъ, чистя хату передъ праздниками, ткала зимой холсты, прядла, откармливала и продавала свиней, по праздникамъ молча съ мужемъ напивалась до омертвѣнія, или отправлялась «повеселиться» къ такой же охотницѣ до хмельного, къ кумѣ-мѣщанинкѣ, въ сосѣднюю вольную слободу. Мужъ во всемъ оказывался слабѣе, хотя также, съ грѣхомъ пополамъ, хлопоталъ по хозяйству, ходилъ дома въ простой свѣтъ, задавалъ

гормъ воламъ, смотрѣлъ за пасѣкой, молотъ хлѣбъ на мельницѣ, ѣздилъ по разнымъ надобностямъ по сосѣдству, но болѣе шатался по уѣздному городу, стряпая потихоньку желающимъ просьбы и апелляціи и при этомъ, разумѣется, также усердно служа Бахусу. Когда ему и женѣ сосѣди говорили: «а что, гдѣ же ваша дочка?»—они отвѣчали:—«а! на свѣтъ не безъ милости добрыхъ людей; выйдетъ изъ науки, намъ же подмога будетъ!»

Между тѣмъ, какъ сказано, прошло десять лѣтъ, и Феничкѣ приходилось покинуть науку. Отца по почтѣ увѣдомили отъ института, что дочь его кончила съ отличіемъ курсъ ученія, и чтобы онъ за нею пріѣхалъ, или, если пожелаетъ, оставилъ бы ее, по уставу заведенія, еще на нѣсколько времени въ пепиньеркахъ при институтѣ. Насилу отыскала бумага за печатью заведенія увѣздъ, волею, глухой хуторъ и въ хуторкѣ, въ бѣдной мазанкѣ, самого Ивана Григорьевича Васорскаго. Старикъ сталъ искать очки. Оказалось, что руки его въ эти десять лѣтъ пріобрѣли еще болѣе дрожанія. Наняливъ на носъ оловянные очки и вскрывъ пакетъ, онъ прочелъ письмо сначала про себя и потомъ женѣ.

— Вотъ еще что!—говорила мать:—учили, учили, и опять учить! Слава тебѣ, Господи, ужъ теперь невѣста; въ Филиповку будетъ восемнадцать лѣтъ! Мнѣ будетъ помощница! Вотъ лѣвая рука, да и нога у меня, тоже лѣвая, совсѣмъ какъ изъ дерева стали. Паралитъ, что ли, подбирается! А тутъ нужно подати платить! Гдѣ безъ помощницы обойтись, и не думай этого, и не гадай! Не у насъ, такъ за хорошаго человѣка вамужъ отдадимъ!

Мужъ, не замѣчавшій до этого, чтобы женѣ нужна была помощница, не прекословилъ. Потолковали и съ сосѣдями. На волахъ за барышинею было положено не ѣхать, потому что это свѣстно и на смѣхъ поднимуть. А когда доходу въ годъ всего пятьдесятъ рублей ассигнаціями, за вычетомъ того, что проживешь, то на лошадей не кинешься. Рѣшили Ивану Григорьевичу дойти пѣшкомъ въ «губернію», а тамъ нанять «будку» у жидъ — и привезти Феничку домой, на покой. Иванъ Григорьевичъ завязалъ въ узелъ платка три цѣлковыхъ на наемъ жидъ, взялъ мелочи, про запасъ, для выпивки дорогою, перекинулъ черезъ плечо шинель и сапоги и пошелъ въ путь большою дорогою, въ губернію...

Тѣмъ временемъ, Евфимія Ивановна была въ раздумѣ. Годы воспитанія въ свѣтлой, шумной школѣ мелькнули для нея незамѣтно. Она даже ни разу въ этотъ срокъ не написала домой, и только теперь мысленно стала рѣшать вопросъ, какъ она поѣдетъ домой и какъ встрѣтитъ отца. Изъ маленькой замарашки она стала уже рослою, стройною дѣвушкою, съ полными, бѣлыми плечами, которые такъ и рвали изъ-подъ зеленого платья, съ густою каштановою кошою и карими глазами. Она уже отлично танцевала; красиво и ловко кланялась; ходила, точно лебедь бѣлая по синю морю плавала; шнуровалась въ рюмочку; знала она русскую литературу до Пушкина, по руководству Греча. — Писала очень мило по-французски, въ классныхъ упражненіяхъ, на предметы о восходѣ солнца, о трехъ розахъ и о значеніи Шатобриана въ искусствѣ. Декламировала изъ Федры Расина и умѣла дѣлать при публикѣ физическіе опыты надъ электрической машиной и воздушнымъ насосомъ. Отъ подружекъ заслужила имя «душечки-Фенички» и «божества», прошла съ ними усердно періодъ поведенія «грифелей», «мѣлу» и испиванія «уксуса» и, готовясь къ выпускному экзамену, раздѣлила съ ними также усердно человечество на «противныхъ штатскихъ» и «обворожительныхъ военныхъ», что не мѣшало, впрочемъ, ей съ ними «обождать» подслѣпотаго и чахоточнаго учителя русской словесности, у котораго бѣдныя ланиты въ классахъ постоянно пламенѣли, и «презирать» учителя математики, сѣденькаго старичка съ подагрой, несмотря на то, что онъ былъ изъ военныхъ. На публичномъ испытаніи Феничка Басорская играла въ четыре руки съ княжной Райсой Вонзковской, изъ сосѣднихъ западныхъ губерній, громкій и ослѣпительный концертъ Тальберга. Потомъ она одна, въ числѣ двухъ другихъ солистокъ, пѣла «Гимнъ» на слова: «Гдѣ вы, гдѣ вы, дни намъ милы?» — сочиненный на случаѣ однимъ городскимъ статскимъ генераломъ, славившимся подписями къ портретамъ разныхъ сановниковъ, и увлекла всѣхъ своимъ густымъ, звонкимъ и широкимъ сопрано. Учитель музыки, худенькій, черненькій человечекъ въ золотыхъ очкахъ, мѣлъ при этомъ отъ удовольствія и, совершенно теряясь, направо и направо лепеталъ о ней полудознакомой публикѣ безсвязныя похвалы. Когда пришелъ срокъ, громко прочитали ее имя въ числѣ другихъ дѣвицъ: Евфимія Басорская получила шифръ и похвальную книгу...

Но не это собственно занимало всѣ языки. Горожане и толпы съѣхавшихся къ выпуску родныхъ узнали цѣлое драматическое событіе, эффектная сторона котораго тотчасъ ярко бросилась всѣмъ въ глаза и увлекла всѣхъ. Пронеслась вѣсть, что за этою хорошенькою дѣвицею, которая такъ мило пѣла институтскій гимнъ, престарѣлый отецъ-хуторянинъ, сѣдовласый старецъ, пришелъ за нѣсколько десятковъ верстъ прикомъ. По неизвѣстной причинѣ, у всѣхъ въ умѣ мелькнули тотчасъ образы Эдипа и Антигоны. Когда Иванъ Григорьевичъ, гладко выбрившись въ цирюльнѣ и выпивъ съ колбаской, въ сосѣднемъ кабачкѣ, стаканъ забористаго травнику, вошелъ въ залу, гдѣ происходило еще какое-то послѣднее испытаніе, родъ педагогической бесѣды, изобрѣтенія учителя математики, изъ семинаристовъ, — всѣ глаза и лорнеты обратились на него, на его сѣдую голову, потертый сюртукъ и красный носъ. Дамы стали сильно шепкаться и приходило въ волненіе. Локти и шали задвигались, подъ мѣрные вопросы экзаменатора: «А чтѣ приличнѣе въ свѣтѣ гражданину и гражданкѣ?» — «А къ чему намъ долгъ ведетъ, когда мы впадаемъ въ грѣхъ и преступленіе?» — Многія даже перезнакомились тутъ же въ залѣ, безъ чего прежде только холодно оглядывали другъ-друга съ головы до ногъ, или небрежно черезъ плечо. — «Вообразите, моя милая, у этой Васерской, говорятъ, нѣтъ даже теплаго капота, чтобы уѣхать». — «Говорятъ, у ея отца всего десять десятинъ земли и одна корова». — «Жена его сама ѣсть варить!» — «Э! это бы еще ничего! Но она, бѣдная, сама этого не знаетъ и не сознаетъ: восьми лѣтъ ее увезли изъ дому. Бѣдная, бѣдная!..» — Изъ этихъ толковъ составилось то, что такъ особенно любятъ составлять барыни. Быть пожертвованъ теплый капоть, нѣсколько бѣлья и башмаковъ. Не забыты были и два, довольно ловко сшитыя, хотя и поношенныя платья; одно букмуслиновое, съ перелинкою, а другое гроденаласовое, съ воланами. Жертвованныя вещи сыпались щедро. Нѣкоторые самолюбивыя дамы даже въ послѣдствіи усердно просматривали нумера газетъ, тайно отыскивая, не припечатано ли гдѣ-нибудь ихъ имени за powerful приношенія на пользу ближнихъ. Замѣшали даже какого-то откупщика, который до того времени сидѣлъ только за счетами и весьма безграмотно подписывалъ свое прозванье, а тутъ счелъ себя образованнѣйшимъ человекомъ,

покровителемъ наукъ и художествъ и чуть не философъ. Онъ пожертвовалъ купя въ пятьдесятъ рублей серебромъ, на каковую сумму тутъ же, по совѣту учителя русской словесности, было куплено много книгъ, между прочимъ, изданіе сочиненій Жуковского и Муравьева «Путешествіе по святымъ мѣстамъ», и совершена подписка на три литературныхъ, два музыкальныхъ и одинъ дамскій рабочій журналъ. Книги и билеты на журналы поднесены господамъ Басорской, въ особой коробкѣ, раздушенной и разрисованной, вмѣстѣ съ другими подарками, одною изъ выходящихъ дѣвицъ, причемъ нѣкоторыя изъ дамъ, въ слезахъ и чуть не умирая отъ жалости, почти вслухъ восклицали при Феничкѣ:

«Только осторожнѣе, осторожнѣе, ме-дамъ; чтобъ не обидѣть ее, ахъ, чтобъ не обидѣть ее подарками! Она дѣвушка съ чувствомъ!»

Феничка приняла всѣ подарки съ граціозною улыбкою и съ какимъ-то особенно праздничнымъ чувствомъ радости, перечековавъ плечи у дарительницъ и увлекши въ сотый разъ всѣхъ своею милосивидностью, востѣпчивостью, румянцемъ, полнотою щекъ и молодого стана. Надавали подруги Феничкѣ и она имъ клялась въ «вѣрности и дружбѣ до гроба», обѣщали другъ другу писать обо всемъ—обо всемъ, и часто-часто—причемъ княжна Раиса Вонзковская даже проколола себѣ палецъ и кровью написала ей на лоскутѣ бумаги: «въ бѣдѣ и въ горѣ доставь мнѣ случай тебѣ помочь, и я все отдамъ, все сдѣлаю, чтобъ быть тебѣ полезной!» Взяла Феничка съ собою на дорогу неоконченную работу Мери Кахновичъ *broderie anglaise*, запаслась какимъ-то особенно неистовымъ, переданнымъ ей одною изъ подругъ, романомъ Поля Феваля, и поѣхала съ такою мыслію: «бѣдность—вещь нехорошая и довольно, какъ говорятъ, противная; но я постараюсь озоветить дни и часы старыхъ родителей, и подъ шпаланомъ водворить рай! О, да, постараюсь!...» И, раскрывъ дорогомъ, въ трясучей и темноватой будкѣ жада, книжки, она переложила на новую страницу вышитую тамбуромъ закладочку, оправила платъ и взглянула на отца. Отецъ молча сидѣлъ въ углу будки и, утикнувъ носъ въ воротникъ, смутно глядѣлъ изъ-подъ полести окна на дорогу.

Что ему думалось въ эту пору? При первомъ свиданіи съ

дочерью, когда вечеромъ, при яркомъ освѣщеніи лампъ, его ввели по длинному ковру въ залу, ему показалось, что передъ нимъ очутилась если не сама сказочная богиня, то, по крайней мѣрѣ, царица-фея. Такъ показалась ему нарядна и представительна его собственная дочка, его Феничка. Онъ даже чуть-было не приложился къ ручкѣ, чуть невольно не попросилъ извиненія, точно былъ виноватъ чѣмъ-нибудь, и потомъ пристально-пристально посмотрѣлъ на нее, улыбаясь, скрипя табакеркой и собираясь сказать ей особенно что-нибудь милое. Но ничего не сказалось; тщетно онъ искалъ въ чертахъ смущенной, съ своей стороны, и миловидной дѣвушки черты былой Фенички. А другія дѣвицы, княжны и помѣщицы, генеральскія и ассессорскія дочки, о которыхъ ему рассказывали до прибытія его дочери словоохотливый сосѣдъ по мѣсту въ залѣ, ходили мимо и посылали Феничкѣ то улыбки, то особые знаки любви, дружбы и равенства. Ликовалъ втайнѣ Иванъ Григорьевичъ: «поди съ нашею Химкою! вонъ она съ кѣмъ за панибрата».

Съ этими чувствами онъ и въ дорогу выѣхалъ. Да уже въ дорогѣ немало призадумался, сожалѣя, что безъ парада, въ простой жидовской будкѣ пустился, и что было бы лучше какъ-нибудь купить дрожки, или коляску и лошадей бы купить, одѣть дочку во всѣ одежды, какія только подарены, и провезти такъ по уѣзду—знай-де, любуйтесь такою писанною красавицею!

Не то ожидало ее дома.

Приѣхали они въ праздникъ, послѣ обѣда перекусивъ и переодѣвшись по близости, въ корчмѣ, неравно дома гости есть. Перышкомъ вспрыгнула Феничка изъ будки, оправивъ платье, достала шелковый красный платокъ, припасенный подарокъ для матери, и быстро вошла въ сѣни.

— Нѣтъ, дочка, постой, не ходи: мать спитъ послѣ обѣда; какъ бы не разсердилась.

— Нѣтъ, нѣтъ, я хочу маменьку видѣть, маменьку!..

И она вошла въ темную комнату, гдѣ съ закрытыми ставнями отъ мухъ покоилась старуха. Дочь наклонилась къ морщинистой, запекшейся щекѣ ея и не рукой, а тѣмъ же нѣжнымъ поцѣлуемъ разбудила мать. Отецъ не безъ основанія удерживалъ дочь: отъ матушки несло водкой. Какъ уже сказано, былъ праздникъ и послѣобѣденное время. Мать раскрыла мутные посоловѣлые глаза и долго не могла придти

въ себя; наконецъ, утерла ротъ, встала, оправила на головѣ платокъ и сказала:

— А! это ты, Химко! Хорошо, что ты приѣхала, только плохо, что мать такъ ни за что разбудила. Впередъ того не дѣлай! Видно, что этому не учили тамъ, гдѣ ты была! Дочь была озадачена.

— Ну,—начала ласковѣ матушка:—дай же, я подивлюсь на тебя, какая ты стала!

Окна растворили. Старуха сперва пристально осмотрѣла на всѣ стороны подаренный платокъ, потомъ дочку, напилась потомъ воды, перебрала и пересчитала всѣ дочкины наряды и книги, бѣлье и разныя бездѣлушки. Наконецъ она задумалась, вышла на крыльцо, сѣла, сложила руки, зѣвнула, перекрестила ротъ и сказала:

— Ты, можетъ, дочка, привыкла чай пить и теперь хочешь?

— Нѣтъ, маменька, не хочется; если вы выпьете, такъ и я.

— Э! дура же ты, коли это говоришь. Нѣтъ у насъ чаю для себя и въ заводѣ, и не за что пить, а держимъ только для приѣзжихъ!

Дочь потупилась и смолчала. Немного погода опять зѣвнула, мать взглянула на дочку мимо мужа, стоявшаго молча у двери, и спросила:

— Ты, можетъ, дочка, привыкла въ нарядѣ ходить и чтобъ за тобою глядѣли, чулочки да башмачки тебѣ подавали?—Дочь уже ничего не говорила.—То-то же, дура ты будешь, коли это и помыслишь! Нѣтъ на то у насъ привычку, а сами все дѣлаемъ, дѣлай и ты!

Сердце Фенички задрожало; она кинулась къ матери на плечо и со слезами стала увѣрять, что она ее любитъ, будетъ любить вѣчно и папеньку и раздѣлитъ съ ними труды и подѣ убогой крышей.

— Убогая? Нѣтъ!—перебила мать:—и глупо ты говоришь! Чѣмъ же она убогая? Батько твой только въ прошломъ году ее и перекрылъ; самъ и солому возилъ!

Вечеромъ она вышла за ограду хутора. «Вотъ то поле, гдѣ я за гусятами гонялась, вотъ мельница, подѣ которую я въ камушки играла, вотъ лѣсокъ, откуда я тогда, въ дождь и бурю, бѣжала съ лукошкомъ». Размечталась Феничка. Не сознавала она въ ту пору еще ясно ни того, что у нихъ нѣтъ ни работника, ни работницы, ни того,

что на десять верстъ кругомъ нѣтъ у нихъ ни одной живой и истинно-человѣческой души. А мѣстечко и вечеръ были обворожительны, закатъ солнца золотилъ и обливалъ тонкимъ румянцемъ верхи пирамидальныхъ тополей, края облаковъ и груды дальнихъ косогоровъ. Воробьи шумными стадами перелетали съ вербы на плетень и съ плетня на огородъ. Неоглядная степь застлалась вечернею мглою. Надъ крышею хаты поднимался тонкою струйкою голубоватый дымокъ. А за нимъ былъ садъ, а за садомъ дорога, городъ, заведеніе, подруги, княжна, выпускъ, общанія, клятвы, надежды...

— Вотъ и видно сейчасъ бѣлоручку! — произнесла мать, выйдя на порогъ хаты, съ засученными рукавами, подоткнутою юбкой и съ ухватомъ: — другая бы скинула ситчикъ и все, что понарядишь, да матери бы помогла, да коровку бы сдоила, а она глазѣетъ по верхамъ!

Евфимія Ивановна, еще въ первомъ пылу неопытной энергіи, на другой же день сбросила платье, надѣла какую-то старенькую накидку, вышла на крыльцо, боязливо оглянулась во всѣ стороны, взяла ведро, нашла мать, попросила ее показать, какъ доить коровъ, и, несмотря на страхъ, наводимый на нее жирною рогатою коровою, глотая слезы, усѣлась доить... Но это были только цвѣтки. Мать отобрала у нея деньги, какія были, отобрала всѣ платья и повела съ мужемъ рѣчь, что хорошо бы ему отвезти эти платья въ уѣздъ и запродать ихъ исправницкой племянницѣ, а Феничкѣ другого, попроще, закупить, — все выгода будетъ, а ей же не въ шелкахъ да кисеяхъ ходить. Сказано и сдѣлано. Батюшка съ матушкой заперлись и подѣлили между собою привезенныя деньги. На столъ же Феничкѣ были брошены два куска московскаго линючаго ситцу, по двугривенному аршинъ, и было предложено самой пошить себѣ платья: да поскорѣй; «неравно женихи почуютъ и найдутъ!», а на тѣ деньги, сказано, наймется степь у балтискаго винокура и прикупятся два десятка овецъ. И дѣло! Съ тѣмъ же дѣтскимъ рвеніемъ принималась горячо за иглу Феничка и въ три недѣли, между топкою печи, крошеніемъ лука, капусты и бураковъ, доеніемъ смурой коровы, поступившей исключительно подъ ея попеченіе, и ухаживаніемъ за отцомъ, который почти ежемѣсячно страдалъ послѣ запоя сильными приливами къ груди и удушьемъ,

спила себѣ, по образцу оставшагося завѣтнаго зеленого платяя дешевенькое платьице и нѣсколько передниковъ. Въ это время она порывалась нѣсколько разъ писать къ подругамъ, особенно къ одной мечтательной, съ золотыми кудрями, генеральской дочкѣ, Мери Кахновичъ, съ которою была очень дружна. Но некому было отвезти письма на почту, и она отложила письмо до другого времени.

Отецъ оправился. Наступилъ какой-то праздникъ. Съѣхались на хуторъ сосѣди, частію, чтобы навѣстить выздоровѣвшаго сосѣда, а частію, какъ надо было ожидать, чтобы посмотреть сосѣдскую дочку. И всѣ женихи, хотя немолдые, незнатные и некрасивые, а женихи въ околоткѣ хорошіе. Отставной юнкеръ Перепелица, вдовый винокуръ и заика Тюрюковъ, мелкопомѣстный дворянинъ Грѣхъ, съ разстроеннымъ желудкомъ, охотникъ до псовой травли, и самъ г. Горихвостовъ, когда-то бывшій въ университетѣ, когда-то учившій Феничку грамотѣ, а теперь совершенный пьяница и больше ничего. Этотъ бѣдственный «пропойца» Горихвостовъ, бывшій еще въ памяти всѣхъ ухарскимъ молодцомъ, ходившій и говорившій, какъ выражаются о такихъ людяхъ, «съ кондачка», теперь, отъ запоя въ одиночку, впадалъ уже въ делиріумъ-тремемъ и представлялъ совершенную развалину. Онъ уже почти не отрезвлялся, хотя рѣдко терялъ самосознаніе и даже присутствіе какого-то особаго остроумія. Въ часы здоровья онъ ѣздилъ верхомъ на заѣзжихъ съ товарами жидахъ, стрѣлялъ въ нихъ, посредствомъ дворовыхъ людей, залпомъ изъ ружей, холостыми зарядами, обматывалъ ихъ, съ лошадьми и телѣгами, соломой и послѣ зажигалъ эту солому издали ракетами; заглаивалъ всякаго, кто къ нему ни являлся изъ новичковъ, и съ тысячами другихъ проказъ слыть притчею околотка. Послали-было къ нему года четыре назадъ, въ ту пору, когда онъ еще книги читалъ и ѣздилъ кое-куда, и говорилъ мѣтко и ядовито, и на человѣка походилъ, послали-было къ нему увѣщевать его заслуженнаго и уважаемаго всѣми помѣщика, знавшаго его еще ребенкомъ. Помѣщикъ, строгій и трезвый съ юности, явился къ нему, не вѣря еще въ его пороки. Войдя въ домъ Горихвостова, онъ засталъ странную картину: самъ хозяинъ полу-раздѣтый сидѣлъ на диванѣ, передъ нимъ на столѣ была дере-

вянная баклага съ водкой, а въ углу на стулѣ полулежала растрепанная Оеська, его эконожка, тоже пьяная и въ слезахъ. При видѣ посятителя, хозяинъ всталъ и потерялся. Дѣтство, молодость, жизнь, университетъ, профессоры, товарищи, погубленная будущность — все передъ нимъ въ мгновеніе мелькнуло. Онъ жалко улыбнулся и, запахиваясь, долго не могъ выговорить ни одного слова; наконецъ, сказалъ:

— Вотъ это, Акимъ Савельичъ, водка, а вотъ это — Оеська, а я пьянъ!

Ничто не помогло, и напрасенъ былъ заѣздъ увѣщателя. Судьба Горихвостова окончательно была рѣшена: онъ гибъ, какъ многіе гибнутъ въ глуши деревень, жертвою праздности, лѣни и бездѣйствія ихъ окружающихъ.

Таковы-то были гости Ивана Григорьевича, завертывавшіе иногда изъ своихъ темныхъ и глухихъ норъ, изрѣдка раздѣлить съ нимъ и съ его сожительницей удовольствія питій и брашенъ. Нечего говорить, что всѣ они могли питать и дѣйствительно питали въ сердцѣ надежду поискать и получить въ обладаніе руки новоприбывшей красавицы Евфиміи Ивановны. Сѣхались они.

— Сударыня, позвольте! — отпартовалъ первый изъ нихъ, юнкеръ Перепелица, злодѣйски поддергивая усы и козыремъ подходя къ ручкѣ Евфиміи Ивановны.

— И—и мнѣ по-о-озвольте! — заикаясь, загудѣлъ толстый винокуръ Тюрюковъ, храпя и выставляя увѣсистый животъ.

Мелкопомѣстный дворянинъ Грѣхъ, робкій по болѣзни и застѣнчивый съ женщинами смолodu, не сходя съ мѣста, только отвѣсилъ издали поклонъ. А Горихвостовъ, въ качествѣ перваго учителя Фенички, рѣшилъ доставить себѣ другое, болѣе дружеское привѣтствіе. Онъ на порогѣ еще раз-ставилъ руки и сказалъ:

— Моя первая и моя послѣдняя ученица! Краса нашего края, роза долины и медъ утесовъ! сюда! — и протянулся къ ней съ объятіями. Феничка, перепуганная видомъ сальнаго сюртука и небритой бороды, попятилась-было назадъ и, жалобно присѣдая, поспѣшила уклониться къ притолкѣ двери, но Горихвостовъ не уgomонился.

— Э-хе, нѣтъ, нѣ-ѣ-ѣтъ?? — заговорилъ онъ, — и прочіе гости поддерживали его знаками согласія: — такъ съ старыми дядьками не здороваются!

Феничка все еще медлила.

— Эхъ! дура жъ ты, дура, — подхватила мать и плюнула: — коли Петро Михайловичъ цѣлуется, то и цѣлуйся, съ такими можно; онъ нашъ! И хуторъ у него, дочка, хорошій, и всего вдоволь; и уже я къ вамъ заберуся, Петро Михайловичъ, и отвоюю у васъ на заводъ бычка! Дадите, Петро Михайловичъ, бычка на заводъ, изъ-подъ вашего смураго быка?

— Дамъ! не дать маменьбѣ! — злодѣйски замѣтилъ Горихвостовъ и, разгладивъ усы, въ два приѣма въ засосъ поцѣловалъ раскраснѣвшуюся Феничку. Хозяева засуетились съ обѣдомъ.

А за обѣдомъ господа гости показали, какого они поля ягоды. Съѣли борщъ; съѣли жаренаго поросенка. Выпили передъ борщемъ по первой, выпили постъ поросенка по второй и третьей. Гости были крѣпче, а хозяинъ свернулся первый. Былъ онъ добръ и кротокъ отъ рожденія, у жены находился подъ башмакомъ, а хмельное дѣлало изъ него звѣря. Какъ напьется, и пойдетъ буянить, и все хотеть показывать, что онъ — первый въ домѣ и во всѣхъ дѣлахъ. Такъ случилось и тутъ. До этого дня онъ на дочку смотрѣлъ жалостливо и нѣжно и сбавлялъ ей работы у матери. А тутъ вдругъ показалось ему, что она брезгаетъ родителями, да и гостями. Хозяйка и дочь прислуживали.

— Не люблю я этихъ чортовыхъ бѣлоручекъ! — гаркнулъ неожиданно зловѣщимъ голосомъ Иванъ Григорьевичъ, смотря на дочку и покачиваясь.

— И я не люблю! — И я! — подхватили гости

— А еще больше я не люблю, — продолжалъ хозяинъ, свирѣпѣя: — когда бабы забираютъ верхъ! Бабы! знай свое мѣсто, и баста! — и онъ ударилъ кулакомъ по столу, причемъ загремѣла посуда и у самой старухи-жены дрогнули руки. Феничка взглянула на отца и окаменѣла; она впервые почувствовала въ этой обстановкѣ приливъ какого-то необъяснимаго отчаянія и ужаса.

Басорскій опять ударилъ кулакомъ по столу и на этотъ разъ еще швырнулъ о-земь миску.

— Слышь! дочка! подноси гостямъ и мнѣ водку!

Феничка, облокотясь о печку, стояла неподвижная и блѣдная, чуть дыша и не слыша словъ отца.

— Химко! — крикнулъ отецъ: — да развѣ ты ужъ не слышишь? Служи по гробъ твоей жизни! пас... — И онъ под-

нялся съ лавки, направляясь къ печкѣ и не слыша ногъ подъ собою. Горихвостовъ остановилъ его и разомъ усадить.

— Иванъ Григорьевичъ, не буянь; утомонись и не безпокой дочки; онѣ барышня деликатная, очень деликатная и не снесетъ позора! Чему васъ, барышня, учили, скажите? Учили васъ: «Печально я гляжу на наше поколѣнье?...» Феничка отвѣтила кое-какъ, шумъ увеличивался.

Подали водки. По слову отца, мать передала дочкѣ подносить, и та пошла разносить «очищенную». Потомъ по требованію гостей и отца, она дрожащимъ голосомъ, безъ аккомпанимента, спѣла какой-то романсъ, протанцовала тотъ танецъ, которому тамъ въ заведеніи ее учили. И когда всѣ уже лежали по лавкамъ, она вырвалась изъ хаты, безсознательно взобралась сперва по лѣстницѣ на чердакъ, потомъ, при взрывѣ хохота пирующихъ, пугливо сползла оттуда, удерживая платье, прошла дворъ, огородъ, и въ невыразимомъ страхѣ, блѣдная и трепещущая, забилась на сѣнникъ, ежеминутно ожидая кого-нибудь изъ приходящихъ въ себя посѣтителей.

«Въ жизнь мою,—говорила она впоследствии:—я не воображала, чтобъ могла перенести такія муки и страданія, какія перенесла въ ту ночь, когда пробуждавшіеся собесѣдники до самой зари то начинали снова пить, то пѣли пѣсни, то выходили съ фонаремъ и свѣчами изъ хаты, лазили на чердакъ, шарили по двору, кричали пѣтухами и кликали меня среди ночной тишины».

Богъ вѣсть, оттого ли, что замѣтили отсутствіе дочки при гостяхъ, по другой ли причинѣ, только отношенія къ ней семьи выказались вскорѣ. Отецъ, проспавшись, также сталъ къ ней безразличенъ и болѣе сухъ, нежели строгъ. Но мать просто ее возненавидѣла. Миски, ложки въ мытье уже не подавались ей, а прямо швырялись. Слова «бѣлоручка», «барышня», «недотрога» и «гордячка» не сходили у злобной бабы съ языка. Съ утра до поздней ночи она, какъ говорится, уже просто грызла свою дочку. Стоило Феничкѣ задуматься о чемъ-нибудь, она сейчасъ зашипить: «ну, о чемъ задумалась? все о городскихъ женихахъ?.. Какъ же, жди ихъ! Такъ и кинутся на дрянъ!» — Стоило дочкѣ съ кѣмъ-нибудь изъ проѣзжихъ, выйдя на порогъ, проговорить, хотя бы это былъ мѣщанинъ, мать сей-

часъ опять: «вонъ она, вонъ. Хорошихъ минуетъ, а съ побрядками нюхается! Что же? Мнѣ за тебя топить въ рѣчкѣ, что ли, какъ пойдетъ про тебя худая молва?»

Сначала дочка плакала, потомъ привыкла; тяжела была ея жизнь. Изъ скупости и загаенной злости на дочку, мать не брала работницы. Такъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ.

Изъ уѣзднаго города ѣхалъ какъ-то на хуторъ Басорскаго уѣздный лѣкарь, молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати-восьми. Давно уже ходили по околотку слухи о тяжеломъ положеніи дочери въ семьѣ Басорскаго. Теперь лѣкарь ѣхалъ потому, что, какъ его увѣдомили, «панночка Химка» ходила на рѣку, въ прорубь, за водой, да надѣла бапмаки на босу ногу, простудилась и уже третій день лежитъ въ огнѣ и бредить.

Лѣкарь засталъ ее въ горячкѣ. Прогналъ отъ нея всякихъ бабъ и знахарокъ, шептавшихъ надъ нею съ утра, какъ надъ покойницей, употребилъ всѣ средства, искусствомъ и удачей произвелъ переломъ въ болѣзни, объявилъ, что она спасена, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, раструбилъ по всей окрестности и въ городѣ о ея дивной красотѣ и вполнѣ безпомощномъ, среди семейства, положеніи. Слова его не пропали даромъ.

О дочкѣ Басорскаго заговорили. Но больше всѣхъ, разумѣется, говорилъ о ней лѣкарь.

— Это, вы не повѣрите... это сущій перлъ, перлъ! — говорилъ онъ:—вообразите! въ сильнѣйшей бѣдности, въ нищенствѣ, и что же бы вы думали? Красавица, сущая красавица, какихъ свѣтъ не создавалъ! Я не взялъ за ея лѣченіе ни одной копейки денегъ! Ну, да этого ли одного она стоитъ!

Дамы ахали, пищали, передавали по двадцати разъ иначе всѣмъ встрѣчнымъ и поперечнымъ вѣсть о «перлѣ», найденномъ въ грязи ихъ «мизернаго уѣзда», и занялись снова, какъ и губернскія дамы, отрадною для самолюбія мыслы-выниманія «того перла изъ грязи».

Молодой лѣкарь, за красоту бакенбардъ и орлиный носъ носившій въ ихъ сокровенныхъ бесѣдахъ имя Сашки, выигралъ при этомъ въ общемъ мнѣніи на сто процентовъ. «Какъ! ѣздить въ службу и метель за столько верстъ въ глушь, на хуторъ, вылѣчить, можно сказать, чудомъ, и ничего не взять! это непостижимо; это—ангелъ-благодѣтель,

изрѣдка только посѣщающій міръ и въ рѣдкіе случаи при-
крывающій его крыломъ снисхожденія и безкорыстія».

II

«Благодѣяніе у насъ — это по-
моему что-то среднее между хан-
жествомъ и отъявленнымъ взяточ-
ничествомъ, одна изъ ступеней,
черезъ которыя идутъ къ хорошей
карьерѣ».

Изъ одной передовой статьи.

Быль вечеръ. Феничка значительно оправилась, но еще
блѣдная и слабая, въ хорошенькой блузѣ, сшитой собствен-
ными руками, лежала въ своей комнатѣ на кровати, по-
лузавѣшанной старымъ ситцевымъ пологомъ. Свѣчка горѣла
на притолкѣ высокой печи, освѣщая уголь кровати, по-
душки, сундукъ, прикрытый коврикомъ, и вещицы Фенички
на столѣ и на окнѣ: банки съ помадой и духами, гребенки,
ножницы, рабочій ящикекъ, сочиненія Жуковского и Му-
равьева и нѣсколько туалетныхъ бездѣлушекъ, память школь-
наго времени, пощаженныхъ еще матерью и отцомъ. Фе-
ничка полулежала, окутавъ ноги одѣяломъ и опершись спи-
ной о грудку подушекъ. Распахнувъ ленты бѣлаго, хорошень-
каго чепчика на головѣ, она опустила усталую руку и смо-
трѣла на дверь. Дверь отворилась. Вошелъ лѣкарь.

— Что, Яковъ Антоновичъ, гдѣ вы были?

— У вашего батюшки; спорилъ все и убѣждалъ его.

— Въ чемъ это?

— Да все въ томъ же. Ну, съ чѣмъ это сообразно! Развѣ
вы на то созданы, чтобъ на босу ногу ходить, да просту-
жаться? Сгоряча-то вы и не то сдѣлать можете; да что же
изъ того! Вѣдь наймитесь вы, поступите съ вашимъ обу-
ченіемъ куда-нибудь, такъ и вы сами будете спокойны, и
работницу наймете домой. Эка уважительная причина: мыть
кадки, обѣдъ стряпать, коровъ доить! Да на это нужно ка-
кую-нибудь Матрену въ пятнадцать пудовъ вѣсомъ, а не васъ!..

— Я думала лично присмотрѣть за стариками.

Лѣкарь засмѣялся.

Феничка повернулась въ подушкахъ и вздохнула.

— Яковъ Антоновичъ!

— Что-съ?

— Вы давно въ городѣ были?

— Вчера.

— Ну, какъ тамъ? очень весело?

— Извѣстное дѣло: святки, отплясываютъ, катаются, обѣды задають, влюбляются...

— А вы влюблены?

— Я-то?

Феничка кивнула ему головой и, улыбнувшись, стала съ подушки пристально смотрѣть на него. Лѣкарь поправилъ золотыя очки, тревожно оглянулся по комнатѣ и, припавъ къ кровати, полушопотомъ произнесъ:

— Я васъ давно люблю, крѣпко люблю... А ты меня, Феня, любишь?

Евфимія Ивановна на это неожиданное признаніе сперва было откинулась къ стѣнѣ. Но лѣкарь очень ловко схватилъ ее за руку. Какъ видно, онъ въ этомъ былъ уже довольно опытенъ.

— Скажите же мнѣ... Скажи мнѣ, ты меня любишь?

И онъ опять поправилъ золотыя очки.

Оттого ли, что Феничка въ свою болѣзнь успѣла его опфнить и полюбить, оттого ли просто, что, благодаря замкнутости и непрacticности своего воспитанія, она составила въ головѣ самыя дикія, неестественныя и отвлеченно-туманныя понятія о человѣкѣ и о любви, и теперь, какъ это случается сплошь да рядомъ, кинулась съ своею любовью и невинностью къ первому попавшемуся мужчинѣ, — только прошло нѣсколько дней, и Феничка уже отвѣчала пожатіемъ на пожатіе руки лѣкаря, и уста ихъ, какъ говорилось въ романахъ г. Воскресенскаго, наконецъ, слились въ безконечный поцѣлуй...

Нечего прибавлять при этомъ, что матушка въ означенное время лежала безъ ногъ, а батюшка былъ въ отсутствіи. Лѣкарь очень поздно, почти на зарѣ, уѣхалъ съ хутора въ городъ.

— Да вы, мамочка, да ты, душка, скажи мнѣ, — говорилъ онъ, сладко разставаясь съ больною: — скажи мнѣ по-правдѣ: хочешь, я устрою твою судьбу и вовѣки тебя не оставлю?

Феничка въ томленьи смотрѣла на него и не медлила отвѣтить:

— Яковъ Антоновичъ! Отнынѣ судьба моя въ вашихъ рукахъ. Чтѣ вы мнѣ скажете, то я и сдѣлаю; убѣжимъ хоть на край свѣта!

— Ну, на край свѣта нечего бѣжать. А вотъ чтѣ! Есть у меня одна пріятельница, дамочка, тутъ верстахъ въ семнадцати живетъ. Я не то, что у нея домашній врачъ, хотя прежде ее и лѣчилъ, а она, собственно, въ меня влюблена; ну, я попрежнему къ ней изъ жалости и ѣзжу. У нея два мальчишки сына, одному семь, а другому восемь лѣтъ, и она ищетъ гувернантки. Домъ отличный, и она сама—божество доброты и любезности. Хотите... хочешь, я тебя туда пристрою? цѣлковыхъ триста въ годъ дать, и къ тому же платье и все готовое!

Феничка вздохнула.

— Ахъ, Яша, я одного боюсь: ты меня тамъ при ней ужъ не будешь такъ любить!

— Какъ можно! Тамъ-то и легко, тамъ-то мы и будемъ видѣться. У нея дремучій садъ... Я къ ней постоянно по пятницамъ и по понедѣльникамъ ѣзжу, подъ предлогомъ золотухи у старшаго сына. А цѣлковыхъ триста навѣрное дать. Я ужъ устрою.

Условія приняты. Старикъ и старуха Басорскіе были уговорены, со слезами и причитаньями отпустили дочку, говоря, что хоть и жалко имъ такъ остаться на дряхлости безъ опоры, и она уже дѣвка на выдачѣ, и женихъ есть, ну, да Богъ съ ней, пусть идетъ въ добрые люди хлѣбъ добывать, авось и ихъ не забудетъ. При переѣздѣ дочки къ госпожѣ Черпаковской, батюшка съ матушкой не забыли, однако, взять впередъ деньги за полгода и конфисковали еще часть ея бѣлья, кое-что изъ новаго платья и шубку, ссылаясь на то, что коли барыня добрая, то и нашьетъ ей всего этого.

Барыня, дѣйствительно, была добра. Приняла она Феничку по первому слову доктора. Увидя ее, тревожно оглянула ее съ ногъ до головы и, тутъ же посмотрѣвъ на себя и на свои красы въ зеркало, успокоилась и сказала съ улыбкой:

— Очень рада, моя милая; только какъ вы худы и блѣдны!

Въ этомъ замѣчаніи слышалась невольная радость. Яковъ Антоновичъ, какъ увѣрялъ ее не разъ, любилъ полныхъ и аппетитныхъ. Послѣ нѣсколькихъ словъ привѣтствія и разспросовъ о родителяхъ, Лукерья Романовна Черпаковская, имѣвшая красное въ пятнахъ лицо, какъ у голландскаго матроса, и сѣдоватые усы на верхней губѣ, встала съ дивана, отряхнулась, сказала:—«а вотъ мы теперь и за урокъ!»—и поплыла въ волнахъ юбокъ въ отведенную гувернанткѣ комнату.

Мальчишки были представлены гувернанткѣ съ книгами, очиненными карандашами, перьями за ухомъ и перепачканными пальцами и куртками. Феничка, зятая въ бѣлое кисейное платье, сшитое тайкомъ отъ матери на часть задатка помѣщицы, сѣла, облокотилась о столъ блѣдныя, еще худощавыя руки и съ тревожнымъ біеніемъ сердца, чуть шевеля губами, начала урокъ. Старшій, золотушный Миша, предсталъ первый.

— Вы заповѣди учили?

— Учили; и еще дальше, еще *Впрямь*.

— Ну, какая пятая заповѣдь?

Ученикъ запнулся.

— Нѣтъ, нѣтъ, я этой не училъ, а училъ только вотъ до сихъ поръ! — И онъ ткнулъ грязнымъ пальцемъ въ перепачканную и чуть живую страницу.

— Да, они только до сихъ поръ учили!—замѣтила мать, слѣдившая первый урокъ съ тревожнымъ любопытствомъ.

Выступилъ Коля съ голубыми глазами на выкатъ, какъ два стеклянныхъ яйца. Этотъ уже просто оказался способнымъ болѣе ковырять въ носу и глядѣть по сторонамъ, чѣмъ слышать и понимать что бы то ни было въ урокѣ. Онъ тутъ же устремилъ все свое вниманіе на муху, ожившую гдѣ-то за печью и начавшую перелетать то на плечо учительницы, то на гребень въ ея волосахъ, то на песочницу и изрѣзанную книжку географіи. Три раза гувернантка спросила, сколько дважды три, и потомъ, какой главный городъ въ Россіи. Мальчикъ почесался за спиной, переступилъ съ ноги на ногу, и вдругъ носъ его началъ безъ видимой причины сопѣть.

— Ахъ, чуть ли и у него не золотуха!—сказала съ нѣжностью мать и заставила его высморкаться въ собственный свой платокъ, поцѣловала его и ушла, сказавъ учительницѣ:—душенька, вы его берегите и поменьше мучьте уроками; онъ мнѣ напоминаетъ своего отца!—Послѣднія слова сказаны были по-французски.

Урокъ былъ вскорѣ конченъ, оставивъ въ мысляхъ Фенички одну пустоту и невыразимую скуку. Она ясно видѣла, что битва съ головами ребятишекъ стоитъ любой битвы жизни, но еще болѣе видѣла она, что въ ней нѣтъ ни малѣйшаго призванія и способности къ наукѣ обученія, что сама она еще дитя, которому надо учиться, и что, нако-

нець—увы!—и это самая горькая истина—въ эти два года изъ ея головы вылетѣли всѣ книги и тетрадки, вызубренные ею въ заведеніи, до того, что она сомнѣвалась, ужъ училась ли она когда-нибудь этимъ книжкамъ и тетрадкамъ, и, задавая какой-нибудь вопросъ ребенку, она съ тревогою думала: «а что, какъ онъ возьметъ у меня изъ рукъ книгу, закроетъ и скажетъ: а ну-ка, не смотря туда, сами отвѣйте, когда основанъ Римъ, сколько было въ древности патріарховъ и кто взошелъ на русскій престолъ послѣ Іоанна Калиты?»

Яковъ Антоновичъ Семереньковъ, лѣкарь, попрежнему ѣзжалъ къ Черпаковской и заставлялъ Феничку за уроками. Наступила весна; кругомъ чирикали птички. Воздухъ былъ точно напоенъ паромъ молодого вина. Жилки на вискахъ Фенички бились усиленно. Въ ушахъ былъ звонъ, какъ сердцѣ неизъяснимая томительная тревога. Въ то время, какъ ученикъ передъ нею рапортовалъ скороговоркою: «Попрыгунья стрекоза лѣто цѣлое пропѣла... Ты все пѣла, это дѣло, такъ поди же—попляши!»—Семереньковъ сбоку нашептывалъ, то по-русски, то по-французски:

— Вотъ и хорошо, и мило, жизненочекъ, что вы тутъ, и мы съ вами видимся! А то, въ самомъ дѣлѣ, вздумали разыгрывать положеніе малютки, который «Велизарію шлемънося, просилъ для Бога пищи лишь дневныя!» Теперь и батюшка вашъ сытъ, и мы неразлучны; пойдѣте въ садъ!

Миша съ Колей усылались посмотреть, гдѣ мамаша, а докторъ съ гувернанткой, пока она возилась въ кладовой, закрывали урокъ и шли въ садъ собирать цвѣты. Вообще же Черпаковская мало подозрѣвала Якова Антоновича и была совершенно спокойна. Такъ прошло три или четыре мѣсяца. Иногда она съ гувернанткой пускалась даже въ сокровенныя объясненія.

— Ахъ, ма-шерчикъ, — говорила она, оправляя передъ зеркаломъ къ пріѣзду Семеренькова на своемъ плотномъ станѣ какую-нибудь новую шнуровку или платье: — я чувствую... я предполагаю, по нѣкоторымъ признакамъ, по таліи, что я буду скоро счастливѣйшая женщина.

Феничка на это только молча и нѣжно припадала къ ея плечу. Барыня не замѣчала, что сама перешиваетъ платья отъ жиру, а у гувернантки, наоборотъ, появляются безъ причины, ежедневно, то головокруженіе, то тошнота, то быстрые переходы отъ веселья къ слезамъ и особенная блѣдность лица.

Сидѣла какъ-то передъ вечеромъ Черпаковская на крыльцѣ въ садѣ, съ сосѣдкою по имѣнію, госпожею Чуланчиковою, слывшею первую особою въ кругу благотворителей и благотворительницъ уѣзда и даже губерніи. Дѣти съ гувернанткой и лѣкаремъ попли рвать къ пруду ежевику. Черпаковская, на языкѣ, по крайней мѣрѣ, никогда не хотѣла уступить сосѣдкѣ въ дѣлахъ добра; и потому теперь обѣ барыни просто надсѣдались, хвастая своими поступками.

— Вы не повѣрите, ахъ, вы не повѣрите! — говорила госпожа Чуланчикова, богомольная помѣщица, взростившая у себя какую-то сироту-племянницу: — какое счастье оказать благодареніе! Я моей Фросинкѣ ничего не жалю; теперь ее выдала за хорошаго человѣка, за гусара, и все ей откажу — и Марьевку, и Дарьевку, и Коростели. Я же, бѣдная вдова, умру какъ-нибудь; авось она меня на старости не покинетъ...

Фросинька, дѣйствительно, вышла замужъ. Но мужъ въ первыя же сутки узналъ, къ сожалѣнію, что она больна неизлѣчимою падучею, что было скрыто тетужкой-благодѣтельницей. Судьба этой Фроси, замѣтимъ кстати, разыгралась въ послѣдствіи очень грустно: падучая навредила во время родовъ: она умерла, оставивъ чахоточнаго сына. Чуть племянница закрыла глаза, тетужка тонкимъ образомъ выпроводила гусара-мужа ея изъ деревни, сказавъ, что она обѣщала сдѣлать счастливою племянницу, а не его, и взяла на попеченіе новорожденнаго. Съ нимъ началась та же исторія. Она выхолила его чуть не въ хлопкахъ, трубя всѣмъ о своихъ пожертвованіяхъ, и вырастила въ качествѣ своего наслѣдника. Мальчикъ, мѣняя въ годъ, черезъ безалаберность вздорной бабы, по три, по четыре пансіона, вышелъ, наконецъ, съ поползновеніями пожить тепло, поѣсть сытно и прожить вѣкъ, сложа руки и ничего не дѣлая, какъ наслѣдникъ 3,000 десятинъ. И что же? Благодарѣтельница умерла. Вскрыли завѣщаніе — она отказала все свое имѣніе, бывшее благопріобрѣтеннымъ черезъ мужа, какому-то стряпчему Фролу Терентьевичу Балаболкину, о которомъ прежде и помину не было, съ тѣмъ, чтобы тотъ имѣніе распродавъ и деньги за него роздалъ бѣднымъ... Многіе эту госпожу за такое поведеніе возславословили. Но круто пришлось сиротѣ-наслѣднику: кинулся онъ туда-сюда — ничего не знаетъ, ничего не умѣетъ. Вспомнилъ обѣ отцѣ, котораго ни разу не видѣлъ. Совѣстно, видно, стало уже идти къ нему за ми-

лостыней, онъ и повѣсился у могилы всѣми оплакиваемой бабушки.

Но этого еще не было, когда шли событія нашего разсказа, и благодѣтельная выдача замужъ племянницы за гусара была еще въ сильномъ ходу у сосѣдки Черпаковской.

— Я вотъ тоже, — замѣтила послѣдняя на хвастливую обмолвку сосѣдки: — я тоже пристроила у себя одну сироту, Яковъ Антоновичъ рекомендовалъ. Такая тихая, знающая... мамзель Басорски...

Съ этими словами глаза Черпаковской, устремленные въ садъ, неожиданно обратились къ окну въ гостиную, и она тревожно насторожила уши. Ей показалось, что черезъ гостиную, изъ комнаты гувернантки, раздался затаенный смѣхъ и кашель.

— Да, подите вы! — говорила сосѣдка: — одна Марьевка моя чего стоитъ, да Дарьевка, а о своихъ заботахъ я и не говорю...

Смѣхъ сталъ явственнѣе. Черпаковская вскочила, какъ съ огня, выпрямилась и быстро пошла черезъ гостиную. И что же представилось ей взорамъ? — Феничка сидѣла, обнявшись съ молодымъ эскулапомъ, и послѣ неосторожнаго веселаго смѣха о чемъ-то, готовилась уста свои и его слить въ новый безконечный поцѣлуй... Боже мой, что произошло при этомъ!

— Какъ? такъ для этого я тебя, дрянъ-мерзавка, пригрѣла, чтобъ ты шуры-муры тутъ заводила!? Вонъ!..

Феничка выскочила на крыльцо, въ чемъ была. Ее посадили въ какую-то телѣгу и умчали въ городъ. А лѣкарь потерпѣлъ еще болѣе. Сосѣдка Чуланчикова увѣряла, крестясь и отплеиваясь, что своими глазами видѣла, какъ Черпаковская выбѣжала вслѣдъ за нимъ простоволосая, съ упавшимъ на спину чепцомъ, и гнала его черезъ дворъ и часть улицы, не то метлой, не то кочергой, ударяя по чемъ ни попало. Скандаль былъ произведенъ общій, и всѣ надолго, чуть ли не на годъ или болѣе, оставили посѣщать домъ Черпаковской...

Но странное дѣло! Лѣкарь опять при этомъ выигралъ. Молодая часть мѣстнаго общества, падкая на романическіе случаи, рѣшительно стала на его сторону. Онъ до того возвысился въ общихъ толкахъ, что приобрѣлъ значительно въ практикѣ и уже пріѣзжалъ въ каждый домъ не иначе, какъ съ улыбкой. Одно вредило ему у мѣстной власти, носившей

чинъ городничаго и падкой до мистицизма: онъ все отиѣкивался жениться на Феничкѣ Басорской. Хотя первые два мѣсяца онъ даже давалъ ей кровъ, пищу и спокойствіе, у одной вдовы мѣщанскаго сословія, подъ видомъ того, что черезъ него она «невинно пострадала», однакоже, умѣлъ ловко обойти этотъ щекотливый для себя вопросъ, на Феничкѣ не женился, остался также уважаемымъ и любимымъ всѣми, и даже, перечислившись въ губернскую больницу, сталъ съ успѣхомъ свататься за дочку зажиточнаго купца.

А Феничка? — Некому было за нее вступиться. Къ отцу и къ матери она боялась показаться въ такомъ положеніи и рѣшилась, послѣ ряда жгучихъ сценъ съ лѣкаремъ, прибѣгнуть къ другой обывательницѣ уѣзднаго города, знавшей ее прежде, и бросивъ окончательно лѣкаря, послала ему обратно всѣ его вещи и подарки, платья, часы, шляпки, мебель и ковры. Семереньковъ все это принялъ съ благодарностью и написалъ къ ней съ посланнымъ, что она еще забыла возвратить ему двѣ голландскія рубашки, вышитыя кружевами, а что онѣ ему нужны при отъѣздѣ въ губернский городъ.

Городская обывательница, пріютившая Феничку, была тихая труженица. Вдова покойнаго учителя русской словесности и штатнаго смотрителя уѣзднаго училища, она происходила изъ сословія мѣстныхъ крѣпостныхъ людей, познакомилась съ покойнымъ мужемъ, будучи по найму въ купеческомъ домѣ, полюбила его за румянецъ щекъ, густоту темной косы, полноту плечъ, и черезъ два года истинной любви обвѣнчалась съ нимъ и до конца его дней сохранила при немъ ту же неподдѣльную доброту души, мягкость нрава и силу непритворной любви. Этотъ учитель былъ чудакъ. Перейдя изъ гимназіи къ сану педагога, онъ предался непомѣрной честности въ исполненіи долга и писанію стиховъ. Составивъ книжонку лирическихъ пѣсень, онъ отпросился на вакансіи въ губернский городъ, тиснулъ ее и послалъ въ Петербургъ, при письмахъ къ двумъ журналистамъ.

Одному, бывшему уже въ большемъ чинѣ, имѣвшему теплую квартиру и значительный доходъ, онъ написалъ по его печатному адресу простодушно-льстивое письмо, прося похвалъ и прилагая письмо къ другому журналисту, безчиновному бѣдняку и кумиру тогдашней молодежи, говоря:

что не знаетъ, куда ему писать. Чиновный журналистъ, какъ и слѣдовало ожидать, расхвалилъ уѣздную музу, сказавъ, что восходитъ новая звѣзда поэзіи, привелъ нѣсколько жалкихъ отрывковъ изъ книжки и тутъ же прибавилъ, въ обращеніи къ дамамъ, что его знаетъ вся Россія, знаютъ даже, гдѣ онъ живетъ, а что есть люди опасные въ литературѣ, къ которымъ онъ хотя по порученію и относится, но съ ними не знается. Журналистъ-бѣднякъ пролилъ на книжку всю свою желчь, называлъ автора чистѣйшею бездарностью и съ увлекательно-жгучею откровенностью во всеуслышаніе взывалъ къ сочинителю, напоминая ему о долгѣ жизни, о правдѣ и о положительной любви къ ближнимъ.

Учитель бросилъ печатать, зарылся оскорбленный, сгорая отъ стыда, въ свои дѣла и въ десять лѣтъ успѣлъ сдѣлать столько для училища, сколько передъ нимъ не сдѣлали другіе въ сорокъ лѣтъ. Мальчики его боготворили. Не было и съ его стороны дня и минуты, когда бы онъ съ благоговѣніемъ не произносилъ имени строгаго критика. Последнюю копейку тратилъ, скупая журналъ, гдѣ онъ печатался, и вырывая оттуда его статьи; cadaго заѣзжаго морилъ разспросами о человѣкѣ, убившемъ его литературныя дѣтскія надежды и сдѣлавшемъ изъ него человѣка. Зато журналистъ-хвалитель, разоблаченный однимъ студентомъ, привезшимъ въ тотъ уголъ всѣ пасквили на него, писанныя отъ вдохновеннаго пера Пушкина до послѣдняго изъ поэтовъ молодого поколѣнія, сталъ для него чѣмъ-то неисчерпаемо позорнымъ, дикимъ и гадкимъ. Последній мальчикъ въ школѣ уже зналъ въ настоящемъ свѣтѣ это имя, и даже сама Глаша, сожительница учителя, въ толкахъ о какой-нибудь уѣздной гадости, ссылалась на позорное имя этого журналиста.

Библиотека учителя наполнялась свѣтлыми созданіями духовныхъ дѣтей Пушкина и Гоголя. Онъ жадно слѣдилъ за наукой и поэзіей. Читая передъ смертью тоже почти предсмертную критическую поэмѣ своего любимца, гдѣ мелькнули огненные слова: «если мы сойдемъ съ поприща свѣта, одно насъ утѣшаетъ — литература русская бросила путь болѣзненнаго романтизма, побракушекъ и всякихъ непризнанныхъ геніевъ и пошла по пути другому, гдѣ уже мерцаютъ свѣточъ истины и добра», — бѣднякъ уронилъ книгу, заплакалъ и, обращаясь къ женѣ, сказалъ: «ахъ,

Глаша! все хорошо да жутко мнѣ умирать—пусть онъ меня корилъ; да за что этотъ-то меня хвалилъ? Видъ онъ хвалить только подобныхъ себѣ!»

Феничка видѣла этого учителя у Черпаковской и была очарована его особенною, задушевною рѣчью.

Теперь она явилась къ его вдовѣ, потому что та осталась безъ куска хлѣба, жила уже второй мѣсяцъ, распродавая книги покойника, которыхъ, между тѣмъ, никто не хотѣлъ брать, и начавъ съ горя заниматься повивальнымъ искусствомъ. Феничка скрыла свой сѣбды отъ отца и матери и явилась, привезя съ собою только ящичъ съ необходимою одеждою и даровыми школьными книгами. Она условилась съ Глафирой Ивановной брать работу и нить, а та продержитъ ее, пока ей можно будетъ снова явиться въ свѣтъ. Горестны были дни этихъ двухъ страдальцъ. Работы почти не отыскивалось, и по цѣлымъ днямъ иной разъ онѣ сидѣли безъ куска хлѣба. Наконецъ, какъ-то въ февралѣ, священникъ въ комнатѣ Глафиры Ивановны окрестилъ новорожденную дѣвочку, дочь Фенички, думавшей еще такъ недавно, что любовь кончается одними поцѣлуями и что новорожденныхъ дѣтей находятъ въ огородахъ, подъ лопушкомъ,—благословилъ спасенную мать и отъ неизвѣстнаго—это былъ онъ самъ—оставилъ на зубокъ ребенку десять рублей серебромъ.

Нищета двухъ сожительницъ перешла всякій предѣлъ. А языки работали: Глафиру Ивановну уѣздныя сплетницы ненавидѣли за покойнаго мужа, ученаго гордеца, не шедшаго къ нимъ съ поклономъ, а Феничку ежедневно распинали просто изъ какого-то дилетантизма.

Священникъ попытался было съѣздить къ уѣздному предводителю, съ предложеніемъ открыть для несчастной Басорской подписку; куда тебѣ! Насилу ноги унесъ. Было натовковано тутъ и о поправной нравственности уѣзда, и о соблазнѣ окружающихъ, и чуть не затѣяли бѣдную постоянщицу Глафиры Ивановны предать суду. Прибавлять ли еще къ этому, что мать и отецъ Фенички притащились къ ней, сдѣлали жалкую, вошющую сцену и проклинали ее... Съ той поры входъ для нея, въ качествѣ гувернантки, былъ закрытъ во всѣ дома уѣзда и губерніи.

Добрая Глаша просто убивалась и таяла отъ того, что у нея не покупали библіотеки покойнаго мужа.

Но крѣпко держалась душа у одной Фенички. Кое-какъ перебываясь, она продала все, что имѣла, послѣднія вещицы и бездѣлушки, платѣ и сочиненія Муравьева, но съ Пушкинымъ, найденнымъ въ библиотекѣ мужа хозяйки, не разставалась. Въ немъ для нея олицетворялась та нравственная жизнь, тотъ свѣтъ науки и мысли, которыми она запаслась, хотя не скоро, вершками и одними намеками, въ заведеніи. Тутъ только она поняла, что какъ ни страшно-тяжело, какъ ни убійственно было ея положеніе, она готова была умереть голодною смертію, но не отдала бы своихъ, даже мелкихъ знаній за тотъ жирный и барскій покой, которымъ пользовались окрестныя тупоумныя и безголовыя барышни.

Она плакала горькими слезами, проклинала ту форму, въ какой приняла къ ней наука, тѣ приемы, гдѣ она не приняла знанія ни свѣта, ни людей, и пала, обманутая первымъ негодяемъ, — но не роптала на себя за науку. Наука пробудила въ ней въ горькую минуту дремавшую природу, самосознаніе проникло въ душу и сердце, она съ замирающимъ восторгомъ ухватилась за чтеніе обширнаго собранія книгъ покойнаго мужа Глапи, погружаясь по мѣрѣ чтенія въ какія-то особенно крѣпкія, гордыя и насмѣшливо-торжествующія грѣзы. Ни днемъ, ни ночью уже не покидалъ ее поэтъ, который говорилъ, сходя съ поединка за честь и свое сердце въ преждевременную могилу:

«Но долго буду тѣмъ народу я любезенъ,

Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ.

И милость къ падшимъ призывай!»

Между тѣмъ, чересчела кое-какая работа отъ прѣхавшей судиться съ сосѣдкой одной барыни-франтихи.

Феничка оправилась и уже ходила. Долги въ мучной лабазѣ и въ лавки кое-какъ были заплачены.

Попыталась Феничка предложить барынѣ свои услуги учительства дѣтей ея на отъѣздѣ, въ другое имѣніе барыни, за три губерніи далѣе, чтобы забыть и память своего okolotka. Барыня сказала, что подумаетъ, и черезъ недѣлю, уѣхавъ въ спокойномъ дормезѣ, отказала записочкою на раздушенной бумажкѣ.

Въ запискѣ говорилось, что она не понимаетъ, какъ мамзель Басорская рѣшилась предлагать ей свои услуги, послѣ того, что съ ней было, о чемъ весь городъ и въ особенности супруга судьи знаетъ, и какъ ея присутствіе по-

дѣйствуетъ на неопытныхъ крошекъ-дѣтей, когда на жизни ея лежитъ тяжелое, несмываемое преступленіе. Въ заключеніе совѣтовалось сходить въ Кіевъ на богомолье.

Феничка, прочтя это посланіе, невольно приздумалась.

III.

«Сударыня! у васъ еще не все погнбло. Смотрите, еще у васъ есть благотворительныя особы, жаждущія вамъ помочь!»

Изъ утѣшительнаго письма одного филантропа-чиновника.

Прошелъ тяжелый, горькій годъ. Кое-какъ промаявшись, прожила Феничка. Она съ отчаянія давно уже была готова на все махнуть рукой. Въ этотъ годъ нѣсколько мѣсяцевъ стоялъ въ городѣ одинъ кавалерійскій полкъ. Общество оживилось, занумѣло. Пошли собранія, вечеринки, катанья за городъ. Дамы разорились, справляя визитныя платья и стараясь затереть нарядами полковыхъ дамъ. Феничка, не покидавшая иглы, не слишкомъ, однакожъ, поддавалась любезностямъ кавалеристовъ, сразу отыскавшихъ въ темномъ окошечкѣ глухого переулка ея картинное личико. Офицеры просто дежурили у переулка, гдѣ она жила, сѣти были разставлены ловкія. Ничто не падалось, даже Глаша явилась какъ-то съ запасами всякихъ снадобьевъ для дома, съ паровъ ситцевыхъ кусковъ на платье и заячьимъ мѣхомъ на шубу, увѣряя, что прислали родичи изъ ихняго выселка, и стала посматривать на Феничку глазами, пылавшими соблазномъ и особенною улыбкою. Феничка ее разбранила и привела въ слезы. По отходѣ полка, городскія барыни, дѣйствительно, указывали на Феничку, которая изъ-за угла, въ платочкѣ, смотрѣла, какъ выѣзжали офицеры. Но опредѣленнаго ничего же было, и язвительныя догадки дагѣ не шли.

Но вотъ терпѣніе Фенички лопнуло. Работы опять истопились. Глафира Ивановна свела дружбу съ какимъ-то становымъ и собиралась переселиться къ нему въ участокъ, въ качествѣ няньки его сиротъ. Феничка ударилась-было еще съ предложеніемъ гувернантки въ два-три мѣста. Ей отказали и она рѣшилась прибѣгнуть къ памяти своихъ бывшихъ подругъ. Съ замирающимъ сердцемъ сѣла она, написала три письма: одно къ княжнѣ Раисѣ Вонзковской.

написавшей ей когда-то кровью изъ пальца клятвенное обѣщаніе помочь ей въ случаѣ нужды; другое къ *Мери Кахновичъ*, учившей ее когда-то шить *broderie anglaise* и бывшей дочерью значительнаго чиновника Рязанской губерніи, и третье къ *Пашенькѣ Булавенцевой*, хотя тоже бѣдной дочери учителя рисованія при родномъ ей заведеніи, но важной потому, что она предполагала жить гувернантствомъ и могла узнать повѣтому хорешія мѣста.

«Душечка Раичка, или нѣтъ — ваше сіятельство, Раиса Владиміровна! — начиналось письмо къ первой: — вспомните нашу дружбу, наши мечты, грѣзы, клятвы и обѣщанія. Теперь пришелъ случай взывать къ вашему милосердію: я въ крайней нищетѣ. Денегъ мнѣ не нужно, но умоляю прискаты въ вашей окружности мнѣ мѣсто учительницы при дѣтяхъ или компаньонки въ семейномъ домѣ. Условія какія угодно; лишь бы мнѣ избавиться отъ нищеты, не скрою, угрожающей даже голодною смертію».

Второе письмо говорило: «Меричка! помнишь, какъ я за тебя рѣшила задачу изъ математики и написала сочиненіе по-нѣмецки. Теперь требую и отъ тебя помощи: попроси твоего отца, который, кажется, статскій генералъ и служить въ столичной уголовной или гражданской палатѣ, прискаты мнѣ мѣсто. Я сейчасъ прїѣду».

Въ третьемъ повторялось почти то же самое, съ прибавленіемъ только просьбы поклониться старому отцу Пашеньки, Петру Федотычу, который, кажется, писавшую любилъ и всегда ей ставилъ за рисунки пять.

На первое письмо пришелъ отвѣтъ черезъ восемь мѣсяцевъ. Княжна писала смѣсь французскаго съ англійскимъ языкомъ, говорила, что за ней ухаживаетъ тѣмъ жениховъ, что она у дяди, на Вислѣ, живетъ въ богатѣйшемъ замкѣ, что носитъ такіе-то и такіе-то наряды, а что въ модѣ, впрочемъ, много шелку и бархату; просила Феничку вернуть къ ней когда-нибудь погостить, а чтобы, впрочемъ, она не хандрила (слово поставлено русское французскими буквами: не *khandrilla*) и сама влюбилась въ какого-нибудь хорошенькаго улана или кирасира. Княжна совершенно не поняла письма и просьбы Фенички.

На второе письмо отвѣтила не сама Мери Кахновичъ, а ея папенька, статскій генералъ, и отвѣтилъ съ отнѣнною

аккуратностью, въ первую же почту:—«Милостивая государыня, Евфимія Ивановна! Ваше почтеннѣйшее письмо за- стало мою Машеньку ужъ въ замужествѣ, за коллежскимъ совѣтникомъ Веденѣвымъ. Да на сіе замѣчу, что она вамъ и не отвѣтила бы и я ее отнюдь къ тому бы не допустилъ. Ваша исторія съ докторомъ, титулярнымъ совѣтникомъ Се- мереньковымъ, здѣсь также оглашена. Вамъ остается сми- риться и возложить надежды и упованіе на милосердіе Божіе. А вслѣдствіе отношенія вашего къ дочери моей и вашей подругѣ, что вы въ нищетѣ, то посылаю вамъ при- семъ 25 рублей серебромъ, съ чѣмъ имѣю честь быть, въ совершенномъ почтеніи и преданности, милостивая госуда- рыня, вашимъ покорнѣйшимъ слугою, Андреемъ Василье- вымъ, сыномъ Кахновичъ».

Третье письмо пришло вслѣдъ за вторымъ и совершенно смутило и повергло въ холоднее и безвыходное отчаяніе Феничку.

Пашенька Булавеньева писала,—и Феничка тщетно уе- ливалась въ ея рѣчахъ угадать былую сверстницу своей отроческой жизни. Феничка помнила ту драму изъ ея жизни, когда она кончала курсъ. Пришествіе Феничкина отца за нею въ заведеніе пѣшкомъ обратило общее вниманіе. А между тѣмъ, Пашенька Булавеньева кончала курсъ въ то время, какъ старику Булавеньеву директриса должна была отказать отъ каведры рисованія потому, что его руки какъ-то неловко примерзли въ одну изъ зимъ, не прикрытыя ще- гольскими теплыми перчатками, когда онъ заблудился въ предмѣстьѣ города, поздно возвращаясь домой съ уроковъ,— и стали сильно трястись. Феничку проводили съ романти- ческими возгласами, а Пашенька перешла въ холодную комнату, въ четвертомъ этажѣ, гдѣ приходилось жить круглый годъ на пенсіи огорченного отца. Старикъ недолго пожилъ: параличъ додѣлалъ его карьеру, и письмо Фенички застало Пашеньку уже на полной свободѣ. Пашенька, про- живая уже въ сомнительно щегольскихъ комнатахъ, раз- одѣтая въ атласъ и въ блонды и разѣзжая на пролеткахъ какого-то безсемейнаго купца, писала такъ: — «Ангелъ и шерчикъ Феничка! Все тринь-трава на бѣломъ свѣтѣ. Я сама вздыхала горлинкой и точила слезы отчаянія; все это— чепуха. Теперь я пью шампанское, какъ гусарь, танцую канканъ и читаю романы Дюма-сына и компаніи. Утѣшась

и ты. Спѣши, прїѣзжай къ намъ. Здѣсь въ той злачной юдоли, гдѣ я живу, не знаютъ ни печалей, ни воздыханій. Посуди сама, что мнѣ предстояло? Состарѣться старой дѣвой или выйти за чахоточнаго чиновника! Оглянись кругомъ себя и спѣши! Если ты любишь и читала Беранже, то вспомни его пьесу: «Je volerais vite, vite, vite, si j'étais petit oiseau!» Явись въ веселый, безцеремонный и вѣчно-довольный кругъ, гдѣ нынѣ обрѣтается и твоя вѣрная Пашета Булавенцева».

Истина во всей ея наготѣ представилась Феничкѣ. «Какое паденіе?.. Надо ее выручить!» повторяла она. Отверженная всѣми, забытая и оскорбляемая всѣми, она почувствовала приливъ невыразимѣйшаго негодованія. Предразсудки, клеветы, зависть и себялюбіе взяли свое. Последніе шаги по пути чести были ею пройдены. Ъхать въ другую губернію? Но съ какими средствами и куда пристроить ребенка?

Въ одно утро, собравъ свои небольшіе пожитки и запасшись частицей заработанныхъ трудовъ денегъ, Феничка отнесла свое дитя на время къ священнику, простилась съ своей хозяйкой и, договорившись съ какою-то купеческою четою, ѣхавшею въ тотъ же губернский городъ, гдѣ она училась, отправилась въ путь. Остальная ея надежда была — прибѣгнуть, еще съ незапятнанною совѣстью, къ бывшей своей директрисѣ и упросить ее дать съ какимъ-нибудь мѣстомъ при заведеніи честный кусокъ хлѣба. Она прибыла въ городъ.

Было воскресенье.

Принарядившись въ чистое и бѣлое кисейное платье, прикрывшись платочкомъ, въ вязаныхъ перчаткахъ и подъ старенькимъ зонтикомъ, она подошла съ другими надеждами и вѣрованіями къ знакомому зданію. Швейцаръ, стоя у щегольской лѣстницы, не узналъ ея.

— Дома Анна Карловна?

— Дома, да никого не принимаютъ.

— Доложи, что пришла бывшая здѣшняя воспитанница Басорская.

Швейцаръ оглянулъ ее съ ногъ до головы и пошелъ докладывать. Феничку позвали.

Но продолжать ли мнѣ?.. Директриса, та же ласковая, строгая и чопорная дама, сидѣвшая постоянно у круглаго стола передъ диваномъ, въ то время, какъ лучшія воспи-

таннипы сидѣли тутъ же поодаль, занимаясь работами и изрѣдка отвѣчая на ея вопросы, приняла Феничку озабоченно-нѣжно. Взоромъ велѣла остальнымъ дѣвицамъ выйти и усадила ее близъ себя.

— Все такъ, все такъ, моя милая! — говорила она на просьбы Басорской, державшей себя вообще пристойно и гордо: — я понимаю ваше положеніе! Вы, точно, хорошо кончили курсъ. Да чтò же мнѣ дѣлать! У насъ кровать на кровати, мѣста нѣтъ не только класснымъ дамамъ, даже дѣтямъ. Всѣ должности заняты...

— Ахъ, тамап, да вы примите меня хоть куда-нибудь хоть кастеляншей, за бѣльемъ смотрѣть; хоть...

Феничка не договорила. Директриса сидѣла, опустила глаза, маяла въ рукахъ платокъ и была очевидно въ волненіи.

— Притомъ же, — начала она: — не скрою отъ васъ, не хочу васъ обидѣть, здѣсь прошли... такіе... слухи... понимаете, моя милая!

— Боже мой, — заговорила Феничка и закрыла лицо руками: — вы меня призрите, отогрѣйте, защитите; вѣдь я ваша, я съ голоду умираю. Насъ одинъ Господь разберетъ, я ли виновата; а вы меня спасите, поднимите; ваше голосъ заставить молчать другихъ. Я же не убійца, не воровка, не преступная... Ради моего ребенка, тамап, защитите меня!

Директриса быстро встала.

— Нѣтъ, нѣтъ, никогда, это невозможно. — оставьте меня. Феничка встала, отерла глаза, хотѣла еще чтò-то сказать и молча пошла къ двери...

Добрая директриса, чуть стихли ея шаги, со слезами бросилась на колѣни передъ образомъ, — и воспитанницы изъ сосѣдней комнаты, сквозь дверь, видѣли, какъ она усердно молилась.

А между тѣмъ, внизу, у выхода, произошла сцена другого рода. Сходя по лѣстницѣ, блѣдная, безъ слезъ, измученная и чуть живая, Феничка встрѣтила институтскаго эконома, двоюроднаго брата директрисы, рыянаго поборника чистоты половъ, блеска притолковъ и дверей, огненной яркости замочныхъ ручекъ и печныхъ задвижекъ и врага хорошаго аппетита и исправныхъ желудковъ. Онъ всегда ненавидѣлъ Феничку за то, что та въ старшемъ классѣ открыто волновала свой столъ, бракуя то пахнущую свѣчнымъ саломъ похлебку, то макаронный соусъ, куда нежи-

данно примѣшался тараканъ или цѣлая мышь, или выдаваемую за молоко неподражаемую смѣсь муки, масла и воды. Онъ узналъ ее сразу и сообразилъ въ мигъ, что посѣщеніе начальницы было для этой выпущенной пташки неблагополучно. Онъ поднялъ на лобъ очки, закинулъ голову назадъ, выставилъ ногу впередъ и, обращаясь къ Феничкѣ, сказалъ:

— Вы бы, сударыня, ноги вытирали. Мало еще намъ съ вами въ заведеніи было хлопотъ; а то еще съ воли приходите, шатаетесь тамъ, да ковры у насъ пачкаете. Дѣло нехорошее, сударыня, вотъ что...

Ничего не видя и не слыша, вышла Феничка на крыльцо. Она приостановилась, ухватила рукой за лобъ. Голова ея горѣла, глаза неопредѣленно блуждали. Въ это время подлетѣлъ на рыскахъ лихачъ-извозчикъ. «Эхъ, барыня, прокачу, возьмите!» На другой день въ «Полицейскихъ Вѣдомостяхъ» было напечатано: «изъ Фонтанки вынута тѣло неизвѣстно какой дѣвицы, бросившейся въ воду съ Николаевского моста».

1860 г.



СЕМЕЙНАЯ СТАРИНА.

РАЗСКАЗЫ.

— I. —

ПРАБАБУШКА.

Прабабушка моя, Анна Петровна Данилевская, въ двѣдцѣти лѣтъ, была фрейлиной великой княгини, впоследствии императрицы Екатерины Великой, и умерла на восьмидесятомъ году жизни, болѣе пятидесяти лѣтъ безвыѣздно проведя въ родовомъ, степномъ селѣ мужа на Донѣ. Она была небольшого роста, съ нѣжнымъ, блѣдымъ, въ тонкихъ морщинкахъ, какъ у эрмитажной старушки Деннера, лицомъ и съ большими карими ласковыми глазами. Въ молодости она играла на клавесинѣ, была изъ первыхъ въ придворныхъ веселостяхъ прошлаго вѣка и, любя пѣть, зачитывалась романами Жанлисъ и повѣстей Мармонтеля. Въ зрѣлыхъ же лѣтахъ, перевезенная въ деревню мужа, она была строгою хозяйкой и постоянно носила черное платье съ небольшимъ шлейфомъ, а подъ чепчикомъ, изъ собственныхъ сѣдыхъ косъ, на гребенѣ, высокий шиньонъ, который крестьяне тѣхъ годовъ считали колтуномъ. Въ годы силы и здоровья, распутывая дѣла мужа, она съ черешневою тростью выѣзжала въ поле, на длинныхъ самодѣльныхъ дрожкахъ, шумѣла на работниковъ, вела приходорасходныя книги, щепила деревья, рылась въ градахъ сада и еще незадолго до смерти, весною и лѣтомъ, чуть не каждую недѣлю ходила пѣшкомъ версты за двѣ отъ деревенской усадьбы, въ лѣсъ, къ ключу превосходной родниковой воды, чопорно провожаемая двумя гайдучами

изъ дворовой челяди, одѣтыми въ простыя, сѣрыя свиты и съ палками въ рукахъ. «Это — мой камеръ-пажи!» — шутила подвижная не по лѣтамъ старушка, съ припиленнымъ шлейфомъ пробираясь полями къ роднику, черпала серебрянымъ стаканчикомъ воды, отдыхала у картиннаго взгорья, поросшаго раkitами, надъ озеромъ, гдѣ бабы, громко горлая пѣсни, бѣлили холсты, и на возвратномъ пути успѣвала еще нарвать пучки лѣсныхъ и полевыхъ цвѣтовъ: голубыхъ пролѣсковъ, т.-е. подснежниковъ, тюльпановъ и дикорастущаго алаго горошка.

Подъ конецъ дней, теряя болѣе и болѣе силы, прабабушка Анна Петровна рѣдко уже покидала опочивальню во флигелѣ, рядомъ съ большимъ домомъ сына. Здѣсь, среди цвѣтовъ и клѣтокъ съ дроздами, да желтощекиими жаворонками, прабабушка постоянно сидѣла на постели, въ бѣлоснѣжномъ высокомъ чепцѣ, всѣмъ и каждому ласково и привѣтливо улыбаясь.

Сюда къ утреннему кофе и къ цѣлованію прабабушкиныхъ ручекъ, вымытыхъ въ той же ключевой водѣ, по докладу сѣдого парикмахера Гаврюшки, носившаго на босу ногу башмаки и въ нихъ для прохлады соломенные стельки, являлась вся огромная, давно угасшая семья: сынъ ея Иванушка, т.-е. мой шестидесятилѣтній дѣдушка, Иванъ Яковлевичъ, памятный въ семействѣ тѣмъ, что чинъ прапорщика гвардіи онъ получилъ еще въ колыбели и далѣе этого чина по службѣ не шель, потому что никогда не покидалъ деревни и тихо здѣсь состарился, среди хозяйства, псарни и втихомолку волокитства за сѣльскими красавицами. За ними шли внуки, т.-е. мой отецъ, дяди, тѣтки и вся остальная мелюзга правнучекъ и правнуковъ. Старушка кланялась, по тогдашнему придворному обычаю, полукругомъ, т.-е. разомъ всѣмъ, потирая руки приговаривая: «всѣ ли вы въ добромъ здоровьѣ?» Поздоровавшись съ матерью, дѣдушка молча отходилъ въ сторону и, потирая хололокъ сѣдыхъ волосъ, какъ я помню, припиленныхъ особую грѣбеночкой на лысомъ лбу, со вздохомъ садился къ окошку. О чемъ вздыхалъ дѣдушка? Болѣе, вѣроятно, отъ скуки. Также молча, съ реверансами, садились по стульямъ, вдоль стѣны опочивальни, и остальные; слушали комплименты старушки, отвѣчали на ея вопросы, пили кофе и, дѣлая новые реверансы, также церемонно расходились по своимъ апартаментамъ и угламъ.

Казалось, вотъ рай земной; а дѣла, между тѣмъ, были здѣсь очень плохи. Дѣдушка, тихо вздыхавшій въ присутствіи матери, на сторонѣ любилъ покомпанствовать. Продастъ хлѣбъ, либо шерсть, и сейчасъ балъ. Отпросившись у матушки-сударини въ отъѣзжія поля, онъ исчезалъ иногда по мѣсяцамъ. Вслѣдъ за нимъ, съ охоты наваливали ближніе и дальніе знакомцы. Экипажи наполняли дворъ. Окна большого дома освѣщались. Домашній оркестръ гремѣлъ съ хоръ. Свои пѣвчіе вторили ему изъ столовой. Пушки стрѣляли на дворѣ. Веселыя пары носились въ экосезѣ и котильйонѣ. Иной разъ и прабабушка Анна Петровна, въ такіе дни, оставляла опочивальню, надѣвала парадный бѣлый робронъ, выходила изъ флигелька, крытаго камышомъ, являлась въ домъ Иванушки, въ высокую залу, увѣшанную портретами предковъ, и играла въ бостонъ, либо, подъ музыку Сарти, церемонно и важно шла съ кѣмъ-либо изъ гостей посановитѣе въ польскій.

Отъѣзжія поля и пиры окончательно разорили состояніе Иванушки. Доходило до того, что въ зимніе вечера, скучая недостаткомъ гостей, онъ высылалъ верховыхъ на ближніе и дальніе проселки и, кто бы тамъ ни ѣхалъ, всякаго чуть не насильно принуждали сворачивать въ гости въ его усадьбу. А между тѣмъ, зачастую слуги, носившіе при гостяхъ фраки, безъ гостей понежѣльно сидѣли на капицѣ. Прабабушка не знала положенія дѣлъ Иванушки и умерла, считая его хорошимъ хозяиномъ. Дѣдушка утѣшилъ ее особенно тѣмъ, что лѣтъ за тридцать до ея кончины, въ видахъ, впрочемъ, размноженія дичи, засѣялъ сосной болѣе пятисотъ десятинъ сыпучихъ песковъ по берегу Донца, и весь этотъ боръ принялся и выросъ на удивленіе, за что дѣдускѣ былъ пожалованъ орденъ Владиміра.

На такое чудо, исполненное крѣпостными работниками, съѣзжались смотрѣть многія важныя особы, губернаторъ, архіерей, профессора сосѣдняго университета, а потомъ и самъ графъ Аракчеевъ, по близости съ помѣстьемъ прабабушки также дѣлавшій чудеса, а именно: вводившій тогда между свободными изюмскими и чугуевскими слободскими казаками такъ-называемыя военныя поселенія. Прабабушка сама была не прочь еще въ недавнія времена подеспотствовать, причемъ Иванушка, съ вѣдома ея, ковалъ въ кандалы тѣхъ дѣвокъ и парней, которые на селѣ по ея

выбору не желали въ обычные сроки вѣнчаться. Но она не одобрила ни графа Аракчеева, ни тѣхъ мѣръ, которыми онъ вводилъ близъ нея эти поселенія. «Пріѣхалъ онъ, ма-шеръ, представьте,—передавала она по секрету мелкой сосѣдкѣ, ѣздившей къ ней по праздникамъ съ поклономъ: — пріѣхалъ, живодѣръ, выстроилъ подъ Чугуевымъ цѣлую слободу, навалилъ розогъ, а въ сторонѣ велѣлъ, на всякій случай, припасти нѣсколько готовыхъ гробовъ и сталъ это сѣчь непокорныхъ. Одни сѣкутъ, а другіе своимъ тутъ же и могилы роютъ! Сѣкъ онъ этакъ мужиковъ, сѣкъ и бабъ. Одна бабѣнка со страху-то, монъ-кѣръ, вырвалась изъ-подъ розогъ, да въ безпамятствѣ къ гробамъ-то... А графъ и крикнулъ: не бойся, красавица, выбирай любой; какой хочешь, дамъ на погребеніе! Этакое мужикъ, капральщина! Никакой тонкости! Такіе ли душегубы въ наши дни власть имѣли? Невѣжда-азіяты! Хоть и графъ, да еще и Александровскій кавалеръ».

И когда графъ Аракчеевъ съ адъютантами и командами новопоселенныхъ кочныхъ поселеній, неожиданный и непрошенный, налетѣлъ въ тихій Пришибъ, помѣстье прабабушки, съ желаніемъ во-очію освѣдомиться, какъ это одинъ человекъ могъ засѣять болѣе пятисотъ десятинъ сосною, прабабушка Анна Петровна, оказывая властямъ должный респектъ, разрѣшила сыну Иванушкѣ показать и рассказать его сіятельству, царскому фавориту, все, что нужно; но не преминула перекреститься и плюнуть, увидѣвъ изъ окна опочивальни угловатую и грубую фигуру надутаго «азіяты», вытѣзавшаго изъ высокой, запыленной поселенской брички, а при случаѣ даже дала ему и почувствовать немалую долю своего негодованія и пренебреженія.

Обѣдъ приготовили для графа на славу; порѣзали много откормленной живности, но лакеи не первому ему подносили кушанья! А когда графъ Аракчеевъ, сбившись въ хронологіи какого-то столичнаго придворнаго событія, о коемъ повѣствовалъ предъ затянутыми до апоплексіи въ мундиры адъютантами, заспорилъ со старушкою насчетъ времени и, положивъ въ тарелку начатое стегно кашлуна, спросилъ ее: «да позволъ же, мать-сударынька, узнать, какой же тебѣ годокъ?» — померкшіе глаза старушки сверкнули, она затрясла оборками чепца и бѣлыми, какъ мѣлъ,

губами отвѣчала: «во-первыхъ, графъ, я тебѣ не мать и не сударынька, а статсъ-фрейлина моей покойной царицы, Екатерины Алексѣевны, и ты будь къ хозяйкамъ деликатнѣе; а во-вторыхъ, этакія ужаси! въ наше время изрядные правомъ кавалеры о годахъ дамъ не спрашивали...» Сказавъ это, прабабушка встала изъ-за стола, ни на кого не смотря, кивнула головой вправо и влево, и, подавъ руку оторопѣлому Иванушкѣ, молча и съ достоинствомъ удалилась въ-свои.

Произошелъ величайшій переполохъ и замѣшательство. Графъ Аракчеевъ, съ недоѣданнымъ кускомъ баблуна, вскочилъ, не доиславшись хозяевъ, крикнулъ экипажъ и уѣхалъ въ Чугуевъ, гдѣ вновь въ окрестностяхъ посыпались шипирутенны и раздалися плачъ и вой бабъ, дѣтей и стариковъ. И когда въ Петербургѣ, прослышавъ объ этомъ событіи, шутники-друзья его спрашивали, что за исторія случилась съ нимъ въ гостяхъ у бѣдовой старушки на Украйнѣ, графъ Аракчеевъ ворчалъ и говорилъ: «да что, отцы мои! Какъ ей не быть предерзкой, коли самъ тамошній губернаторъ, ѣздивъ на ревизію по губерніи, засталъ, что у порога этой яковинки стоялъ на колѣняхъ, въ наказаніе за какой-то промахъ по хозяйству, ея пятидесятилѣтній сынъ, настоящій владѣлецъ имѣнія, притомъ чиномъ лейбъ-гвардіи прапорщикъ и его величества кавалеръ!»

— Что это у васъ за перстенецъ на рукѣ?—спрашивали иной разъ Анну Петровну любопытные внучата.

— Завѣтный перстенецъ, дѣтушки, завѣтный! И съ нимъ связана цѣлая авантюра въ нашей фамиліи...

— Какая такая авантюра?

— Престѣнная! Фамилія наша, соколики мои, начинается съ первымъ заселеніемъ Донца и всей этой окольной степи...

— Расскажите, миленькая бабушка, расскажите, какъ заселились эти мѣста и что это за случай съ перстенькомъ?

Въ длинные осенніе и зимніе вечера, полулежа на постели подъ стеганымъ изъ коричневаго атласа одѣяломъ и облокотившись о высокосложенныя, обшитыя кружевомъ, подушки, либо въ мерлушковой шубкѣ, примостившись бочкомъ на распатанной, треногой скамеечкѣ, предъ угасавшею печъ

кой, и разматывая на прялкѣ нити козьей шерсти, маленькая, сморщенная старушка не разъ передавала все то, что слышала отъ мужа и еще отъ покойной свекрови о заселеніи края, къ пустырямъ котораго, шесть вѣковъ назадъ, обращался пѣвецъ Слова о полку Игоря, восклицая: «О, Донче! Ты лелѣялъ князя на серебряныхъ берегахъ, стлалъ ему зелену траву, подъ сѣнію дубравъ...»

— «Берега нашего Донца, соколики мои,—разсказывала прабабушка:—даже въ ту пору, какъ я сюда переѣхала молодоженкою изъ Питера, были еще во всей, можно сказать, невиданной красѣ. Народу еще было мало, звѣрѣя много. По лѣсамъ рыскали дикіе кабаны; отъ лисицъ, бывало, не удержишь ни куръ, ни индюшекъ; а волки заходили даже въ сѣни, какъ ударить иной разъ, на нѣсколько дѣнь, зимняя вьюга, да за ужиномъ запахнетъ бараниной. Татары и нагайцы, скажу вамъ, шмыгали сюда и при мнѣ. Да и родила я мила-дружка Иванушку какъ разъ въ то время, когда по тотъ бокъ Донца отъ татарскаго набѣга, вдругъ зажглись по сторожевымъ курганамъ костры, а я, тяжелая, безъ маво Якова Евстафѣича, съ перепуга съѣла на коня, поскакала къ бригадиршѣ въ Чугуевъ, да на дорогѣ, у андреевскаго попа въ пчельникѣ, матерью стала... Но это все ничего. Не то сказываютъ о временахъ мужнина дѣда. Въ тѣ поры здѣсь была сущая пустыня: мѣловые горы, вѣковѣчные темные лѣса, тихія въ большущихъ камышахъ воды, на некошенныя степи, безъ жилья и безъ единой людской тропы. Забрелъ человекъ, кричи съ холма въ лѣсныя провалы, сколько силъ хватитъ, никто не отзовется. Только иволги, хохотвы, да орлы по бутрамъ перекликаются. Звѣрь и птица своею тогда смертію умирали. Такъ было до послѣднихъ почти годовъ царя Алексѣя. Тутъ польскіе паны больно ужъ потѣснили казаковъ за Днѣпромъ: пожгли ихнія церкви, мельницы, винокурни и хутора; тѣ и двинулись сюда.

«Быль, сказываютъ, тихій весенній вечеръ. По сую сторуу Донца, на крутизнѣ, показался верхомъ на замореномъ конѣ чубатый гетманецъ. Вхалъ онъ-ать, горемычный, безъ дороги, пустыньками да озерками, и какъ нѣкая тѣнь вечерняя появился, дѣтушки, изъ-за косогора, съ пищаломъ да съ котомкой за плечами, голодный, захудалый, обношенный и уже изъ себя не молодъ. Спасался онъ отъ вражьяго погрома. Миновалъ одно лѣсное затишье, другое. Стѣзъ съ

коня, напоилъ его въ ключѣ, самъ перекрестился, напился, поднялся опять на пригорокъ, окинулъ глазомъ Божью, тихую да уютную пустыню, и сердце у него замерло. Что прохлаты кругомъ, въ дремучихъ лѣсахъ! Что птичьихъ криковъ внизу, по голубымъ затонамъ, да озерамъ! Что медвянаго запаху отъ доцвѣтавшихъ въ ту пору дикихъ грушъ и яблонь, и что гудѣнія отъ пчелы и всякаго жука, комара и мухи! Упалъ казакъ на колѣни на траву и сказалъ: «быть тутъ поселку! И лучше мнѣ осѣсть у тебя, мать-пустыня, въ сосѣдствѣ съ кабаномъ, да съ волчицей, чѣмъ пропадать какъ псу отъ польскихъ кнудовъ!» Это, други мои, и былъ первый здѣшній осадчій, а вашъ пращуръ, казакъ-подолянинъ изъ-за Днѣпра, Данило Даниловичъ. Что сказалъ осадчій, то и сдѣлалъ: осѣлъ поселкомъ тутъ въ то же лѣто. И какъ напуганная пташка бросаетъ опасныя стороны и прилетаетъ вить гнѣздо въ такомъ тайникѣ, гдѣ ее и вашими глазами, дѣтушки, не увидишь, такъ и Данило перевелъ сюда въ вѣковѣчную глушь, свою старуху и дѣтокъ, и въ скрытности лѣсной, у озера, межъ отрогами холмовъ, вырылъ землянку и срубилъ курень. За Данилой, по его зову: «на Донецъ, на Донецъ! на волюшку!» бѣжали сюда его сосѣди. Вырубили лѣсную поляну, выкопали борни. Въ тростники спустили челнокъ. У воды застучалъ о кладку бабій валежъ. Крикнулъ пѣтухъ; загудѣла въ ульяхъ наловленная тутъ же, въ лѣсныхъ дуплахъ, рѣзвая, дикая, степная пчела. Трудно было первымъ поселенцамъ на Донцѣ! Бабы обносились, дѣти напугались звѣрья, сѣрыхъ ужей, да золоторогихъ змѣекъ; всѣ намучились, и старъ, и младъ. По ночамъ боялись свѣтъ зажигать. Сторожая, какъ бѣлки, прятались по верхамъ деревь. Хлѣбъ сперва сѣяли возлѣ самаго жилья, да и жилье часто разбивали по хлѣбу. Всѣ голодали, на сухаряхъ сидѣли по мѣсяцамъ. Но зацвѣли опять лѣса. Данило съ криками: «на Донецъ, братцы, на Донецъ!» еще презвалъ товарищей. Вокругъ перваго куреня поднялись, точно грибочки изъ земли, другіе курени. Данилу выбрали сотникомъ.

«Прошли года; изъ куреней въ лѣсу стала слободка, Великое Село, съ окопомъ, бойницами, мельницей и съ такою маленькою деревянною церковкой, что не вся въ ней слободка помѣщалась, а многіе слушали служеніе снаружи, по двору и подъ деревьями. Невдали же отъ крѣпостцы Данило сталъ заво-

дить хуторъ, что нынѣ Пришибъ. Одна бѣда: не могъ онъ, други мои, перезвать изъ-за Днѣпра своего названнаго брата и кума; казака Ивана Жука. Сперва прослышалъ онъ, что Жукъ былъ убитъ въ схваткѣ съ поляками; потомъ, что онъ живъ, и что его видѣли въ извозѣ за солью, а потомъ и слухъ о немъ затихъ. Сотня Данилы тою порой обстроилась и богатѣла хлѣбомъ, оружіемъ и всякимъ добромъ. Но не помогали ей ни рвы, ни частоколы, ни пушки. Нагрянули, дѣтушки мои, на нашъ Донецъ поганые татары. Саранчею разъ вечеромъ, подъ самый Юрьевъ день, откуда ни возмись, налетѣли и вдругъ это устлали всю нашу окольность, а ночью зачали, боржоча и гикая, переправляться въ бродъ по сую сторону Донца. На кого ни наткнутся, сейчасъ его на пику, либо на арканъ. Страхъ напасть на слободу. Данило Даниловичъ незадолго передъ тѣмъ отправилъ жену и малыхъ дѣтей въ повозкѣ на богомолье въ Хоросhevъ монастырь и за нихъ не боялся; онъ боялся за сотенную казну. А казна-то была у него въ боченкѣ, въ подвалѣ. Быстроилъ онъ сотню подъ ружьемъ, залперъ ворота частокола, расставилъ часовыхъ, велѣлъ съ окопа пушкарямъ палить по броду, сдать на время команду другому, а самъ, какъ стемнѣло, сбросилъ свиту, взвалилъ боченокъ съ дукатами и талерами на плечи, да тайкомъ и отнесъ его въ камыши, въ родниковый колодезь, невдалекѣ отъ сотеннаго пчельника. Только-что опустилъ въ воду боченокъ, смотритъ—по тотъ бокъ колодца, въ камышахъ, стоитъ и глядитъ на него изъ кустовъ, точно привидѣніе, весь бѣлый, другой, незнакомый человѣкъ. Онъ такъ и обомлѣлъ.—«Видѣлъ?» спросилъ Данило.—«Видѣлъ!» отвѣтилъ и тотъ.—«Ну, коли меня убьютъ, а ты уцѣлѣешь, дай знать тутъ въ сотню, гдѣ ея казна». Сказалъ и пошелъ кустами,— а сзади его точно летѣло въ воздухъ, и послѣ самъ онъ дивился, какъ онъ оставилъ казну на глазахъ невѣдомаго человѣка. Татары разбили крѣпостцу, сожгли половину куреней, липовый теремокъ на хуторѣ сотника ограбили, угнали стада и самого долго пытали, гдѣ сотенная казна, и чуть не замучили до смерти. Данилу взяли въ плѣнъ и увели на арканъ въ неволю въ Крымъ, а потомъ на Кубань. И когда Данило, года чрезъ четыре, подкопавши тайникъ, на хозяйскомъ жеребцѣ бѣжалъ изъ плѣна, явился опять среди своихъ на Донецъ и кинулся къ колодцу, боченка тамъ не было. На-

роду тоже поубавилось. И долго сотня не могла поправиться послѣ татарскаго погрома...»

— Что же, праѣдущка такъ и не нашель боченда?— спросила нетерпѣливая правнучка.

— Постой, пострѣль, все узнать успѣешь!

«Такъ прошли еще года два. И вотъ, милые мои, скажу вамъ: разъ Данило стоялъ на пригоркѣ, недалека отъ остатковъ погорѣлой крѣпости, и говорилъ заѣзжему полковому писарю: «вотъ, ваша милость, уже чрезъ нашъ поселокъ и чумаки стали ходить!» А тѣмъ часомъ, дѣйствительно, промежъ деревьевъ показался чумацкій обозъ, шедшій изъ-за Донца мимо ихъ окопа. Времена стали другія; о татарахъ было почти не слышно, и край уже кругомъ заселился, по Торпу, по Самарѣ, по Орели и по Берекѣ. Когда обозъ приблизился къ пригорку, съ передняго воза всталъ чумакъ-хозяинъ, подошелъ къ Данилѣ и писарю и спросилъ: «а кто у васъ тутъ сотникъ Данило, что поставилъ этотъ поселокъ и такъ долго былъ въ басурманскомъ плѣну?» Получивъ отвѣтъ, покачалъ головой и сказалъ: «да какъ же ты, друже, побѣдѣлъ! Совсѣмъ старый сталъ! Не узнаешь, видно, и ты меня: я — Жукъ, твой названный братъ и кумъ! Ъхалъ я мимо, вершинами Донца. Слухъ о тебѣ далеко пошелъ, я и завернулъ къ тебѣ на подмогу. Довольно ужъ и мнѣ мотаться по свѣту. Коли приметъ меня твоя братія, и я съ моими хлопцами тутъ же сяду. А кто вашу казну подглядѣлъ и тайно взялъ изъ колодца, я тоже слышалъ. Подобралъ ее и перенесъ въ другое мѣсто бѣглый пушкаръ изъ Цареборисова. Да не удалось ему ею поживиться. Онъ недавно умеръ отъ оспы и на духу все показалъ пепу. А я отъ народа узналъ. Посылай за казною; она у начальства на рукахъ». Данило поклонился куму въ ноги. Собѣжались казаки; составили совѣтъ; Данило обо всемъ отписалъ царю и воеводѣ. И долго обозъ того чумака, дѣтущки мои, стоялъ на выгонѣ у Пришиба, а сотня веселилась и поила всю чумацкую братію. Казна отыскалась. А къ осени, сударики мои, чумака, дѣйствительно, привелъ къ Данилѣ ватагу другихъ земляковъ, поклонился сотнѣ, и сотня отвела подъ жилье, подъ скотъ и подъ хлѣбъ чумаку и его братіи часть своихъ земель, десятины сотъ нѣсколько, межами отъ кургана до кургана и отъ дуба до дуба. Въ сотенной слободѣ прибавилась цѣлая новая улица, и ее прозвали, по имени того чумака, Жуками.

«Такъ прошло еще время, и сотникъ Данило сталъ по-
думывать о томъ, что стало съ его сынишкой, Евстафѣй,
котораго царь Петръ, во время его полоннаго терпѣнья,
взялъ въ Питеръ и помѣстилъ тамъ въ добрую науку къ
нѣкому ученому процептору. Другіе сыновья Данилы росли
дома на свободѣ. Евстафію жъ пошелъ уже двадцатый го-
докъ, и отецъ къ нему въ новую царскую столицу Санктъ-
Питеръ упросилъ съѣздить бывалаго въ Нарвскомъ походѣ
и да еще, тоже простого казака-сосѣда, Кирюшку Горличку.
А старикъ Горличка тутъ черезъ рѣку также занялъ зем-
лицу и сидѣлъ хуторомъ. Отписалъ родитель въ Питеръ
письмо, требуя сына домой къ себѣ на помощь, и послалъ
ему три рубля на лакомство, харчей и пару копей съ по-
возкою на дорогу. Кирюшка приѣхалъ въ Питеръ, сталъ
отыскивать по казармамъ да по товарищамъ сосѣдскаго
сына и узналъ о немъ недобрый вѣсти. Былъ тогда въ Пи-
терѣ, возлѣ самого царя Петра Алексѣевича, ближнимъ ко
двору князь Юрій Трубецкой, а у этого князя Юрья была
на сторонѣ фаворитка изъ нѣмокъ, и отъ этой фаворитки
дочка Марьюшка, молоденькая, тихая и изъ себя краса-
вина; звалась, впрочемъ, не Юрьевной, а по мужу матери—
Алексѣвной. Жила она съ маткой всегда по близости двора;
дворъ въ городѣ—и онѣ въ городѣ, дворъ на дачѣ—и онѣ
тутъ же, въ закрытости гдѣ-нибудь на дачѣ. Вышелъ-агъ
Евстафій Даниловичъ изъ школы отъ процептора молодецъ-
молодцомъ, румянъ да пригожъ, рослый и чернобровый, хетя
стыдливъ и робокъ. Сталъ сержантомъ гвардіи, на царскомъ
жалованьи, и нерѣдко попадалъ на караулы къ самымъ цар-
скимъ, не то что къ окольнымъ, дворскимъ хоромамъ. Тутъ
онѣ и узналъ, въ тайномъ сирятѣ, княжю Марьюшку и
полюбилъ ее пуще свѣту, полюбила Евстафья и Марьюшка.
Видѣлись они урывками на вечеринкахъ; танцовали вмѣстѣ
менуэтъ, видѣлись наединѣ въ екатерингофскихъ да василе-
островскихъ садахъ и рощахъ. Долго ли, нѣтъ ли, сударики
вы мои, любились Евстафій да Марья, только, наконецъ, и
скажи ея матка князю Юрью: что такъ, молъ, и такъ,
нѣкто сотничій сынъ, изъ Изюмской слободской провинціи,
государевъ сержантъ, Евстафій Даниловичъ, сватается за
ихъ дочку Марьюшку, что онѣ поистинѣ отмѣннаго нрава,
самъ молодецъ, добрыхъ родителей, и что есть у его ка-
зака-отца не мало маетностей, садовъ, лошадей, овецъ,

одежи и всякаго добра. Осерчалъ гордый князь Юрій, выразился дурно не только объ Евстафій, но и о его родителях: обозвалъ обоихъ хохлацкимъ мужичьёмъ и дегтярниками и запретилъ даже пускать его къ порогу своихъ хоромъ, грозя отодрать его батогами, коли узрять по близости Марьи. Приняты были, должно-статься, тутъ же мѣры крутенькія. Княжескіе лакеи припасли въ передней, по барскому велѣнію, пукъ розогъ; а ночью, у оконъ Марьюшки, ходили сторожа и разъ, заслышавъ впотьмахъ близъ сада чей-то конскій топотъ, подняли на княжеской дачѣ такую пальбу изъ мушкетовъ, что съ барышней сдѣлался отъ страха припадокъ, и ее насилу къ утру отходили. Евстафій съ горя отчалилъ, вышелъ въ отставку и пропалъ у всѣхъ изъ виду. А Марьюшка чахла - чахла и кончила тоже, ангелы мои, совсѣмъ плохо... Пошла Марьюшка съ камермедхеной своей на рѣку Волынку на дачѣ купаться. Лѣто было жаркое, и вся царская женская свита въ тѣ поры въ Екатерингофѣ наперерывъ въ водѣ бултыхалась. Только matka Марьюшки ждать-пождать, нѣту дочки и камермедхены. Послали ихъ искать, но слуги на берегу рѣчки, представьте, нашли только зеленое голландское шелковое платьице Марьи, шитыя золотомъ бархатныя туфельки, сорочку да платочекъ, да смерды обносики этой недоглядки-камермедхены. Значитъ, объ дѣвки порѣшили жизнь кончить и пошли на дно, какъ камешки. Приволокли невода и лодку, царева хозяйка матросовъ съ острововъ нагнала, искали утопленницъ и не нашли. Порѣшили, что теченіемъ унесло ихъ въ море».

— Что жъ, и вправду утонула Марьюшка? — спросила опять нетерпячая правнучка.

— Ахъ, монъ-кѣрь! да сиди ты, егоза, все узнаешь!

«Ударился о землю князь Юрій, не мало плакалъ съ фавориткой; долго служили они панихиды, справляли поминки и угощали нищихъ. На это-то, весьма ужасное и притомъ по истинѣ мерзкое горе-злосчастье и наѣхалъ, представьте, посланный отца, Кирюшка Горличка. Узналъ онъ про все, Евсташи тоже не отыскалъ и долго не рѣшался къ сотнику не то что обратнo ѣхать, а даже и писать. Ходилъ онъ, ходилъ по Питеру, да ужъ какіе-то господа, ѣдучи въ Кіевъ на богомолье, довели его и высадили на цограничной украинской линіи въ Бѣлгородѣ.

«Такъ протянулось, други вы мои, время до войны со

шведами и до самой Полтавской баталіи... Первые слободки пустили отъ рѣки въ степь, какъ корни на внешней грядкѣ, другія слободки и хутора. Сотникъ же Данило, надо вамъ, миленькіе, доложить, жилъ со своими сукцедентами и съ товарищами все тутъ же, на излюбленныхъ придонскихъ мѣстахъ, все въ той же занятой, по черкасской обычности, долині, въ крѣпостцѣ и въ миломъ сердцу сотенномъ Пришибѣ, какъ прошла молва, что на выручку арміи подъ Полтаву, съ юга, отъ Азова, спѣшить со свитой черезъ тѣ окольности самъ царь Петръ Алексѣевичъ, а впереди себя послалъ отряды свѣжихъ войскъ. Ахти мнѣ! всполошились поселенцы. Какъ царя встрѣчать! Двадцать седьмого мая, какъ теперь помню, сказывать мужу свѣкоръ, царь выѣхалъ изъ Азова степью на Бахмутъ, Изюмъ и Змиѣвъ; въ Изюмѣ онъ изволилъ кушать, справлять день своего рожденія и ночевать у г. Шидловскаго,—а второго іюня былъ уже въ Харьковѣ. Отстоялъ тамъ ясный соколъ-атъ нашъ, въ праздникъ Вознесенія, позднюю обѣдню, прочелъ всенародно, какъ есть среди соборнаго храма, апостола, осмотрѣлъ городъ и крѣпость, бурсака какого-то по-латынски спросилъ, съ бабами на базарѣ побалагурить, чье-то дитя бралъ на руки, ласкалъ. Въ тотъ же день его величество отѣхалъ къ Полтавѣ и двадцать-седьмого іюня, на Сампсонія, разбилъ шведовъ. И, стало-быть, коли второго іюня царь Петръ Алексѣевичъ былъ въ Харьковѣ, то перваго іюня былъ онъ въ гостяхъ у свабо вѣрнаго изюмскаго сотника Данилы. Стоялъ тутъ въ Пришибѣ все еще старый липовый теремокъ, однимъ-одинъ у рѣки. Только вишенья, лѣсное орѣшье, да яблони возлѣ него разрослись, послѣ татарскаго погрома. А кругомъ, въ разсыпку по зеленой полянѣ, возлѣ крѣпостцы и на хуторѣ, стояли соломенные казачьи курени, сарайчикъ, мельницы, да маленькая въ лѣсу церковка. Наканунѣ, отъ сосѣдней слободки Балаклеи, показалось войско и, не доходя Пришиба, стало лагеремъ. А на вечерней зарѣ закурилась съ той стороны пыль, показались скачущіе, въ зеленыхъ кафтанахъ, рейтары, потомъ одинъ экипажъ, другой и третій, и все размалеванные, четверками, рыдваны да берлины. Это была царская свита. А впереди, на парѣ ямскихъ, въ пыли, такъ что его трудно было и рассмотреть, показался какъ есть въ простой некрашенной одноколкѣ самъ царь и съ нимъ рядомъ изюмскій полковникъ, женатый на дочери сотника,

Варваръ Даниловъ, Михайло Константиновичъ Донецъ-Захаржевскій. Царь у него рано пообѣдалъ въ Изюмѣ и сказалъ: «Въ Пришибѣ остановлюсь; сдѣлаю муштру тамошней сотнѣ, да зайду на пироги къ старику-сотнику, поблагодарить его за вѣрную службу, за постановку поселка и флотилии и за его полное терпѣнье!» А поверхъ мѣловыхъ прибрежій Донца, отъ Изюма до Пришиба, гдѣ ѣхалъ царь, опять, дѣтушки мои, полнымъ цвѣтомъ цвѣли некошенныя поля, жаворонки заливались, дрофы да стрепеты перелетали; снизу же, отъ Донца-рѣки и отъ озеръ доносились, словно райскіе, запахи вслѣіе, да звонкіе крики дикихъ гусей, журавлей и лебедей. И нѣсколько разъ онъ, ясный соколъ-атъ нашъ, останавливался и заставлялъ ординарцевъ да генераловъ свиты рвать пучки цвѣтовъ. «Часть поднесемъ въ презентъ хозяйкѣ въ Пришибѣ, а остальное пошлемъ на пробу въ Питеръ, въ гофъ-аптеку; нѣтъ ли тутъ какихъ хорошихъ цѣлебныхъ зеліевъ?» И царская свита, морщаась отъ жары да пыли, рвала тѣ самые цвѣты, которые и я вамъ, дѣтушки, старая бабка Апенька, рву иной разъ и донныѣ. Сотня въ строю, на коняхъ, въ оружіи и съ пушкой встрѣтила царя, отдала ему честь, выпалила салютъ, крикнула вивать и поскакала за нимъ сперва къ крѣпости, а потомъ и къ сотниковой усадьбѣ. Царь, потирая поясницу, весь въ пыли и сильно загорѣлый, въ шелковомъ синемъ кафтанѣ, слѣзъ съ повозки, снялъ шляпу, утерся это платочкомъ, прямо такъ на всѣхъ поглядѣлъ, поклонился и сермяжной братиѣ, ступилъ на старенькое крыльцо, такъ что половицы заскрипѣли и столбики дрогнули, и шагнулъ въ свѣтлицу, гдѣ уже въ прохладѣ стояла съ хлѣбомъ-солью старая сотничиха Анна, былъ накрытъ столъ и закуска приготовлена. «А! воеводиха! отвоевалась отъ татаръ! Ну, Данило Даниловичъ, слѣзай-ка и ты съ коня, да веди къ себѣ въ гости!» Вошелъ онъ, ясный соколъ, въ теремъ, озираясь на глиняный полъ да на бѣлыя мазанія стѣны, и сѣлъ за этотъ вотъ самый, что стоитъ у окна, крашеный бѣлый столъ, съ размалеванными на немъ, какъ видите и теперь, тарелками, ножами и солонкою. «А кто это у васъ?»—спросилъ царь хозяевъ, отряхая съ камзола пыль и увидавъ тутъ же въ комнатѣ красивую, но худенькую молодую бабенку, въ шелковомъ корабликѣ поверхъ русыхъ волосъ, которая, какъ видно, была на сношѣ. Не собрались старики

отвѣчать, съ низкимъ поклономъ, его величеству, что это, молъ, ихъ невѣстушка, какъ въ горницу стала подваливать царская свита и всѣ ближнія креатуры его величества. А со свитой вошелъ и князь Юрій Трубецкой. «Ай! батюшка-князь!»—вскринула не своимъ голосомъ сотникова невѣстка, увидавъ князя: пошатнулась, да тутъ же, на порогѣ, словно вотъ помертвѣла, и грохнулась о-земь. Царь кинулся къ ней, поглядѣлъ это сердито кругомъ, ухватить князя Юрья за руку и крикнулъ: «говори мнѣ, Юрій, сущую правду!» А князю не до того; упалъ передъ дочкой на колѣни, плачетъ, дрожить, цѣлуетъ ея руки и говоритъ только: «покойница, ваше величество, покойница!» Промолвила тутъ старая сотничиха Анна: «казни насъ, царь-батюшка, только все выслушай!» и тутъ же передала государю, милые вы мои, какъ было все это дѣло: какъ за ея сына, Евсташу, не давалъ князь Юрій Марьюшку, какъ вышла дѣвка на рѣку Волынку, раздѣлась и бросилась въ воду, какъ бы утопилась. А на другомъ берегу, сударики вы мои, въ камышахъ ее ждала подговоренная нѣкая надежная бабка-голландка съ другимъ бѣьемъ и платьемъ. Марьюшка и служанка выплыли, вновь одѣлись; а по близости, въ березахъ, стоялъ и самъ суженый, съ повозкой и съ добрыми конями; посадилъ ненаглядную Марьюшку съ собою, да и умчалъ ее къ отцу, въ украинскія придонецкія мѣста. Здѣсь они повѣнчались, да съ тѣхъ поръ тутъ и проживали у его родителей. А что отца-князя о себѣ два года Марья Алексѣевна не оповѣщала, такъ потому, что боялась его княжескаго, да и вашего, молъ, царскаго гнѣва! «Клади, князь Юрій, гнѣвъ на милость!» рѣшилъ царь. Князь послушался. Робкій Евстафій, вообразите, забѣжалъ тѣмъ временемъ со страху въ вишни. Его отыскали; князь молодыхъ тутъ же благословилъ. И когда царь сѣлъ опять за столъ, выпилъ рюмку запеканки и сказалъ: «горько!»—Евстафья и Марьюшку, передъ персоною самого царя, заставили поцѣловаться, а изъ сотничкаго подвала выкатили бочку меду, и пиръ пошелъ такой, что послѣ обѣда царь велѣлъ отиравъ лошадей, закурилъ трубку, разстегнулся и сказалъ: «ну, минь-герръ-сотникъ, теперь ужъ угощай!»—сѣлъ съ генералитетомъ за пуншъ и остался тутъ компанствовать до разсвѣта. И каково же? Царь пируетъ съ подданными, а съ надворья въ окна вся слободка глядѣтъ сбѣжалася. Да и была къ тому

веселью другая причина. Марья Алексевна ужь больно; видно, испугалась неожиданной встрѣчи съ отцомъ, да къ ночи, нѣсколько ранѣе срока, и родила царю новаго подданнаго, старшаго брата, сударика, мужа маво, Якова Евстафьевича. Свадебный пиръ смѣнился къ полночи крестинами. Царь велѣлъ отпереть и освѣтить церковь и самъ, ставя свѣчи и подтягивая каноны хмельному попу, былъ за крестнаго отца у новорожденнаго. Откуда взялъ тутъ царь пару небольшихъ колоколовъ, можетъ, съ собою въ другія мѣста везъ, только послѣ крестинъ и говорить: «плюхи у тебя, Данило Даниловичъ, колокола; глухи что-то голосомъ; никто за лѣсомъ и не услышитъ, что тутъ у васъ служеніе! я тебѣ другіе повѣшу!»—и самъ, вообразите, стащилъ ихъ на колокольную. Они и донинѣ у насъ висятъ въ Прішибѣ... Уѣзжая-жъ до восхода солнца далѣе въ Харьковъ, зашелъ къ родильницѣ и сказалъ ей: «прощай, зума Машенька, да роди больше мнѣ такихъ крикуновъ; и дай, я тебя на прощанье поцѣлую; только извини, чеснокомъ закусилъ вашу пеканку!» Надѣлъ Марьюшкѣ аметистовый вотъ этотъ самый перстенькъ съ своего мизинца, подарилъ ей пучокъ нарванныхъ дорогою полевыхъ цвѣтовъ, посадилъ у крыльца въ садъ жолудъ и уѣхалъ... Такъ вотъ вамъ исторія перстня.

«Да вотъ еще что, мои дѣтушки... Совсѣмъ стара стала, забывала! Ужъ въ какое время, вечеромъ ли засвѣтло, послѣ ли обѣда, али ночью, при мѣсяцѣ, только прослышалъ его величество, что между сотниковымъ хуторомъ и крѣпостцой въ лѣсу есть по-близости озеро Лебяжье, и на немъ, для рыбной ловли, устроень такой небольшой катеръ. Чтò же вы думаете? Велѣлъ себя везти туда, потащилъ съ собою сотника и весь генералитетъ и проѣхался раза три по озеру; ставилъ паруса, заставлялъ стрѣлять изъ мушкетовъ съ катера, въ честь новорожденнаго, и всѣхъ благодарилъ, начальство и казаковъ. Старый Данило тоже подгулялъ и только все кланялся, а при отъѣздѣ царя, какъ упалъ ему въ ноги, такъ насилу его подняли.

«Послѣ Полтавской баталіи государь прислалъ сотнику изъ Батурина пару плѣнскихъ овецъ на заводъ, а изъ Питера въ скорости и крѣпостную грамоту на владѣніе, какъ бы вы думали чѣмъ?—десятью тысячами десятинъ изъ числа сотенной земли, не только съ казачьими дворами, но, какъ потомъ объявилось, и съ самими казаками... Да, дѣтушки

мой! Данило потомъ подпалъ подъ гнѣвъ царя, былъ взятъ по доносу въ Питеръ, въ розыскную канцелярію князя Юсупова, и тамъ, въ крѣпости, хотя и оправдался, въ скорости умеръ. Во власть же и въ подданство его сукцендентовъ, по царской грамотѣ, да по Божьей милости, попали не только свои братья-казаки, но и названный его кумъ Иванъ Жукъ, съ товарищами, принятые сотней, и сосѣдь его Кирюшка Горличка, со всѣми домочадцами. Люди, разумѣется, были все темные, какъ есть мужички. Да и самъ сотникъ Данило, несмотря на рангъ, какъ жить, такъ и умеръ еще по простотѣ. Евстафій же Даниловичъ, по смерти отца, подобрѣлъ, зажилъ припѣваючи, на всю губу; шелковый красный кафтанъ сталъ носить и парикъ съ буклями; отъ царскихъ же овецъ повелѣть огромныя стада. А владѣя крестьянами, онъ потомъ получилъ и дворянство. При пресвѣтлой царицѣ Аннѣ Ивановнѣ, господинъ лейбъ-гвардіи майоръ Хрущовъ производилъ тутъ первую ревизію. Тогда Евстафій Даниловичъ былъ уже изюмскимъ полковникомъ, съ Минихомъ въ Крымъ ходилъ, — и за нимъ по ревизіи записали навѣки всѣхъ жильцовъ его придонецкихъ земель. И хотя у Евстафія и Марьи Алексѣевны дѣти померли, и окромя сына Якова, не осталось въ живыхъ дѣтей, но и Яковъ Евстафьевичъ-агъ мой вышелъ тоже изъ себя, предъ всѣмъ своимъ родомъ, мужчина уважительный и средостепенный, строгаго нрава хозяинъ и подданнымъ своимъ не потатчикъ! Его не учили такъ, какъ его родителя; но онъ умеръ, по милости Божьей и матушки царицы, какъ подобаетъ столбовому дворянину: въ чести, въ богатствѣ и въ холѣ; мнѣ приказалъ быть во всемъ хозяйкою до смерти и ѣздить изъ Харькова въ Питеръ по дѣламъ, не то, что мелкія нонѣшнія сошки, а восьмерикомъ, въ желтомъ этакомъ рыдванѣ, съ двумя фалеторами и съ двумя же лакеями. Одна бѣда: не удалось ему, моему дружку, до конца жизни быть въ дворскомъ фаворѣ и въ случаѣ. Гордъ былъ, оттого не дошелъ... А изъ царскаго жолудя выросъ, какъ видите, въ нашемъ саду большущій дубъ. Когда Иванушка вѣнчался, мы подъ этимъ дубомъ уже десерты кушали и венгерское пили... И пока дубъ этотъ будетъ въ цѣлости расти, нашему богатству и родовому гонору, дѣтушки мои, вѣрьте мнѣ, не переставать, а цвѣсти въ знатности, въ силѣ и въ славѣ во вѣки...»

Прабабушка Анна Петровна, на этотъ разъ, говоря о своемъ мужѣ, покривила душой. Не столько ее огорчалъ графъ Аракчеевъ, заколачивая палками, по сосѣдству съ ней, потомковъ первыхъ населителей Дона, не хотѣвшихъ обращаться огуломъ въ уланъ и въ драгуновъ, сколько втайнѣ огорчалъ ее этотъ самый милъ-дружокъ, Яковъ Евстафьевичъ, съ нею вмѣстѣ полвѣка спокойно державшій часть этихъ населителей въ самомъ строгомъ крѣпостномъ состояніи. Взявъ онъ Анну Петровну небогатою фрейлиной, изъ за связей, отъ царицына петербургскаго двора, будучи подъ тридцать лѣтъ. Болѣзненный меланхоликъ, онъ былъ корыстолюбивъ и скрытенъ, рѣдко съ кѣмъ видѣлся, постоянно ворчалъ и сердился, вѣлъ безконечныя тяжбы съ сосѣдами и, еще задолго до отбѣзжихъ полей и пировъ избалованнаго имъ и не особенно любимаго сына Иванушки, умудрился этими процессами и стекляннымъ, въ убытокъ веденнымъ, заводомъ сильно разстроить огромныя, пожалованныя Данилѣ, помѣстья и, между прочимъ, наполовину истребилъ у себя обширныя, вѣковѣчныя придонскіе лѣса. До женитьбы онъ былъ слабъ, какъ послѣ и сынокъ, въ отношеніи красавицъ, и не разъ даже открыто, черезъ слугъ своей молодечни, отбиралъ на время женъ у мужей. А обвѣнчавшись, жену держалъ въ ежовыхъ рукавицахъ и, кромѣ книгъ, да прогулокъ со слугами пѣшкомъ и верхомъ, не давалъ ей отъ ревности никакого развлечения. Онъ умеръ въ чахоткѣ, завѣщавъ женѣ, отъ непреодолимаго страха смерти, построить большой каменный храмъ. Прабабушка никому на него не жаловалась. Но ея затаенныя укорины покойному милу-дружку Якову Евстафьевичу сказались сами собой. Послѣ нея остались любимыя ею книги, романы прошлыхъ, забытыхъ временъ: Лолота и Фанфанъ, или приключенія двухъ младенцевъ, оставленныхъ на необитаемомъ острову; мальчикъ, наигрывающій разныя штуки колокольчикомъ; Адексисъ, или домикъ въ дѣсу; и похождения Жильблаза-де-Сантилланы. Вездѣ въ этихъ книгахъ были подчеркнуты слова, въ родѣ: «о, странное и горестное непостоянство вещей! о, удивительная измѣна и разность сердца человѣческаго!» или: «кроткому духу нравится рѣзвое журчаніе ручейковъ и густая тѣнь рощей, а особенно тогда, когда я, о люди, схоронилъ свое сердце далеко, далеко!» Сбоку этихъ строкъ рукою прабабушки написано: «увы, какъ это вѣрно».

Умерла прабабушка Анна Петровна спокойно, сознательно и рѣшительно. У нея давно былъ припасенъ самый нарядъ на смерть: новое черное гродетурбовое платье, безъ шлейфа, бѣлая буфмуслиновая косынка на плечи, черный тюлевый чепецъ и бѣлый батистовый платочекъ, для подвязанія въ гробу нижней, при жизни ослабѣвшей челюсти. Почувствовавъ приближеніе кончины, она призвала отца Авдія, пола новой каменной церкви (а попъ былъ маленькій, худенькій, бѣдный, но сварливый, задорный и себѣ на умѣ) и долго съ нимъ уговаривалась о подробностяхъ собственныхъ похоронъ: о мѣстѣ погребенія, чтобы могила въ фамильномъ склѣпѣ не затекла водою съ сосѣднихъ бугровъ, о томъ, кого звать на отпѣваніе и кого не звать, изъ крупныхъ и мелкихъ знакомцевъ; быть ли постороннему духовенству и сосѣднимъ пѣвчимъ и, наконецъ, о платѣ ему, попу, за погребеніе и за поминальный сорокоустъ. Попъ просилъ за послѣднюю статью пятьдесятъ рублей ассигнаціями, увѣряя, что дороги стали свѣчи; ладанъ, вино и мука, а прабабушка давала двадцать-пять; сошлись на сорока. Покончивъ съ попомъ, она позвала сына Иванушку и его ученую и всѣми любимую супругу, объявила имъ, на чемъ порѣшила съ упорнымъ попомъ, и прибавила: «смотрите же, дѣтушки, больше ему, кутейнику, не давайте; Авдіевой попадейкѣ, пожалуй, прибавьте десять ульевъ. Она меня болѣзную развлекала... Да положите въ гробъ со мной царскій перстень и пучокъ ландышей, али иныхъ цвѣтовъ. Царскій Марьюшкинъ пучокъ, кажись, затеряли, какъ иконы мыли. Да теперь легко собрать свѣженькихъ! слышу изъ комнаты, по зарямъ, птицы летятъ изъ-за моря; въ воздухѣ точно вотъ молодымъ виномъ пахнетъ; значить, степь и лѣса расцвѣтаютъ.»

Незадолго до смерти, Анна Петровна сказала сыну: «хочу посмотреть, какъ ты управляешься по хозяйству!» и объявила, что желаетъ, во что бы то ни стало, взглянуть на табунъ лошадей, кормившійся на зимовѣ, за Донцомъ, въ ея хуторѣ, на рѣкѣ Богатой. Иванъ Яковлевичъ безпрекословно рѣшилъ выполнить волю матери и, какъ ни трудно было, въ начинавшуюся распутицу гнать рѣзвый и дикій табунъ во сто лошадей, его благополучно привели къ Дону и чрезъ самый Донецъ, по сильно таявшему и посинѣлому льду. Но едва, съ громкимъ ржаніемъ, передовые рослые жеребцы, а потомъ и весь красивый табунъ выдѣлился изъ

весеннего тумана и ступилъ на рѣченку, по которой расположенъ Пришибъ, ледъ подломился, и всѣ лошади, за исключеніемъ одного невзрачнаго пѣгаго мерина, потонули. Иванъ Яковлевичъ, бывшій при этой переправѣ, заплакалъ и воротился домой повторяя: «это даромъ не пройдетъ: видно, матушкѣ жить недолго!» Потопленіе табуна, однако, отъ старушки скрыли.

Съ той поры прабабушка стала забываться и умерла, передъ вечеромъ, незадолго до вѣшняго Никола. Въ гробу она лежала маленькая, сухенькая и легенькая, совсѣмъ дитя, а не та властительная и важная помѣщица, изъ питерскихъ статсъ-фрейлинъ, къ которой весь уѣздъ въ оны дни съѣзжался на поклонъ. И хотя она умерла такъ тихо, что не скоро о томъ въ постоянно-суетливомъ дворѣ сына и спохватились, но горничная, стриженная Ульянка, не отходявшая въ послѣднія недѣли отъ ея порога, передавала впоследствии на кухнѣ, что старая барыня не разъ передъ смертью по ночамъ вскакивала на постели, въ тоскѣ и въ горести ломала руки, требовала зеркало, смотрѣлась въ него, чесала гребнемъ сѣдые включенные волосы и съ блуждающими глазами тихо съ отчаяніемъ про себя восклицала, какъ-бы зова кого-либо изъ давно умершихъ, далекихъ друзей: «ахъ, Пашковъ, Пашковъ! милъ-сердечный дружокъ, гдѣ ты, гдѣ ты?»

Яковъ Евстафьевичъ, мужъ прабабушки, фамиліи Пашкова не носилъ, и какая драма крылась въ этихъ предсмертныхъ восклицаніяхъ Анны Петровны, осталось, вѣроятно, навсегда неразъясненнымъ, такъ какъ дневникъ ея невѣстки, который та, по преданію, вела, донынѣ пока въ семейныхъ бумагахъ не отысканъ. Полагаютъ, что лакей Абрамка употребилъ его на обертываніе свѣчей. Царскій перстень также затеряли-было, и потому въ кирпичномъ склепѣ, надъ гробомъ старушки, оставили окошечко, которое долго пугало робкихъ прихожанъ и куда потомъ ея внуки, дѣйствительно, бросили этотъ перстень, найдя его въ закладѣ у сосѣдняго жида.

У меня хранится отличный портретъ масляными красками Анны Петровны, съ портретами ея сына и невѣстки.

Вслѣдъ за смертью прабабушки, въ Пришибѣ и въ остальныхъ слободахъ ея сына налетѣли, въ зеленыхъ вицъ-мунди-

рахъ, приказные, все описали за безпутное мотовство владѣльца, оцѣнили и оповѣстили къ продажѣ съ молотка. И хотя не все въ конецъ было продано съ публичнаго торга, но родъ Данилы съ тѣхъ поръ сильно обдѣлѣлъ и разсѣлся. Въ проданномъ лѣсу, на мѣстѣ крѣпостцы, недавній владѣлецъ выстроилъ сахарный заводъ, и въ его огромную, далеко видную красную трубу буквально вылетѣлъ весь лѣсъ, какъ засѣянный дѣдушкой для дичи, такъ и выросшій послѣ стекляннаго завода прадѣдушки.

Одинъ могучій дубъ, полтораста лѣтъ назадъ посаженный предъ домомъ давно несуществующей хуторской усадьбы сотника, стоитъ и теперь свѣжъ и крѣпокъ, на тридцать шаговъ кругомъ простирая, въ загдохнемъ и одичаломъ саду забытаго помѣстья, темныя и густыя вѣтви. Вблизи отъ него, у обветшалаго каменной церкви, недавно пріютилась, крестьянская волостная школа. Дѣти вновь получившихъ волю поселянъ, рѣзвою гурьбой, съ удочками и съ книжками, пробираются изъ школы, чрезъ рвы и плетни новыхъ усадебъ, къ рѣкѣ и иной разъ прячутся отъ дождя и солнца подъ дубомъ. Между ихъ кличками уже не слышно прозвищъ ни Жука, ни Горлички. У нихъ нѣтъ прошедшаго, но для нихъ слѣдуетъ новое будущее. Отцы ихъ пахутъ и сѣютъ теперь уже не на сотника Данилу и не на его внуковъ и правнуковъ, а на новаго хозяина, на сосѣднюю чугунку. Врѣзалась она недавно, снося старые хутора, сады и усадьбы, въ окрестныя мѣста и, что ни день, выкрикиваетъ: «пшеницы, ребята, пшеницы! а за нее вотъ вамъ деньги, а съ ними будетъ вамъ и вашимъ дѣтямъ и та воля, которой вы тутъ такъ долго искали?»

Прабабушку Анну Петровну въ окрестности всѣ забыли. Случайно о ней напомнило, не такъ давно, одно обстоятельство.

Въ хозяйственныхъ книгахъ прадѣдушки, найденныхъ между старинными нотами и театральными костюмами въ сундукѣ одной умершей, совершенно бѣдной старушки, отысканъ рукописный календарь-дневникъ, куда прадѣдушка въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ вкратцѣ вписывалъ разныя достопримѣчательности своего давно забытаго домашняго обихода. Противъ февраля 1768 года въ этомъ календарѣ написано: «подарилъ Ашенькѣ безподобной яхонтъ и часы отъ Лепика. Иванушка и учитель его, Григорѣвской, любо-

валися». Противъ іюля 1770 отмѣчено: «бѣжалъ садовникъ Максимка Жукъ и поваръ Лука Горличка бѣжалъ же; смутно и у сосѣдей, братецъ капитанъ-исправника, господинъ маеоръ, слышно, умеръ отъ руки своихъ людей». Противъ августа 1775 года стоитъ отмѣтка: «бѣжала дѣвка Нешка, и я за нее попалъ у Ашеньки въ суспицію». А противъ марта 1780 года написано: «укрошаль Ашеньку, дважды запирая на три сутки въ банѣ, за придирки и за скуку. Женское жеманство тѣмъ исправляется».

1871 г.

II.

ТѢНЬ ПРАДѢДА.

(Лейбъ-кампанецъ).

Въ рукописномъ календарѣ-дневникѣ моего прадѣда, Якова Евстафича Данилевскаго, подъ 1776 годомъ, уцѣлѣла замѣтка: «13-го іюня, въ понедѣльникъ, заложилъ я хуторъ азовской губерніи, на рѣкѣ Богатой». Подъ 1778 годомъ, тамъ же прибавлено: «іюля 24-го, во вторникъ, въ полночь пріѣхали въ хуторъ на Богатую—я, Ашецька, Иванушка и учитель Григорѣвской. Тогда во оныхъ пустошахъ селяне бѣжали, а сосѣду моему по тому хутору, лейбъ-кампанцу ея величества покойныя императрицы Елисаветъ Петровны, г. Увакину, по его, впрочемъ, качеству и по бездѣльнымъ и противнымъ онаго же поступкамъ, его подданными тогда же содѣянъ столь неподобной и ужести наводящій афронтъ, что хотя бы я на свѣтѣ не былъ,—*тѣнь моя* да скажетъ о томъ потомству...»

Яковъ Евстафичъ очутился сосѣдомъ лейбъ-кампанца Увакина, вслѣдствіе того обстоятельства, что пожелалъ, въ рѣдкій часъ фавора къ моей прабабкѣ Аннѣ Петровнѣ, сдѣлать ей отмѣнный презентъ. А именно, подъ влияніемъ недавнихъ преданій о заселеніи этого края, онъ задумалъ сперва населить, а потомъ сюрпризомъ за нею укрѣпить плодородную дикую степь въ 7.000 десятинъ, купленную имъ съ торговъ за четыре тысячи рублей ассигнаціями, отъ генерала Штоффельна. Земля же эта находилась въ тогдашней азовской, нынѣ Екатеринославской губерніи,

между рѣчекъ Богатой, Богатеньки и Лазовой, и болѣе чѣмъ въ ста верстахъ отъ Пришиба, родового помѣстья прадѣда.

Затѣявъ населить для жены хуторъ, Яковъ Евстафичъ изъ сырмятины соорудилъ кожаную калмыцкую кибитку, взялъ съ собой изъ Пришиба крѣпостныхъ рабочихъ и купленного передъ тѣмъ въ Москвѣ у Архарова приказчика Михайлу Портяного, перваго развѣдчика и доглядчика выбранной степи, и, въ ожиданіи купленныхъ гдѣ-то подѣ Тудой крестьянъ, переѣхалъ готовить для переселенцевъ избы, сараи для скота и водопой.

Постройка зданій, по тогдашнимъ затрудненіямъ въ добычѣ припасовъ, запоздала. Сверхъ того, при переводѣ купленныхъ крестьянъ, въ началѣ случились тоже какія-то непредвидѣнныя преграды. А потому, въ первыя два лѣта по покупкѣ земли, Яковъ Евстафичъ, несмотря на слабое здоровье, по временамъ наѣзжая на Богатую и проживая въ калмыцкой кибиткѣ, разбитой у опушки круглаго степного лѣска, сильно скучалъ.

Вѣчно озабоченный хозяйствомъ обширныхъ имѣній и тяжбами съ казной и съ сосѣдами, Яковъ Евстафичъ, хотя безпрестанно ѣздитъ то въ губернскій городъ, то въ столицы, и съ виду былъ угрюмъ, но ничего онъ такъ не любилъ, какъ сидѣнья дома, въ зеленомъ шелковомъ халатѣ на бѣлыхъ мерлушкахъ, да слушанья разсказовъ Ашеньки, на которую онъ, впрочемъ, дома то-и-дѣло ворчалъ. А тутъ, вмѣсто лѣсныхъ береговъ Донца и тусто-населеннаго Пришиба, дикопорожня и глухая степь.

Яковъ Евстафичъ любилъ, когда въ комнатѣ, гдѣ онъ спитъ, водятся сверчки. И если они иной разъ оттуда исчезали, онъ отряжалъ Ашеньку къ кому-либо изъ сосѣдей. Анна Петровна останется въ гостяхъ ночевать, разстелеть на полъ простыню, станетъ водить шпилькой по зубьямъ коснаго гребня, подманить тѣмъ изъ-за печки и изъ щелей нѣсколько сверчковъ и привезетъ ихъ въ коробочкѣ мужу. А иногда и самъ Яковъ Евстафичъ наловитъ пѣвуновъ у кого-нибудь изъ дворовыхъ и напуститъ себѣ въ опочивальню. И по цѣлымъ вечерамъ, особенно зимой, сидитъ, бывало, у окошка и слушаетъ, приговаривая: «эка хорошая музыка! Точно скрипачи! Лихо сладились! Семь чело-вѣкъ сегодня пѣло». Приказчикъ Портяной зналъ обычаи барина и, разбивъ кибитку у лѣснаго круглячка, въ пер-

вое же лѣто и прежде всего то сухарями, то кашей при-
вадилъ туда цѣлую пѣвческую капеллу разнообразнѣйшихъ
полевыхъ сверчковъ, которымъ въ окрестной травѣ вторили
тысячи товарищей.

Во второе лѣто Яковъ Евстафичъ сталъ братъ въ по-
бывку на Богатую учителя Иванушки, Григорѣвскаго. Это
былъ рослый и худой бурсакъ, вѣчно потѣвшій, робкій и
молчаливый, разъ въ мѣсяцъ аккуратно напивавшійся мерт-
веца и ходившій въ длиннополой нанковой парѣ ярко-жел-
таго цвѣта, такъ что издали казался большою канарейкой.
Яковъ Евстафичъ любилъ съ нимъ поспорить о философіи
и о тайнахъ природы, такъ какъ Ѳеодоръ Степановичъ былъ
только мистикъ, а Яковъ Евстафичъ къ тому же еще и масонъ,
изъ извѣстной логи Елагина: землякъ и однокашникъ по кадет-
скому корпусу извѣстнаго Мировича. За учителемъ водилась
еще одна странность, доставлявшая много веселости Якову
Евстафичу. Изъ бурсы учитель вынесъ привычку самъ
себѣ мыть не только бѣлье, но и платье. Какъ заносить,
бывало, то и другое, выждетъ время и шмыгнетъ въ садъ
къ пруду, либо на донецкія озера въ лѣсъ. Сниметъ платье
и бѣлье, осмотритъ все, отстегнетъ изъ-подъ лацкана за-
пасную иглу, заштопаетъ что надо, да тутъ же и вымоетъ,
какъ слѣдуетъ, и развѣситъ сушиться по кустамъ, а самъ
разляжется въ прохладныхъ струяхъ на песокъ и думаетъ:
«Вотъ, кабы сюда еще да бутылочку тогайскаго, либо
пивца!» Яковъ Евстафичъ поглядѣлъ его нагишомъ за
такими упражненіями и съ тѣхъ поръ не могъ на него
смотрѣть безъ смѣха.

Учитель пріѣхалъ на Богатую не одинъ. Онъ привезъ
съ собою и любимаго Якова Евстафича ручного журавля,
по имени генеральсь-адъютанта. Нѣсколько лѣтъ этотъ жу-
равль жилъ въ Пришибѣ и такъ привыкъ къ людскому
обиходу и суетѣ, что зимой не выходилъ изъ птични, а лѣ-
томъ, съ прочими домашними пернатыми, весь день гордо
поступно шагалъ по двору, клая всякую всячину и воюя
за помой съ собаками и свиньями. Зато осенью, когда по
небу тянулись вереницы его дикихъ товарищей, сѣрый
журакъ по цѣлымъ днямъ стоялъ задумавшись и затѣмъ
вдругъ начиналъ ногами и крыльями выдѣлывать неистовые
и уморительные прыжки. Но какъ генеральсь-адъютантъ
ни старался подняться въ воздухъ, его манило снова назадъ

къ землѣ, въ знакомый дворъ, и, обогнувъ садъ и выгонъ, онъ кругами опускался опять либо на крышу кухни, либо на погребъ и, какъ-бы для развлечения, усердно принимался долбить носомъ какую-нибудь кухонную дрянъ или бабье тряпье. «Что, братъ, журка, не полетишь?» подтрунивалъ надъ нимъ Яковъ Евстафичъ, стоя на крыльцѣ и вспоминая собственные молодые годы, дружбу съ Мирвичемъ и службу въ пѣхотномъ Псковскомъ полку: «видно, не до товарищей теперь, дурачина! привыкъ, обабился, вотъ и сиди!»

Но едва учитель привезъ журавля на Богатую, на другой же день, около вечера, заслыша въ камышахъ гортанные оклики привольной и дикой стаи товарищей, генеральскаго адъютанта исполнился тревогой, пересталъ ѣсть, а на утренней зарѣ какъ-то особенно пѣвуче и жалобно затурликалъ, взмыль и улетѣлъ безъ возврата...

Скука на Богатой окончательно стала заѣдать Якова Евстафича, особенно къ концу второй осени, когда вчернѣ поспѣли жилья для переселенцевъ и, расчистивъ подъ гсрой три самородные ключа, онъ занялся пахотью и посѣвомъ подъ зябь. Ничто не помогало: ни еженедѣльные каракульки сына, ни ласковыя цидулки къ милу-другу отъ самой Ашеньки, что-де пора вамъ, свѣтикъ, возвратиться и ужъ не полонила-ль вашего сердца какая-нибудь заходящая степнячка? — «Гм! донинѣ глупая баба ревнуетъ!» подумалъ Яковъ Евстафичъ, почесывая въ затылкѣ. Даже не веселили его посѣщенія господскія горницы, а наконецъ, и большой табунъ лошадей, съ восемью жеребцами, въ тотъ годъ переведенный сюда съ луговъ изъ Пришиба.

И вотъ, чтобы развлечь барина, приказчикъ Портаной однажды сказалъ ему:

— Что, ваша милость? Послушайте-ка вы мои рабскія рѣчи. Съѣсть-то поселкомъ мы сѣли, строимъ жилья, нарыли колодезей и насылаи хлѣба до вешняго теплаго дня. А сосѣдей-то и не почествовали. Не купи двора, купи сосѣда! Съ сосѣдомъ жить въ миру, все къ добру.

— Такъ, такъ, Михайлушка. Да кто же тутъ у насъ, скажи ты мнѣ, стоящіе сосѣди?

— А хоть бы и г. Увакинъ, лейбъ-кампанецъ. Я ужъ вамъ не однаго про него докладывалъ. Онъ въ Питерѣ служилъ, и сами, чай, изволили слышать тѣтку нонѣшней ца-

рицы, покойную царицу Лизаветь Петровну, съ товарищами посадилъ на царство... Онъ это съѣзжалъ куда-то, а нонѣ съ Покрова опять тутъ объявился въ своемъ владѣннѣ.

— Ой-ли? Далече ли его зимовникъ и отъ кого ты про него узналъ?

— Верстахъ въ пятнадцать сидитъ, внизъ по Лозовой, промежъ трехъ яровъ, коли слыщали. Чунѣхинскій полкъ про него сказывалъ. Баринъ ужъ старый, начетчикъ такой и пребѣдовый. Всѣ его тутъ боятся, особливо-жъ женскій полкъ. И коли ваша милость пожелаете его узрѣть надоть поосторожнѣе: какъ бы не изобидѣлъ... Гордости великой человекъ, хоть и изъ простыхъ рядовыхъ, — извините, — въ столбовые вышелъ...

Якова Евстафича, впрочемъ, трудно было испугать кѣмъ бы то ни было. Онъ и обыска, и спроса по дѣлу Мировича не испугался, когда къ нему въ имѣннѣ налетѣлъ самъ намѣстникъ, тутъ-же, впрочемъ, спасовавшій передъ его женой, извѣстной самой государынѣ. А потому, недолго думая, онъ сперва отписалъ къ Увакину вѣжливое письмо, увѣряя его въ дружбѣ и въ уваженнѣ, а затѣмъ снарядилъ и послалъ къ нему учителя Григорѣвскаго, съ порученнѣмъ просить его «лейбъ-кампанское благороднѣе» къ себѣ на побывку въ гости. Семинаристъ отъ сосѣда былъ привезенъ подъ такимъ сильнымъ подозрѣннѣмъ въ презнатной выпивкѣ, что прежде всего надо было уложить его спать. А потомъ отъ него узнали слѣдующее: «я-де Увакинъ, тоже старъ и хотя былъ, дѣйствительно, когда-то рядовымъ, но ко мнѣ нонѣ ѣздить не токма знатные дворяне, а и генералы, да и самъ г-нъ азовскій губернаторъ неоднократно являлся ко мнѣ на рандеву и какъ слѣдъ отдавалъ решпектъ по всей, то-есть, подобающей аттенци! Инъ пусть же господинъ поручикъ Яковъ Астафичъ самъ первый ко мнѣ пожалуетъ». — «Фанфаронъ!» — фыркнулъ на это Яковъ Евстафичъ. Однакоже, дѣлать нечего, переходя, велѣлъ запрячь четверню воронопѣгихъ и, передъ возвращеннѣмъ Пришибѣ, самъ съѣздилъ съ решпектомъ на рандеву къ сосѣду лейбъ-кампанцу: «побалую его, пса, можетъ, когда и пригодится. Вонъ тятенька мой, Евстафій Даниловичъ, веселилъ на бандурѣ князя Никиту Юрьича Трубецкого и за то полкъ изюмскій получилъ въ команду!»

Было свѣтлое, съ легкимъ морозцемъ, октябрьское утро. Калина Саввичъ Увакинъ встрѣтилъ Якова Евстафьяча на завалинкѣ бѣлаго глинянаго домика, гдѣ онъ, въ волчьемъ тулупѣ и въ рысей шапкѣ, грѣлся на солнцѣ и изъ кувшина просомъ кормилъ голубей, и сперва показался гостю такимъ сгорбленнымъ и невзрачнымъ старикашкой.

— Милостивѣйшему патрону и сосѣду привѣтъ! — искательно заявилъ о себѣ, вытѣвая изъ коляски, Яковъ Евстафьячъ.

— Прошу и меня нижайшаго жаловать; вашъ слуга! — съ аттенціей принялъ гостя и хозяинъ: — спасибо, что навѣстили меня, Калину! Собачья старость вотъ пришла. Вишенье развожу, птичекъ кормлю, да вѣдомости про нонѣшнія времена читаю. Не могу не благословлять Господа, что до-днесъ, по волю ея величества, моей покойной императрицы Лизавѣтъ Петровны (тутъ Увакинъ всталъ и снялъ шапку), тридцать-пять лѣтъ на спокоѣ состою и доводствѣ, въ пречестномъ потомственномъ расейскомъ дворянствѣ помѣщикомъ...

Гость и хозяинъ церемонно обнялись и присѣли на завалинкѣ.

Шестидесятилѣтній, медвѣдеобразный, съ бѣлыми кустоватыми бровями, почти безъ усовъ, и еще желѣзнаго здоровья, старикъ Увакинъ, родомъ изъ новгородскихъ поповскихъ дѣтей, какъ всталъ, говоря о Елисаветѣ Петровнѣ, да выпрямился, то оказался великаномъ сравнительно съ тшедушнымъ, лысенъкимъ, слабымъ и невысокимъ гостемъ. Крупный и красный носъ Калины Саввича показывалъ, что онъ полюбилъ украинскую терновку и часто прикладывался къ ея бутылкамъ, укромно глядѣвшимъ наружу чуть не изъ каждаго окна. А громкія побранки, съ которыми онъ раза два прикрикнулъ на вѣрнаго слугу, горбатаго Васильца, распоряджаясь приѣмомъ гостя, говорили, что лейбъ-кампанецъ спозаранку уже былъ на второмъ взводѣ. Отсыпавъ другъ другу съ три короба изысканныхъ привѣтствій и комплиментовъ, новые знакомцы перешли въ вишневую куртину, гдѣ въ ту пору подсаживались новыя деревца, а оттуда въ горницу, и здѣсь Увакинъ началъ бесѣду о прошломъ и, главное, о великой перемѣнѣ приснопамятнаго 1741 года.

— Не тѣ нонѣ времена, Яковъ Астафьячъ, не тѣ! То ли

были дни, милостивый патронъ мой, какі мы матушку красавицу нашу, Лизаветь Петровну, становили на царство! А наипаче и особливо, сказала она, лейбъ-гвардія нашей полковъ по прошенію престолъ родителя нашего мы воспріять изволили... А? Слышите? И гдѣ у людей уши и память? Такъ, именно этими словами она о насъ и прорекла всему свѣту въ манифестѣ? Наипаче же и особливо!.. Всему царству сказала!.. Да вѣдь этихъ словъ, отцы родные, не стереть вамъ и не вырубить вовѣки. Вотъ онъ, вотъ манифестъ! читайте! — потащилъ онъ гостя къ стѣнѣ, на которой подъ стекломъ висѣлъ сѣрый, въ большой листъ, манифестъ 25-го ноября 1741 года.

Яковъ Евстафичъ, видя волненіе Увакина, заговорилъ было о хозяйствѣ и о своей семьѣ, о томъ, что вотъ и онъ небезызвѣстенъ двору, что царь Петръ Первый былъ въ гостяхъ у его дѣда, и родного его брата крестилъ на походѣ; а что по матери онъ сродни знатному роду Никиты Юрьича Трубецкого.

Не тутъ-то было. Увакинъ ушелъ въ спальню, воротился оттуда съ трубками кънастеру, одну подавъ гостю, а другую самъ закурилъ, и на вопросъ, какъ же онъ попалъ въ столь счастливый случай, началъ:

— Дѣло было, коли хотите знать, милостивый патронъ мой, таково. Спали наши преображенцы въ свѣтлицахъ своихъ на Литейной. Ночь была — ухъ! — какова морозная. Я былъ на часахъ, и только-что вышелъ изъ караульни, слышу скрипъ полозьевъ: летятъ шибко, но безъ шума, трое саней по Литейной перспективѣ, да прямо-то къ нашей съѣзжей избѣ; на ея мѣстѣ послѣ Спасъ Преображенія царца поставила. Изъ первыхъ саней выходитъ сама царевна Лизаветь Петровна, съ дохтуромъ Лестокомъ, а за кучера у нея графъ Воронцовъ; изъ другихъ саней вышли кое-кто изъ вельможъ, и гранодеры у нихъ на запяткахъ. Въ рукахъ у царевны крестъ, черезъ плечо кавалерія, въ лисьей шубѣ, а сама, сердечная, такъ и дрожить, зубъ на зубъ не попадетъ, не то отъ мороза, не то отъ страха. Барабанщикъ ударилъ-было тревогу; только дохтуръ кинулся къ нему и пропоролъ кожу на барабанѣ. Я бросился въ казармы, а ужъ здѣсь и вся наша рота бѣжитъ. «Что, ребята? — крикнула тутъ яснымъ такимъ да смѣлымъ голосомъ царевна: — знаете ли вы, кто я?» — «Знаемъ, матушка

знаемъ!» — «Готовы ли идти за мной и готовы ли дочку самого царя Петра Перваго на престолъ возвратить!» — «Готовы жизнь положить! Давно тебя ждали!» — «Или вамъ, скажите, лучше быть подъ годовалымъ ребенкомъ, да подъ нѣмцами?» — «Смерть молокососу! Нѣмцамъ смерти!» — загалдѣла вся рота: — будетъ имъ надъ Рассеей командовать!» — «Никого, солдатшки, не убивайте, прошу я васъ; а лучше за мной въ тихости маршируйте; мы и такъ съ ними и съ ихъ партизанами справимся!» — сказала царевна, а изъ-подъ шапочки русыя косы выбились; рослая, да статная такая. «Лебедка ты наша!» — гаркнула опять рота и давай у нея крестъ цѣловать. Ружья зарядили, штыки завинтили, да за нею тихо по морозцу прямо въ Зимній Дворецъ. Кое-кого по пути отрядили супротивныхъ министровъ брать подъ караулъ... Миѣ же съ товарищами, Кокорюкинымъ, Ключевымъ, Першуткинымъ и другими, пришлось брать подъ арестъ самого младенца-императора. И никогда я того не забуду, милостивый государь мой! Вбѣжали это мы во дворецъ, да прямо къ нему, въ спальню, нѣмецкую няньку связали воалѣ, въ сосѣдней горницѣ. А здѣсь у него-то, смотримъ, колыбель подъ занавѣсочками, лампадка предъ кѣтомъ. Я хоть въ солдаты за увѣче купца попасть, но все же самъ былъ изъ церковниковъ и маленько, знаете, тутъ было-позамаялся, да опомнился и кинулся далѣе. У колыбели вскочила вся въ золотѣ и красивая такая мамка-нѣмка, ломить руки, лопочеть по-ихнему и; ниже мертвая отъ страху, во всѣ глаза глядитъ, что это мы, солдатыѣ, вскочили такъ безъ указа, гремя ружьями и въ шапкахъ. Я съ Ключевымъ прямо къ колыбели, отдернули положокъ, пообождали чуточку и взяли на руки младенца... Онъ съ перепугу такъ и залился. А изъ дворца, слышимъ, товарищи ужъ шумно сносятъ на рукахъ самую регентшу Анну Леопольдовну, и кричить принцесса черезъ всѣ царскіе апартаменты: «Иванушка, сынъ мой, названный императоръ! гдѣ ты?» Отвезли регентшу съ мужемъ въ домъ царевны, а потомъ въ крѣпость; императора жъ, младенца Ивана, Лизаветъ Петровна взяла къ себѣ въ сани... Проводили мы этакъ бережно царевну опять въ ея дворъ, гдѣ прислуга подъ замкомъ оставалася. А здѣсь ужъ и всѣ новыя фавориты на-лицо. И видѣлъ я, какъ старые фавориты набѣгали и предъ новыми на колѣнкахъ въ сенаторскихъ

мундирахъ ползали, и тѣ надъ ними громко смѣялись, били въ ладоши и грозились: «что, молъ, нѣмецкая сволочь, измѣнники? теперь оробѣли?» А на улицѣ всю ночь говоръ, крики «вивать», сходятся и строятся полки, столичная знать въ саняхъ, въ перегонку, подбѣзжаетъ, народъ валить и костры горять отъ дворца вплоть до Невской перспективы... Лизаветъ Петровна тутъ опять вышла къ генералитету, въ шелковой дымчатой робѣ, на большихъ фижменахъ, объявилась самодержицей и сказала: «съ нами Богъ! Забываю старымъ старое, только служите вѣрою по новому!» На утро по воеводствамъ поскакали курьеры, столица присягнула, и вышелъ манифестъ. Простого народа попамъ къ присягѣ звать не велѣно. Всѣ возликовали. А ужъ о нашей братіи, гранодерахъ, и говорить нечего. — «Ну, сосѣдника, — перебилъ Яковъ Евстафичъ: — извините, только слышно, что ваша рота вела себя не очень-то по приличію...» — «Оно, точно, милостивый патронъ мой, спервоначала солдаты наши маленько побуянили. Бросились по кабакамъ. Не обошлось безъ драки, буйства и непокорства шквадроннымъ властямъ. Кое-кому изъ знатныхъ помяли и бока. Въ эту же ночь спяну не мало растеряло по улицамъ шапокъ, сумокъ и всякой аммуниціи, а кто и ружья. Да и какъ было не пображничать! Самые знатные бояре намъ въ ту пору въ поясъ кланялись... Въ разъясненіе же милосердныхъ сентиментовъ ея величества, скажу еще слово... Она и царевной добротой прослыла и по простотѣ въ гвардіи крестила, не токма у начальства, но и у солдатъ, и на именины къ нашимъ солдаткамъ хаживала. Въ первую жъ годовщину вшествія, Лизаветъ Петровна объявила такіа милости намъ, учрежденной своей лейбъ-кампаніи: поручиковъ роты произвела въ генералы-лейтенанты, прапорщиковъ въ полковники, барабанщиковъ въ сержанты и всѣхъ, какъ есть, двѣсти-пятьдесятъ восемь рядовыхъ въ потомственные дворяне... А про капитанское мѣсто въ той ротѣ объявила: «его мы соизволяемъ сами содержать и оною ротой командовать!» И подарила намъ, солдатамъ, матушка-царица, въ Пошехонской волости отписныя помѣстья ссыльнаго князя Меншикова, на cadaго рядового по двадцать девять душъ, повелѣла всѣхъ насъ вписать въ столбовыя книги и сама апробовала и утвердила каждому гербъ, съ гранатами и съ дворянскимъ шлемомъ, а поверхъ его съ

лейбъ-кампанскою шапкою. Вотъ онъ тоже висить на стѣнѣ... Но и другіе прислужники царевны были награждены, какъ слѣдуетъ, не токма что вельможи: комнатные слуги, Скворцовъ и Лялинъ, пожалованы деревнями и дворянствомъ, а метердѣтель Фуксъ въ вѣдомостяхъ заурядъ переписанъ въ бригадиры. И стали на вѣчную память по Россіи новые дворяне: Увакины, Кокорюкины, Мухлынины, Першуткины, Ключевы и другіе... И никто намъ, жалованнымъ, не указъ.

— Какъ же вы, Калина Саввичъ, попали сюда изъ Пошехонья въ Украину, на Лозовую? — перебилъ опять Увакина Яковъ Евстафичъ.

— Сманилъ меня сюда, скажу вамъ, генералъ Штофельтъ, у коего и вы землю съ торговъ купили. Былъ у насъ съ нимъ за картами разговоръ: я съ его совѣта и выпросилъ себѣ чрезъ питерскихъ милостивцевъ обмѣнъ грунтовъ и перевелъ сюда своихъ подданныхъ.

— Давно?

— Годовъ ужъ съ двадцать. Да что! Мѣста тутешнія и хороши; только неладно здѣсь нонѣ жить въ степи, хоть и сказывали затѣйники, что здѣшніе берега кисельные, а рѣки медомъ текутъ...

— Чѣмъ же неладно тутъ жить?

— Не тотъ нонѣ штиль и не тѣ времена. Статское искусство верхъ взяло, а военное теперича въ забросѣ. Проектисты въ гору пошли, и всѣ, кто былъ допрежде сего въ авантажѣ, вездѣ стали забыты. А въ Питерѣ намъ, знатному шляхѣтству, видно, и не показываться. Дѣла тамъ теперича, милостивой патронъ мой, рѣшаются не по закону, а по партикулярнымъ страстямъ. Да вотъ... подавалъ я, примѣромъ, туда черезъ одного благодѣтеля нѣкоторое нужное письмо и къ оному пункты. Что жъ? Ничего, какъ есть, никакой резолюціи до сего дня не добился.

— Какіе же это вы подавали пункты?

— Доношеніе, государь мой, доношеніе на одного здѣшняго непотребнаго озорника и, сказать къ слову, — извините, — моего жъ сосѣда...

— Что же онъ сдѣлалъ за провинность?

— Изъ злой дурости выпустилъ на теперешнюю царицу, на мать-то нашу, Екатерину Алексѣвну, преострый и преподлый пашкевиль...

Яковъ Евстафичъ даже поблѣднѣлъ и, сказавъ: «съ нами крестная сила!» спросилъ:

— Какой пашквиль?

— Увѣряетъ, представьте, не стѣсняясь долгомъ присяги, якобы новому нашему, въ семь году затѣянному городу Екатеринославу, быдто не одобровать... Бабы-де города не стоятъ! И какое-де нонѣ житье за бабою, коли женской полъ опять царствомъ завладѣлъ и своимъ фаворитамъ отдалъ насъ всѣхъ подъ суверенство. А? каковъ? И такихъ фармазоновъ-вольнодумцевъ терпятъ?

— А кто сей пашквильянтъ, осмѣлюсь спросить? — перебилъ, Яковъ Евстафичъ, не безъ тревоги, подвигаясь къ двери и поглядывая, гдѣ его коляска.

— Кому же имъ и быть, какъ не гулякѣ и не картежнику, однодворцу Фролкѣ Рындину? Ну! да пусть ужъ те-перича всякая мелкота сильна и чинна стала. Только я ему мудрость-то и обиды его пособию. У меня случай есть въ новомъ фаворитѣ Зоричѣ. И ужъ коли нонѣшніе претендаты не изведутъ его, злого паскудника, такъ я самъ, за его качества, на него лихъ пойду и силой покорю подъ нозы сего супостата... Такъ-то, милостивецъ мой и сосѣдъ! си-лою... И вѣрь ты моему лейбъ-кампанскому слову... Говорю я это и тебѣ, и всякому не на вѣтеръ: кто моихъ властей не уважилъ, я того за рога. Послѣдніе дни, видно, прихо-дятъ и все тутъ!..

Не понравился лейбъ-кампанецъ Якову Евстафичу, и онъ уѣхалъ отъ него, повторяя про себя: «фанфаронъ, какъ есть, и знать презавистливый хвастунъ!».

Похвалъбу свою лейбъ-кампанецъ, однако, вскорѣ выпол-нилъ дѣйствительно.

Только поссорился Увакинъ съ Рындинымъ, какъ оказа-лось послѣ, не за преострый пашквиль на «новое бабье царство», а по другой причинѣ, и кровавая развязка этой ссоры надолго взволновала тихія мѣста по Богатой!

Настала весна 1778 года.

Яковъ Евстафичъ въ этомъ году прибылъ въ хуторъ на Богатую ранѣе, такъ какъ сюда, въ концѣ апрѣля, ожидали прихода купленныхъ подъ Тулой крестьянъ. Получивъ письмо отъ повѣреннаго, что первый отрядъ переселенцевъ уже двинулся, праѣдъ мой, оставя калмыцкую кибитку, помѣ-

стился въ новомъ барскомъ домикѣ, выстроенномъ тутъ же на взгорьѣ, надъ Богатою.

Это была въ полномъ смыслѣ дѣвственная роскошная степь, какими девяносто лѣтъ назадъ еще обладала тогдашняя азовская губернія. Плутъ еще рѣдко взрывалъ ея тучную почву, а стада мериносовъ мало топтали ея дикіе цвѣты. Близъ новаго поселка не было почти никакихъ дорогъ, кромѣ стариннаго чумацкаго тракта на Бахмутъ, проходившаго оттуда въ нѣсколькихъ верстахъ. На хуторѣ стало оживленіе. По ночамъ въ окна барскаго домика долетало звонкое ржаніе восьми жеребцовъ, сторожившихъ на свободѣ косяки своихъ кобылицъ. Тихія рѣчки: Богатя, Богатенька и Лозовая, извѣстныя теперь по Севастопольской дорогѣ, протекали здѣсь среди густыхъ камышей, храня въ полноводныхъ плёсахъ множество рыбы и раковъ, а по топкимъ берегамъ неисчислимыхъ стада чаекъ, кроншнеповъ и дупелей. Долина Богатой, у одного изъ плёсовъ которой, на самородныхъ ключахъ, расположился новый хуторъ, отличалась особою, чисто степною красотой. Одинъ берегъ рѣки упирался въ высокій зеленый горбъ, изрѣзанный красноглинистыми провалами и обрывами. Противоположный берегъ представлялъ гладкую, какъ скатерть, сперва зеленую, а потомъ синѣющую равнину, надъ которою вдали, въ жаркій день, точно струи водъ, откуда-то протягивались и играли волнистыя марева, а въ облакахъ кружили орлы, заставляя недавно закрѣпощенныхъ украинцевъ, работниковъ прадѣда, со вздохомъ слѣдить за ихъ вольнымъ полетомъ и задумываться надъ недалекимъ временемъ, когда ихъ отцы и дѣды такими же орлами носились надъ этими пустырями.

Девятилѣтній сынъ Якова Евстафича, мой дѣдъ Иванъ Яковлевичъ, ходившій еще въ курточкѣ и воротничкахъ и взятый теперь отцомъ на Богатую, ясно помнилъ эту весну и приходъ перваго отряда переселенцевъ и любилъ объ этомъ впоследствии разсказывать.

Къ началу мая были готовы всѣ избы и другія строенія для крестьянъ. Невдалекѣ же отъ небольшого домика, потомъ обращеннаго въ кухню, стали строить изъ навезеннаго, славнаго днѣпровскаго лѣса большой липовый господскій домъ, а возлѣ, на утѣху сударынѣ Аннѣ Петровнѣ, разбили и насадили садъ.

Иванушкѣ теперь была предоставлена полная свобода. И

въ то время, какъ учитель бесѣдовалъ съ Яковомъ Евстафичемъ или читалъ «Утренній Свѣтъ» Новикова, Иванушка съ приказчикомъ Портянымъ, страстнымъ охотникомъ, урывался съ ружьемъ, съ дудочкой или съ сѣтью въ степь, или съ удочкой и съ острогой къ синимъ плёсамъ рѣки.

Въ лѣсномъ круглячѣ, у котораго вначалѣ была разбита кибитка прадѣда, Иванушка намѣтилъ старый высокій дубъ, а на его вершинѣ орлиное гнѣздо. Сперва онъ, тайкомъ и безъ провожатаго, бѣгалъ туда слѣдить за жизнью и кормленіемъ еще безперыхъ орлятъ, а потомъ сталъ просить Портяного добыть ему и выносить для охоты орленка. Долго отпѣкивался приказчикъ: «и зачѣмъ вамъ, батюшка-барченекъ, мучить вольную Божью тварь!» Наконецъ, уступая настояніямъ барченка и не безъ опасности быть закованнымъ освирѣпѣлою орлицей, Портяной взялъ ружье и ножъ и, выглядѣвъ подвечерній отлетъ старыхъ орловъ на добычу, полѣзъ къ гнѣзду. Долго Иванушка стоялъ внизу, замирая отъ волненія, ломая руки и прислушиваясь, какъ въ тишинѣ лѣска, подъ руками и ногами Михайлы, трещали вѣтви дуба и сыпался мелкій сушникъ. Но вотъ Портяной добрался до орлиного гнѣзда и затихъ.

— Чтѣ, Михайлушка? — видъ себя спросилъ снизу мальчикъ: — сколько ихъ? да говори же!

Михайло молчалъ.

— Ни одного! — крикнулъ онъ со смѣхомъ: — проворонили! Все разлетѣлись... Вонъ желтоносые попархиваютъ по верхамъ! Зато, погодите, молчите! — опять отозвался сверху дуба Михайло: — слышите пѣсни? это наши переселенцы подходятъ. Отсюда видно ихъ, какъ на ладони: много, много телѣтъ, идутъ и пѣшю; пѣлыя клубомъ, дѣтей несутъ на рукахъ и пѣсни поютъ... Красныя панёвы, бѣлыя полстяныя шапки... Такъ и есть: наша арава! Пойдемте, барчукъ, имъ навстрѣчу...

И приказчикъ съ Иванушкой бѣгомъ пустились по полю.

Когда Иванушка подбѣжалъ къ передовой толпѣ переселенцевъ, и тѣ узнали, кто онъ такой, старики и парни стали брать его на руки, ласкать и приговаривать: «соколъ ты нашъ! надежа наша и покровъ!» — а бабы наложили ему за пазуху дудочекъ и глиняныхъ дѣтскихъ игрушекъ. А кто-то барченку подарилъ пойманнаго дорогой, мохнатаго и жирнаго сурка. Не доходя съ полверсты до усадьбы, пере-

селенцы разбили таборъ, поставили возы кругомъ, загнали туда скоть и лошадей, разложили костры и отрядили къ барину стариковъ.

— Чтѣ, ребята, притомились? Милости прошу на хлѣбъ, на соль и на послушаніе! — сказали Яковъ Евстафичъ, выйдя къ нимъ въ сумерки на крыльцо: — жиле вамъ слажено, хлѣбъ посѣянъ, земли и воды вдоволь! Дѣдъ мой, коли слышали, Данила Даниловичъ, населитъ два лѣсныхъ помѣстья; а я вотъ, съ Богомъ, населяю степное! Будете чливы да радѣтельны, подарю васъ въ награду женѣ моей Аннѣ Петровнѣ. Портяной! угости ихъ и распоряжайся...

Мужики поклонились, понурили головы и пошли. И съ утра таборъ сталъ размѣщаться по отведеннымъ ему дворамъ. Дня черезъ три, съ поля, и опять подъ вечеръ, чуткій слухъ Портяного слышалъ новыя пѣсни и скрипъ телегъ. Подошелъ и разбилъ костры другой отрядъ переселенцевъ. Къ концу же мая населился весь хуторъ; красныя панѣвы и бѣлыя полстяныя шапки замелькали по полю, по рѣкѣ и по вновь окопаннымъ огородамъ, засверкали въ травѣ косы, зачернѣла новая пахоть; а по свѣже-натопанной, широкой улицѣ поселка загремѣли звонкія пѣсни дѣвокъ и парней, не прекращаясь отъ сумерекъ вплоть до крокоу раннихъ, навезенныхъ изъ-подъ Тулы пѣтуховъ.

Такъ населился новый хуторъ прадѣда на Богатой.

Въ то же лѣто Яковъ Евстафичъ рѣшился показать женѣ этотъ поселокъ и прибылъ сюда, какъ сказано въ его дневникѣ, 24 іюля, въ полночь, вмѣстѣ съ нею, съ Иванушкой и съ учителемъ.

Это былъ вторникъ. А въ четвергъ онъ объѣздитъ съ Ашенькой поля, луга и всѣ границы имѣнія, показалъ ей свѣже-накошенные стога сѣна, копны новаго жита и посѣвавшій клинъ великолѣпной пшеницы-бѣлотурки, и только-что уѣхалъ съ семьей за борщъ съ дикой уткой и за пироги съ перепелами, какъ подѣхалъ гость, Калина Саввичъ Увакинъ.

На этотъ разъ лейбъ-кампанецъ, узнавъ, что сосѣдъ прибылъ не одинъ, а съ женой, да еще — съ былою фрейлиной настоящей императрицы, явился въ полной старинной преобразенской формѣ, въ зеленомъ кафтанѣ, въ поясной португѣ съ сумкой, въ шарфѣ черезъ плечо, съ откладнымъ

воротникомъ, въ нѣсколько поѣденной молью треугольной лейбъ-кампанской шапкѣ, въ пшитахъ и въ башмакахъ. Рѣдкіе сѣдые усы старика были нафабрены и вздернуты къ вискамъ, а въ рукѣ его была офицерская трость—эспонтонъ.

Хозяйка, бывшая запросто, въ распашонкѣ, но имѣвшая обычай строго придерживатья приличій свѣта, ушла и явилась за столъ въ бѣломъ матерчатомъ робортѣ, съ фалбарами, не забывъ налѣпить на щеки нѣсколько мушекъ, и, представленная мужемъ гостю, сдѣлала церемонный, по всѣмъ правиламъ моды, поклонъ.

— Гдѣ изволили, матушка, спать эту робу? — началъ, послѣ первыхъ привѣтствій, съ учтивствомъ былого щеголя, снимая огромныя перчатки, Увакинъ.

— Къ генеральшѣ Херасковой въ Харьковъ посылала! — зардѣвшись, отвѣтила Анна Петровна.

— Знатный вашъ городокъ Харьковъ, коли такія модныя швеи завелися. А почему дали за фалбары?

— Восемь рублей.

— Отмѣнно сшиты и къ лицу. Особенно сіи фестоны на лифѣ и сіи же отмѣнные на плечахъ буфики.

— За учтивствы благодарю! — сказалъ и налилъ гостю наливки Яковъ Евстафичъ.

Разговоръ перешелъ на хозяйство.

Увакинъ, между прочимъ, доложилъ, что у нихъ въ околоткѣ, что ни день, становится все хуже и хуже. Передать шопотомъ и озираясь, что вездѣ стали отъ злыхъ навѣтчиковъ бѣжать крестьяне и что у него также сбѣжали, недѣлю назадъ, семь лучшихъ подданныхъ, и хотя трехъ изъ нихъ онъ лично поймалъ на воскресномъ базарѣ въ Барвенковой, заковалъ въ кандалы, привезъ обратно и посадилъ ихъ въ погребъ, но четверо остальныхъ все-таки безъ вѣсти пропали.

— Жаль слушниковъ. Знатные были работники. И одна только теперь надежда у меня, матушка-сударыня, это—мой вѣрный Василецъ! — прибавилъ Увакинъ: — все добро мое у него на рукахъ. И теперь вотъ, примѣромъ, я къ вамъ уѣхалъ, а онъ, я ужъ знаю, спустил собакъ и съ ружьемъ будетъ рабъ кругомъ усадьбы ходить, пока не обращусь вспять... Что дѣлать? Я вдовый, жениться, полагаю, поздно, хоть и скучно какъ-то одному, а все-таки жаль своего добра!

— Кого же вы боитесь, Калина Саввичъ? — спросила Анна Петровна, читавшая энциклопедистовъ, Гольбаха и Дюмарсе,

и не любившая старческих жалобъ на новизну:—вы, можно сказать, имперію спасли, а тутъ неспокойны и сумнительны.

— Ничего я, матушка, не сумнителенъ! Только мало ли злыхъ людей! Фармазоновъ все болѣе и болѣе разводится. Вотъ, хоть бы и сосѣдъ мой, Рындинъ... Ну, да я ли до него не доберусь...

— Ахъ, всё-то вы, мужчины, погляжу я, неважны таковы!—усмѣхнулась Анна Петровна:—сваритесь и грозитесь, а ничуть это не славно! Лучше бы жили въ миру. И какіе тутъ у насъ фармазоны?

— И то правда, Калина Саввичъ,—подтвердилъ хозяинъ:—бросьте вы этого Рындина, да расскажите намъ лучше, что новаго?

— Вотъ,—началъ Увакинъ:—какъ наемни гнался я за моими бѣглецами, прочиталъ я, доложу, у капитанъ-исправника листъ вѣдомости петербургской, и въ этой вѣдомости прописано, якобы на Невской перспективѣ нѣкій щеголь-гусаръ Волокитинъ раздавить рысакими одну простую бабу, и потомъ якобы у насъ скоро опять быть войнѣ...

— Довольно съ васъ погрома и Емельки Пугачова, да хоть бы и походовъ Задунайскаго!—проворчалъ Яковъ Евстафичъ:—повысосали съ насъ денежекъ! Пора бы намъ ужъ и отдохнуть...

— И еще въ той же вѣдомости,—продолжалъ Увакинъ:—изъ амстердамскихъ курантовъ прописываютъ, якобы у французскаго короля при дворѣ представляли пресотмѣнное итальянское дѣйствіе, именуемое панштораль, а потомъ его величество забавлялся малкарадой.

— Что вы мнѣ, Калина Саввичъ, все про французскаго короля, да про его малкараду!—съ досадою перебилъ и закапхлялся Яковъ Евстафичъ:—ваши же, вить, милостивцы Шуваловы у насъ эту французскую дурость въ общую моду ввели. Я, сударь, въ перепискѣ съ Трубецкими.. Дай-ка Иванушка, письмо отъ князя Сергія, что мы привезли съ собою.

— Что же пишетъ князь Сергій?

— А вотъ, прислушайте... «А у его-де сіятельства, у бывшаго гетмана Разумовскаго, давали презнатную комедію *La foire de Nîm* также были у него оперы, и на тѣхъ операхъ дѣвки итальянки и кастратъ пѣли съ музыкой»... Вотъ вамъ и бывший гетманъ всея Украйны! кастратовъ

слушаетъ! Тыфу! А еще римскими доблестями величаются. То ли дѣло здѣсь у васъ, на Украинѣ, по простотѣ! Не такъ ли, Калина Саввичъ?

Увакинъ задумался и вздохнулъ.

— Мѣста, повторяю, здѣшнія хороши!—отвѣтилъ онъ:— слова нѣтъ! Только, милостивый патронъ мой, повторяю вамъ, мало все-таки защиты намъ здѣсь отъ озорниковъ... того и гляди, тебя избодятъ!

«Ну, тебя обидишь! — подумалъ Яковъ Евстафичъ, — найдется такой человѣкъ!»

Послѣ обѣда гость и хозяинъ соснули, потомъ опять угощались наливкой и сладостями. А вечеромъ Яковъ Евстафичъ велѣлъ пригнать ко двору табунъ на показъ сосѣду.

— Смотрите вы у меня, — повелительно сказалъ при этомъ Увакинъ табунщикамъ Якова Евстафича: — межи вамъ указаны, а ходите вы инова и по моимъ владѣнιάмъ. Ой, берегитесь; лютъ я, Калина, за свое добро! Разъ пригрожу, два, а тамъ и стрѣлять по васъ изъ винтовки стану, какъ наскочу, либо богатогами до полужива задеру»...

«Не стѣсняется его лейбъ-кампанское благородіе! — подумалъ, вспыхнувъ отъ досады, Яковъ Евстафичъ, — сущій волкъ, волкомъ и умереть. Ну, да посмотримъ! И я тебя изловлю; овцы твои на водопой ко мнѣ на луга, слышишь, перебѣгаютъ. Только я стрѣлять тебя не стану, а свяжу своими молодцами, да прямо въ судъ, хотъ ты и чванишься, что царство спасъ».

Послѣ ужина хозяева заговорились съ гостемъ за полночь. Увакинъ собирался въ новооснованный Екатеринославъ, и Анна Петровна надавала ему порученій по дому: купить чаю, сахару, вина. Но едва собесѣдники разошлись по горницамъ и заснули, какъ отъ двора Увакина прискакалъ на взмыленномъ конѣ чуть живой отъ страха Василецъ и объявилъ въ окошко разбуженному Калинѣ Саввичу, что на его усадьбу въ эту самую ночь напали съ неизвестными людьми Рындинъ и насильно выкралъ и увезъ къ себѣ во дворъ его рабыню, молодую и весьма красивую ключницу, Улиту.

Бѣшенству старика не было предѣловъ. Онъ выскочилъ на крыльцо въ одномъ бѣлѣ и прежде всего ухватилъ за горло и чуть не задавилъ вѣстника.

— Коня! — заревѣлъ онъ: — коня? Какъ? Меня обидѣтъ?

Гдѣ же были другіе молодцы? Гдѣ были собаки? Ты, вражій сынъ, выдалъ и живъ? Меня, жалованнаго-то?..

И, какъ буря, понесся онъ сперва къ себѣ на хуторъ; побудилъ и, созвавъ, уцѣлѣвшихъ пошехонцевъ, далъ имъ самопалы и топоры, посадилъ ихъ верхами на коней и съ разсвѣтомъ поскакалъ къ усадьбѣ Рындина. Отодвора, разубѣлся, дома не засталъ, перевязалъ его небольшую дворню и съ четырехъ концовъ зажегъ его дворъ, овечьи загоны и хлѣбный токъ.

Вѣтеръ раздулъ пожаръ, а Увакинъ до поздняго вечера, рыча, какъ дикій вепрь, ходилъ и бѣгалъ кругомъ, подкладывая огонь тамъ, гдѣ плохо горѣло. На другое утро онъ опять явился сюда съ плугами и съ бородами, перепалалъ испепеленное дворище, изъ собственныхъ рукъ засѣялъ его гречихой и, заборонивъ напашню, отъѣхалъ во-свояси.

— Пусть песій сынъ помянетъ меня, лейбъ-кампанца, до вѣка...

Песій сынъ, однако, тоже не дремалъ.

Онъ подалъ на Увакина въ судъ челобитную, отрекаясь отъ похищенія. Улиты, якобы волей отошедшей къ нему, и отыскивая съ обидчика тысячу рублей за убытки отъ поджога и за обиду.

Явилась полиція. Начался окрестный допросъ. Яковъ Евстафичъ, втайнѣ радуясь грозѣ надъ самовластнымъ соседомъ, который изъ-за личной ссоры выдавалъ въ доносѣ Рындина за франмасона, тѣмъ не менѣе, навѣстилъ его, съ участіемъ сталъ совѣтовать ему помириться съ Рындинымъ и даже отпустилъ къ нему, для писанія отвѣтовъ, учителя Иваушки.

Но не таковъ былъ Калина Саввичъ, чтобы помириться со всякой мелкотой.

Вслѣдъ за началомъ розыска, видя, что безуспѣшно бросаетъ чиновникамъ послѣдніе рубли, Увакинъ черезъ Васильца провѣдалъ, что Рындинъ съ его рабыней-бѣглянкой скрывается у попа, въ слободѣ Чунѣхиной, и рѣшился расплатиться съ нимъ до-чиста.

Подъѣхалъ въ сумерки верхомъ къ попову огороду, залезъ въ капустникъ, у садоваго плетня, выждалъ, да собственноручно изъ винтовки, въ прицѣлѣніи похитителя, напоялъ и убилъ Улиту...

Слѣдствіе возгорѣлось съ новой силой. Власти переполо-

пились. Дали знать и знакомцу Увакина, губернатору, спрашивая, какъ быть съ такимъ казусомъ со стороны столь важной особы, обитавшей въ ихъ губерніи?

Но ни суду, ни губернатору не удалось изречь своего приговора надъ Увакинымъ.

Улита была женой одного изъ тѣхъ бѣглецовъ, которыхъ Калина Саввичъ незадолго изловилъ и, несмотря на переряги по слѣдствію, продолжалъ держать въ кандалахъ въ подвалѣ.

Затворники отбили кандалы, вырвались ночью изъ подвала, взяли еще кое-кого изъ своихъ, вѣрнаго Васильца утопили въ колодцѣ, а лейбъ-кампанца, у котораго въ то время ночевалъ и опять сильно подгулялъ учитель дѣда, Григорѣвской, стащили съ постели и сказали: «ну, господине, теперь и съ тобой расчеты!»

И какъ Увакинъ ни молилъ ихъ и ни кланялся имъ въ ноги, вынимая изъ сундука какія-то бумаги, крича о помощи въ окно и обѣщая всѣхъ выпустить на волю, отдать имъ все добро и отѣхать въ невѣдомыя земли, пошехонцы вытащили его изъ комнатъ и, въ полной лейбъ-кампанской форіи, повѣсили его на любимой и имъ же нѣкогда посаженной грушѣ, а сами, связавъ полумертваго отъ страха семинариста, разбѣжались.

И хотя, по словамъ дневника прадѣдушки, «сей неподобный афронтъ» отъ подданныхъ былъ содѣянъ лейбъ-кампанцу «по его же квалитету и по бездѣльнымъ и противнымъ онаго жъ поступкамъ», тѣмъ не менѣе, Яковъ Евстафичъ, вспоминая ли собственныя воложитныя прегрѣшенія, или въ самомъ дѣлѣ жалѣя сосѣда, тогда же разлюбилъ новый хуторъ на Богатой и болѣе въ немъ никогда не бывалъ.

А за полчаса до кончины, умирая отъ чахотки и удивляясь, что не видитъ свѣчи и не слышитъ болѣе любимыхъ сверчковъ, понялъ, что приходитъ смерть, не безъ чувства простился съ женой и съ восемнадцатилѣтнимъ сыномъ, первую выслалъ изъ комнаты, а второму сказалъ слѣдующее:

«Берегись ложныхъ друзей и тяжбъ, а также смѣлыхъ прожектистовъ, охотниковъ до дворскихъ и всякихъ перемѣнъ. Красивыхъ же женщинъ берегись и удаляйся пуще всего... Ихъ алльянсъ—не радость, а пагуба, тлѣнь и запустѣніе души!»

III.

ИМЕНИНЫ ПРАБАБУШКИ.

Именины моей прабабки, Анны Петровны, праздновались въ день св. Анны пророчицы, 3 февраля. Именины другихъ родныхъ, не только дѣдушки, но даже и бабушки, можно было еще пропустить, — этихъ же именинъ ни въ какомъ случаѣ.

Уже за нѣсколько недѣль до 3 февраля, пріѣзжалъ, бывало, отъ ея невѣстки, моей бабушки, къ ея женатому сыну и замужнимъ дочерямъ нарочный съ письмами. — «Всѣ ли здоровы?» — спрашивала ихъ бабушка: — «пора бы собираться къ именинамъ маменьки». — «Твоя, милый другъ, «жѣнушка», — писала она сыну: «пораньше позаботилась бы приготовить все, что нужно дѣтямъ для дороги, — шубки подлиннѣе, сапоги теплые, на барашкахъ, да и чулки шерстяные. Дѣвочку возьмите съ собой непременно; а сына оставьте съ мамкой; еще простудите какъ-нибудь. Пріѣзжайте заранѣе, чтобы потомъ что не помѣшалось. Матушка-сударыня, сами знаете, уже стара; Богъ вѣсть, много ли еще достанется намъ поздравлять ее съ дорогимъ днемъ ея ангела». — При этомъ въ гостиницѣ присылались замороженные золотые карасы, съ надписью: «изъ Великаго села» или огромные карпы — «изъ озера Курбатова».

Если на приглашеніе отвѣчали неточнымъ обѣщаніемъ, а только завѣреніемъ, что-моль постараемся, когда все будетъ благополучно, — то являлся вторичный посолъ, съ совѣтами, какъ лучше поступить въ такомъ случаѣ. — «Теперь такіе холода» — писала бабушка: — «запрягите крытый возокъ, да возьмите провожатыхъ-верховыхъ; ночуйте въ дорогѣ у такого-то, а въ такой-то деревнѣ покормите лошадей, — все-таки будетъ не такъ тяжело и надежнѣе». — И это повторялось ежегодно, передъ каждымъ именинами.

Родные съѣзжались наканунѣ. Въ день именинъ, утромъ, всѣ шли къ прабабушкѣ съ поздравленіями. Этимъ заправляла бабушка. Входя къ сыновьямъ и къ дочерямъ, она говорила: «Пора къ сударынѣ-матушкѣ!» — осматривала наряды дочерей и внучатъ, и выходила въ залъ большого дома, гдѣ ее ждалъ мужъ и сосѣдніе и дальніе гости.

Всѣ разодѣтые, предшествуемые бабушкой, отправлялись

по дорожкѣ, усыпанной пескомъ, къ именинницѣ, съ показаніемъ добраго утра. Внукамъ и правнукамъ строго приказывалось при этомъ сидѣть у прабабушки смирно, не шептаться, слушать, что говорятъ старшіе, и, если прабабушкѣ будетъ угодно заговорить съ кѣмъ-нибудь изъ дѣтей, то отвѣчать ей, разумеется, стоя.

Прабабушка жила въ особомъ флигелѣ, подъ камышевою крышей, вправо отъ дома. Крыльцо было посрединѣ флигеля; изъ передней налѣво была большая угольная комната, прабабушкинъ залъ. Въ ней, посрединѣ, стоялъ овальный столъ, всегда накрытый тонкою, голландскою скатертью. Передъ небольшими окнами стояли краснаго дерева, съ бровьей, стулья; между окнами — такіе же столики. На одномъ изъ нихъ, передъ зеркаломъ, красовались, въ видѣ бесѣдки, со стекломъ, англійскіе часы Нортона, подарокъ прабабушкѣ императрицы Екатерины II. Они указывали не только числа мѣсяца, но и ущербъ луны, въ видѣ серебряной головы, всходящей и заходящей надъ голубымъ небомъ, усыпаннымъ золотыми звѣздами, и каждый часъ, и четверть часа, исполняли пріятную музыкальную мелодію. Эти часы теперь хранятся у одного изъ ея правнуковъ и все это необыкновенно тѣсно продѣлываютъ до сихъ поръ.

Направо отъ залы находилась обширная опочивальня, она же и пріемная гостиная прабабушки. Здѣсь, въ простѣнкѣ, между окнами въ садъ, передъ овальнымъ туалетнымъ зеркаломъ прабабушки, на рѣзномъ, съ позолотой ломберномъ столѣ, красовались два огромныхъ бронзовыхъ канделябра, каждый о пяти восковыхъ свѣчахъ, и рядомъ съ ними, на массивномъ серебряномъ подносѣ, съ ножками, стоялъ серебряный кофейникъ, тоже съ ножками и съ серебрянымъ цвѣточкомъ на крышкѣ, такая же сахарница и тонкаго саксонскаго фарфора чашки, въ видѣ крохотныхъ прямыхъ стаканчиковъ, съ ручками и рисунками, тушью и золотомъ, изображающими розы, въ бутонахъ, и листья. Если именинный обѣдъ прабабушки былъ во флигелѣ, то въ ея спальнѣ потомъ подавался роскошно-сервированный десертъ, изъ варенья, пастилы и фруктовъ въ сахарѣ, при чемъ восковыя свѣчи зажигались, кромѣ канделябровъ, и въ канделяхъ по стѣнамъ. При движеніи воздуха, свѣтъ этихъ свѣчей очень затѣйливо игралъ на потолкѣ, изразцовой печи и на овальной рамѣ туалетнаго зеркала, искусно составленной

изъ крохотныхъ зеркальныхъ кусочковъ, что очень заня мало дѣтей.

Вдоль стѣны, противъ двери изъ зала, помѣщалась прабабушкина кровать. На ней лежало горкой нѣсколько подушекъ и подушечекъ, въ тончайшихъ бѣлыхъ наволочкахъ, съ кружевными оборками, и темнокоричневое атласное одѣяло, подшитое голландскою простыней, съ бѣлымъ, на четверть крутомъ, отворотомъ по атласу.

Прабабушка, принимая своихъ и постороннихъ гостей, обыкновенно сидѣла на этой постели, спустя ноги на скамеечку изъ краснаго дерева, съ вышитою гарусомъ подушкой, и облокотясь обѣими руками на широкій, покрытый ковровою скатертью, лаковый столъ, за которымъ она всегда и обѣдала. За общій столъ въ большомъ домѣ сына она, въ послѣдніе годы, почти не являлась, по мнѣнію нѣкоторыхъ, потому, что ужъ слишкомъ, пожалуй, было бы много чести, если бы она стала обѣдать съ прочими, а скорѣе всего—ей престо было спокойнѣе трапезовать у себя одной.

Впрямъ, за кроватью прабабушки, была дверь въ дѣвичью, а еще правѣе за дверью, въ углу опочивальни, красивая большая, изразцовая, съ зелеными, желтыми и синими разводами, голландская печь, на ножкахъ, съ узенькою дежанкой, на которой дѣти обыкновенно чинно-рядкомъ и усаживались. Здѣсь надъ лежанкой, въ особой печной впадинѣ, въ фарфоровомъ соусникѣ постоянно лежали вкусные только-что испеченные прабабушкины душистые и удобные крендельки, лепешки, сухарики и бублики,—братъ которые дѣтямъ позволялось охотно. Они этимъ всегда пользовались столь усердно, что одна изъ правнучекъ Анны Петровны тутъ же, однажды, выломала себѣ кренделемъ расшатанный передній зубъ. Этотъ зубъ, впрочемъ, былъ у нея еще слабый, молочный и потому снова вскорѣ успѣшно выскочилъ на томъ же самомъ мѣстѣ. Но столь необыкновенный казусъ произвелъ тогда на остальныхъ дѣтей особенно сильное впечатлѣніе, какъ событіе, совершенно неожиданное и выведшее всѣхъ изъ обычнаго, церемонно-въжливаго положенія. Дѣти съ тѣхъ поръ, до кончины прабабушки, идя къ ней съ пожеланіями добраго утра, обыкновенно опцупывали свои зубы, не шатаются ли какой-либо изъ нихъ.

Полъ въ опочивальнѣ прабабушки былъ устланъ боль-

нимъ, домашней работы, ковромъ, съ бѣлымъ фономъ и зеленою каймой, по которой были разбросаны алія розы.

Войдя въ опочивальню прабабушки, всѣ церемонно и важно поздравляли ее съ именинами, пѣлая ей руку, а она, сидя на своей постели, обнимала дѣтей, внуковъ и правнуковъ, а остальнымъ ласково кланялась. Затѣмъ всѣ чинно садились по мѣстамъ. Анна Петровна всегда была одѣта въ черное платье, съ длиннымъ шлейфомъ, изъ плотнаго шелкового левантина, съ тонкимъ, въ видѣ дымчатой волны, кисейнымъ платкомъ на шеѣ, въ бѣломъ чепцѣ и въ морлушковой, длинной шубкѣ поверхъ плечъ, покрытой темнымъ атласомъ. Лицо у прабабушки было необыкновенно-бѣлое и важное. По обычаю времени, она бѣлилась до самой кончины. Каріе глаза прабабушки, въ молодости очень красивые, и на старости были привлекательны и очень оживлены. Зубы у нея были такъ свѣжи и крѣпки, что она и въ преклонные годы шелкала ими каменные орѣхи. Руками же она изстари щеголяла. Онѣ у нея были маленькія, бѣлыя и до того нѣжныя, что почти не отличались отъ батистовыхъ манжетовъ, выходившихъ изъ-подъ рукавовъ ея чернаго платья.

Тогда и послѣ, всѣ съ особенною похвалою отзывались о бѣлѣй прабабушки, которое у нея было поистинѣ образцовое, — тонкое, бѣлое, какъ снѣгъ, и все заграничное; притомъ его мыли у нея особенно щегольски. Въ чистыхъ, свѣтлыхъ комнатахъ Анны Петровны всегда привлекательно пахло восковымъ жасминомъ или чайною розой, любимыми цвѣтами прабабушки. Когда у нея говорили старшіе изъ гостей, младшіе, даже женатые, только молча имъ внимали. Когда же изволила говорить сама прабабушка, то уже всѣ положительно молчали. Дамы говорили съ нею, сядя; мужчины же — не только вставая, но и изысканно-вѣжливо кланяясь.

Никто у прабабушки и въ ея присутствіи не курилъ. Дѣдушка, съ трубкой своего кнастера, уходилъ для того въ оранжерею или портретную; а курики изъ другихъ мужчинъ, особенно офицеры сосѣднихъ уланскихъ полковъ, для куренія изъ своихъ пенковыхъ трубокъ, въ лѣтнее время, скрывались даже въ садъ, въ бесѣдку, стоявшую тогда возлѣ такъ-называемой придворной груши, подаренной прабабушкѣ императрицей Екатериной. Анна Петровна вывезла когда-

то эту грушу, маленькимъ отводкомъ, изъ Царскаго Села, и собственноручно посадила ее у пруда, въ Пришибскомъ саду.

Во время имениннаго обѣда, когда онъ происходилъ во флигелѣ прабабушки, она, хотя кушала особо, въ своей опочивальнѣ, нѣсколько разъ, однако, въ теченіе стола выходила оттуда и удостоивала по нѣскольку минутъ постоять за каждымъ изъ обѣдающихъ, облокотясь о спинку его стула и не обходя своимъ вниманіемъ никого. За однимъ просто, бывало, постоять, съ другимъ поговорить, того ласково потреплетъ по плечу, этому скажетъ что-нибудь привѣтливое или веселое, и опять уйдетъ. Дѣти, въ особенности, удивлялись хвосту прабабушкинаго платья, который за нею обыкновенно танулся чуть не на сажень изъ другой комнаты. Имъ объясняли, что это не хвостъ, а шлейфъ, котораго она не покидала, въ память давно прошедшей моды и дорогихъ лѣтъ своей молодости.

Ростомъ и фигурой прабабушка была представительна и красива, и въ ея домашнемъ обиходѣ все было также хорошее, дорогое и даже роскошное, такъ какъ сама она была женщина изъ высшаго круга, съ вѣсомъ, и въ душѣ истинная аристократка, причѣмъ и не подозрѣвала, что ея единственный, пятидесяти-пяти-лѣтній сынъ «Иванушка», какъ она его звала, передъ ея кончиной, уже промоталъ большую часть своихъ имѣній. Она и умерла, убѣжденная, что ея наследники и его многочисленная семья останутся послѣ нея столь же богатыми, какъ была и она.

Обильный обѣденный столъ на именинахъ прабабушки былъ обыкновенно въ полдень. Лакеи, гуськомъ, торжественно несли изъ кухни въ ея флигель безконечное число блюдъ, въ суповыхъ чашахъ, соусникахъ и разныхъ крынкахъ и горшечкахъ, а среди обѣда, за тостомъ въ ея здравіе, которое тогда пилось венгерскимъ, раздавался залпъ изъ домашнихъ пушекъ, стоявшихъ среди двора, противъ крыльца флигеля и большого дома. Вечеромъ, при свѣчахъ, подавался столь же роскошный ужинъ. Послѣ обѣда, до ужина, гости играли въ карты, въ ломберъ или въ бостонъ, причѣмъ и прабабушка иногда, съ кѣмъ-либо изъ почетныхъ гостей, не покидая своей постели, играла въ пикетъ. Большею же частью она проводила время въ бесѣдахъ съ гостями.

Непріятныхъ или печальныхъ разговоровъ у прабабушки

не допускалось, какъ не бывало и чрезвычайнаго веселья или громкаго смѣха.

Все было въ мѣру. Когда она, вспоминая минувшія времена, заводила рѣчь о какомъ-либо прошедшемъ событіи, то излагала его обстоятельно, не торомясь, а гости слушали ее; стараясь не проронить ни одного ея слова. Такъ какъ дѣтямъ строго воспрещалось, при ней, не только говорить или шептаться между собою, но даже шевелиться, то они, со-свучивъ долгимъ, молчаливымъ сидѣньемъ на паразцовой лежанкѣ, обыкновенно одинъ за другимъ незамѣтно уходили, черезъ смежную дверь, въ дѣвичью, и оттуда, надѣвъ шубки и теплыя шныки, съ наушниками, вылетали въ посеребренный инеемъ, обширный, прабабушкинъ садъ, гдѣ на холмѣ, на юсовыхъ подставкахъ, чернѣли длинныя, чугуныя, за-ворончскія пушки, а у каменнаго грота выглядывала сѣрая «каменная баба», приосыпанная нушистымъ снѣгомъ, точно въ бѣломъ серебряномъ чепцѣ—другая, таинственная прабабушка...

Однажды, въ такія же именины, послѣ радужнаго, оживленнаго обѣда, въ опочивальнѣ Анны Петровны остались за кофе, ледерами и десертомъ двое изъ старѣйшихъ и почетѣйшихъ ея гостей, — мѣстный предводитель и командиръ соседняго уланскаго полка. Прочіе гости на нѣсколькихъ столахъ играли въ залѣ въ карты; остальные ушли курить въ большой домъ.

Разговоръ у прабабушки зашелъ о современномъ поколѣніи женщинъ и, между прочимъ, коснулся неравенства лѣтъ въ бракѣ. Подковой командиръ, ужъ далеко не молодой человекъ, давно, какъ замѣчала Анна Петровна, не спускалъ глазъ съ одной изъ ея родственницъ, совершенно мелоденькой дѣвушки, и мѣтилъ посвататься къ ней. Неравнодушно поглядывалъ на дѣвушку и совсѣмъ старый председатель. Прабабушкѣ это сильно не нравилось, хотя она ни тому, ни другому объ этомъ не говорила, такъ какъ и они, со своими сокровенными, но очевидными помыслами, еще молчали.

— Нашу оестру, особенно изъ монѣшнихъ, да еще молодую, — сказала Анна Петровна: — коли не сдерживать, не вразумлять, то сейчасъ свихнется и, рано выйдя замужъ, такъ станетъ ридиться, да мести хвостомъ, что разорить

господина-мужа, либо, извините, хуже того, прямо стрелой-тоха-егоза наставить ему рога.

Сказавъ это, прабабушка на минуту смолкла, взяла со стола флаконъ съ какимъ-то спиртомъ, понюхала изъ него и оглянулась по комнатѣ.

— Дѣти, кстати, всѣ разошлись, — продолжала она. — Хотя у меня что-то не совсѣмъ свѣжа голова, могу вамъ, если не наскучу, сообщить одно поучительное событіе, или даже, если хотите, трогательный анекдотъ...

Дѣти въ это время, дѣйствительно, вышли одинъ за другимъ изъ комнаты прабабушки, кто въ садъ, кто въ конецъ двора — на ледяную гору, или съ няньками къ рѣкѣ, гдѣ сквозь ледъ на ужинъ ловили бреднемъ рыбу. Одинъ, впрочемъ, изъ правнуковъ Анны Петровны, войдя передъ тѣмъ въ опустѣлую дѣвичью и не найдя тамъ своего теплаго платья, прислѣлъ, въ ожиданіи прислуги, у печи, за дверью, и невольно услышалъ и потомъ запомнилъ то, что разсказала тогда прабабушка.

— Это, други мои, было давно, — начала Анна Петровна: — лѣтъ десять спустя послѣ основанія здѣшняго университета. Въ то время къ намъ изъ города, знакомясь съ краемъ, охотно ѣзжали въ гости новоприбывшіе профессора и доценты разныхъ наукъ: архитектуры, физики, ботаники, медицины и словесности. Все это были хорошіе люди, образованные, деликатные. Они отдыхали здѣсь на привольѣ, особенно лѣтомъ, — да и намъ бывали полезны. Мы, съ Иванушкой, тогда только-что, съ Божьей помощью, кончили постройку нашего каменнаго пятиглаваго храма, — вы, государи мои, нынѣ такъ любуетесь имъ, а Иванушка, въ ту пору, успѣшно началъ опыты съ посадкой на нашия песчанки соснового лѣса. Теперь это, какъ то же вы знаете, уже не опыты, а настоящій на иѣсколько верстѣ боръ... Такъ вотъ, говорю, тогда къ намъ на отдыхъ въ гости ѣзжали разные профессора и между ними немолодой уже адъюнктъ ботаники, — вы о немъ, чай, слышали, — Романъ Романычъ, — послѣ его перевели куда-то въ другой городъ. Онъ въ лѣтніе заѣзды дѣлалъ у насъ экскурсіи въ лѣсъ и степь за травами, а зимой на святкахъ, раза два ѣздилъ съ Иванушкой на волчьи облавы. Былъ онъ, скажу, лѣтъ за пятьдесятъ, съ бѣлыми, какъ снѣгъ, волосами, но еще бодрый, съ румянцемъ во всю щеку и подвижной.

Сильно близорукий, онъ, между тѣмъ, страстно любитъ всякую охоту съ ружьемъ. Присматривалась я къ нему и удивлялась. Уже какъ онъ тамъ понадалъ въ птицу или бѣгущаго звѣря, никогда я не могла понять, — а тогда же, бывало, приманивается къ самымъ записнымъ охотникамъ, позываетъ на плечи ружье, надѣнетъ высокіе сапоги и маршируетъ. — «Куда вы? — говорю я ему однажды: — побереглись бы; еще по близорукости подвернитесь подъ чье-нибудь дуло и васъ пристрѣлятъ въ гушанъ». — «Кому, сударыня, утонуть, — отвѣтилъ онъ: — того ружье не тронетъ; а я хоть и близорукъ, а иной разъ вижу дальше арчаго. Не я ли вамъ презентовалъ собственной охоты куропатокъ?» — А ужъ гдѣ тамъ собственной охоты! Думаю, покупалъ изъ любезности у нашихъ же егерей. Онъ въ десяти шагахъ почти ничего не видѣтъ, а разъ, идучи къ намъ, принявъ терновый кустъ за отца благочиннаго и, снявъ шляпу, усердно кланялся ему.

Слушатели разсмѣялись.

— Въ тѣ годы въ нашемъ же институтѣ для бѣдныхъ дѣвицъ, — продолжала Анна Петровна, — кончила ученіе одна сирота, питомка съ дѣтства и крестница моего покойнаго брата, по имени Анна, какъ и я. По смерти брата, мы съ Иванушкой призрѣли эту Ашеньку и очень ее полюбили. За наши ласки и она насъ чтילה, а меня звала маменькой. Кончивъ науку, разумѣется, она, какъ вполнѣ безпріютная, поселилась у насъ. Прошло лѣто, кончилась осень и наступила зима. Ашенька, видимъ, очень сильно скучаетъ по своему институту, а особенно по товаркамъ. Отправивъ святки, сталъ близиться день нашего общаго съ Ашенькой ангела. Ну, какъ вотъ и теперь, мы и тогда ждали добрыхъ знакомыхъ, а въ томъ числѣ кое-кого и изъ губерніи. Кто-то при Ашенькѣ сказалъ, что на именины къ намъ и на охоту, съ волчьей облавой, будетъ и доцентъ ботаники. Ашенька такъ и заалѣла. — «Романтъ Романычъ?» — спрашиваетъ меня. — «Онъ самый, — отвѣчала я: — а развѣ ты его знаешь?» — «Какъ не знать! онъ и въ институтѣ у насъ обучалъ ботанику, и мы его всѣ, какъ есть, обожали!» — Извѣстно институтское обожаніе, — разумѣется, пустяки. Я о тѣхъ словахъ Ашеньки и забыла. Стали свѣзжаться гости; пріѣхалъ и этотъ доцентъ. Ашенька, какъ увидѣла его, запрыгала отъ радости и чуть не

кинулась ему на шею. Мы потомъ не мало упрекали ее за эту прыть; ты, молъ, уже не приготовилъ никакая-нибудь, къ купцѣмъ коричневомъ платьѣ, а кончившая всѣ курсы барышня, и надо бы тебѣ, милая, честь и совѣсть знать. А она, просто, какъ ошала, глазъ не спускаетъ съ бывшаго своего ментора. Такъ, это, онъ побывъ у насъ двое сутокъ въ гостяхъ—и уѣхалъ. Видимъ, Ашенька стала болѣе тосковать; на себя не походитъ, похудѣла, блѣдна, какъ кусокъ мѣлу, — вздыхаетъ, плачетъ. А лѣтомъ этотъ ботаникъ опять появился у насъ. Привезъ огромный свой гербарій, въ пачкахъ оберточной бумаги, ходитъ по степи и по лугамъ, собираетъ и сушитъ травы, а мы, съ торничными и съ Анютой, помогаемъ ему по вечерамъ. Одинъ разъ сидѣлъ онъ со мною на балконѣ, дивуясь лѣсомъ, посадкой Иванушки, — а лѣсъ въ то время уже сталъ виденъ черезъ стѣну, съ нашего балкона, — да и брякнулъ мнѣ: «Сударыня, Анна Петровна, не разсердитесь, если что скажу?» — «Говори, милый, слушаю; ты хоть и философъ, а добрый человекъ». — Онъ помолчалъ. Замѣчаю, утромъ былъ онъ въ голубенькомъ шейномъ платкѣ, а тутъ уже сидѣлъ въ розовомъ; фракъ съ иголочки и башмаки съ модными пряжками. — «Отдадите за меня вашу Анну Львовну, — спрашиваетъ: — коли осмѣлюсь посвататься?» — Я такъ и обомлѣла. — «Да что ты, Романъ Романычъ, — отвѣчаю: — очумѣлъ, извини, что ли? ну, пара ли она тебѣ? такое неравенство лѣтъ... совсѣмъ молодѣшенька, всего семнадцатый годъ, а тебѣ за пятьдесятъ! И кто, не соришься ты, въ мысли это втемяшилъ тебѣ?» — Онъ покраснѣлъ, какъ ракъ, и нѣсколько секундъ не могъ вымолвить ни слова. — «Что же, сударыня, — говоритъ: — развѣ я могъ бы быть столь дерзостенъ? Мнѣ подали нѣкоторую надежду... Лукерья Ивановна по тайности открыла, что Анна Львовна не только не прочь, но даже ко мнѣ расположена». — А эта Лукерья, надо вамъ сказать, была жена нашего тогдашняго пона, молодая, превзбалмошная и болтливая бабенка. — «Нашелъ сватью! — отвѣчаю я ему: — да неужели, — ну, скажи по правдѣ, — ты не боишься? Нашить тряпокъ и обвинять-то васъ не долго, да и ты, повторяю, хорошій во всемъ человекъ; но обдумалъ ли ты? не вышло бы чего? не сталъ бы послѣ жалѣть!» — «Если вы, государыня моя, лично не препятствуете, — сказалъ онъ: — о себѣ скажу, —

я уже рѣшилась, что Господь дастъ, то и будетъ; а потому снова прошу принять мое почтительнѣйшее предложеніе и насъ благословить». — Тутъ онъ всталъ и поклонился мнѣ, съ глубокимъ респектомъ. Я, однако, други мои, всегда была не изъ податливыхъ... отложила рѣшеніе на сутки, да и на другія ничего не отвѣтила, — толковала съ сыномъ, совѣтовалась съ невѣсткой. Принялись мы допрашивать и Анюту. Да что съ такимъ безперымъ птенцомъ? плачетъ, молить дать благословеніе. Иванушка мнѣ на третій день и говорить: «Что же, маменька, партія для бѣдной сироты-безириданницы, во всякомъ случаѣ, подходящая, онъ еще въ самомъ видѣ мужчина, имѣетъ бригадирскій чинъ, ласкаетъ, какъ видно, начальствомъ и получаетъ приличное жалованье; не нынче-завтра возведенъ будетъ въ профессора, и беззаботно можетъ прожить, не только съ женой, но и съ дѣтьми, — коли имъ Господь ихъ дастъ». — Ашенька, три дня, задержись, ничего не ѣла и не пила; видитъ, ума отъ любви рѣшилась: и миль-то онъ, по ея мнѣнію, и уменъ, и добръ, и всё у него, какъ есть, качества! — «Да старъ онъ тебѣ, дурочка, — твержу я ей напирания: — ну, куда ему до тебя? ты жива, быстра, краля писанная и съ огнемъ, а у него бѣлый пухъ уже, какъ у голубя-турмана, не токъмо въ ухахъ, даже въ носу повысочили!» — Ахъ, маменька, — отвѣчаетъ она: — да я старенькихъ-то, бѣленькихъ именно и люблю! Отдайте за него, я вотъ какъ его, еще со второго класса, полюбила». — Глупынь ты, — говорю: бутонъ мой розовый, стрекоза! да за тебя адъютантъ-вонъ полковой, писанный красавецъ и танцоръ-мазуристъ, сватается; я только тебѣ до времени не говорила... пожелаю, съ руками тебя возметь». — Куда! ничто не подвизовало. Настояла Ашенька на своемъ; а тутъ еще сосѣди давай ѣздить и трещать, — не томите любящихся, не разводите счастья! Я подумала, погадала и согласилась: будь, въ самомъ дѣлѣ, что будетъ! Ашенькѣ нашили мы приданого, назначили свадьбу и въ тотъ же годъ она стала профессоршею.

— Анекдотъ дѣйствительно интересный, — сказалъ полковой командиръ: — развѣ дѣвицамъ и въпрямъ все выходить за молодыхъ? съ пожилыми иногда бываютъ счастливы...

— Что же, сударыня, было дажѣ? — спросилъ предводитель: — ваша исторія, повидимому, еще не кончена.

— Ты, cher ami, угадалъ, — отвѣтила Анна Петровна, опять понюхавъ изъ флакона: — конецъ былъ, но, можно сказать, не только странный, а даже неожиданный. Молодые, представьте себѣ, зажили совершенно счастливо. Не только они сами, но и посторонніе отзывались о ихъ житиѣ бытіѣ съ отиѣнной похвалою. Доцентъ усердно ходилъ читать свои лекціи, а на дому сверхъ того практически занимался со студентами; посылалъ ихъ собирать травы, объяснялъ имъ наглядно сорта и свойства всякихъ былинъ и приводилъ съ ними въ порядокъ свой огромный, за нѣсколько лѣтъ собранный гербарій. Ашенъка, въ чепчикѣ и въ простомъ ситцевомъ или мусселиновомъ платьѣ, — ихъ мы ей наняли вдоволь всякихъ, дешевыхъ и дорогихъ, — носила мужу наверхъ, въ его рабочую комнату, чай и кофе, и хлопотала по домашнему хозяйству и въ кухнѣ. Слыша похвалы Аютѣ, я сама однажды предприняла вояжъ въ городъ и своими глазами видѣла — какъ ее вниманіе, такъ и истинную ея любовь къ мужу. А ужъ о немъ нечего и говорить. Сѣдой и румяный селадонъ въ ней души не чаялъ; подарилъ ей кольцо, — вотъ съ какою крупною жемчужиной! — колечко алмазное, и даже выписалъ ей чересъ купцовъ изъ Парижа модную бархатную мантилью и шляпку Сандрильонъ. По цѣлымъ часамъ сидѣли они рядкомъ, вдыхая, обнимаясь и говоря другъ другу заворенія въ любви. — «Диво дивное! — думала я, глядя на нихъ: — и впрямь, — чего на свѣтѣ не бываетъ? старъ человѣкъ, а какъ къ себѣ эту юницу привязать!» Одно мнѣ не нравилось въ Ашенъкѣ... Она была невоздержна въ насмѣшкахъ надъ нѣкоторыми студентами, учениками мужа. Они и дѣйствительно были странно и неряшливо одѣты, отвѣчать не умѣли, а ужъ о манерахъ что и говорить. Одного студента Аюта особенно выпучивала и шпыняла, хотя, повторю, отчасти и подѣломъ. Звали его Митей, фамилія — Сверчковъ. Это былъ сынъ бѣднаго, городского чиновника, высокій, тощій, носатый и вѣчно молчаливый, съ длинными красными руками, которыхъ онъ постоянно не зналъ, куда дѣвать. Одно было въ немъ привлекательно: большіе, темные, ну, чудные глаза. Какъ теперь ихъ вижу, — такъ и просятся въ душу... А она надъ нимъ — ха-ха, хи-хи, — проходу ему не даетъ. Тотъ, бывало, при мнѣ придетъ, усядется у нихъ за чаемъ, уткнѣтъ носъ въ чашку, а ру-

чищи, какъ оглобли, разложить по выпяченнымъ, худымъ колѣнямъ, и въ то время, какъ другіе весело и безъ церемоніи болтають и острять о томъ-о-семъ, молчить, какъ каменный истуканъ. Ашенька глядитъ и не вытерпитъ; либо припилилитъ къ его фалдѣ салфетку, такъ что онъ, повернувшись, чуть не валитъ всей посуды, — либо принесетъ изъ кухни и пѣтихоньку сзади насыплетъ ему на спину и на голову курьихъ перьевъ и пуху, да еще и къ зеркалу подведетъ его. Тотъ, съ-дворону, чуть не плачетъ, а прочіе, и она больше всѣхъ, отъ смѣха надрываютъ надъ нимъ животы. Я ей потомъ наединѣ дѣлала строгіе реприманды. — «Ты, ма шеръ, говорю, не подростокъ, а профессорша; стыдись: можно ли такъ издѣваться надъ человѣкомъ?» — «Да что же, маменька, дѣлать? — отвѣчаетъ она, не удерживаясь отъ хохота: — руки-то, ноги его! развѣ такой увалень—человѣкъ? а со смѣху, онъ, пожалуй, и исправится, станетъ, какъ всѣ!» — Я уѣхала, а вскорѣ вышла, скажу вамъ, изъ всего того такая исторія, что не знаю, какъ уже и рассказать.

— Что же, студентъ, видно, наконецъ, разобидѣлся и дерзостей ей натворилъ?—спросилъ предводитель.

— Мужа вызвалъ за нее на поединокъ?—спросилъ полковникъ.

— Ни то, ни другое,—отвѣтила Анна Петровна:—а вотъ что. Жили такъ-то наши молодожены спокойно. Послѣ студенческой зимы и начала сырой и грязной весны, наступили превосходные майскіе дни, — теплынь, яркое солнце и благоораствореніе воздуху. Въ университетскомъ саду зацвѣли бѣлыя акаціи, дикіе жасмины и бульденежи. Луга и поля подъ городомъ, ну, какъ ковромъ, устлались тысячами вѣшнихъ цвѣтовъ. Романъ Романычъ по утрамъ торопился читать свои лекціи и, кое-чего перехвативъ за объѣдомъ, до поздняго вечера пропадалъ со студентами въ окрестностяхъ, за собираніемъ травъ. Однажды случилось такъ, что онъ, наморась день-денской въ шатаньяхъ подъ городомъ, возвратился домой поздно ночью, едва чувствуя подъ собою ноги, упалъ, не раздѣваясь, на постель и заснулъ, какъ убитый. Утромъ, разумѣется, всталъ позднѣе обычнаго, взглянулъ на часы и увидѣлъ, что сильно проспалъ. Погода стояла восхитительная; душисто, тепло, птички щебечуть за окнами, а солнце глядитъ ласково и празднично.

До лекцій оставалось не болѣе получаса. Романъ Романычъ наскоро умылся, нарядилъ на себя вицмундиръ, уложилъ въ портфель брульоны своихъ лекцій и часть гербарія; и хотѣлъ уже бѣжать въ аудиторію, но вспомнилъ, что внизу ждетъ его этотъ студентъ Митя, котораго онъ въ то утро рѣшилъ послать на подгородный архіерейскій лугъ. Тамъ въ это время окончательно отцвѣтали какія-то особенно дорогія, по мнѣнію ученыхъ, травы, цѣлебные напоротники, что ли, и ихъ надобно было разыскать и захватить непременно въ цвѣту. Онъ кликнулъ къ себѣ Сверчкова наверхъ, показалъ ему образцы тѣхъ травъ и снова объяснилъ ему, какъ и на какихъ мочажинахъ ихъ собирать. — «Но ты, папаша, хотя бы закусил!» — сказала ему, войдя также наверхъ, Анюта. Мужъ взглянулъ на нее и жалъ ему стало идти. Она въ ту минуту, какъ онъ послѣ говорилъ друзьямъ, сіяла милѣе и свѣжѣе всякаго майскаго утра. — «Да, мой другъ, выпилъ бы я съ тобою кофейку, — отвѣтилъ мужъ, любясь ею: — только вотъ что, ты знаешь, какъ я аккуратень... во всю жизнь въ университетѣ, да и у васъ въ институтѣ не пропустилъ ни одной лекціи: Надо идти!» — Онъ собственноручно надѣлъ на шею Сверчкову сумку съ инструментами и пропускной бумагой, для прокладки между нею свѣжихъ травъ, спустился съ лѣстницы и чуть не вприпрыжку пустился въ университетъ. Жить онъ довольно далеко, въ домѣ протопопа, почитай, въ концѣ города, однакоже успѣлъ дойти какъ разъ въ то время, когда на сосѣдней соборной колокольнѣ часы стали звонить девять, — начало лекцій. На крыльцо онъ взомелъ, впрочемъ, не безъ конфуза, такъ какъ ни у воротъ, ни возлѣ университета не было замѣтно никого изъ студентовъ. Всѣ, очевидно, были уже въ аудиторіяхъ. Такъ или иначе, а онъ, все-таки, значить, приповадалъ. Поднялся онъ по главной лѣстницѣ, заглянулъ мимоходомъ въ профессорскую сборную, она также была пуста. — «Эхъ, засмѣютъ, — подумалъ онъ, еще болѣе смутившись, — этакій точный, сама аккуратнѣйшая аккуратность, а явился позднѣе всѣхъ!» — Остановился онъ на верхней площадкѣ, отеръ вспотѣвшее лицо, оправилъ на головѣ свой бѣлый кокъ и одернулъ фалды мундира. Но едва онъ ступилъ въ общій коридоръ, навстрѣчу ему оттуда, тоже съ портфелемъ и тоже какъ бы озадаченный, хотя и съ улыбкой, — коллега

его, профессор астрономіи. — «Ты куда это?» — спросил астрономъ. — «На лекцію, сегодня о глубоководныхъ буду читать, — тарантиль Романъ Романычъ: — но ты заметишь ли? вѣдь я, кажется, припоздаль?» — Астрономъ такъ и покашлялся со смѣху, хохочетъ и его смѣхъ громко разносится въ пустомъ коридорѣ. — «Что ты смѣешься?» — «Да какъ же? оба мы постыдили, какъ истинные философы, а сказать повѣрить, даже просто, какъ разсѣянные колпаки!» — «Какъ такъ?» — «Да очень даже просто; вѣдь сегодня табельный, царскій день!» — Романъ Романычъ на это совершенно ошарашалъ и, тоже разсѣявшись, вышелъ съ коллегой на улицу. — «Куда же ты теперь?» — спросилъ астрономъ. — «Домой, разумеется; вѣдь я, представь, послѣ вчерашней экскурсіи въ луга, спалъ, какъ сущій богатырь, проспалъ до восьми съ половиной и такъ сюда торопился, что даже не закусилъ». — «Такъ зайдемъ ко мнѣ на обсерваторію, — сказала астрономъ: — во-первыхъ, это ближе, чѣмъ твоя квартира, а во-вторыхъ, мой вахтеръ намъ иному подастъ не только закусочку, но и пшансику; держу наверху для ради всякаго случая. Положимъ, фринтикъ у меня не столь будетъ вкусенъ, какъ моноксскій кофе изъ рукъ твоей юной супруги, — зато у меня на башнѣ еще одна приманка... Представь, три дня всего назадъ установилъ новый вѣтскій телескопъ, да какой? Разумеется, теперь не ночь, планетъ и звѣздъ мы съ тобою не разглядимъ; но прислана еще великолѣпная, зрительная труба, и изъ нея видны не только твои подгородніе луга, но и далѣе, вся околность, чуть не до монастырской горы». — Романъ Романычъ былъ вообще любознательнъ, а тутъ еще и голодъ, отъ пробѣжки утромъ и натоцакъ по городу, сильно давалъ о себѣ знать. Все еще раздумывая, какъ это онъ такъ опростоводосился съ левицей, онъ согласился и последовалъ за коллегой...

Сказавъ это, Анна Петровна откупорила флаконъ, налила изъ него нѣсколько капель на уголокъ носового платка и потерла имъ у себя виски и за ушами.

— Голуба у васъ, сударыня, болитъ? — спросилъ предводитель: — давеча за обѣдней не простудились ли?

— Ничего, монъ ами, недолго договорить, кончу, — отвѣтила Анна Петровна. — Товарищи взопли на обсерваторію. Пока вахтеръ готовилъ фринтикъ, астрономъ открылъ окно

на башнѣ, наставилъ въ него подозрѣную трубу, снялъ съ ея стекла закрѣпку и навелъ рефракторъ на окрестности. — «Другъ мой, смотри и любуйся, — сказалъ онъ: — видишь—какъ бы съ Монблана или Ризенгебурге... Духъ захватываетъ отъ столь дивнаго изобрѣтенія людскаго ума!» — Романъ Романычъ присѣлъ на табуретку, наладилъ стекло по глазу и сталъ любоваться дѣйствительно диковиннымъ видомъ, — голубыми въ легкомъ туманѣ полями, темными лѣсами и контурами холмовъ. — «Да, — сказалъ онъ, — узнаю, вонъ дорога на Кавказъ, а это, вонъ, гора, должно быть, вонъ монастырь, — какая даль! а это, постой, по-близу, такъ и есть, архіерейскій лугъ... Я туда давеча послалъ одного своего слушателя дополнить гербарій... Старательный и хорошій малый, мѣтитъ въ ученые. Пожалуй, разгляжу и его за работой среди луговъ... Нѣтъ, что-то не видно; должно быть онъ взялъ напрямикъ черезъ лѣсъ». — Романъ Романычъ, пока его коллега и сторожъ ладили столь и ставили на него закуску, любовался видомъ окрестностей. Наконецъ онъ навелъ трубу и на предмѣстья города. Тутъ онъ уже прямо пришелъ въ восторгъ. — «Ай, прелесть! — вскрикивалъ онъ: — каково? домъ Андрея Федоровича—какъ на ладони; даже его пеструю кошку видно; вонъ крадется по крышѣ къ воробьямъ... Василій Назарычъ цвѣты въ палисадникѣ поливаетъ... постой, да что это?.. такъ и есть, — георгины и конвольвулосы, на тычинкахъ... все разберешь!.. ай, да рефракторъ! по чести, не труба, а чистое диво!» — «Да, инструментецъ изрядный, — сказалъ астрономъ: — а теперь, коллега, насчетъ пшпашку! это будетъ почище!» — Товарищи усѣлись, выпили и закусили. Хозяинъ вспомнилъ о недавно открытой кометѣ. Начавъ рассказывать о ней, онъ отперъ шкапъ, чтобъ достать и показать полученный ея рисунокъ. — «Что же это, однако? — спохватясь, подумалъ гость, — я смотрѣлъ на чужіе, а своего дома и не разглядѣлъ». — Онъ снова присѣлъ на табуретъ и навелъ рефракторъ на свое предмѣстье. Замелькали на стеклѣ подгородные домики, огороды и сады; сталъ виднѣть, какъ бы въ десяти шагахъ, узенькій переулокъ и домъ протопопа. Романъ Романычъ разглядѣлъ знакомую красную крышу, тесовыя ворота, бѣлье, развѣшенное по двору, для просушки, на веревкѣ, и кучу протопоновыхъ голубей на вышкѣ, у слухового окна; — а по-

ниже и раскрытое окно своего кабинета, — книжные шкапы, комодъ, картинки по стѣнамъ и рабочий столъ, съ бумагами, передъ окномъ. Но вдругъ Романъ Романычъ вздрогнулъ и отшатнулся отъ трубы, не вѣри своимъ глазамъ. Онъ замеръ и нѣсколько секундъ сидѣлъ, ни живъ, ни мертвъ. — «Еще водочки, коллега! — сказалъ товарищъ, доставая рисунокъ новооткрытой кометы: — смотри какая, — а хвостъ изогнуть и сквозь него видны звѣзды». Но ужъ куда тутъ было до водочки или до кометы. Романъ Романычъ протеръ платкомъ зрительное стекло, еще взглянулъ въ рефракторъ и надвинулъ на него крышку... Потъ каплями падалъ съ его лица...

Прабабушка снова замолкла.

— Что же онъ увидѣлъ? — спросилъ предводитель.

— То, что и слѣдовало ожидать, — раздражительно отвѣтила Анна Петровна, прикладывая носъ къ флакону.

— Неприятность какую-нибудь? — спросилъ полковникъ: — воры забрались въ кабинетъ?

— Да, воры, — отвѣтила прабабушка, — только иного сорта... На диванѣ въ кабинетѣ сидѣлъ Митя, а рядомъ съ нимъ Ашенька, и оба они, обнявшись, цѣловались, какъ истые голубки.

— Возмутительно, дерзко и неблагодарно! — сказалъ предводитель...

— Именно, монъ шеръ, неблагодарно, — обратилась къ нему Анна Петровна, разведя руками: — совершивъ такое открытіе, Романъ Романычъ молча отошелъ отъ трубы. Коллега знакомъ пригласилъ его къ столу. Они еще выпили по рюмкѣ. — «Такъ рефракторъ не дурень?» спросилъ астрономъ. — «Преотмѣнный!» отвѣтилъ гость. — «И все хорошо видно?» — «Все...» — Товарищи пожали другъ другу руки и расстались. Точно на крыльяхъ вѣтра Романъ Романычъ понесся домой. Онъ шелъ, какъ облитый водою, съ портфелемъ подъ мышкой, и не грустилъ, а какъ-то странно усмѣхался. — «Такъ тебѣ и надо, старый дуракъ! — разсуждалъ онъ, идучи: — совсѣмъ сосулька, сморщенный грибокъ, а тоже затѣялъ играть въ амурь. Подѣломъ ретозѣю, плюгавой размазнѣ! Не такъ надо было смотрѣть за молодою, красивою женой!» — Примчался онъ на квартиру и прямо на лѣстницу. Услышала Аня скрипъ ступеней, узнала шаги мужа и выбѣжала къ нему изъ кабинета на цю-

пядку. — «Кака? — спрашивает: — ты уже домой? а лекція?» — «Забылъ я, милая, сегодня табельный день». — «Будешь пить кофій? только налить — готовъ». — «Охотно!» отвѣтил мужъ, а самъ вошелъ въ кабинетъ и окинулъ его глазами. Все въ немъ казалось на мѣстахъ и какъ бы въ порядкѣ. Одна только его шинель какъ-то странно была брошена на диванъ и свѣсилась съ него до полу. — «Такъ пойдемъ же внизъ ко мнѣ — сказала Ашенька: — тамъ и спокойнѣе, и не такъ жарко». — «Нѣтъ, я усталъ; давай сюда». — Анюта вышла на площадку и крикнула въ кухню стряпухѣ: «Завари кофій, да неси наверхъ двѣ чашки; вышю и я». — «Нѣтъ, три!» сказалъ мужъ. Ашенька удивилась. — «Развѣ еще кого ждешь къ себѣ?» спрашиваетъ. — «Да, жду одного пріятеля». — Тутъ Романъ Романычъ вынулъ изъ портфеля свои записки и травы, разложилъ ихъ на столъ, снялъ съ себя вицмундиръ и облекся въ покойный домашній плафрокъ. Кухарка возилась съ посудой. — «Удивительные люди, эта прислуга! — съ нетерпѣніемъ восклицала Ашенька: — кнѣзютокъ всегда есть и кофейникъ былъ на плитѣ, а не несетъ!» — Кофій наконецъ былъ принесенъ. — «Ну, гдѣ же твой знакомецъ?» спросила Анюта, наливая пока двѣ чашки. — «Наливай и третью», сказалъ мужъ. Анюта налила. Романъ Романычъ всталъ со стула, быстро нагнулся къ дивану и приподнял брошенную на него шинель. — «Ну-ка, господинъ Сверчковъ, — сказалъ онъ, увидя торчавшія изъ-подъ дивана, въ болотныхъ сапогахъ, ноги Мити и похлопывая по нимъ: — что конфузиться? выльзайте, будемъ пить кофе». Еле живой отъ смущенія, весь красный и въ пыли, Сверчковъ выползъ изъ-подъ дивана, отряхнулъ на себѣ платье и робко присѣлъ на край стула. — «Полно церемониться, — вотъ ваша чашка, откушайте; да проси же гостя, жена!» — Ашенька не вѣрила своимъ ушамъ и была готова провалиться сквозь землю. Сидя какъ на иголкахъ, она ожидала бурныхъ взрывовъ, грозы. Ничего этого, однако, не произошло. Мужъ налилъ себѣ въ чашку сливокъ, медленно помѣшалъ ложечкой и, обмакивая печенье въ кофій, сталъ съ удовольствіемъ прихлебывать. Видя его спокойствіе, началъ пить и Митя, а за нимъ и Ашенька. — «Это съ инбиремъ и корицей?» обратился Романъ Романычъ къ женѣ, указывая на поданные сухарики. — «Да». — «Ты сама пекла?» — «Сама...» — «Превкусно...» — «Что за

диво?—разсуждала Анюта:—неужели онъ ровно ничего не замѣтилъ? и могла ли до такой степени дойти его ученая, не отъ міра сего, простота? Что же? весьма возможно; онъ, по его мнѣнію, поймалъ ученика въ лѣнкости, да ласкою, косвенно и коритъ его за то, что тотъ, убоясь его упрековъ за нерадѣніе, спрятался подъ диванъ».—А тѣмъ временемъ, какъ Анюта это думала, Романъ Романычъ разспрашивалъ Сверчкова о его родителяхъ и узналъ, что они померли и что онъ живетъ у тетки, вдовы аптекаря.—«Она и теперь содержитъ мужнину аптеку?» спросилъ онъ.—«Такъ точно».—«И хорошо идутъ ея дѣла?»—«Нарядно».—Допивши кофе, Митя всталъ, вѣжливо поблагодарилъ за угощеніе, взялъ шапку и сумку, и сталъ откланиваться.—«А ты, Ашенька?»—обратился Романъ Романычъ къ жонкѣ:—что не берешь также своей шляпки и мантильи?»—«Зачѣмъ?» удивилась та.—«Какъ зачѣмъ?»—отвѣтилъ Романъ Романычъ:—теперь ужъ не я тебѣ мужъ, а вотъ онъ... Вы любите другъ друга, будьте же счастливы и неразлучны. Извольте, молодой человекъ, взять подъ руку Анну Львовну и шествуйте во-свои...»—Анюта помертвѣла, не могла слова проговорить.—«Да, мои милые, да, други сердечные!»—продолжалъ Романъ Романычъ:—я сдѣлалъ въ жизни одну великую глупость, не послушалъ тѣхъ почтенныхъ особъ, кои мнѣ перечили и предрекали то, что случилось, и ужъ болѣе, разумѣется, я того не повторю!»—Ашенька залилась слезами. Митя упалъ на колѣни и сталъ молить о прощеніи.—«Да что же вы, дорогіе мои, каетесь?»—сказалъ Романъ Романычъ:—вы только открыли мнѣ глаза, и я вамъ за то крайне благодаренъ. Здѣсь законъ природы, его же не преидеши, и провидѣнія персты! Повторю, не смущайтесь: облегчите мою душу, живите счастливо, и да благословитъ васъ Господь!»—Сверчковъ поднялъ на Анюту свои большіе, плѣнительные глаза. Ашенька растерянно взглянула на него. Они поняли, что дѣлать болѣе нечего, взялись подъ руки, да потихоньку и ушли...

Анна Петровна смолкла; молчали и ея слушатели.

— Что же было потомъ?—рѣшился спросить предводитель.

Анна Петровна закрыла глаза, какъ бы собираясь съ мыслями. Такъ она пробыла съ минуту.

— Давняя исторія, — сказала она, — и тѣмъ собственно, если хотите, дѣло и кончилось... Романъ Романычъ, стогрча

докончить все, сперва было какъ бы пошатнулся духомъ, нигуда не показываясь, не ходилъ на лекціи и по цѣлымъ днямъ молча смотрѣлъ изъ кабинета въ окно, либо открывалъ книжный шкафъ и медленно перелистывалъ какую-нибудь книгу, ничего въ ней не понимая. Потомъ, однако, онъ успокоился и возвратился къ обычнымъ своимъ занятіямъ. Ашенька поселилась сперва у Митиной тетки, тамъ какъ ко мнѣ она уже не рѣшалась болѣе обращаться. Когда же Романъ Романычъ, перейдя въ другой университетъ, получилъ тамъ катедру профессора, онъ далъ Аннѣ разводъ и она обвѣнчалась со Сверчковымъ. Дѣло, если по-судить, обыкновенное и не особенно мудрое. Такъ не рать бывало на свѣтѣ и всегда будетъ. Но, вотъ что, по-истинѣ, дивно... Романъ Романычъ впоследствии узналъ, Митя не только не бросилъ науки, но, кончивъ курсъ университета, выдержалъ экзаменъ на магистра, а потомъ и на доктора. Тутъ уже Романъ Романычъ не утерпѣлъ и написать ему письмо. — «Вы, какъ и слѣдовало ожидать, — выразился онъ ему, — преуспѣваете въ наукахъ; я же, сообщу вамъ, совсѣмъ состарился и отъ занятій микроскопомъ теряю зрѣніе... Для новаго вина нужны и новые мѣха. Призжайте, дорогой мой, дѣ не одинъ, а съ женою, вашею супругой, и съ дѣтками. Порадуйте, дайте взглянуть на васъ всѣхъ. Будемъ вѣрять, хлопотать у начальства. Я вамъ уступилъ лучшее мое сокровище въ жизни — жену; охотно достойному уступлю и мою катедру, которую, ахъ, я люблю не менѣе, чѣмъ любилъ свою жену!»

— И онъ это исполнилъ? — спросили съ удивленіемъ покровникъ и предводитель.

— Истинный и тонкій былъ философъ! — заключила прабабушка: — нынѣ мало такихъ людей! все какіе-то самонадеянные и, простите, легкомысленные... А онъ, какъ сказать, такъ, представьте, все и совершилъ!

1887 г.

IV.

ДѢДОВЪ ЛѢСЪ.

Мой дѣдъ Иванъ Васильевичъ Данилевскій посѣялъ... тысячу десятинъ лѣса.

На правда ли, какъ это странно слышать въ нашъ, но

преимуществу «лѣсоисстребительный вѣкъ?» Вспомнимъ скитаніе лѣсовъ желѣзными дорогами и пароходами, которыхъ по одной Волгѣ ходитъ болѣе пятисотъ; вспомнимъ рубку «березокъ» по всей Россіи въ Троицынъ день.

Люди предприимчивые, люди съ сильной волей и дѣловымъ умѣньемъ, при всякихъ новѣйшихъ приспособленіяхъ, съ паровыми плугами, рядовыми сѣлками и при своихъ и акціонерныхъ капиталахъ, — стали бы въ затрудненіе передъ задачей — посѣять и вырастить тысячу лѣсныхъ десятинъ.

Много и въ послѣдніе годы толковали о «лѣсоразведеніи», «древонасажденіи» и «обводненіи» южныхъ степей. Ученые геологи и ботаники, по древеснымъ остаткамъ въ курганахъ и на днѣ рѣкъ и озеръ, доказывали, что — нѣтъ пустынныхъ, лишенныхъ роуцъ и дубравъ — Украйна и Новороссія въ незапамятныя времена были покрыты лѣсными породами, гдѣ заброшенный въ степи путникъ могъ находить убѣжище отъ непогоды. Писались доклады, вызовы, проекты и уставы; командировались свѣдующіе чиновники и лѣсники; составлялись общества и продавались пан. Но ни «лѣсоразведенія» и «древонасажденія», ни «обводненія» степей до сихъ поръ не оказалось и слѣда. А въ глубинѣ слободской Украйны, въ Змѣевскомъ небогатомъ селѣ Пришибѣ, проживалъ незнаемый свѣтомъ хуторянинъ, мой дѣдъ, который семьдесятъ пять лѣтъ назадъ, безъ машинъ, безъ своихъ и чужихъ вспомогательныхъ капиталовъ, взялъ да и засѣялъ лѣсомъ тысячу десятинъ никуда негодныхъ, песчаныхъ земель на Донцѣ.

Объ этомъ свидѣлствуютъ какъ официальные, печатные источники, такъ и семейная, устная старина.

Во-первыхъ — свидѣтельства официальные.

Въ рѣчи извѣстнаго харьковскаго ученаго профессора ботаники, В. М. Чернилева — «О разведеніи украинскихъ лѣсовъ», изданной въ 1857 году, сказано слѣдующее: «Покойный профессоръ ботаники, незабвенный мой наставникъ, Ф. А. Делавинъ, въ 1817 году, въ рѣчи, произнесенной въ торжественномъ собраніи харьковскаго университета, упоминаетъ объ одномъ замѣчательномъ случаѣ удачнаго лѣсоразведенія на сыпучихъ пескахъ».

— «Я знаю, — говоритъ онъ, — одного помѣщика, скромность котораго заставляла меня умолчать о его имени.

Когда я проѣзжалъ по его землямъ, лѣтъ 15 тому назадъ (1802 г.),—я нашелъ песчаную равнину, достатокъ въ пятьсотъ. Но какъ я удивился, увидѣвъ недавно ту же равнину, превращенную въ прекрасный сосновый лѣсъ! Ахъ, почему такихъ людей немного? Почему имя сего мужа не достигло подножія трона?

— «Въ 1844 году,—продолжаетъ профессоръ В. М. Черняевъ,—имѣлъ я удовольствіе видѣть уже не пятьсотъ десятинъ, а болѣе тысячи, и быть въ домѣ, построенномъ дѣтьми изъ лѣса, который за полвѣка посѣялъ ихъ отцомъ. Чрезъ ходатайство начальника губерніи, Иванъ Яковлевичъ Данилевскій, помѣщикъ Зміевского уѣзда, награжденъ, за столь благотѣльный и поучительный примѣръ, орденомъ св. Владиміра».

Такъ говорятъ официальные печатныя данныя; такъ свидѣлствуютъ почтенные профессора. И сообщеніе ихъ въ точности вѣрно: сѣятель зміевского лѣса былъ, дѣйствительно, примѣрной скромности человекъ. Какъ всѣ люди, чѣмъ-нибудь истинно послужившіе родной землѣ, онъ и умеръ, не подозревая, что совершилъ какой-либо подвигъ и этимъ былъ кому-нибудь полезенъ.

Мой дѣдъ, какъ свидѣлствуетъ его формулярный списокъ, родился въ 1769 году. Въ 1791 г., съ небольшимъ двадцати лѣтъ, зачисленный въ службу лейбъ-гвардіи въ преображенскій полкъ, онъ въ теченіе пяти лѣтъ былъ произведенъ въ фурыеры, подпоручики, капитанармусы и сержанты гвардіи, а въ 1796 году, незадолго до смерти императрицы Екатерины, уволенъ, по прошенію, въ отставку. Надо, впрочемъ, пояснить, что какъ это поступленіе въ полкъ, такъ и прохожденіе въ немъ службы, равно и полученіе чиновъ, по тогдашнимъ обычаямъ, совершились при постоянномъ и полномъ отсутствіи служившаго изъ полка.

Мой дѣдъ никогда не былъ ни въ Петербургѣ, ни въ Москвѣ, и не видѣлъ въ глаза не только гвардіи, но и своего преображенскаго полка.

Формулярный списокъ прибавляетъ, что въ 1804 году Иванъ Яковлевичъ исполнялъ, по выборамъ дворянства, должность зміевского «комиссара для сбора денегъ, пожертвованныхъ дворянами съ ихъ имѣній на учрежденіе харьковскаго университета». Не будетъ лишнимъ вспомнить

вынѣшему молодому поколѣнію южныхъ землевладѣльцевъ, что наши дѣды на этотъ предметъ пожертвовали и до копейки собрали въ тѣ годы болѣе полумилліона рублей.

Въ 1819 году послѣдовало награжденіе Ивана Яковлевича орденомъ св. Владимира, какъ сказано о томъ въ грамотѣ, «за отличные труды и усердіе, къ общей пользѣ оказанные, въ разведеніи лѣса на пустыхъ, песчаныхъ мѣстахъ».

Избранный старостой имъ построенной въ 1810 году, въ родовомъ селѣ, каменной церкви, мой дѣдъ несъ эту обязанность до конца жизни.

Онъ умеръ шестидесяти-четырехъ лѣтъ, въ 1833 году, среди посѣяннаго имъ лѣса, въ небольшомъ, въ три комнаты, домикѣ, у Курбатовскаго ключевого пруда.

Официальныя и письменныя данныя на этомъ кончаются.

Устная семейная старина щедрѣе...

Отецъ Ивана Яковлевича воспитывался въ шляхетскомъ калетскомъ корпусѣ, гдѣ былъ соученикомъ извѣстнаго, по Шлиссельбургской катастрофѣ, Мировича. Служа въ пѣхотѣ, онъ женился на дочери Выборгскаго коменданта, Плотникова, занимавшей въ то время должность камермерхенъ при дворѣ императрицы Екатерины. Угрюмый мистикъ и масонъ, отецъ Ивана Яковлевича умеръ отъ чахотки, когда сыну исполнилось восемнадцать лѣтъ. Сынъ получилъ домашнее воспитаніе.

Любимецъ и единственная отрада матери, Иванъ Яковлевичъ, со дня своего рожденія и по ея кончину, въ теченіе почти шестидесяти лѣтъ, не разлучался съ родителями. Въ его дѣтствѣ она его нянчила и сама учила не только грамотѣ, но и верховой ѣздѣ и стрѣльбѣ изъ ружья. Подъ ея руководствомъ онъ сталъ хозяйничать, съ ея же выбора и согласія, въ послѣднемъ году прошлаго столѣтія, женился.

Новый, XIX-й, вѣкъ засталъ Ивана Яковлевича на тридцать первомъ году жизни. Прекрасно образованная и даже, какъ тогда говорили о ея пансіонскомъ воспитаніи, «ученая» — его жена, моя бабка, Анна Васильевна была изъ семьи Рославлевыхъ, стяжавшихъ громкую извѣстность своимъ пособіемъ при возведеніи императрицы Екатерины Второй на престолъ. Живая, чувствительная и подвижная нрава, Анна Васильевна съ трудомъ выносила застѣнчивыя,

тяжелый на подъем и нервнительный нравъ мужа. Воля доброй, умной свекрови въ этой семьѣ была законъ. Робкій и мнительный съ посторонними, съ дѣтства замкнутый, бука и домосѣдъ, Иванъ Яковлевичъ до женитьбы увлеклся лишь двумя предметами—охотой и музыкой. Хозяйствомъ онъ занимался мало. Имѣніемъ завѣдывали, подъ надзоромъ матери, приказчики. А какъ они занимались хозяйствомъ, можно было видѣть въ концѣ села, у кабака, особенно въ праздники, когда одного изъ нихъ оттуда вель въ хату кумъ, а другого провожала смазливая дочка, крестница матери Ивана Яковлевича.

Днемъ Иванъ Яковлевичъ бродилъ по стени и по Дону съ ружьемъ; по вечерамъ тѣшилъ матушку игрою на скрипкѣ или на клавесинахъ! Тѣхъ же обычаевъ онъ вздумалъ держаться и ставъ молодоженомъ.

Анна Васильевна терпѣла-терпѣла деревенскую скуку и рѣшилась, наконецъ, ласково и стороной намекнуть мужу о губернскомъ городѣ Харьковѣ: что тамъ, дескать, всякія веселости, театры, выѣзды, танцевальныя вечера.

Долго,—почувавъ, въ чемъ дѣло,—крахтѣлъ и робко улыбался молодой, неподатливый и неповоротливый мужъ. Но хотѣлось ему оставить деревенскаго теплаго угла, нажитыхъ привычекъ, охоты съ любимымъ ружьемъ «галиновкой», бесѣды съ матерью и стеганнаго на вѣтѣ, мягкаго шелковаго архалука. Да и сидѣла въ немъ, съ недавнихъ поръ, какъ-то внутренняя смутная дума. Онъ все охалъ, брался за грудь и бока, жаловался на нездоровье. Жена незамѣтно, однако, переселила.

Потолоковавъ съ «сударней-матушкой» и продавъ соседнимъ купцамъ кое-какіе сельскіе запасы, Иванъ Яковлевичъ рѣшилъ провести часть зимы 1801 года въ Харьковѣ. Онъ послалъ нанять квартиру у тамошняго своего знакомаго, доктора Вырубова; но медлил и медлил съ отъѣздомъ, или, какъ бабушка думала о томъ впоследствии, «мямлил-мямлил» и отпирался туда ужъ на рождественскихъ свѣтахъ, въ февралѣ.

— Вы довольны, зѣлхены! — спросилъ дѣдъ, такъ называвшій въ нѣжные часы жену.

— Какъ же, гѣрцхентъ, не довольна!.. Увидимъ свѣтъ, освѣжимся...

Щобывали молодожены у городскихъ властей и у губер-

скаго предводителя; выстояли архіерейскую службу въ монастырѣ; посѣтили театр и какую-то панораму; обжились, устроились и сами стали принимать знакомцевъ и родныхъ.

Иванъ Яковлевичъ справилъ себѣ модный нарядъ; сталъ выѣзжать въ голубомъ фракѣ, съ бронзовыми пуговицами, и въ крахмаленномъ жабо; но часто шептался съ докторомъ, квартирнымъ хозяиномъ. Зная мнительность некрѣпкаго здоровья мужа, Анна Васильевна все собиралась спросить Вырубова, въ чемъ дѣло, и стѣснялась, какъ бы не огорчить этимъ мужа. Харьковъ, между тѣмъ, отгласился печальнымъ событіемъ.

Въ началѣ великаго поста прихожане старой Вознесенской церкви, слышавъ звонъ понамаря, стали собираться къ заутренѣ. Двѣ старухи замѣтили на стѣнѣ деревянной колокольни бумажку, прибитую у входа на паперты. Одна изъ старухъ, грамотная купчиха Слатина, соседка поквартирѣ дѣда, предпологала, что это было призваніе къ пожертвованію, стала вслухъ читать написанное... Бумажка оказалась острымъ и сильно дерзкимъ насквилемъ на одно высокое лицо.

Вознесенскій протопопъ, отецъ Василій Фотіевъ, проходя мимо къ службѣ, взглянулъ на «бунтовскую грамотку», сорвалъ ее и тотчасъ заявить о ней полиціи. Въ тотъ же день онъ былъ отрѣшенъ отъ должности и взятъ подъ арестъ. Старуху Слатину къ ночи умтали съ фельдшеремъ въ Петербургъ. И хотя всѣ знали, что ни Фотіевъ, ни Слатина, какъ ни въ чемъ здѣсь неповинные, будутъ, по всей вѣроятности, вскорѣ освобождены, тѣмъ не менѣе, всѣмъ городомъ овладѣла паника.

А тутъ еще какой-то проѣзжій изъ столицы чиновникъ сообщилъ новое извѣстіе, въ особенности поразившее моего дѣда. Завернувъ по пути къ пріятелю архимандриту, этотъ петербургскій житель подъ секретомъ разсказалъ, что однофамилецъ и дальній родичъ моего дѣда, тоже Иванъ Данилевскій, былъ въ ту зиму схваченъ полиціей гдѣ-то въ курской или пензенской губерніи и таже же, какъ Слатина, отвезенъ въ Петербургъ.

Разсказчикъ, впрочемъ, прибавилъ, что арестъ этого обвиняемаго окончился благополучно. Когда арестанта ввели въ кабинетъ императора Павла, государь съ негодованіемъ

показать ему, какой-то рисунок со стихами и спросить: «Это ты меня изобразилъ въ такомъ привлекательномъ видѣ?»—Государь!—проговорилъ черезъ силу, упавъ на колѣни, арестованный:—я не только дашквидей на обожаемыхъ моихъ монарховъ, но даже и писемъ къ роднымъ дѣтямъ писать не могу... третій годъ рука въ параличѣ»...

Было произведено новое дознаніе; настоящій виновникъ дерзкой сатиры былъ найденъ и уличенъ. Ивану Данилевскому императоръ Павелъ, по словамъ рассказчика, пожаловалъ, за напрасныя тревоги и страхъ, дорогій перстень, далъ мѣсто въ ассигнаціонномъ банкѣ, на поправку разстроенныхъ дѣлъ записать ему обширную вотчину и, наконецъ, по просьбѣ оправданнаго, въ память этого событія пересѣлъ въ Михайловскомъ дворцѣ, гдѣ тогда жилъ государь Павелъ Петровичъ, прибавилъ къ его фамиліи слово—«Михайловскій». Съ той поры и стали на Руси Михайловскіе-Данилевскіе.

Анна Васильевна вслѣдствіе старалась успокоить мужа, встревоженнаго этимъ рассказомъ.

— Ну, видите, видите,—говорила она:—какой добрый и справедливый монархъ!..—Не права ли я? Не только не оправдиль невинно-подозрѣваемаго, но еще передъ нимъ на разводъ принесъ извиненіе.

— Нѣтъ, нѣтъ, надо ужъжать!—твердилъ дѣдъ:—и тотъ Иванъ, и я Иванъ, и оба Данилевскіе. Мало ли что можетъ произойти!.. Подальше отъ города,—болѣе спасенія и тишины.

— Но что же произойдетъ?

— А вонъ, квартальный поручикъ вчера пять разъ за день мимо насъ прошелъ и все поглядывалъ на окна...

Вѣрь, что ужъ не даромъ...

— Да его квартира здѣсь на улицѣ.

— А зачѣмъ на наши окна смотрѣть?

Въ Харьковѣ, незадолго передъ тѣмъ, пріѣхалъ извѣстный фокусникъ Манчини. Онъ пустилъ афиши, въ которыхъ извѣщалъ, что публика увидитъ у него отъѣнно-дивныя вещи: ращеніе въ четверть часа изъ сѣмянъ двѣтущихъ розъ, глотаніе зажженной пакли и оживленіе обезглавленныхъ передъ зрителями голубей. Городъ слѣшилъ въ заманчивый балаганъ.

Собирайся, сейчасъ ѣдемъ!—сказалъ Иванъ Яковле-

вить, торопливо, съ блѣднымъ лицомъ, входя къ женѣ съ утренней прогулки.

— Къ Манчини? развѣ сегодня?

— Нѣтъ, сударыня, — въ деревню, домой...

— Какъ? что случилось? А ты же обѣщалъ завтра съ Вырубовыми къ фокуснику?..

— Не до-заморскихъ нынче штукъ, — мрачно отвѣтилъ дѣдъ: — слышала, мой другъ, что грозить Харьковъ? Представь, — прибавилъ онъ съ боязливою оглядкой: — прислаки, говорятъ, секретный приказъ... Если въ трое сутокъ не найдутъ виновника ввѣщенной у колокольни сатиры, то въ Харьковъ войдетъ чугуевскій казачій полкъ и подожжетъ съ конца въ конецъ всѣ улицы; и когда городъ сгоритъ, его мѣсто спашутъ, засѣютъ, и поставятъ у дороги столбъ съ надписью: «Здѣсь былъ городъ Харьковъ».

— Что вы, что вы, Иванъ Яковлевичъ! всякому слуху вѣрите! — возразила, сама поблѣднѣвъ, Анна Васильевна: — помяните мое слово, никакихъ подобныхъ вандализмъ въ нашъ просвѣщенный вѣкъ быть не можетъ... Сколько разъ я вамъ говорила, по поводу такихъ политическихъ пересудъ, что все это — бабскія выдумки! будемъ надѣяться на Бога; а нашъ Харьковъ, вѣрите, останется цѣлъ и невредимъ.

Слова нѣжной, любящей, вѣрившей въ «просвѣщеніе вѣка» бабушки, на самомъ дѣлѣ, оправдались.

Утромъ слѣдующаго дня, когда архіерей, губернаторъ и прочія высшія городскія власти выходили отъ вечерни изъ собора, — къ паперти подскакалъ въ волчьей шубѣ, засыпанный снѣгомъ, фельдгегеръ. Онъ, еще стоя въ бѣшенно-мчавшихся саяхъ, скинулъ шапку и, ею махая, крикнулъ охрипшимъ голосомъ: «Счастье имѣю поздравить съ восшествіемъ на престолъ императора Александра! царство небесное императору Павлу!»

Эта вѣсть съ быстротою молніи облетѣла Харьковъ.

— А все-таки, зѣлехенъ, уѣдемъ въ деревню! — сказали, выслушавъ новость, дѣдъ женѣ.

— Почему, гѣрцхенъ? развѣ не видите, какъ, по моему предсказанію, все счастливо кончилось? — отвѣтила жена: — городъ ликуетъ; съ близкой пасхой будутъ новыя празднества, веселье, балы.

— Въ своемъ гнѣздѣ и веселѣе, и лучше!

— Но мы многимъ еще визитовъ, какъ слѣдуетъ, по

отплатили, — настаивала жена: — родные обидятся; у многих назначены вскорѣ вечера, а такую родней, тѣрпенька, какъ у васъ, не слѣдуетъ пренебрегать... Донецъ-Захаржевскіе, Краснокутскіе, Двигубскіе, князь Трубенкой, Милорадовичъ, Пестичи, графъ Петръ Михайлычъ Апраксинъ, Булацель-богачъ...

— Еще, сударыня, нѣтъ ли кого на примѣтѣ? А я скажу, — рѣшилъ дѣдъ: — скупимъ, что надо, да скорѣй во-свои. Знаешь пословицы: своя хатка — родна matka... на своей печи все красное лѣто... Дома и стѣны помогаютъ; и мышь въ норку тащить корку... Вотъ и я, скажу вамъ, къ своей «калиновкѣ» приобрѣлъ нынче новый, съ пороховницей, ягдтапъ...

«Калиновка», долго хранившаяся въ нашей семьѣ, была любимымъ ружьемъ дѣда. Онъ изъ нея, по преданію, подѣ шестидесять лѣтъ, не давалъ промаха по волкамъ и убивалъ на лету ласточекъ.

— А кстати, — прибавилъ дѣдъ женѣ: — поздравляю и съ новымъ егеремъ, Антипкой... Сегодня съ нимъ встрѣтился! Завзятый стрѣлокъ... И онъ поѣдетъ съ нами.

Новаго егеря Иванъ Яковлевичъ нанялъ случайно. Дѣдъ вошелъ въ польскую лавочку, гдѣ торговалъ приборъ на ружье. Здѣсь онъ увидѣлъ здороваго, сухопараго, сильно обвѣтреннаго и съ примороженнымъ носомъ верзилу, покупавшаго дробь и картечь на старенькую, перевязанную веревкой винтовку. Разговорились. Антипъ оказался страстнѣйшимъ торговцемъ-охотникомъ.

— Откуда приишь?

— Изъ брянскихъ лѣсовъ.

— Какова тамъ охота?

— Другой нѣтъ на всемъ свѣтѣ.

Дѣдъ еще поговорилъ, осмотрѣлъ винтовку Антипа, спросилъ, какъ и у кого онъ охотился въ брянскихъ лѣсахъ, и предложилъ ему съѣздить съ собою за городъ, попробовать въ цѣль «калиновку».

— Вотъ такъ бисова говинька! хоть бы и коневому! — сказалъ Антипъ, протирая глаза, когда дѣдъ на пробѣ всадылъ на сто шаговъ пулю въ пулю: — я бы съ такимъ ружьемъ жилъ, какъ съ жинкой, и ходилъ бы за нимъ, какъ за родною лѣтиной.

— Эге! Ковинька! и вспомнилъ коневого! — подумалъ, поко-

сясь на Антипа, дѣдъ, — персона, очевидно, не пустячная; ужъ не изъ бывшихъ ли, нынѣ шатающихся по міру, славыныхъ съчевиловъ?».

Антипъ Легкоступъ, дѣйствительно, былъ изъ закрытаго двадцать-пять лѣтъ передъ тѣмъ Запорожья. Гдѣ онъ былъ со времени памятнаго «руинованія съчи» — никто не зналъ. Уходилъ ли онъ съ прочимъ «товариствомъ» въ Туречину, да соскучился и самъ возвратился, или первое время прятался гдѣ-нибудь, въ глухихъ степяхъ, да по морскимъ рыболовнымъ въ Новороссіи, — преданіе о томъ умалчивалось. Въ послѣднія же семь-шесть лѣтъ Антипъ шаялся, стрѣляя и сбывая дичь помѣщикамъ и въ города, но былгородскимъ и брянскимъ лѣсамъ. Пріѣхавъ въ нашу Прішибъ съ обозомъ дѣда, онъ прожилъ у него около десяти лѣтъ, исчезая, впрочемъ, по временамъ, на годъ и болѣе.

— Куда же ты, Антипъ? — спрашивалъ его въ такихъ случаяхъ дѣдъ.

— А къ морю, пане, въ Тилигуль... Появлялась птица отайка и птица усой.

— Да не брешешь ли ты? — говорилъ дѣдъ: — что это за отайка и усой? никто про такихъ птицъ не слыхивалъ; а въ Тилигуль вашъ братъ вѣчно щель, когда было скучно, хотѣлось просто уйти на всѣ четыре стороны...

— Ни, пане, ей-же то Богу, — до моря, въ Тилигуль, — отвѣчалъ, собираясь въ дорогу, Антипъ: — такая птица явилась, нельзя...

Дѣдъ оказывалъ полное довѣріе новому егерю, поручилъ ему всѣ свои ружья и весь охотничій арсеналъ. Антипъ проживалъ въ саду, въ пустой банѣ. Иванъ Яковлевичъ почасту его навѣщалъ.

— Что вы все шепчетесь съ лѣпаремъ? — спросила какъ-то бабушка мужа, когда они вновь обжились въ селѣ и къ нимъ стали наѣзжать въ гости сосѣдній полковой врачъ.

— То такое, — отвѣтилъ таинственно и растерянно дѣдъ: — что вамъ, Анна Васильевна, какъ дамъ, можетъ, и не подѣ силу. Не женскаго резона матерія, извините... Когда-нибудь и скажу... А впрочемъ, можетъ-быть, и пустяги.

Бабушка была довольна новою утѣхою мужа. Съ Антипомъ дѣдъ охотился какъ у себя, такъ и въ сосѣдскихъ поляхъ. Онъ узналъ его ближе, полюбилъ за сумрачный,

нѣсколько дикій, но прямой и стойкій нравъ, и сообщилъ ему нѣкій завѣтный, сладкій замыселъ, созрѣвшій на днѣ его робкой, несообщительной души. Это было во вторую весну пребыванія Антипа у дѣда, въ 1802 году.

— Знаешь ли, Антипъ, что я затѣялъ?—сказалъ однажды дѣдъ сгерию:—и не только затѣялъ, твердо рѣшилъ, и хочу о томъ переговорить съ матушкой.

— Не знаю, пане; и какъ намъ можно знать всѣ панскія мысли?

— Хочу у матушки проситься съ тобою въ отъѣзжее поле, въ брянскіе лѣса...

— Ну, и съ Богомъ, пане Иване! Тамъ такія мѣста, такія, и столько всякой дичи, — только помогай Богъ въ дорогу!..

— Да, помогай Богъ!—произнесъ, почесывая переносье, дѣдъ:—а какъ матушка не пустить?

— Да почему же?

— Потому, я все хворый, все мнѣ не по себѣ...

— А оттого, паночку, и не по себѣ, что много дома сидите. Вотъ и у меня, на что ноги, — лошадиныя, а ужъ мозоли стали сходить на вапникъ, спасибо, хорошихъ хлѣбѣхъ...

— Ну, такъ я попытаюсь, — только ты, Антипъ, до времени молчи... Вудешь молчать?

— Буду.

Воспитаніе дѣда прошло подъ вліяніемъ мѣстныхъ религіозныхъ и бытовыхъ преданій. Онъ росъ подъ кровомъ сельской, сказочной старины. Женскій міръ, совѣты, ласки и руководство любящей матери въ теченіе долгой ея жизни, положили на дѣда свой, нѣсколько фантастическій, отпечатокъ.

Въ то время не только въ поселянскихъ, но и въ дворянскихъ семьяхъ всецѣло царили особыя космическія понятія о мірѣ, небѣ и землѣ.

Небо тогда неоспоримо еще считалось синей кровлей великановъ — «одноглазцевъ», бабы которыхъ на нее съ вечера кладутъ свои веретена и вальки. Облака — это ступень, и его пробовать въ бурю какой-то пастухъ. Солнце — человѣкъ съ огненными волосами. Одинъ панъ заблудился на охотѣ, попалъ на небо, гдѣ солнце спитъ, и если-бъ не

вѣтеръ, губатый солнцевъ братъ, этотъ пакъ сторука бы, какъ сноплъ. Передъ концомъ свѣта солнце спустится къ землѣ и уже не зайдетъ; тогда загорятся озера, колодцы, и рѣки потекутъ краснымъ огнемъ. На лунѣ по ночамъ, — Адамовы сыновья, — Каинъ держитъ на вилкахъ убитого Авеля. Затменіе — это св. Юрій ставитъ на мѣсяцъ заслонку. На Срѣтеніе — встрѣча и борьба семейной жены, зимы, и гулящей дѣвки, дѣта. Звѣзды — свѣчи въ рукахъ ангеловъ, сидящихъ на ступеняхъ божьяго трона; и эти свѣчи — души людей: праведно живущихъ — яркія, грѣшниковъ — тусклія, мерцающія. Едва родится человекъ, Богъ зажигаетъ свѣчку и даетъ ее ангелу. Сколько звѣздъ, столько и людей; надучія — это души покойниковъ. Млечный путь — дорога въ Іерусалимъ. Громъ — архангелъ Михаилъ охотится съ ружьемъ на утокъ и прочую дичь. Роса — слезы великомученицы Варвары, которая ходитъ по тощимъ, засыхающимъ нивамъ и плачетъ о бѣдныхъ людяхъ. Радуга — ея коромысло, и по ней втягиваются въ тучи, кромѣ рѣчныхъ водъ, маленькія рыбки и лягушки, потомъ падающія на землю. Морозъ — драхлый сѣдой старикъ, весь въ сосулькахъ. Вѣтеръ — Касьянъ вѣтроудъ, мордатый, губатый и усатый, прикованный гдѣ-то къ стѣнѣ. Проснется, шевельнетъ однимъ усомъ — вѣтеръ, другимъ — буря.

Тогда — въ дѣдово время — вѣрили, что волю, лошади и всякій скотъ, въ ночь подъ Рождество, говорятъ между собой по-человѣчьи; что летучая мышь стала съ крыльями оттого, что съѣла на Пасху «свяченнаго»; что чайка — поутѣнная вдова, ставшая птицей отъ непрерывнаго плача надъ могилой мужа, и что воробьи, за указаніе евреямъ воскресшаго Спасителя, до конца вѣка будутъ повторять свой предательскій крикъ: «живъ, живъ!»

Егеръ Антипъ внесъ немало новыхъ таинственныхъ преданій и откровеній въ умственную жизнь дѣда. Онъ даже помѣщеніе въ банѣ избралъ вслѣдствіе особыхъ соображеній. Жить на охотномъ дворѣ онъ не захотѣлъ.

— Со псами, пане, извините, нечисто! — сказалъ онъ: — боюсь не блохъ, а того, что бываютъ всякіе пси.

— Какіе же бываютъ пси?

— Душа иного человека за плохія дѣла переходитъ, по смерти, въ собаку, — отвѣчалъ егеръ: — оттого бываютъ «псомы».

головицы» и «вокулаки» — ихъ сразу и не различить. — они ночью сердце сосутъ.

— Я вамъ, пане, найду и добуду «ремезево гнѣздо», — говоритъ одинъ разъ Антипъ, бродя въ камышахъ по Донцу и тамъ въ травѣ подглядывая птичьи сѣдала.

— Какое же это гнѣздо? — спросилъ Иванъ Яковлевичъ.

— Отъ лихорадки лѣчить и отъ дурного глаза... Такая махонькая, тихая птишка есть; въ зелени ее и не видать.

Отъ подносимой чарки водки Легкоступъ отворачивался, увѣряя, что съ давней поры, по зарокѣ, не пьетъ. Сельскій шинокъ онъ обходилъ какъ-то мрачно, окольными тропинками, говоря, что кто сидитъ за горѣлкой, тотъ не выкрикнетъ на приманку ни волка, ни лисицы. Поселение дичились его и не падали насмѣшками. Онъ отругивался отъ нихъ забористо и на особый ладъ. «Лявво ты, хляпигуро! — кричалъ онъ, выйдя изъ себя: — чтобъ ты сдурѣлъ и въялся, какъ вѣтеръ! Чтобъ тебя позавертало! Чтобъ ты съ дымомъ пошелъ!...»

«Запорожецъ! какъ есть, запорожецъ! — думалъ дѣдъ, любясъ пагавшимъ по улицѣ, въ сермягѣ, на босу ногу стрѣлкомъ: — такъ ругались сѣчовики, наѣзжавшіе къ отцу въ былые годы».

Собираясь на охоту и ладя барину нужные припасы, Антипъ наливалъ одну и ту же заунывную, протяжную пѣсню, гдѣ слышались слова: Черное море, турки и братья сѣромахи, славные молодцы. Иногда же онъ ласково, нѣжно причитывалъ, будто молился: «Вы зѣри-зорниці, три сестриці! займите тотъ кубокъ, что Іисусъ руки мылъ... Ночь темна, темница! замыкаешь ты церкви и каты, монастыри и цареки палаты... замкни звѣрю уши и глаза, чтобъ я подошелъ и не промахнулся».

На охотничьихъ привалахъ Антипъ безъ умолку рассказывалъ, что видѣлъ и слышалъ на своемъ вѣку.

— Я, пане, одинъ разъ сподобился встрѣтить святого Юрья, — повѣдалъ какъ-то Антипъ.

— Гдѣ-жъ ты его встрѣтилъ?

— Да тамъ же, куда собираетесь, въ тѣхъ гѣсахъ.

— Какъ же это было?

— Иду я вотъ съ этимъ самымъ мушкетомъ, — сказалъ Легкоступъ, беря ружье въ жилистыя, точно сверченныя изъ нанатовъ руки: — ночь была темная, въ позднюю осень.

Поглядѣлъ, а вдали, въ гущинѣ деревьевъ, перебѣгаютъ огоньки; точно кто со свѣчами ходилъ и чего-нибудь искать по травѣ. Я прилежъ въ кусты, выждалъ; вижу, св. Юрій идетъ, — какъ есть, въ лапахъ, въ желѣзной шапкѣ и съ большущимъ самопаломъ черезъ плечо; а за нимъ понури морды и махая хвостами, — вереница волковъ... ихъ-то глаза и свѣтились...

— Да какъ это за Юріемъ волеи?

— Онъ волчій пастухъ, — отвѣтилъ Антипъ.

— Своими глазами видѣлъ?

— Своими.

— Да, любопытны ваши брянскіе лѣса, и я, что задумалъ — сдѣлаю, — сказалъ, прохаживаясь по банной горенкѣ, дѣдъ.

— Многодивъ, еще больше дичи, — произнесъ Легкоступъ: — только знайте, пане Иване, вся она заговорена. Много тамъ чертей...

— Откуда же они, когда тамъ святой Юрій?

— То не его дѣло. А извѣстно — лѣсъ, вѣковѣчныя дебри; опять же воздухъ свободный; ну, всякая нечисть и водится, — лѣсовики, овражники, болотняники, камышники; гдѣ какой изъ чертей захочетъ, тамъ себѣ и живетъ; есть и лѣсныя бабы, — полнолуницы, что звѣзды градуютъ; есть дѣвки щекотницы, — попадешься къ нимъ, защекочутъ до смерти. Эхъ, пане, вотъ бы сюда, на Донецъ, да такіе дремучіе лѣса!..

— Я и самъ давно думаю, — отвѣтилъ Иванъ Яковлевичъ; — засѣять бы, въ самомъ дѣлѣ, вотъ хоть всѣ эти посеченные кучугуры, да бугры...

— То-то птишекъ бы прибыло! — обрадовался Антипъ: — дикіе голуби-вытютти, сойки, сѣрый и черный дроздъ, вальдшнепы, шнаки.

— Я полагаю, съ лѣсомъ завелись бы и всякія лѣсныя травы! — произнесъ дѣдъ, какъ-то раздумчиво, загадочно и несмысло взглядывая на егеря.

— Еще бы! — продолжалъ Легкоступъ: — въ тѣни выползетъ тебѣ не только всякая подземная былипка, всякій божій знакъ, а покажется, пожалуй, и «дѣдъ-моркунъ».

— Это кто? — спросилъ, поднявъ брови, Иванъ Яковлевичъ.

— Кладъ такой... Иной, пане, кладъ выбѣжить и катится ночью по дорогѣ бѣлою овцою или чернымъ лохма-

тымъ пѣтухомъ; его и не узнаешь. А другой вышелъ и станеть въ кустахъ старымъ, засморканнымъ нищимъ; въ дерюгѣ, съ котомкой и съ клокой; горбатый онъ, поганный, ну—плюнуть; а кто ему утретъ, извините, сойли—глядь и разсыплется золотомъ. Разныя дива бываютъ. Опять-же, пане, слышно, что при концѣ вѣка такіе будутъ маховыіе люди, что дюжина ихъ въ печкѣ станеть горохъ молотить...

— Ну, то при концѣ свѣта, — перебилъ Иванъ Яковлевичъ. — А скажи ты мнѣ лучше, Антипъ, вотъ что... Есть тамъ въ лѣсахъ, гдѣ ты былъ... жабникъ, жабья трава? А кое-гдѣ зовутъ ее также чистотѣломъ, и отъ нея, какъ сказываютъ очищается тѣло человѣка... Есть такая трава? Ты ее видѣлъ?

— Жабникъ? какъ не быть! — отвѣтилъ Легкоступъ: — всякая трава, пане Иване, вырастетъ подъ деревомъ, абы лѣсъ былъ... А ужъ лѣса тамъ, говорю вамъ, вотъ лѣса! Безъ начала и конца...

Задумался дѣдъ пуще прежняго и окончательно рѣшилъ не откладывать дѣла.

Наступилъ 1802 годъ. Весной въ этомъ году у Ивана Яковлевича родился сынъ Петръ, мой отецъ. По совѣту своей матери, дѣдъ ѣздилъ въ мартѣ на богомолье въ Святогорскій монастырь, гдѣ служилъ молебенъ о здравіи родильницы и новорожденнаго. Возвратясь оттуда, Иванъ Яковлевичъ передалъ матери просьбу отпустить его на богомолье въ Бѣлгородъ, а кстати и поохотиться въ Бранскій уѣздъ.

— Съ кѣмъ же я отпущу васъ, Иванъ Яковлевичъ, въ столь дальній вояжъ? — сказала за вечернимъ чаемъ на балконѣ, въ кругу цвѣтущихъ яблонь, Анна Петровна: — кучеръ Яшка мнѣ нуженъ, для поѣздокъ въ поле и къ знакомцамъ; кучеръ Сашка для вашей жены, — на случай послать за докторомъ или за чѣмъ-нибудь.

— Я, матушка, поѣхалъ бы съ егеремъ Антипомъ, — сказалъ не смѣло сынъ: — мы бы запрягли кибитку, онъ править бы тройкой, и мы благополучно сдѣлаемъ этотъ вояжъ.

— А какъ вы подстрѣлите себя, Иванушка, на охотѣ? — возразила, слѣдуя давнему обычаю, Анна Петровна тридцати-трехъ-лѣтнему сыну.

— Не подстрѣлю, матушка, — отвѣтилъ, цѣлуя руку матери, сынъ: — ружье въ пути у меня никогда не заряжено.

— Отпустите его, та bonne mère, — произнесла сидѣвшая здѣсь же, на балконѣ, еще блѣдная, бабушка Анна Васильевна: — онъ зимой почти не охотился, а теперь такая дивная погода... вся въ цвѣту, и какъ тепло.

Прабабка оправилась на себѣ бѣлый, въ кружевахъ, высокій чепецъ, строго взглянула на вечернѣющее, тихое небо, на освѣщенные верхушки осыпанныхъ цвѣтомъ яблонь и грушъ, и сказала со вздохомъ:

— Будете въ Бѣлгородѣ, — тамъ у обители, гдѣ покоятся мощи преосвященнаго Іосафа, знатный садъ — добудьте мнѣ саженцевъ яблони «добрый крестьянинъ». Плоды съ нея отмытые, и ихъ очень выхвалялъ покойный бригадиръ Пашковъ...

Сердце дѣда радостно забилося. Всякій разъ, — а это было не такъ часто, — когда прабабка вспоминала бригадира Пашкова, въ дальней завитой молодости въ нее влюбленнаго, — все шло, какъ по писанному, на ладъ. Поѣздка въ Бѣлгородъ и далѣе была рѣшена.

Стоялъ ясный, безвѣтренный апрѣль. Рогожная кибитка, нагруженная всякой всячиной, двинулась по «чернотропу» въ путь. Антипъ возсѣдалъ на козлахъ. Дѣдъ, въ стеганомъ, шелковомъ архалукѣ и въ лисьей шубкѣ, сидѣлъ среди ружей и складней съ провизіей въ кибиткѣ.

Побывали въ Бѣлгородѣ, отстояли въ монастырѣ службу, приторговали и отправили на особой, нанятой подводѣ саженцевъ «добраго крестьянина» изъ Іосафовой обители, и выѣхали на дорогу къ Брянску.

Бесѣда въ пути не прерывалась. Идутъ лошади шагомъ на мѣловую гору, — Легкоступъ рассказываетъ о лѣсахъ; идутъ подъ гору, — дѣдъ опять его осыпаетъ разспросами.

— Ты говорилъ, Антипъ, что въ брянскихъ лѣсахъ не всегда было спокойно?

— Теперь тихо, а въ старые годы ихъ обходили далеко.

— Чтò-жъ тамъ было прежде?

— Въ нихъ, пане, жилъ въ старину соловей-разбойникъ, да его побѣдилъ Илья Муромецъ.

— Какъ же онъ его побѣдилъ?

— Прослышалъ о чудикѣ и поѣхалъ по топкимъ болотамъ, трясинамъ и по калиновымъ мостамъ, въ самую гущину, гдѣ на двѣнадцати дубахъ сидѣлъ гнѣдомъ этотъ

самый разбойникъ. Не пропускалъ соловейко ни коннаго, ни пѣшаго—убивалъ всѣхъ наповаль, и не оружіемъ, а молодецкииъ, разбойнымъ посвистомъ... Завидѣвъ соловейко Илью, засвистѣлъ,—пыль столбомъ поднялась, и посыпались ворохомъ сбитые свистомъ листья и сучья съ деревь... Да загудѣла казенъ-стрѣла, разбойникъ съ дуба повалился...

Въ такихъ разсказахъ степняки проѣхали нѣсколько сутокъ, миновали песчанымъ побережью только-что опавшей отъ половодья Десны и приблизились къ сплошнымъ сосновымъ и чернымъ рѣмненнымъ пущамъ, простравившимся въ то время близъ Бринска, по окраинамъ Орловской губерніи.

Усталость одолѣла дѣда. Онъ уже не выглядывалъ изъ кибитки и крѣпко спалъ, когда ночью колеса застучали и запрыгали по кряковистымъ сосновымъ кореньямъ, выступившимъ на пути изъ песчаныхъ бугровъ. Легкоступъ привезъ барина въ сторожку давняго своего пріятеля, — тоже охотника-лѣсника, богатаго полбннскаго «смолокѹра» Надвина. Дѣдъ отказался отъ закуски, легъ на сѣно и проспалъ, какъ убитый, до утра.

Выйдя утромъ изъ сторожки, стоявшей у озера, надъ холмомъ, дѣдъ не взвидѣлъ свѣта отъ радости. Громадныя, двухсотъ-и-трехсотлѣтнія сосны, ели, дубъ, ольха, береза и клѣнъ простирали свои вершины надъ темнымъ, суглинистымъ и супесчанымъ доломъ. У озера ладилась барги для слага лѣса. За озеромъ дымилась черныя, закоптѣлыя смолокѹрни.

А когда степняки дѣдъ и Антипъ, подкрѣпившись пищей у лѣсника, двинулись налегкѣ, съ ружьями, въ чащу стараго болотнаго бора, когда ихъ встрѣтили и оглушили всякіе птичьи свисты, стоны и крики, и дѣдъ, звонко стрѣляя изъ длинной «калиновки», наполнилъ дичью свой ягташъ, потомъ торбу Легкоступа и привѣсилъ еще къ своему и его поясамъ нѣсколько десятковъ сызыхъ вытютней, носатыхъ вальдшнеповъ, утокъ и дроздовъ,—по пути къ сторожкѣ дѣдъ остановился. Восхищенный мощью и роскошью лѣса, обиліемъ и запахомъ древесныхъ породъ, о которыхъ въ обнаженной, пустынной степи не имѣють и понятія, дѣдъ скинулъ шапку, отеръ разгорѣвшійся лобъ и лицо и, глядя на окружавшую его лѣсную чащу, сказалъ Легкоступу:

— Антипъ, знаешь ли ты, что были въ древнемъ Египтѣ цари-фараоны; а у насъ императоръ, Великій Петръ?

— О Петръ—какъ не слышать, а о фараонахъ читать въ святыхъ книгахъ.

— Ну, Антипъ, фараоны соорудили среди сыпучихъ песковъ пирамиды, а царь Петръ выстроилъ на невскихъ трясинахъ столицу Петербургъ. Тысячи конныхъ и пѣшихъ работниковъ трудились по ихъ волѣ надъ этимъ. Вотъ бы намъ съ тобой... посѣять на Донѣ такой лѣсъ...

— Намъ, панѣ, и не нужно такого дорогого кошта.

— Какъ не нужно?

— Дайте мнѣ, панѣ, только подводъ, да выпросите у сударыни-матушки десятокъ плуговъ, и я вамъ лѣсъ посѣю.

— Шутить?—сказалъ дѣдъ.

— Не шучу, тогда повидите сами! Только надъ плугами чтобъ былъ не приказный Касьянъ Криворучка, — ларво, хляпитура ему, сучему, въ родню!—а пусть либо десятникъ Петръ Багацкій, либо ключникъ Бритвенко Сергѣй...

Погостилъ и поохотился въ волю дѣдъ въ смолокуровской полбинской пушчѣ, прокатился по озеру на дегтярный заводъ, къ самому Надвину, собралъ нужныя справки, засушилъ, въ презентъ матери, подборъ дикихъ брянскихъ цвѣтовъ и отъ правился во-свои.

Съ той поры Иванъ Яковлевичъ точно преобразился. Куда дѣлись его вялость, мнительность и нерѣшительность. Онъ сталъ неузнаваемъ.

Легкоступу дали сперва три, потомъ пять воловыхъ подводъ. Онъ съ ними нѣсколько разъ ѣздилъ въ брянскій уѣздъ за сосновыми шишками. Когда шишки привезли и выбили изъ нихъ сѣмена, Иванъ Яковлевичъ выпросилъ у матери плуги, отдалъ ихъ подъ надзоръ Бритвенка и Багацкаго, и тѣ стали пахать песчаные кучугуры и бутры близъ Дона. Въ проложенныя борозды Легкоступъ съ рабочими сажать свѣже-нарѣзанные колышки вербы и шелога красной лозы, а между ними разбрасывать, подъ борону, сосновыя сѣмена.

Люди дивились: «Намъ панъ сдурѣлъ... вмѣсто ржи и пшеницы, сѣять сосновыя шишки?»

А дѣдъ безъ усталы сѣялъ и сѣялъ. Онъ вошелъ въ переписку съ заводчикомъ Надвинымъ и его сосѣдями, высылалъ имъ, въ обменъ на боровыя шишки, возы тяжеловѣсной пшеницы гирки и бѣлотурки. Съ новой весной онъ опять принялся за дѣло, окопалъ кучугуры рвами, поставилъ избы

для сторожей и приказать туда всякому путь-дорогу. Боже упаси, если, бывало, Иванъ Яковлевичъ, идучи къ своимъ сѣянцамъ, встрѣтитъ возлѣ нихъ на тропинкѣ коннаго или пѣшаго... Подбирай скорѣе помы и бѣги лучше безъ оглядки, что есть духу! Обрутасть поносными словами, а не то задрожитъ и ухватится за ружье: «какъ смѣлъ топтать заповѣдную палестину?»

Прошелъ годъ. Тынчики вербъ и лозы, окинулись листьями, пустили вѣтки. Еще годъ,—между ихъ рядами то здѣсь, то тамъ зазеленѣли чуть видныя по песку кудрявыя грядки грехотной, игольчатой травы: то были молодыя сосенки....

Спустя три года, сосны стали по поясъ человѣка; въ пять лѣтъ выросли дѣду по плечо. Задержанный отъ разноса, песокъ началъ крѣпнуть. Дѣду сѣять и сѣять...

На седьмомъ году первые посѣвные участки поднялись выше человѣка; на десятомъ—половина молодого бора ужъ дачада широкую, прохладную тѣнь...

А подъ смолистыми деревцами, въ перегноѣ травъ и падающихъ сосновыхъ иголъ, образовался дернъ, поползла цѣлкая песочная осока,—*carex agrepia*,—явился верескъ, раскинулись и дружно зазеленѣли прочія лѣсныя травы.

Дѣду былъ внѣ себя отъ радости. Мать и жена любовались его трудами. Онъ не покидалъ заветнаго дѣла, отдавалъ ему всѣ свободные часы. Дѣло увѣнчалось успѣхомъ.

Съ первыхъ же лѣтъ въ молодомъ бору явились лисицы, а къ зимѣ туда стали набѣгать цѣлые уймы зайцевъ и куропатокъ. Антищъ выслѣдилъ два волчьихъ выводка. Были приглашены сосѣди, и охота началась на славу.

Поселяне, насмѣшливо и подозрительно встрѣтившіе первыя хлопоты дѣда, болѣе ужъ не говорили:—«вотъ одурѣлъ панъ, вмѣсто хлѣба сѣетъ сосновыя шишки!»—Теперь было не то. Крестьяннинъ оцѣнилъ доброе дѣло: сельскія пашни болѣе не заносились со смежныхъ бугровъ песками.—«Ишь, идучи! хлѣба столько лѣтъ не продавалъ,—говорили поселяне:—а за то, что вышло! лѣсъ какъ лѣсъ, точно и всегда тутъ ростъ».

Стали даже толковать, что и впрямь дѣду волшебникъ. Одна баба, Морозиха, увѣряла, что видѣла разъ, какъ панъ вечеромъ стоялъ у сосны; онъ былъ по сю сторону дерева, а то вдругъ сталъ—точно на крыльяхъ перелетѣлъ—по дру-

гу, и въ оба раза стоялъ, какъ вкопанный, не двигаясь, точно на облакъ...

Видъ съ дѣдова крыльца, изъ Пришиба, на молодой боръ былъ привлекательный. По зарямъ, лѣтомъ, были слышны въ домѣ всѣ лѣсные птичьи крики. На селѣ, впрочемъ, толковали:—«Развѣ то однѣ птицы голосить? тамъ теперь немало и *тыхъ* пѣвуновъ, что къ ночи не слѣдъ и называть»...

— Что-жъ тамъ еще за пѣвуны? — спрашивали бабы мужей.

— Недаромъ тотъ чортовъ запорожець ослѣдъ пана, — отвѣчали мужья:—добра изъ этого не выйдетъ. Поростетъ, поростетъ лѣсъ, да и провалится, съ самымъ тѣмъ бѣсовымъ запорожскимъ сѣяльникомъ, покроется весь водою, какъ озеро. Не къ добру тотъ, чортовъ сучакъ, и води не пьетъ, и въ кабакъ никогда не заглянетъ, чтобъ поговорить съ добрымъ человѣкомъ.

Однажды, въ концѣ іюня, дѣдъ охотился въ новостъ лѣсу съ Антипомъ.

— Ты говорилъ о жабьей травѣ, — сказалъ Иванъ Яковлевичъ:—помнишь? а ну-ка, поници; не выросла ли она за эти годы?

— Давно, пане, и отчего не вспомнили? вотъ она, — отвѣтилъ Легкоступъ, нырнувъ въ гущину сосенъ и неся оттуда молодые стебли чистотѣла.

Дѣдъ радостно перевелъ духъ, долго смотрѣлъ на траву и, робко потрогивая себя за поясъ и грудь, перекрестился.

— Ну, слава Богу, и спасибо, Антипе, тебѣ! — произнесъ онъ:—можетъ быть, теперь еще прожину лишніе годы на свѣтѣ.

— Что вы говорите, пане? Развѣ у васъ какая, не приведи Богъ, хвороба?

— Такая хвороба, такая, что коли и это велѣе не поможетъ, придется въ скорости помреть.

Антипъ удивленно глядѣлъ въ смущенное, понурившее лицо дѣда.

— Ну, теперь ступай ты съ кучеромъ домой, — сказалъ дѣдъ:—доплати ту перепелинную сѣтку, что я далъ: скоро будетъ нужна; а барынкѣ скажи, чтобъ не ждали съ обѣдомъ. Пропасть курочатокъ, — два выводка воцѣ въ томъ

нѣсть сейчасъ видѣть—поохотюсь самъ. А ты съ кучеромъ выѣзжай къ опушкѣ, какъ смеркнется, и жди...

Легкоступъ и кучеръ, переглянувшись и позачавъ головами, поѣхали изъ лѣса.

Дѣдъ, между тѣмъ, пошелъ въ чащу деревъ, отыскалъ поляну, гдѣ болѣе разросся жабникъ, прилегъ среди его зелени подъ сосной, положилъ съ боку ружье, и какъ впоследствии рассказывалъ, въ неотвязной, гнетущей мысли, закрылъ глаза...

«Сегодня Ивана Купала, — рассуждалъ онъ: — травы въ самомъ соку и цвѣту... Теперь-то она, проклятая, несытая, и падека на свой настоящий харчъ».

Долго ли такъ лежалъ Иванъ Яковлевичъ, онъ того не помнитъ, какъ какъ крѣпко заснулъ. Солнце закатилось, окрашивая игольчатые гребни разросшихся вправо и влево сосенъ. Птичьи крики смолкли. Надъ прохладными полянами точно незримый дьяконъ прошелъ, съ дымящимся душистымъ кадиломъ...

Сумерки въ лѣсу сгустились. Дѣдъ очнулся и вскочилъ. Въ волненіи, ощупывая грудь и животъ, онъ взглянулъ себѣ подъ ноги, бережно обошелъ дерево и опять себя потрогалъ.

— Слава Господу милосердному! — прошепталъ дѣдъ, поднимая съ травы ружье и отрадно вдыхая смолистый воздухъ: — чудо, настоящее чудо содѣялось! Вопъ и дорожку по травѣ оставила... не давить больше подъ ложечкой, не шевелится *тресклтая*, не томить и не ползѣть... Домой, скорѣе домой! Завтра молебень и всей слободѣ обѣдъ...

Подъ лѣсной опушкой, въ отблескѣ зарп, онъ разглядѣлъ на степномъ просторѣ знакомыя дроги и сидѣвшаго на нихъ Антипа.

— Ну что, пане, — настрѣляли? — спросилъ, подозрительно его осматривая, Легкоступъ.

Дѣдъ, отозвавъ егера въ сторону.

— Такого застрѣлили, такого, — началъ онъ, въ силу сдерживая волненіе: — слушай, Антипе, да никому, смотри, до срока не сказывай!.. Надо осмотрѣться, выждать. Пасѣять я лѣсу, какъ видишь, дѣти и внуки вспомнить. Выростетъ сосновая пѣна, покроетъ всѣ остальные пески. И охотимся здѣсь мы съ тобой, ну, и все... А мнѣ сподобилось, скажу тебѣ, еще и выгнаться...

— Чѣмъ?—спросилъ Легкоступъ, безсознательно обнажая чубатую голову.

— У меня, Антипе,—сказалъ дѣдъ:—жаба сидѣла въ животѣ; десять лѣтъ каторжная сидѣла и двигалась... А какъ легъ я и слышала она поблизу свой настоящій жабий харчъ, такъ, треклятая, совѣмъ сразу изъ меня и выско- чила... Я видѣлъ и ея слѣдъ по травѣ.

Легкоступъ въ тотъ же день не вытерпѣлъ и на радости, что выѣхалъ пана, завернулъ передъужиномъ въ кабакъ, котораго онъ по зарокѣ такъ всегда избѣгалъ. Тамъ было веселое сборище: у Багацкаго родился сынъ Иванъ (домашнѣ живущій), и отецъ угощалъ сосѣдей. Къ сосѣдямъ примкнули другіе. Антипъ много пилъ, выставилъ водки и остальнымъ пирующимъ. Кто-то задѣлъ его насмѣшкою:—«Пришла-таки попадья къ просвириѣ». Началась ссора. Услышавъ кличку «бродяга-гайдамакъ», Легкоступъ вскочилъ и далъ тумака подгулявшему обидчику. За послѣдняго вступились товарищи. Легкоступъ нашелъ помощь въ Багацкомъ и его кумовьяхъ. Поднялась общая свалка. Прикатый къ углу съ защитниками, Антипъ выскочилъ въ сѣни. На него навалились цѣлою аравой у крыльца. Видя нападеніе не по силѣ, онъ засучилъ рукавъ, быстро нагнулся къ голенищу и выхватилъ оттуда короткій, широкій ножъ...

Тутъ только, когда разгорѣвшійся, въ порванной одеждѣ, Легкоступъ, размахивая ножомъ, проложилъ себѣ дорогу сквозь разсвирѣпѣвшую, кричавшую толпу и медленно, безъ оглядки, какъ травимый неопытными псами, старый матерой волкъ, пошелъ по улицѣ,—всѣ опомнились, рѣшивъ въ одинъ голосъ:—«Да, это—характерникъ, запорожецъ; видно по всему...»

Во дворъ къ дѣду Легкоступъ болѣе не заходилъ; Совѣстно ли ему стало, что не выдержалъ насчетъ водки, или вновь пришла пора пуститься въ странствіе, только онъ взять въ банкъ свой мушкетъ, оставилъ на столѣ доплетенную въ тотъ день переносную сѣть и на разсвѣтѣ, какъ видѣли пастухи, вышелъ за село. Съ той поры Антипъ въ нашихъ мѣстахъ никогда уже не показывался.

О дѣдовомъ лѣсѣ скорѣ заговорили не только въ уѣздѣ, но и въ губерніи. Разныя почтенныя лица, въ томъ числѣ и члены харьковскаго университета, губернаторъ и вводив-

шій военныя чугуевскіи населенія, графъ Аракчеевъ, призжали взглянуть на невиданное чудо, на засѣянный дѣдомъ тысячу десятинъ бора. Иванъ Яковлевичъ терялся, робѣлъ и не зналъ, какъ принимать благосклонные отзывы пріѣзжихъ.

Дѣдъ былъ радъ за свой лѣсъ, радъ за трудное, съ прилежаніемъ и любовью конченное дѣло. Охотясь же въ бору на зайцевъ или поджидая въ лѣсной землянкѣ на приваду волковъ, онъ вспоминалъ Антипа, вздыхалъ и думалъ про себя:—«Хоть битися объ закладъ, онъ, дѣйствительно, былъ характерникъ и навѣрное знался съ бѣсомъ, оттого ему все удавалось».

Въ 1818 году, неожиданно получивъ за лѣсъ монаршую милость отъ императора Александра I, дѣдъ рѣшилъ отправить двухъ своихъ сыновей, моего отца и дядю, на воспитаніе въ дворянскій полкъ, въ Петербургъ.

Вручая юношамъ прогоны, онъ далъ шестнадцатилѣтнему моему отцу письмо къ графу Аракчееву и сказать:

— Ты, Петя, еще молодъ; старайтесь съ братомъ учиться; блюдите чистоту нрава, а паче всего не забывайте дворянскаго гонора и оказывайте должный респектъ властямъ. Ислѣдствіе послѣдняго резона, вотъ вамъ пидулка къ графу Алексѣю Андреевичу. Отвезите ее по адресу и респектуйте графу мое достоюжное почтеніе. Поступайте, какъ въ школѣ, такъ и далѣе въ жизни, согласно его указаніямъ и совѣтамъ. Раскаиваться, государи мои, не будете, приобрѣтя столь могучаго милостивца! Онъ, коли усигъшно зайчете, двинетъ васъ и въ классахъ, и далѣе въ министеріяхъ... Желаю обонимъ возвратиться вспять министрами...

Письмо Аракчееву было отвезено. Графъ принялъ юныхъ недорослей украинскаго знаконца отменно сухо, хотя обѣщалъ имъ покровительство, и пригласилъ изрѣдка его навѣщать. Въ одинъ изъ праздниковъ, когда застѣчивые кадеты очутились передъ всемогущимъ графомъ, Аракчеевъ сталъ ихъ спрашивать, благополучна ли попрежнему роца ихъ отца?—Разсказъ кадетовъ о диковинной роцѣ графъ заставлялъ ихъ потомъ повторять чуть не каждому изъ своихъ гостей. «И представьте, государи мои, — говорилъ при этомъ графъ гостямъ:—такое дѣло и исполнилъ одинъ, одинъ! сократилъ на время хлѣбные посылы, поэкономничалъ и со-

орудилъ такое дѣло... Самъ я, сама оное видѣлъ и донынѣ о подражаніи тому другими, хоть бы казной, не приложу ума!..»

Графъ пригласилъ юношей не пропускать празднико́въ. А тутъ еще оказалось, что украинскіе гости въ родительскомъ домѣ были обучены музыкѣ: отецъ игралъ на флейтѣ, дядя—на виолончели. Доморощенный петербургскій Неронъ, въ тѣсномъ домашнемъ кругу, почти въ секретѣ, не отказывалъ себѣ въ удовольствіи—позабавиться мелодіями Ромберга и Сарти. Ихъ ему разыгрывала на клавесинѣ какакто, изрѣдка, въ праздничные вечера, приходившая къ нему пожилая горбатая родственница. Графъ Аракчеевъ снисходительно относился къ музыкальнымъ упражненіямъ кадетовъ.

Мечты дѣда о судьбѣ дѣтей, казалось, были близки къ осуществленію. Такой сильный человекъ, самъ, можно сказать, «рыкающій левъ», оказывать—кому же?—его дѣтямъ персональное благоволеніе.

Украинская природа, однако, взяла свое. Среди холоднаго, затянутого въ мундиры, вымуштрованного, шагавшаго на площадяхъ Петербурга, сыновья дѣда впали въ неисходное уныніе. Тоска по родинѣ заѣла ихъ съ первого же года. Въ то же время шли слухи о новыхъ и новыхъ подвигахъ «рыкающаго льва». Слухи проникали въ дворняжскій полкъ...

Виолончель и флейта были брошены. Музыкальные услуги въ домѣ графа стали, какъ отписывали кадеты, ограничиваться лишь аккуратной, еженедѣльной, по воскресеньямъ, настройкой клавесина, который, къ слову сказать, вовсе не былъ разстроенъ, такъ какъ горбатая родственница графа куда-то однажды ступшавалась, и клавесина никто ужъ безъ нея не касался.

Министрами дѣдовы сыновья вѣять не возвратились.

Подавъ безъ воли отца прошеніе о переводѣ ихъ на службу на родину, они были зачислены юнкерами въ олевопольскій уланскій полкъ и въ 1819 г. уѣхали къ мѣсту назначенія, въ уманское военное поселеніе.

Дѣдъ, скучая по дѣтямъ и въ ожиданіи ихъ производства въ офицеры, подписался на «Московскія Вѣдомости».

Однажды,—это было лѣтомъ 1821 года,—долго не получалось вѣстей изъ Умани. Въ то время въ лавкахъ мѣстахъ

быть еще старый обычай полученія почты изъ городовъ черезъ общихъ для цѣлаго околотка «пѣшихъ почтарей», «Бродячій», или, по мѣстному выраженію «мандрванный» почтарь, Архинъ Гүня,—онъ же по-просту «Мандрыка»,—разносилъ тогда изъ Зміева письма, газеты и почтовые повѣстки по Донцу и окрестнымъ рѣкамъ верстъ на пятьдесятъ. Гүня былъ коренастый, плотный старикъ шестидесяти-пяти лѣтъ. Его курчавая сѣдая голова, жилистыя, босыя ноги, мѣшокъ съ почтой за плечами и длинный грушевый костыль въ рукѣ были извѣстны всѣмъ.

— Да гдѣ-жъ Мандрыка? не видѣлъ ли кто Мандрыку?—допытывалъ прислугу дѣдъ, теряя терпѣніе, что давно не было извѣстій отъ дѣтей.

— Гдѣ-нибудь занялся работой, — отвѣчала ключница Ульянка: — у лиманскаго протопона полная клупа хлѣба: ну, вѣрно и сталъ по пути помолотиться...

— А, чтобъ его мухи съѣли, какъ долго его нѣтъ!—говорилъ съ досадой дѣдъ: — Петя писалъ, что ихъ представили; должно-быть давно ужъ пропечатано въ вѣдомостяхъ. Гүня, сверхъ почтарской обязанности, еще портняжилъ, умѣлъ безъ станка подковать лошадей и былъ хорошимъ печникомъ. Разлоса почту, онъ по дорогѣ не отказывался за могорычъ исполнять и разныя другія послуги: кому нужно сшить жакетку, или починить тулупъ,—сдѣлаетъ; гдѣ надо поправить печку,—поправитъ, вычиститъ и смажетъ глиной трубы; а нужно хорошему человѣку, въ рабочую, горячую пору, помолотить,—то и здѣсь не откажетъ.

— Куда тебѣ, Архинъ, въ такіе годы, все пѣшкомъ, да мѣшкомъ? ноги отобьешь! — скажетъ ему, бывало, знакомецъ:—лучше стань, возьми цѣпъ и сбей какую кошку; а я тебя водочкой, варѣнками угошу.

Положить Гүня почтарскій мѣшокъ, съ столичными газетами, письмами, книжками журналовъ и прочей ношей, подъ скамью, или на голышъ хлѣбнаго сарая, возьметъ цѣпъ и молотитъ сутки, двое, а иногда и болѣе.

— Чтѣ жъ ты такъ опоздалъ?—спроситъ Гүню нетерпѣливые изъ хуторянъ:—двѣ недѣли не приносилъ вѣдомостей. Мы все ждали, ждали...

— Оттого не приносилъ, что ничего путнаго и не было!—отвѣчаютъ, вытрихивая мѣшокъ, почтарь:—глядите сами.

— Ты же почему знаешь?

— Отецъ Иванъ Вересѣвичъ въ Андреевкѣ говорилъ. А вотъ въ Зміевѣ такъ было диво; да и въ Харьковѣ какой случился пожаръ...

И начнеть рассказывать. Почтовые новости въ то время такъ занимали слушающихъ сельчанъ, что на нихъ наживались живо и вспоминали о доставителѣ ихъ, когда и слѣдъ его простылъ.

Въ іюнѣ 1821 года, послѣ долгаго-долгаго промежутка, въ улицѣ Пришиба показались, наконецъ, знакомыя, сторбленные плечи Мандрыки, его сѣдая, вихрастая голова и длинный костыль. Дѣдъ завидѣлъ его съ крыльца, прабабка допустила его къ рукѣ.

Гуляя высыпалъ передъ господами изъ мѣшка принесенную почту. Тутъ были пакки вѣдомостей, выписанныя изъ Москвы, отъ Кольчугина, романъ «Анахарсисъ», книжка какого-то альманаха и нѣсколько писемъ.

Иванъ Яковлевичъ обратился къ письмамъ.

«Дражайшій и милый родитель!» — писалъ дѣду изъ Умани его сынъ Петръ. — «Мы сего двадцатаго мая произведены въ корнеты...» (Дѣдъ снялъ шапку и перекрестился). «Начальство насъ жалуетъ, дѣлать и общаетъ намъ на побывку къ вамъ продолжительный отпускъ... Въ Умани весело; много наѣхало на ярмарку хорошенькихъ дѣвицъ; вечера, танцы, прогулки. А на-дняхъ, mon père, мы были сильно обрадованы. Нашъ ремонтеръ пригласилъ насъ посмотрѣть и поторговать приведенныхъ на торгъ изъ Молдавіи, турецкихъ лошадей. Хозяинъ одного табуна, турокъ, показался намъ будто знакомымъ: въ чалмѣ и во всемъ турецкомъ уборѣ, а точно не турчинъ. Ужъ мы такъ къ нему и сѣтъ; отворачивается, молчитъ и не сознается. Да ужъ вечеромъ, когда продалъ весь табунъ, подвязалъ кошель къ поясу, сѣлъ на коня, отозвалъ насъ въ сторону и произнесъ: «Кланяйтесь, паньичи, своему тятенькѣ; никогда не забуду его хлѣба-соли и вашихъ вольныхъ, на Донцѣ, краевъ. Въ Туретчинѣ, однако, не въ примѣръ лучше, — не требуютъ пачертовъ, не обижаютъ и не тѣснятъ. Долго искалъ я сюда дороги. Теперь живу за Дунаемъ, у своихъ братьевъ-запорожцевъ, въ Бугацкомъ округѣ, куда они ушли. Вѣры не переменялъ, а торгую на всѣ концы. Бдучи сюда, наряжаюсь... Когда-нибудь все узнаете...» — Онъ не договорилъ, завидѣвъ городъ.

ничего, стегнуть лошадь и ускорить. Это, дражайшій ты-
тенька, былъ вашъ егеръ, Антипъ Легкоступъ. И если онъ
вновь окажется здѣсь на ярмаркахъ, мы его разспросимъ,
какъ въ былые годы запорожцы ушли въ Туретчину, и вамъ,
notre très cher père, о томъ не замедлимъ въ точности со-
общить».

1878 г.

V.

БАБУШКИНЪ РАЙ.

Моя бабушка, Анна Васильевна Данилевская, рожденная
Рославева, была совершенно противоположностью своему
мужу, Ивану Яковлевичу. Моложе его, она пережила его
нѣсколькими годами и умерла, какъ и онъ, безъ малаго
шестидесяти-четырехъ лѣтъ.

Дѣдушка Иванъ Яковлевичъ былъ небольшого роста, пле-
чистый, сѣдой, совершенно лысый, съ мясистымъ носомъ и
черными, вьющимися, лукавыми глазами. Отъ природы лѣни-
вый и мѣшковатый, онъ подъ старость совершенно осунулся,
ходилъ въ сѣрой охотничьей курткѣ, въ широкихъ наню-
выхъ панталонахъ, подпоясанныхъ ремнемъ, и въ высокихъ
съ кисточками сапогахъ. Вѣще у него, впрочемъ, благодаря
бабушкѣ, было всегда тонкое и безукоризненно чистое.

Бабушка Анна Васильевна была высокая, худая и блѣдная,
съ быстрыми умными глазами, прямымъ вострымъ носомъ
и, не взирая на преклонные годы, стройная и не по лѣ-
тамъ проворная и дѣятельная. Въ праздники она ходила въ
черномъ левантиновомъ, въ будни въ неизмѣнномъ бѣломъ
коленкоровомъ платьѣ. На ея сѣдыхъ волосахъ всегда кра-
совался чистый кисейный чепецъ; на шеѣ легкой волной
былъ наброшенъ бѣлый, запущенный подъ платье, плато-
чекъ. Къ этому, въ холодные дни, иногда прибавлялась сѣ-
рая фланелевая фуфайка дѣдушки, или его халатъ, крытый
синимъ демикотономъ, на бѣлыхъ мерлушковыхъ смужкахъ.
По хозяйству Анна Васильевна ходила въ мужскихъ сапо-
гахъ, а въ гости по сосѣдству ѣздила въ телѣжкѣ, притомъ
любила надѣвать старую дѣдушкину ополченскую шинель и
его теплый съ наупниками картузь. — «Спартанка!» гово-
рили, глядя на нее въ такомъ нарядѣ, сосѣди. И бабушка,
дѣйствительно, была спартанка.

У Анны Васильевны не было своей постоянной комнаты. Одну недѣлю она спала въ зеленой гостиной, другую въ портретной, иногда перекочевывала въ угольную, или въ библиотеку. «Долги мучать, бессонницей страдает!» шептали о ней сосѣдки. Бабушка любила читать. Хорошо образованная въ молодости, знавшая нѣмецкій и французскій языки, она и подъ старость не покидала любви къ книгамъ и къ выпискамъ изъ нихъ того, что ей особенно нравилось. Добывъ въ городѣ или у кого-нибудь изъ окрестныхъ знакомыхъ новую любопытную книгу, она уносила ее къ себѣ и рядомъ съ нею клала для отмѣтокъ толстую тетрадь. Послѣ ея смерти, на чердакѣ кладовой нашли цѣлыя кипы такихъ тетрадей, четкимъ и крупнымъ почеркомъ исписанныхъ выдержками изъ любимыхъ ея авторовъ: Вольтера, Руссо, Бомарше и Дидеро. Постоянной, личной прислуги у бабушки тоже не было. Помогали ей въ ея надобностяхъ деревенскія бабы, ходившія по очереди убирать барскій домъ. Анна Васильевна смолоду любила кроить и перешивать разный носильный хламъ. А потому и въ старости нерѣдко можно было видѣть ее на коврѣ, въ гостиной или въ портретной, въ кругу пяти-шести деревенскихъ бабъ, за распарываньемъ и перешиваньемъ платьевъ, которыя, впрочемъ, бабушка рѣдко потомъ носила.

Въ семьѣ господствовалъ постоянный безпорядокъ. Бабушка безъ устали читала; дѣдушка охотился. Дѣти учились съ грѣхомъ пополамъ. При нихъ когда-то проживалъ гувернёръ, изъ французскихъ солдатъ, эмигрантъ Санбёфъ. Пристроясь въ этой семьѣ, Санбёфъ выписалъ изъ Франціи и свою жену. Мадамъ Санбёфъ отлично готовила кушанья. Мужъ ея, впрочемъ, не столько занимался обученіемъ вѣранныхъ ему питомцевъ, сколько охотой съ ружьемъ по болотамъ, ловлей лягушекъ себѣ и женѣ на соусъ, да разсказами любовныхъ исторій, во вкусѣ новеллъ Боканжіо. Дѣти подросли. Мальчики одѣлись въ мундиры и уѣхали въ дальніе полки. Дѣвочки вышли замужъ. Уѣхали изъ деревни Санбёфъ съ женою. Впослѣдствіи они открыли въ Харьковѣ колбасную и отлично торговали.

Хозяйство дѣдушки, въ началѣ двадцатыхъ годовъ, стало болѣе и болѣе приходить въ упадокъ. Случалось такъ, что, при пяти имѣніяхъ и въ нихъ при десяти тысячахъ десятинъ земли, не хватало денегъ на покупку припасовъ для

стола. Гости, впрочемъ, не переводились въ домѣ дѣдушки. Несмотря на долги, Иванъ Яковлевичъ жилъ въ свое удовольствіе: имѣлъ собственныхъ музыкантовъ, хоръ пѣвчихъ, а на охоту выѣзжалъ съ сотнею и болѣе гончихъ и борзыхъ собакъ.

Обѣдъ въ домѣ заказывалъ всякъ, кто хотѣлъ. Своей птицы зачастую не хватало, а приносили ее, какъ молоко, яйца и огородную зелень, по очереди въ счетъ барщины съ села. Разливала чай и ходила въ комнатахъ, при ключахъ, худенькая, съ жидкою, сѣдою косичкой и постоянно босая, старая дѣвушка Марья.

Иванъ Яковлевичъ, мало развитой, робкій и съ юныхъ лѣтъ несообщительный и молчаливый, отъ долговъ и разстройствъ дѣлъ, былъ постоянно не въ духѣ. Анна Васильевна о мужѣ всегда, однако, отзывалась съ откровеннымъ уваженіемъ, увѣряя всѣхъ, что Иванъ Яковлевичъ—весьма умный и тонкій человѣкъ, и что самое его молчаніе—многозначительно. Даже къ сердечнымъ слабостямъ Ивана Яковлевича она относилась крайне снисходительно. Когда у него въ лѣсу, на винокурнѣ въ Курбатовомъ, завелась, въ лицѣ весьма красивой лѣсничихи Ульянки, фаворитка, — Анна Васильевна и въ этой Ульянкѣ, сверхъ ожиданія, находила нѣкоторую степень ума «привлекательнаго» и рѣдкаго «въ этомъ сословіи». Жалѣя здоровье Ульянки, она ей подарила свою старую котиковую шубу и дюжину собственныхъ шерстяныхъ чулокъ. А замѣчая косые взгляды и даже ропотъ невѣстокъ, при видѣ предпочтенія, которое оказывалось этой Дульцинеѣ, говорила: «вы, сударыньки мои, не фыркайте и не смотрите слишкомъ строго на то, коли и собственный муженекъ у какой-либо изъ васъ иногда отшатнется въ сторону. Жена, милые вы мои, это то же, что новенькое платье; чай, слышали: за-ново ситцы на колочкѣ висятъ... А мужъ намъ — господинъ и владыка. Мы должны радоваться его удовольствіямъ и беречь его паче зѣницы ока...» Невѣстки слушали такія рѣчи молча и наставленій свекрови отнюдь не одобрили.

Навѣщая родныхъ и знакомыхъ, Анна Васильевна любила привозить мужу въ гостинецъ пробы разныхъ кушаньевъ. «Щогушайте, зѣлхентъ,—говорила она въ такихъ случаяхъ, развязывая крыночки и горшечки:—это—постные пирожки съ рыбкой и съ грибами: очень вкусны; а это — паштетъ

изъ дупелей». И Иванъ Яковлевичъ, забираясь на сутки и болѣе на охоту въ лѣсъ, присылать въ гостиницъ женѣ стряпню Улянки, при записочкахъ: «Покушайте и вы, гёрцхентъ, издѣлія моего кухмистера; на тарелкѣ — бѣлые грибы въ сметанѣ, а въ мискѣ — застуженные караси. Жѣ ву бѣзъ и рекомандую, — превкусны».

Жилъ Иванъ Яковлевичъ въ родовомъ селѣ Пришибѣ. Въ остальныхъ его имѣніяхъ — въ Ольшанкѣ, на Середней, въ Великомъ Селѣ и на Богатой — всѣмъ управляли приказчики. Дѣла Ивана Яковлевича, что ни годъ, становились хуже и хуже. Займодавцы оказывались злѣе и злѣе. Судьба имѣній висѣла на волоскѣ. А устроить дѣла, постороже наблюдости за распорядками управляющихъ не хватало воли, терпѣнія и рѣшимости.

Стараясь, чтобы ничто дурное и тревожное не доходило до мужа, Анна Васильевна сама возилась съ займодавцами, спорила съ ними, молила ихъ объ отсрочкахъ, выслушивала ихъ упреки и даже брань, но къ мужу этихъ господъ не допускала. Иванъ Яковлевичъ зналъ такіе обычаи жены, и если кто-либо изъ греди ровъ являлся въ Пришибъ, онъ сказывался больнымъ, требовалъ пивакоу и все собирался ихъ ставить, пока назойливые гости не уѣзжали.

— Вы бы, зѣлхентъ, отправились на Середнюю, или въ Ольшанку, — говорила иной разъ мужу бабушка: — дѣла тамъ, слышно, изъ рукъ вонъ плохо идутъ...

— Да зачѣмъ же я, гёрцхентъ, туда поѣду?

— Ради Бога, поѣзжайте; повѣрьте этихъ мошенниковъ управляющихъ. Сколько у васъ земель, овецъ и скота, а доходовъ почти никакихъ... Сыновья на службѣ, надо имъ и на обмундировку, и на житье; ну и молодые люди, — повеселиться тоже... А денегъ у насъ давно ни алтына...

— Ахъ, гёрценка! я бы и поѣхалъ, да вонъ... кажется, собирается... гроза...

Иванъ Яковлевичъ былъ вообще не храбраго десятка, но особенно боялся грозы. Онъ избѣгалъ быть въ пути во время бури, опасаясь, что его непременно уберетъ громъ. Человѣкъ мпнительный и слабый во всѣхъ отношеніяхъ, гѣ дорогу онъ собирался особенно неохотно. Иногда эти сборы длились по нѣсколько недѣль.

Всѣ знаютъ, бывало, что барыня уговорила барина и

что баринъ, наконецъ, рѣшился выйти. И начинаются приготовления. Съ пяти-шести часовъ утра передняя, въ подобныхъ обстоятельствахъ, уже полна. Писарь, конторщикъ, десятскіе и ключники, переминаясь съ ноги на ногу, вздыхая и зѣвая, стоятъ въ ожиданіи зова и приказаній барина. А баринъ проснется и, тоже зѣвая и вздыхая, прихлебываетъ ложечкой на постели чай, рассматриваетъ свои руки, или, собираясь понюхать табаку, медленно разворачиваетъ и опять свертываетъ на коѣняхъ клѣтчатый носовой платокъ.

Каждый разъ съ вечера, въ такихъ случаяхъ, ученики Санбѣфши, сѣдовласый поваръ Явтухъ Мычка и старая повариха Нешка нажарятъ барину и напекутъ въ дорогу всякой всячины. Призывался и лихой на дѣснѣ и на выпіеку слесарь Ѳедька. Появлялся и низенькаго роста, несчетные разы мятый на выѣздѣ молодыхъ лошадей, коренастый мрачный и вѣчно смотрѣвшій въ землю, главный кучеръ Ивашко. Слесарю Ѳедькѣ отдавался строгій наказъ — получше осмотрѣть и пересчитать въ дорогу бариныны ружья. Ивашкѣ приказывалось — пораньше накормить, напоить и приготовить любимую караковую четверню бариновыхъ лошадей. Но съѣстные припасы, ружья и лошади давно, бывало, готовы, приказные по нѣскольку разъ выйдутъ изъ передней на крыльцо размять усталыя спины и покурить, и на селѣ всѣ хоронятся по дворамъ, чтобъ не перейти барину дорогу, а баринъ все не выходитъ изъ своей опочивальни.

Анна Васильевна, въ такихъ обстоятельствахъ, вертитъ-вертитъ спицами чулка, глядитъ то въ одно окно, то въ другое, потерпѣть, наконецъ, терпѣніе и выходитъ къ мужу.

— Что же вы, зѣлехенъ, не ѣдете? — спрашивала она, видя, что мужъ попрежнему сидитъ, свѣсивъ необутыя ноги съ постели и рассматриваетъ руки или носовой платокъ.

— А что, герценька, — отвѣчаетъ Иванъ Яковлевичъ: — ѣхать, видно, сегодня не приходится.

— Почему?

— Руки терпнуть и ногти на пальцахъ какъ будто синіе... Это, вѣрно, къ переменѣ погоды. Пусть лучше до-завтра.

— Какой же еще погоды! — вскидывается въ досадѣ бабушка: — смотрите, — божій день ясея, а въ саду, въ полѣ, какой аромать...

— Ну, нѣтъ, — отвѣчаетъ дѣдушка: — я вотъ и Нѣшку повариху призывалъ, говорить, всю ночь до утра курица какал-то на кухнѣ кричала: видно, будетъ дождь.

— Да какой же дождь? на небѣ ни облачка.

— И сонъ, гѣрпенька, я видѣлъ сегодня; совсѣмъ нехорошій сонъ... Покойнаго попа, отца Ивана, будто я въ прудѣ купалъ, а онъ меня осилилъ и верхомъ на мнѣ будто къ губернатору поѣхалъ... Да и вчера былъ тоже сонъ. Снился покойный тятенька Яковъ Астафьичъ...

И начинать рассказывать Иванъ Яковлевичъ свои сны, да такъ медленно, съ такими разстановками, что бабушка не вытерпѣть и уйдетъ. Отъѣздъ, разумѣется, при этомъ отлагался. А тѣмъ временемъ и приказчики отдаленныхъ вотчинъ проносятся, что баринъ собирается ихъ провѣрять, и принимаютъ свои мѣры.

Иванъ Яковлевичъ, наконецъ, рѣшается. Бабушка молотокъ отслужила, ходитъ веселая, довольная. Къ крыльцу подвезена желтобокая, выписанная изъ Вѣны коляска, и въ нее горой наложены всякіе складни, погребцы, узлы, укладки и свертки. Лакей и парикмахеръ Гаврюшка, со всякой всячиной подъ мышками, мечется какъ угорѣлый изъ кухни въ кладовую, изъ кладовой въ музыкантскую, а изъ музыкантской въ швальню, не забывая, впрочемъ, по пути забѣгать и позубоскалить съ кружевницами и ковѣрницами. Солнце подбирается къ десяти часамъ. Уже и жарко.

— Пора, — говоритъ, кончивъ кофе, Иванъ Яковлевичъ: — можно бы, гѣрцхенъ, и запрягать.

— Куриную котлетку только или фрикасе изъ дичи скусали бы еще, зѣльхенъ, на дорогу, — говоритъ, не помня себя отъ радости, бабушка.

Онъ подаетъ знакъ ключницѣ.

Черезъ полчаса въ хомутахъ ведутъ и запрягаютъ лошадей. Лягавый жирный песъ Бекасъ утѣлся между торчащими ружьями на козлахъ, радостно визжитъ и воетъ отъ нетерпѣнія.

А тѣмъ временемъ, какъ Иванъ Яковлевичъ, еле-еле жуя и перебирая косточки, кушаетъ напутственное фрикасе и куриную котлетку, — ключница Марья, высунувшись изъ боридора, шопотомъ докладываетъ барынѣ, что на деревнѣ... появился мужикъ съ Середней.

— Кто? кто? — спрашиваетъ, заслышавъ этотъ шепотъ, баринъ.

— Капитошка Кочетъ.

— Зачѣмъ онъ?

— Родныхъ пришелъ навѣстить... потому у него кума... прибавляетъ, не видя тревожныхъ знаковъ барыни, сѣдая ключница.

— Повзвать Капитошку! — объявляетъ, утирая губы и въ раздумьѣ шевеля бровями, дѣдушка.

И является Капитошка. Поклонится онъ, станетъ, какъ ни въ чемъ неповинный, у двери и молчать.

— Ну, все ли у васъ тамъ благополучно? — спрашиваетъ, нюхая табакъ, дѣдушка.

— Какъ вамъ, сударь, сказать... кажиесь бы все...

— А болѣзней никакихъ не слышно?

— Какъ не слышно! Есть...

— Какія же?

— А ходитъ одна, сказать бы и пустая, да такая, что руки и ноги у человѣка отнимутся, а то и попрыщеть...

— Слышите, герценъка? — спрашиваетъ, глядя на жену, дѣдушка.

— Слышу, — отвѣчаетъ, сердито глядя поверхъ очковъ на Капитона, бабушка.

— Ну, а погода? — допытывается баринъ, начиная опять на колыняхъ разстилать и свертывать носовой платокъ.

— У васъ тутъ, сударь, еще бы и ничего, — отвѣчаетъ на заданный урокъ Капитонъ: — а вотъ стенью сейчасъ я шелъ, такъ и не приведи Богъ, какая тамъ собралась туча. Какъ выйдете въ поле, то будетъ дождь.

— Ну, иди же ты, Капитонъ, на кухню, да вели себѣ дать водки и пирога, — а я лучше пережду.

Иванъ Яковлевичъ до того боялся грозы, что даже въ комнатахъ съ первымъ ударомъ грома приказывалъ запереть ставни и двери, зажигалъ лампы у образовъ, ложился среди бѣла-дня въ постель, голову прикрывалъ одеяломъ и такъ лежалъ, пока удалялась гроза.

Но случилось, что Иванъ Яковлевичъ, наконецъ, и выйдетъ, да вспомнить, что въ то утро всталъ съ постели лѣвой, а не правой ногой, или увидитъ на улицѣ крестна-крестъ упавшія двѣ соломинки, или кто-нибудь въ де-

ревнѣ перейдетъ ему дорогу, то непременно возвращается, и къ новому отъѣзду соберется уже не скоро.

Жизнь Анны Васильевны на старости была вообще не легка. Сыновья были на службѣ, дочери замужемъ. Однѣ книги ее утѣшали. Твердая нравомъ, начитанная и умная старушка не унывала. Мужнино хозяйство, правда, шло до того плохо, что, при тридцати-сорока лошадей на конюшнѣ, иной разъ не на чемъ было выѣхать: лошади то хромали, то были запалены; а кучеръ Иванко подчасъ докладывалъ, что нѣтъ ни единого цѣлаго и сноснаго хомута. Зато въ комнатахъ, благодаря хлопотамъ Анны Васильевны, всегда было чисто, уютно, свѣтло и пріятно пахло. Позолота на зеркальных рамкахъ потускнѣла, правда, и потерлась, и Гаврюшка нерѣдко ходилъ съ прорванными локтями. Зато цвѣты по окнамъ были постоянно свѣжи и зелены. Полы въ комнатахъ бабы подметали вѣниками изъ душистыхъ травъ, вошили и вытирали суконками. И если Анна Васильевна не всегда имѣла деньги на собственные необходимыя потребности, если сама она пила чай изъ безносаго чайника, зато мужу кофе на завтракъ подавался не иначе, какъ въ серебряномъ, съ рѣзбой и съ цвѣткомъ на крышкѣ, кофейникѣ и съ такою же сахарницей. Въ новый годъ прислуга не выбрасывала изъ дому сора, а оставляла его гдѣ-нибудь въ углу за дверью или подъ печкой, чтобы не вымести вонъ изъ дому... счастья...

— Что жъ за «счастье» было у бабушки?

Анна Васильевна, лѣтомъ съ книгой на балконѣ, а зимой съ чулкомъ, склонясь къ промерзшему окну, по цѣлымъ часамъ стояла, глядя черезъ садъ на дорогу, въ дальнюю ихъ вотчину на рѣкѣ Богатой.

Тамъ-то и былъ «бабушкинъ рай»... И этотъ рай была бабушкина крестница—Груня.

Чуднымъ образомъ досталось это утѣшеніе бабушкѣ. Вышла какъ-то лѣтомъ Анна Васильевна въ старый пришибскій садъ, взглянуть, не осыпалась ли отъ мороза завязь на молодыхъ, посаженныхъ ею цѣпахъ. Она взглянула на яблони — «добрый крестьянинъ», на плодовитку и антоновку; взглянула на бергамоты и дули... Все было благополучно. Она нарвала цвѣтовъ и ужъ хотѣла уйти; какъ

у корня груши-тошкѣвки, въ сочной, высокой травѣ, услышала какой-то пискъ... Анна Васильевна склонилась къ землѣ, бережно раздвинула траву. Передъ ней, перебирая голыми ручками и ножками, копошилось крохотное, въ обрванныхъ неленочкахъ, дитя.

Найденная подъ грушей дѣвочка была названа Груней, принята, выращена и воспитана бабушкой. А когда Грунѣ пошелъ пятнадцатый годъ и она уже была обучена грамотѣ, шитью, домашнему хозяйству, пѣнію и даже игрѣ на клавесинахъ, Анна Васильевна рѣшилась съ нею разстаться.

«Дѣвка на возрастъ и страхъ какъ хорошеетъ! — думала про себя бабушка: — сынки то-и-дѣло изъ полковъ навѣдываются, сосѣдніе военные тоже какъ комары здѣсь толкутся, и одинъ изъ нихъ, этотъ картежникъ изъ сербовъ, майоръ Дучичъ, особенно сильно сталъ на Груню поглядывать... Надо ее спроводить подальше».

И Анна Васильевна, скрывъ сердце и обливаясь слезами, спроводила Груню. Она снабдила ее одеждой и обувью, наставленіями, благословеніемъ и книгами и отправила ее въ Донецъ, на Богатую, подъ надзоръ и руководство старшаго и опытнаго, но хвораго управляющаго изъ нѣмцевъ, Флуга. Старикъ Флугъ въ скорости умеръ. — «Поставьте на его мѣсто Флугиу, — стала совѣтовать бабушка мужу: — дѣмца, почитай, и такъ при покойномъ всѣмъ тамъ заправляла. Управится и теперь. Особливо же при ней наша Груня; будутъ у нихъ для насъ масло и птица, будутъ, какъ слѣдъ, догляжены овцы, лошади и все наше добро». Мужъ согласился.

Груня привыкла къ хозяйству и дѣйствительно хорошо управлялась. Она часто переписывалась съ бабушкой. — «Живу хорошо, милостивая государыня и крѣстная матушка, — писала она, — только скучаю. Степь, ни села кругомъ не видно, ни лѣса. Новый флигель, поодаль отъ батрацкихъ избъ, сколоченъ тепло, заборъ вдругъ двора высокъ и крѣпокъ, а на ночь мы ворота съ Миной Карловной запираемъ на замокъ. Ленъ цвѣтетъ — все поле голубенькое, какъ ситчикъ, что вы прислали. Овцы здравствуютъ, — табунъ съ нови бѣжить, земля дрожитъ, — а ужъ садъ да и огородъ у насъ, на рѣчкѣ Богатой — не чета, мамонька, вѣдому: будутъ яблоки апортъ, будутъ сливы».

безсѣмянки, будутъ черешни и бѣлая слива. Принесайте, крѣстная, меду: всего наваримъ. Да пришлите книжечекъ. Смерть, по вечерамъ, тоска. Прочла я «Наталью боярскую дочь»... Ахъ, какъ хорошо. А не вышло ли, маменька, продолженія «Онѣгина?» Да еще слышно, — кунецъ тутъ съ бакалеей сбился съ дороги, у насъ кормилъ, — ходятъ, говорятъ, въ спискахъ стихи — «Горе отъ ума». Очень хвалятъ, и у него списано нѣсколько стиховъ... Пришлите. Флугшу лихорадка бьетъ, да и глазами хворасть. Нѣтъ ли какихъ капель?»

Грунѣ исполнилось шестнадцать лѣтъ. Высокая, темнорусая, степенная и гордая, съ полною, крѣпкою грудью, румяная и широкая въ кости, — Груня ходила съ уваженьемъ, говорила медленно, будто нехотя, работала не спѣша. Большіе сѣрые глаза смотрѣли ласково... Станетъ она, не двигая ни рукой, ни бровью, улыбнется, — всю душу освѣтитъ. А пѣла, забравшись въ поле или въ садъ, — не слушаешься.

«Ой, соберется онъ на Богатую, соберется! — мыслила въ тоскѣ о своей питомкѣ и въ тревогѣ о мужѣ, Анна Васильевна: — Середняя, Ольшанка ближе къ дому, и дѣла тамъ вотъ какъ запущены, — а его туда не сдвинешь. На Богатую-жъ, въ такую даль, какъ разъ онъ угодить, — и не спохватишься... Да, да, угодить; и майоръ Дучичъ съ нимъ собирается... Недаромъ Иванъ Яковлевичъ сталъ толковать, что на табунъ надо взглянуть. Ружья началъ чистить, — дичи, говоритъ, лисицъ, да дрофъ, не оберешься тамъ... Знаю, сударь, на какую дичь твой другъ сербитъ».

Съ упавшимъ отъ жалости и страха сердцемъ Анна Васильевна вздыхала, хмурилась, быстро перебирала снитками чулка и не отходила отъ оконъ, изъ которыхъ былъ виденъ путь за Донецъ, на Богатую.

Опасенія бабушки не сбылись. Груня вскорѣ успокоилась отъ всякой опасности.

Бабушка продолжала навѣщать хуторъ на Богатой.

Особенно любила Анна Васильевна встрѣчать весну на хуторѣ. Поѣдетъ къ роднымъ на Самару или на Торець, отовѣтитъ тамъ въ великій постъ и заѣдетъ провѣдать Груню.

А Грунѣ полнелъ восемнадцатый годъ.

Февраль-бокогрьй дохнул тепломъ, да не такъ, какъ слѣдуетъ. Колья заборовъ, углы хатъ и сараевъ на пол-солнечной сторонѣ съ утра затаили, а къ вечеру обмерзли опять. Мартъ еще держалъ и холодъ, и снѣгъ, хотя небо становилось ласковѣе, голубѣе. Вотъ Благовѣщенье, конецъ поста. Дружнѣе подулъ съ полдня знакомый, теплый и полный обаятельной нѣгмы вѣтерокъ. Старый табунщикъ Максимъ глянулъ въ окно, подтянулъ поясъ и говоритъ женѣ: «а что, Ганна, должно быть и весна на дворѣ?» — «Можетъ, и весна!» — отвѣчаетъ покорно и робко жена. И оба они выходятъ на пороги хаты, жутко и весело вглядываясь въ засинѣвшую степь. — «Пора барышниѣ доложить, пусть отпишеть господамъ, не размять ли табуна на волю, не выгнать ли коней хоть на старыя жнивья?»

Вышла и Груня за ворота. Кругомъ еще тихо. А бѣлые перистыя облака беспокойно несутся надъ вздувшеюся отъ подпора степныхъ водъ Богатою. Еще зарями морозить: еще по ночамъ хруститъ подъ ногами. А въ лицо уже пахнетъ инымъ, щедрымъ, будто праздничнымъ тепломъ. Точно паръ молодого хмельнаго вина разлитъ и струится въ воздухъ. И отъ каждаго вошедшаго съ надворья, отъ его одежды, лица и рѣчей — пахнетъ весной.

И вотъ весна пришла.

Огромный, исхудалый за зиму грачъ, звонко каркая, летитъ съ поля на выгонъ. Выглянуло солнце, глядитъ и не прячется. Подъ его лучами залапали родники, сугробы и наметы. Все точно дымится, обрушается, шумитъ и плыветъ. Къ вечеру будто отпуститъ. Выйдетъ Груня на крыльцо: кругомъ тихо, только собаки на дальней овчарнѣ лаютъ, да въ темнотѣ кое-гдѣ раздастся шелестъ подтаявшаго снѣга, неугомонное шушуканье и пошептыванье бѣгущей по скатамъ въ разныхъ уголкахъ и направленіяхъ воды. Стоитъ Груня и слушаетъ, что говорятъ воды и что нашептываетъ весна? Все стихло, не слышать ничего. Но въпотмахъ у сарая что-то вновь зашевелилось: вода понемногу скопилась, пробуравила дырку подъ соломой, сваленной у коновязи, закинула и точно ухнула и рѣзко понеслась вдоль двора къ рѣкѣ. А не то мелкими, звонкими каплями, какъ горохъ или дробь, вдругъ посыплется что-то съ крыши, точно ея снѣжный покровъ охватило налетѣвшимъ, бродячимъ тепломъ, и онъ подъ его струей затаитъ...

Прошелъ день-другой, прошла недѣля. Груню манить въ садъ. Изъ влажнаго, пригрѣтаго чернозема пробиваются первыя травы, тутъ же на солнцепекѣ быстро и расцвѣтаютъ. Голубые прѣлѣски и бѣлые ландыши гнѣздятся между безлистныхъ еще деревъ. Явились ласточки, мотыльки. Цвѣтѣвѣя почки на вѣтвяхъ вздулись, и ихъ липкіе, душистые лепестки развертываются зелеными и бѣлыми кулачками. Еще день — вишенъ и терна не узнать: все сливается въ бѣлую стѣну, и запахомъ меда далеко несетъ отъ нихъ. Показались рои мошекъ и комаровъ. На тропинкахъ обозначились ямки пауковъ. Рогатый черный жукъ суетливо какаетъ задомъ, черезъ былинки и сучки, скомканный изъ всякагохлама шарикъ. Отозвалась кукушка. А вотъ и соловьи...

Сядетъ Груня на крыльцѣ, мысль ея далеко — съ Кавказскимъ плѣнникомъ, или съ цыганомъ Алеко. Дворъ хутора на взгорьѣ. За выгономъ влѣво и вправо — неоглядная степь, на днѣ широкаго лога — извилины рѣчки Богатой, а за рѣчкой — опять взгорье и опять синяя, гладкая степь, — все это видно съ крыльца, какъ на ладони. Во дворѣ тихо. Рабочіе, старъ и младъ, ушли на посѣвъ. Овцы и лошади пасутся далеко по буграмъ; за косогоромъ ихъ не видно. Солнце греетъ. Птицы затихли. И ни одинъ звукъ не долетаетъ до Груни. Развѣ хлопотунъ-пѣтухъ, роясь въ кучѣ сора, отзовется на отошедшихъ къ сторонкѣ куръ, да согнанная коршунѣмъ или кошкой стая голубей съ шумомъ взлетитъ съ овчарни или съ мельницы и, кружась, унесется къ вербамъ на луга...

Груня смотритъ на голубей, на сарай, подъ которымъ кучей свалены зимнія дровни, на всякую домашнюю рухлядь, развѣшенную Флугшей по веревкѣ, между погребомъ и амбаромъ, на заячьи тулупы, наволоки, кофты, одѣяла, платки и мѣшки. Посидитъ Груня, вздохнетъ и идетъ въ садъ. А тамъ, въ сочныхъ травахъ и въ кустахъ, кипитъ домовитая хлопотня пѣвчихъ птишекъ и звѣрьковъ. Въ земляныхъ, листовныхъ и древесныхъ тайникахъ вездѣ шипятъ, копошатся, звенятъ и шуршатъ новорожденные крылатые и четвероногія семьи. А въ воздухѣ жарче и жарче. Земля накаляется. По степи, волнуясь, ростя, опять исchezаетъ, движутся исполинскія туманныя марева... Скоро на кольяхъ заборовъ и на высохшихъ былинкахъ явится во-

строносенькая, вѣчно-чиликающая, «птичка-жалда». Загремятъ страшныя грозы, прольются шумныя дожди...

Грунѣ исполнилось девятнадцать лѣтъ.

Въ концѣ зимы того года, ѣздивъ съ Флугиней въ деревню близкаго села, Груня простудилась и пролежала въ горячкѣ большую часть великаго поста. Бабушка присылала къ ней фельдшера и сама ее навѣстила на страстной недѣлѣ. Много въ эту зиму въ степи болѣло людей. Старый табунщикъ Максимъ умеръ и на его мѣсто Иванъ Яковлевичъ прислалъ отъ себя другого наѣздника, Родьку, по прозвищу Бѣлогубова. О смерти и о похоронахъ Максима, а равно о присылкѣ Бѣлогубова Груня знала смутно, по слухамъ, изрѣдка долетавшимъ въ свѣтелку, гдѣ она томилась въ болѣзни. На пасху Груня оправилась. Еще блѣдная, худая и слабая, она приодѣлась, нагнула на голову платокъ и, пошатываясь, отъ скуки вышла на крыльцо, а оттуда въ садъ.

Былъ конецъ апрѣля. Вечерѣло. Овцы шли къ водопою. Табунъ рѣво неся по степи домой.

Груня потянула грудь свѣжаго воздуха и закрыла глаза отъ блеска солнца, тонувшаго за рѣкой, да отъ запаха распускавшихся деревьевъ и цвѣтовъ. Никогда еще весна такъ не плѣняла и не чаровала Груни. Слезы покатались у нея по лицу. Она присѣла на коцѣ, склонилась головой на руки и сперва тихо, потомъ громче и громче, съ переливами запѣла нѣкогда модную пѣсню, которой за клавесиномъ выучилась у крестной:

Я бѣдная пастушка,
Весь мѣръ мой—этотъ лугъ;
Собачка мнѣ—подружка,
Барашекъ—милый другъ...

За спиной Груни послышались шаги. Что-то замешестило въ кустахъ. Она смолкла, оглянулась. Раздвинувъ вѣтви вишеника, передъ нею, безъ шапки, стоялъ высокій, статный человѣкъ: въ сѣромъ старенькомъ, обхваченномъ ремнемъ армякѣ, на поясѣ—подпилокъ, ножъ и ланцетъ, самъ онъ русый, борода чуть пробивается, молодой, обвѣтренное лицо и ласковые, веселые и вмѣстѣ робкіе глаза.

— Птушки, сударынька! это вамъ-съ!..—сказалъ подошедшій разжимая широко, мозолистую ладонь.

Груня взглянула: передъ ней на протянутой рукѣ сидѣли рядкомъ, шевелясь и раскрывая желтые, мягкіе носы, двѣ, чуть обросшія сѣрымъ пухомъ, птички.

— Что это?—спросила Груня.

— Птушки, сударынька, жавороночки! а може и скворцы... не бойтесь, вто вамъ...

— А ты самъ кто такой?

— Новый табунщикъ, Родька, коли изволили слышать.

Груня встала.

— Ну, Родивонъ, сдѣлай же ты мнѣ божескую милость,— сказала она:—отнеси ты этихъ пташекъ туда, откуда ихъ взять. — Это — соловьи. Пусть себѣ живутъ... Да бережно, смотри, положи, чтобъ соловыха не отинулась. А за вниманіе благодарствую...

Съ этими словами Груня ушла. Поглядѣвъ ей вслѣдъ Родивонъ, вздохнулъ и, почесывая затылокъ, долго же сходилъ съ мѣста. Какъ стемнѣло, онъ спустился въ ягодные кусты, положилъ птицъ въ гнѣздо, въ сборную избу ужинать не зашелъ, а сѣлъ на коня, шевеля плеткой, тихо выѣхалъ въ степь, и Груня изъ своей свѣтлицы слышала, какъ по темному бугру за рѣкой, на привольи, раздавалась его заунывная пѣсня:

«Охъ, и гдѣ жъ ты, гдѣ же,
Милъ сердечный другъ?»

Съ той поры Родивонъ не выходилъ изъ головы Груни. Она пряталась отъ него, избѣгала его, но невольно слѣдила за всѣмъ, что онъ дѣлалъ и что о немъ говорили.

Въ средній мая на Богатую пришли подводы, забирать проданную купцамъ прошлагоднюю пшеницу и кое-что изъ запасовъ льна. За болѣзнью Флутши кули вѣсилъ и, какъ грамотный, по списку отпускатъ, подъ надзоромъ Груни, Родивонъ. Первые возы нагружались и съ купеческимъ приказчикомъ уѣхали; стали грузиться вторые; подводчики устали и пошли обѣдать. Въ прохладномъ, пахнущемъ мукой и развѣшенными новыми вѣниками, амбарѣ остались только Родивонъ да Груня. Поглядывая на Груню, Родивонъ карандашомъ выводилъ послѣднія отиѣтки въ амбарномъ спискѣ. Груня зѣвнула.

— Это у васъ, барышня, какое колечко?—спросилъ Родивонъ, встряхивая запыленными мукой кудрями.

— Сердоликъ, крестной подарокъ!—отвѣтила Груня, протягивая руку.—Да что ты, непутный, пооди, мукой всю перепачкаешь!—крикнула она, смѣясь и съ силой отталкивая Родивона:—ой, да не жми жъ такъ, больно... пусти... Мину Карловну позову...

Родивонъ не отступалъ. Онъ крѣпче обнялъ Груню, подхватилъ ее отъ полу, какъ перышко, посадилъ на кулъ рядомъ съ собой и сказалъ:

— Что жъ, сударыня, кричите; одинъ, видно, мнѣ конецъ...

— Да пусти жъ ты, сумасшедшій, что затѣялъ! одумайся! ой!..

— Нечего мнѣ, барышня, думать. Сердце изныло. Одна дорога: либо петля, либо въ воду... День хожу, какъ шальной, ночи не сплю—помутила меня твоя красота, Груняшка...

Трепетъ пробѣжалъ по тѣлу Груни. Она вскинулась, искоса поглядывая на Родивона.

— Ахъ, отчего я не богатый, да не знатный! — продолжалъ Родивонъ:—не пойдешь за простого, не отдадутъ такой крали за сермяжника...

Груня вырвалась отъ Родивона.—«Руки коротки! — сказала она, толкнувъ его такъ, что тотъ о закромъ ударился спиной.—Минѣ Карловнѣ, вотъ ей-Богу, все расскажу!» — прибавила она, безъ оглядки уходя изъ амбара. А когда ветеромъ уѣхали ностѣдніи подводы, Груня вышла на крыльцо, подозвала Родивона, взяла у него амбарные списки и, не уходя въ горницы, спросила: «кто ты родомъ и отколь къ господамъ нашимъ взялся?»

— Княжескій я,—нѣсколько замямнись, тихо отвѣтилъ Родька:—въ пѣвчихъ былъ—не вытерпѣлъ; въ егеряхъ—не по праву пришлось; лошадей любить—ну, съ тѣмъ и остался...

— Какъ же ты къ господамъ-то къ нашимъ присталъ?

— У лѣкаря, у Егора Фаддееча Стѣпановскаго, сперва кучеромъ ѣздилъ, а онъ меня и къ вашимъ господамъ направилъ.

— По паспорту, что ли, ходишь?

— Мы оброчные,—еще тише отвѣтилъ Родька.

— Есть же у тебя отецъ, мать? — допытывала Груня, поглядывая на стоявшаго передъ ней безъ шапки молодца.

— Какъ перстъ, барышня, одинъ, какъ перстъ, на свѣтъ...

— Ну, иди же, Родивонъ, къ себѣ, да впередъ не смѣй озорничать. Не то, поссоримся.

— А книжечки, сударыня, нѣтъ ли почитать?— лукавыми карими глазами усмѣхнулся Родька.

— Послѣ приходи... Найду, сама тебя кликну и отдамъ... а самъ не смѣй!— сказала, вся закрасившись, Груня, обернулась и ушла къ себѣ въ горницу.

Кончился май. Началась косовица, полотье огорода и льна. Груня ходила въ поле къ гребцамъ и къ полольникамъ въ огородъ и на луга. Не зимняя пора. Весело и размяться, несмотря на зной и духоту. Вездѣ въ часы раздыха неслась болтовня словоохотливыхъ захожихъ поденщицъ. Бабы толковали о хозяйствѣ мужей, дѣвки о женихахъ да нарядахъ. И всякія тайны сосѣдокъ-хуторянокъ при этомъ невольно узнавала Груня: гдѣ парни хорошие и гдѣ дурные, и кто кого любить и съ кѣмъ знается, и кто кого гонить, или за кого собирается замужъ. Вонъ загорѣлая, статная, съ черными бровями и русой косой красавица, бросивъ грабли, божится, что нѣтъ на свѣтѣ лучшаго, какъ ткачихинъ сынъ; но она его прогнала и не пустить къ своей хатѣ, хоть убейся онъ. Другая, худощавая, блѣдная, забитая лихорадкой, лежитъ подъ копной и, закинувъ руки за красивую голову, шепчетъ подругѣ, какъ въ восторженіе, въ слободѣ, ее затронулъ у церкви поповичъ и что она при этомъ отвѣтила, и какъ, оставивъ своихъ, она уже и слободу миновала, а поповичъ все за нею, все за нею, идетъ и просить, чтобъ она вечеромъ вышла къ нему постоять за ворота. И всюду любовь, всюду нѣга, всюду голосъ, зовущій къ иной, неизвѣданной, чудной жизни...

Гребцы идутъ пестрыми рядами по свѣжимъ покосамъ, а Груня глядитъ въ даль, гдѣ по синѣющему пригорку Родивонъ водить на просторѣ вольный табунъ. Соберется Груня съ дворовыми стряпухами въ сосѣдній лѣсокъ по грибы, — Родивонъ уже тамъ: подойдетъ къ ней, ласковыя рѣчи ведетъ, застѣнчивъ, глазъ на нее не поднимаетъ, а съ другими зубы скалитъ, пѣсни во все горло поетъ. «Такъ, такъ! Онъ полюбилъ меня, оттого и стыдится!»—думаетъ Груня, съ кузовкомъ грибовъ идя домой.

«А коли не суженый?—размышляла какъ-то Груня, погасивъ свѣчу и собираясь ко ону въ своей горницѣ, — отдадутъ меня за чиновника, отдадутъ за офицера... Да будетъ ли тотъ такъ любить? Простой, подневольный человекъ...

Липъ бы не обманулъ,—крестная выкупить его у князя... Смышленный, умный такой, да работающій; все знаетъ, грамотный, — ему быть не при лошадахъ... Ему цѣлой вотчиной править, такъ не испортить дѣло»...

Груня откинула пологъ кровати, распустила косу, присѣла и, не раздвѣваясь, стала глядѣть въ окно. Полный мѣсяцъ плылъ въ ясномъ небѣ. Кудрявая акація, не шелухившись, стояла на садовой полянѣ противъ окна. Тихо. Только кузнечики трещать по дугамъ, да изрѣдка на птичьемъ дворѣ крикнетъ пѣтухъ, и ему прерывистымъ, звонкимъ баскомъ вторить молодые, подрастающіе пѣтушки.

Что-то зашелестило подь окномъ. Груня привстала, слушаетъ. Чья-то рука будто скользить по стеклу, нажимаетъ раму. Рама отворилась. «Боже! неужели воры? — подумала, мертвя отъ страха, Груня, — съ нами крестная сила! » Она спряталась за подушечку.

— Барышня, вы не спите? это я! — шепчетъ изъ саду тихій голосъ.

— Да кто ты, говори! или я крикну...

— Не кричите, барышня, это я... Родивонъ...

— Что тебѣ?

— Книжечки нѣтъ ли? скука... смерть—тоска! — шепчетъ Родивонъ.

— Нашелъ, безпутный, въ какое время книжку 'просить! Поди, говорю тебѣ, поди... чтобъ и духу твоего не пахло! какъ можно! такая пора...

— Да вы, сударыня, слушайте не бойтесь... да вы только подойдите сюда, къ окну... Хоть словечко промолвите...

«Встать ли? подойти ли къ нему, озорнику?» — разсуждала, не выходя изъ-за полога Груня. А ночь тиха, свѣтъ мѣсяца щедро льется. Медвяный запахъ цвѣтущихъ липъ врывается въ открытое окно...

Въ началѣ іюля Анна Васильевна получила отъ Груни письмо, съ просьбой о благословеніи и о разрѣшеніи ей выйти замужъ за Родивона. Сильно озадачила и огорчила эта вѣсть старуху. Она ни словомъ не проговорила о томъ мужу, а велѣла запрячь крытые дрожки, сѣздила на Богатую, посовѣтовалась съ Флугшей, разспросила Груню, потребовала къ себѣ на глаза Родьку и, давъ ему добрую годовомойку, кончила тѣмъ, что благословила его на бракъ

съ Груней. Свадьбу сыграли въ ту же осень въ Пришибѣ. Родька сталъ именоваться Родивонъ Максимычемъ и получилъ званіе конторщика, а въ слѣдующемъ году, когда умерла Флугша, Грунѣ и Родивону было передано и все управленіе хозяйствомъ на Богатой.

Отлично зажила Груня съ мужемъ. Черезъ годъ у нихъ родилась дочь, которая также удостоилась быть крестницей Анны Васильевны. Груня заведывала коровами, птицей, садомъ и огородомъ; Родивонъ Максимычъ—овцами, лошадьми и хлѣбопашествомъ. Доходы съ Богатой удвоились. Не нахвалится новыми хозяевами далекаго хутора Иванъ Яковлевичъ. А ужъ объ Аннѣ Васильевнѣ и говорить нечего—она души въ нихъ не чаяла.

— Да кто жъ онъ, матушка, кто этотъ вангъ новый управляющій? — спрашивали Анну Васильевну любопытныя сосѣдки.

— Четвертинскаго князя крѣпостной, изъ дворовыхъ, съ Литвы, а проживалъ при барскомъ домѣ въ Москвѣ. Былъ у насъ прежде почитай конюхомъ, а вонъ, за отличіе да за стараніе, чѣмъ его мужъ мой пожаловалъ.

— Вы его, матушка, выкупили?

— Самъ выкупился; безъ того я крестницы за него не отдавала.

И дѣйствительно, Бѣлогубовъ съѣздить въ Москву и передъ вѣнчаніемъ привезъ оттуда отпускную. Все шло хорошо. Только самъ Родивонъ Максимычъ сталъ что-то неспокоенъ: по-часту охаетъ, ходитъ задумчивъ, мало разговариваетъ, а ужъ жену любить—не наглядится на нее, да и съ дочкой-подросткомъ такъ ласковъ да нѣженъ, съ рукъ ее не спускаетъ, слезы потихомьку утираетъ, любужь на нее.

— Что ты, Родя, печалишься будто? — спрашиваетъ его Груня: — изъ-за чего думы твои? или ты чѣмъ недоволенъ, или я тебѣ не угодила?

— Всѣмъ я, Грунюшка, доволенъ, оттого и мысли мои... Ну, думаю, какъ все это кончится? Ну, какъ ничего не станеть у меня, ни тебя, ни дочки, ни всего?

— Какъ не станеть и отчего? Бога ты гнѣвишь, Родя, и не добро думаешь.

— Одначе... постой, отвѣтъ: а что... вдругъ, — ну, какъ вы помрете, или кто васъ отберетъ?

— Полно, пустяки говоришь. Я думала, о чемъ о другомъ онъ заботится... А ты о смерти... пустяки! Всѣ мы подь Богомъ, всѣ подь Его волею, Онъ насъ и помилуетъ. Лучше ты бѣглыхъ вонъ тутъ не держи. Самъ толкуешь про станowego, про Сидора Акимыча, не человекъ, а звѣрь.

— Полно, Груня, будто бѣглые не люди! Жаль ихъ, да и работаютъ какъ... А обо мнѣ ты не думай, это пройдетъ...

Родивонъ, однакоже, не унимался: похудѣлъ, опустился, даже старѣе будто сдѣлался на нѣсколько годовъ. И началось это съ той поры, какъ онъ съѣздили на ярмарку продавать выбранныхъ изъ табуна лошадей. На ярмаркѣ, между всякими народамъ у кабака, его узналъ какой-то рыжій и невзрачный съ виду, загуляющій побродяжка. Родивонъ сильно смѣшался при видѣ этого человека и сперва на его привѣтъ не признался; но потомъ они пошли въ трактиръ и больше сутокъ тамъ угощались. Загуляющій человекъ, на радости отъ встрѣчи съ старымъ пріятелемъ, остался мертвецки пьяный подь лавкою трактира, а Родивонъ поскорѣ уѣхалъ домой, но съ той поры его какъ въ воду опустили: совсѣмъ сталъ иной.

Эти заботы, спустя нѣкоторое время, какъ будто и прошли. Родивонъ съ виду сталъ спокойнѣе. Но къ зимѣ онъ получилъ откуда-то письмо и опять закручинился; началъ искать денегъ взаймы, добыть, сколько могъ, и выслалъ ихъ куда-то, а прежняго спокойствія не видитъ. — «Откуда письма получаешь?» допытывала жена. — «Отъ родныхъ, изъ нашихъ мѣстъ», отвѣчалъ Родивонъ, но писемъ женѣ не показывать.

Какъ-то, въ Спасовку, написала Анна Васильевна къ Грунѣ письмо, что сильно соскучилась по ней и что хорошо бы Груня сдѣлала, если бы, пока тепло, собралась и навѣстила ее съ дочкой.

— Что, ѣхать ли намъ къ крѣстной? — спросила мужа Груня.

— Нѣтъ, обожди.

— Какъ ждаты! Спасовка вонъ проходить, скоро Успеньевъ день, ичелу пора морить, медъ къ господамъ отсылать; а мы бы при этомъ случаѣ и съ Параней поѣхали.

— Поѣдешь послѣ Воздвиженья! лень надо молотить на сѣмяна—я одинъ не управлюсь.

Но и пчелу поморили, и медъ послали, и Успенъевъ депъ прошелъ, а Родивонъ не отпускатъ Груни за Донецъ.

Въ концѣ августа стояла особенно жаркая погода. Родивонъ съ утра верхомъ, а послѣ обѣда на бѣговыхъ дрожкахъ объѣхалъ ноля, взглянулъ, какъ пасутся овцы и лошади, повѣрилъ счетъ подводъ, перевозившихъ остальные копны на гумно, и навѣстилъ грабарей, рывшихъ въ степи новый прудъ. Онъ возвратился на вечерней зарѣ до-нельзя усталый, наскоро поужиналъ, перемолвилъ нѣсколько словъ съ женой, пошутилъ съ дочкой и ушелъ спать.

Долго Груня возилась съ уборкой посуды и съ отдачей разныхъ приказаній, сходила за мужа въ амбаръ и въ кладовую. Спать ей не хотѣлось. Изъ головы у нея не шла слова, вскользь сказанныя мужемъ за ужиномъ. — «Всяки порядки бываютъ, — замѣтилъ онъ, доѣдая пороссячій бокъ съ кашей: — вотъ бы вольныя, значить, отпускныя... Иной тебѣ вчешетъ туда такое словцо, что послѣ и не расхлебашь». — «Да ты это чтѣ?» — спросила, похолодѣвъ отъ страха, Груня. — «Ничего... это я про одного нашего землячка вспомнилъ, — отвѣтилъ со вздохомъ Родивонъ: — да и становой опять въ голову пришелъ. Ужъ точно Ирעדъ, не человекъ, какъ есть душегубъ; намедни пятерыхъ бѣглыхъ изловилъ на Терновой и всѣхъ упекъ въ кандалы, да въ острогъ... Есть тоже такой баринъ, графъ Аракчеевъ, коли слышала, — къ тому попадись, живого съѣсть...» — «Да вѣдь онъ въ Питерѣ, при царѣ служить», — сказала Груня. — «Въ Питерѣ-то, въ Питерѣ, а подъ землей всякаго найдетъ, коли захочетъ... Чай слыхала, къ Чугуеву ужъ подбирается...»

Все, наконецъ, затихло въ горницахъ. Груня взглянула на спавшую въ углу за шкапомъ Парашу, помолилась, раздѣлась, тоже легла и заснула.

Спать Родивонъ, да беспокойно, по временамъ вздрагиваетъ и мечется. Снится ему, что онъ изнываетъ отъ дукоты. — «Охъ, хоть бы вѣтеръ пахнулъ въ лицо, — думаетъ онъ, — хоть бы глотокъ студеной водицы...» Странныя грѣзы порхаютъ надъ его изголовьемъ...

Красное, въ веснушкахъ, отекавшее, пьяное лицо склопнется надъ нимъ, сѣрые безстыжіе глаза смѣются, рыжая борода щекочетъ ему губы и носъ. — «Ха-ха-ха! поймался, Родька, поймался, землячекъ! — хохочетъ на всю комнату

пьяная рожа:—вставай, арестантъ! вонч онъ, вотъ! ха-ха-ха! тебѣ хорошо, мнѣ худо... берите его...»—Тѣфу ты, сгинь!—отмахиваясь руками, изъ всѣхъ силъ плюнулъ на стѣну Родивонъ.

Онъ вскочилъ, присѣлъ на кровати, протеръ глаза. Въ комнатѣ мертвая тишина. Полный мѣсяцъ смотритъ съ неба. Чебрецомъ и калуферомъ пахнетъ изъ огорода, и чудные, серебристые звуки несутся въ окно. Звенить, звенить что-то тамъ въ сверкающей дали, за рѣкой, смолкнеть и опять отзовется, будто спускается со взгорья, ближе и ближе подплываетъ къ рѣкѣ.—«Батюшки-свѣты! колокольчикъ!—спохватился Родивонъ:—это полиція... меня ищутъ... Куда дѣться?»

Онъ бережно, мимо Груни, слѣзъ съ кровати, наскоро одѣлся, отыскавъ въпотьмахъ ведро съ водой, перегнулъ его, жадно отпилъ разъ и другой и бросился къ окну. Во дворѣ ни звука. Хромая дворовая собаченка Стрѣлка, наставя чуткія уши, лежитъ на мѣсяцѣ у крыльца. Она увидѣла хозяина, легонько помахала хвостомъ, встала и, ковыляя, побѣжала въ садъ. Родивонъ за нею. Выскочила собачка на освѣщенную мѣсяцемъ дорожку, постояла, поджавъ лапку, у одного куста, у другого, скусила верхушку какой-то травки, вѣжливо пожевала ее, перепрыгнула черезъ канавку, обнюхала какой-то бугорокъ, уставилась носомъ за рѣку и вдругъ замерла, точно слыша что-нибудь въ той сторонѣ. А въ ушахъ Родивона опять шумъ и звонъ... Затихая и вновь раздаваясь, несутся серебристые звуки: тень-тень... тень...

«Милочка, Стрѣлочка! да ты врешь, обозналась! никого нѣту!» готовъ былъ молить собаченку Родивонъ. И вдругъ его какъ варомъ обдало. Онъ вздрогнулъ, судорожно двинулся по поясъ въ высокую душистую траву и замеръ. Прохладнымъ лужкомъ съ зарѣчнаго бугра явственно доносилось фырканье одной лошади, другой, и негромкое постукиваніе бережно катившихся колесъ.—«Крадутся! колокольчикъ подвязали!—пронеслось въ головѣ Родивона:—не къ кому больше, какъ ко мнѣ...»

Кликнувъ собачонку, чтобъ та не разлаялась, Родивонъ бросился въ комнаты, разбудилъ жену и наскоро рассказывать ей въ чемъ дѣло. Та ахнула, заметалась.—«Звать ли кого изъ людей?» — «Не зови никого... Пропадать видно! самъ управлюсь...»

Черезъ часъ, за бѣлою скатертью, установленной всякою снѣдью и флягами, передъ пыхтѣвшимъ самоваромъ, при свѣтѣ, сидѣлъ низенькій, сѣденый, лысый и сутуловатый, въ разстегнутомъ мундирѣ, при шпажонкѣ, становой. Родивонъ, съ заложенными за спину руками, растерянно и покорно стоялъ передъ нимъ. Груня, чуть живая отъ страха, выглядывала на нихъ въ дверь изъ сосѣдней комнаты.

— Дверь въ сѣни заперъ? — спросилъ, уписывая поросенка, становой.

— Заперъ.

— Никто не знаетъ, что я приѣхалъ?

— Никто.

— Гдѣ кучеренокъ?

— На птичню, за дворъ отвелъ.

— А лошади?

— Въ конюшню къ корму поставилъ.

— Ворота?

— На засовѣ.

— Такъ какъ же?

— Чего-съ?

— Отдаешь тройку бѣлоногихъ на придачу?

— Къ чему на придачу-съ?

— Десятокъ овецъ отпустишь, коровенку тамъ какую, или двѣ, суконца на бешметъ...

— Много будетъ, ваша милость! — проговорилъ Родивонъ: — нельзя ли поменѣе?.. Я подначальный! взыщется... Господа притомъ строгіе...

— Строгіе? — засмѣялся становой: — знаю я ихъ лучше тебя! А это, читай... что... «Доношу вашему благородію, что на рѣчкѣ Богатой, по фальшивому виду... проживаетъ...» ну-ка, читай, братецъ, самъ: «проживаетъ бѣглый, графа Алексѣя Андреевича Аракчеева крѣпостной слуга, Василій Ильинъ, сынъ Самопаловъ... А бѣгалъ онъ трижды и сидѣлъ въ острогѣ въ Муромѣ, да сидѣлъ же въ Херсонѣ и въ Бахмутѣ... и мнѣ про то доподлинно извѣстно... мѣщанинъ Исай Перекаатовъ...»

— Исайка, ваша благородіе, вретъ; онъ по злобѣ...

— Не вретъ, я тебѣ докажу... Ты—Васька, а не Родивонъ, Самопаловъ,—а не Бѣлогубовъ... Лучше признавайся, да помиримся; а то будешь меня помнить. Хе-хе... Черезъ часъ, черезъ два, знай ты это, подойдутъ понятые. Письмо-

водитель съ сотскимъ въ Чунихиной остался; чуть зорька выглянетъ, всё будутъ здѣсь... Такъ согласенъ? Помни—связу, а тамъ—въ кандалы и въ Сибирь... что въ Сибирь? хуже! къ самому графу Аракчееву по этапу перешлю... Онъ те вчешетъ—съ живого кожу сдеретъ! Хе-хе..

— Смилуйтесь, Сидоръ Акимычъ! смилуйтесь!—не своимъ голосомъ взмолился Родивонъ:— все берите; не погубите только жены, да маленькой дочки.

— Да ты, можетъ, и взаправду не графа Аракчеева крѣпостной, а князя Четвертинскаго вольноотпущенный?— шутилъ, хмелѣя отъ старой Флугиной запеканки, становой.

Родивонъ уналь ему въ ноги.

— Гдѣ состряпалъ наспортъ? — крикнулъ, затопавъ на него, становой.

— Въ Бердянскѣ у жида купилъ.

— У Герцика? знаю... А отпускную гдѣ добылъ?

— Тамъ же.

— Что далъ?

— Два золотыхъ.

Становой покатился со смѣху.

— Вотъ, сударыня, — обратился онъ къ подошедшей Грунѣ, наливая стаканъ: — за вашу хлѣбъ да соль готовъ я вамъ помочь. А опрометчиво поступили, опрометчиво... неужели многотимая, столь высокаго ума и характера дама, Анна Васильевна, ваша крѣстная матушка, — я ихъ довольно знаю и ручку имъ не разъ цѣловалъ! — неужели, говорю, не нашла бы она вамъ лучшаго сокола? Эхъ, эхъ... А запеканка — мое почтеніе!.. вѣчная память Минѣ Карловнѣ, — я ею и равно покойнымъ мужемъ ея много поштовалъ.. Что, любезный?—обратился становой къ Родивону:— не слыхать ли понятыхъ? не пришли еще?

— Не видно что-то, — отвѣтилъ Родивонъ, взглядывая въ окно.

— Такъ готовъ, дѣшенька ты моя, бѣлоногихъ... Рѣзвы, ухъ рѣзвы! Видѣлъ, какъ ты на чортовыхъ жеребцахъ по ярмаркамъ свою краю-сударушку покачивалъ... Готовъ, а я тѣмъ временемъ маленечко сосну... Да ты не бойся: все теперь у насъ будетъ гладко, шито! Никто, oprичъ меня, про доносъ этотъ не знаетъ, даже и письмоводителю я не показывалъ... Рыло у него нечисто... Понятыхъ тѣмъ же часомъ отпущу назадъ и напишу, куда слѣдуетъ, что нѣтъ-

моль такого въ здѣшнихъ мѣстахъ; а про подарки ты выдашь мнѣ росписку, что деньги за все сполна получили...

«Слава тебѣ, Господи! слава!» — не помня себя отъ радости, взмолилась Груня, когда становой погасилъ свѣчу и, примостясь на лавкѣ, захрапѣлъ въ первой горницѣ, а Родивонъ ушелъ ему готовить тройку бѣлоногихъ.

— Ёдемъ, — шепнулъ, входя къ женѣ въпопыхахъ, Родивонъ.

— Куда?

— Нечего толковать. Буди и бери Параню, да захвати хлѣба, одежи. Послѣ все расскажу.

— Да онъ же поладилъ съ тобой, согласился! — лепетала, дрожащими руками одѣвая дочку, Груня.

— Знаю я ихъ, ненасытныхъ волковъ. Дай ему только палецъ въ глотку, всю руку слонаетъ. Пропали мы, пропали... Скорѣ снаряжайся, скорѣй... Люди не скоро сойдутся, — успѣемъ уйти: загоню коней до смерти, а сто верстъ проскачу. Въ Бахмутѣ есть пріятель, далѣе отъ него уйдемъ... въ Анапу или за Кубань.

Родивонъ хотѣлъ-было сразу порѣшить съ становымъ, да раздумалъ. Пошаривъ нотомъ съ фонаремъ на чердакѣ и вкругъ дома и раздумывая, не повѣсится ли? онъ возвратился къ женѣ, поднялъ у печки топоромъ половицу, вынулъ оттуда кожаный поясъ съ деньгами, снялъ со стѣны ружье, перекрестился на образъ и вышелъ на крыльцо.

На дворѣ чуть начинало бѣлѣть. Запряженная тройка бѣлоногихъ, какъ вкопанная, стояла на привязи у крыльца.

Родивонъ усадилъ въ телѣгу Груню съ дочкой, бросилъ къ нимъ кое-какіе пожитки, бережно растворилъ ворота, самъ сѣлъ на облучокъ, снялъ шапку, еще разъ перекрестился, прислушался. Вездѣ было тихо. Только въ сосѣдней слободкѣ за бугромъ, какъ бы по волку, тавкали собаки.

Телѣга безъ шума выѣхала за ворота, спустилась на темный еще лугъ, стала переваливать за косогоръ. Родивонъ неспокойно задвигался, подобралъ вожжи и сперва рысью, потомъ вскачь пустил храпѣвшихъ и рвавшихся жеребцовъ.

— Охъ, да что же это? что? — заговорила въ страхѣ, оглядываясь, Груня: — никакъ у насъ, Родивонъ Максимъ, пожаръ?

Родивонъ съ трудомъ переводилъ дыханіе и молчалъ. Онъ

крѣпче надвинулъ шанку на уши, крѣпче налегъ на бѣлоногихъ, и тройка, выбравшись на дорогу къ Волчьей, скрылась за горой, въ то же время, какъ начавшійся за спинами бѣглецовъ пожаръ далеко освѣтилъ долину Богатой, въ томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ хуторъ и гдѣ Богатая сливалась съ рѣчкой Богатенькой.

Домъ, гдѣ спалъ мертвецки-пьяный становой, вспыхнулъ и горѣлъ, какъ свѣча. Не успѣли сбѣжаться изъ задворныхъ избъ разбуженные ревомъ скотины и гуломъ огня батраки, не успѣли подойти завидѣвшіе пламя понятые, отъ новаго дома Ивана Яковлевича остался одинъ непелъ.

Письмоводитель далъ знать въ городъ. Явился исправникъ. По окончаніи слѣдствія, былъ составленъ протоколъ, а въ протоколѣ было сказано: «По Божьему изволенію, такого-то года, мѣсяца и числа, на хуторѣ лейбъ-гвардіи прапорщика Д**, отъ неизвѣстной причины, въ глухое ночное время, приключился пожаръ. А на томъ пожарѣ, кромѣ лошадей, коровъ и прочаго имущества владѣльца, сгорѣли: становой приставъ, Сидоръ Акимовъ Солодкій, со всѣми его бумагами, пара обывательскихъ коней, съ повозкою, и управляющій тѣмъ хуторомъ вольноотпущенный, Родивонъ Максимовъ Бѣлоубовъ, съ женою Аграфеною Ивановою и съ малолѣтней дочкой Прасковьею! Въ чемъ и подписуемся...»

Вѣсти о пожарѣ на хуторѣ и о гибели управляющаго съ семьей сильно поразили Ивана Яковлевича и Анну Васильевну. Дѣдушка рѣшилъ раздѣлаться съ землей и со всѣмъ хозяйствомъ на Богатой. Бабушка мужу не перечила. Это, имѣніе вскорѣ было продано курскому второй гильдіи купцу, Ивану Михайловичу Слатину. Иванъ Яковлевичъ былъ доволенъ тѣмъ, что вырученными деньгами уплатилъ немало особенно тяжелыхъ долговъ. Анна Васильевна была зато неутѣшна.

— Нѣтъ моего рая, нѣтъ Грунюшки, — толковала старуха: — погибла моя Груня, съ мужемъ и съ дочкой, да еще какою страшною смертью погибла! И все я виновата, я... Зачѣмъ боялась, зачѣмъ ея туда отослала?..

Прошелъ годъ и два, прошло нѣсколько лѣтъ. Умеръ и дѣдушка Иванъ Яковлевичъ.

Аннѣ Васильевнѣ, по его кончинѣ, не жилось болѣе въ старомъ пришибскомъ домѣ. Она тосковала, не знала куда

дѣться, и почаству гостила въ лѣсномъ домикѣ, при винокурennemъ заводѣ, въ Курбатовомъ.

Нѣкто г. Баженовъ, борисоглебскій уланъ и мѣстный поэтъ, за много лѣтъ передъ тѣмъ, а именно въ 1802 году, оставилъ въ альбомѣ бабушки слѣдующее «Изображеніе пріятнаго мѣста Курбатова»:

«Курбатовъ! ты сокрытъ природой подъ горами...
Въ тебѣ собраніе прекраснѣйшихъ картинъ;
Величественъ твой видъ, обилѣнъ ты водами
И у природы, знать, ты прелюбезный сынъ...
Въ тебѣ я созерцаю пріятные предметы:
Долину, горы, лѣсъ, звѣринепъ, водометы,
И какъ изъ тростника Михайло козъ гонятъ...
Тогда-то въ сердцѣ я твой видъ благославляю!»

Что же манило бабушку въ лѣсную глушь, въ тихое, пустынное Курбатово? Здѣсь умеръ дѣдушка. Сверхъ того, домикъ въ Курбатовѣ сильно напоминалъ Аннѣ Васильевнѣ выстроенный по его образцу, сгорѣвшій домъ на Богатой, гдѣ она въ прежніе годы любила съ Груней встрѣчать весну. Подъ конецъ своихъ дней бабушка еще болѣе стала походить видомъ и нравомъ на спартакку. Уѣдетъ изъ Пришиба на заводъ, велитъ отпречь лошадей и пойдетъ бродить съ книжкой или съ кузовкомъ, будто за грибами, въ окрестностяхъ старой винокурни, по лѣсу и по лугамъ.

«Нѣтъ моего рая, нѣтъ Груни!» тоскуетъ бабушка: «думала ее сосватать за Калиныча, за винокура. Жила бы, радовала-бъ меня и поднесъ. А теперь? Гдѣ-то витаютъ душеньки ея и ея дочки? Ахъ! не прошу себѣ, никогда не прошу... я виновата въ ихъ смерти... я!»

Бабушка ходитъ между высокихъ сосенъ, по песчаному пристѣну и между кудрявыхъ березъ и ольхъ, по лугамъ. Стародавніе годы ходятъ по слѣдамъ бабушки. — «Ничего, никакого приданаго я не принесла мужу, — думаетъ она, — пользовалась его имуществомъ. Поль-состоянія предлагалъ онъ мнѣ отписать по дарственной. Все, все отдала бы, лишь бы жива была Груня...»

А лѣсъ стонетъ, поетъ, отзывается на тысячи голосовъ. По влажному, остывшему илу, таская изъ него свѣжіе сладкіе корешки, бѣгаютъ кулички и черныя дикія курочки. Сѣрая поверхность грязи усѣвается крестиками ихъ ногъ, какъ старинная рукопись словами. Каждый кустъ,

каждая вѣтка одѣты своимъ благоуханіемъ. Чубатый удоѣ посвистываетъ на бугоркѣ; слышится рѣзкое чоканье дрозда; кукушка вдаль отзывается; дятлы и иволги, какъ куски разноцвѣтнаго сукна, перебрасываются съ дерева на дерево.

А на зарѣ — нескончаемый лѣсной концертъ... Вверху, вкругъ, вездѣ слышится музыка. Цѣлое море звуковъ проливается на лѣсъ и на зеленые луга.

Возвратится бабушка на крутой бугоръ, на которомъ стоитъ старый заводскій домикъ, сядетъ на крылечко, развернетъ на колѣняхъ книжку, или, глядя вдаль, шевелить спицами чулка, — мысли ея за Донцомъ. Слушая весеннія лѣсныя пѣсни, и бабушкины фаворитъ-пѣтухъ, состарѣвшійся при винокурнѣ, не унимается: смотреть съ холма на луга и на озера, и то-и-дѣло кричить... Да крикнетъ иной разъ такъ, что самъ отшатнется въ сторону и, наставивъ одинъ глазъ въ землю, а другой на бабушку, какъ бы разсуждаетъ: «кто это такъ странно крикнуетъ?»

Незадолго передъ смертію, бабушка возила больного внука на Кислыя воды, на Кавказъ. На одной станціи, не доѣзжая Екатеринодара, она мѣняла лошадей. Станціонный писарь взглянулъ въ ея подорожную, потомъ на нее самую. Онъ пригласилъ Анну Васильевну въ особую горницу, заперъ за собой дверь и, спросивъ ее, не у нея ли на хуторѣ когда-то проживала съ мужемъ и съ дочкой Аграфена Бѣлогубова? — разсказалъ ей, какимъ образомъ Бѣлогубовы спаслись отъ огня и какъ они долгое время скрывались по близости, въ казацкихъ станицахъ, въ томъ числѣ и на этой станціи, гдѣ Родивонъ нанимался старостой.

— Что же Груня? — спросила, ни жива, ни мертва отъ страху, бабушка: — гдѣ она теперь? жива ли?

— Не знаю...

— А мужъ ея?

— Лошадьми на Кубани въ послѣднее время, сказывають, торговаль...

— Отчего-жъ они, безумные, отчего-жъ ни о чемъ не дали мнѣ вѣсти? зачѣмъ терзали меня?

— Боялись, сударыня-матушка.

— Меня боялись?

— Не васъ, сударыни, не васъ... Они такъ васъ хва-

лили и помнѣть—я все уговаривать ихъ къ вамъ писать...
Боялись же своего... графа-то Аракчеева...

— Да онъ вѣдь давно померъ...

— А дѣло-то ихнее—бѣгство?.. потомъ пожаръ—нешто
все это померло?

Бабушка залилась слезами...

Въ Пятигорскѣ, въ Кисловодскѣ и Екатеринодарѣ, вездѣ
Анна Васильевна потомъ отыскивала Бѣлогубовыхъ, сулила
за ихъ указаніе значительную сумму денегъ, переписыва-
лась съ властями, даже черезъ мирныхъ черкесовъ сноси-
лась съ горцами—ничто не помогло. Слѣдъ Бѣлогубовыхъ
пропалъ навсегда.

— «Вотъ, душенька,—говорила мнѣ бабушка, рассказавъ
эту исторію:—я стара, у меня ничего нѣтъ; имѣніе твоего
дѣда раздѣлено и распалось... Выростешь, помни это...
души-то, крѣпостныя... крѣпостные люди... Приглядывайся,
да читай умныя книги, все поймешь...»

1873 г.



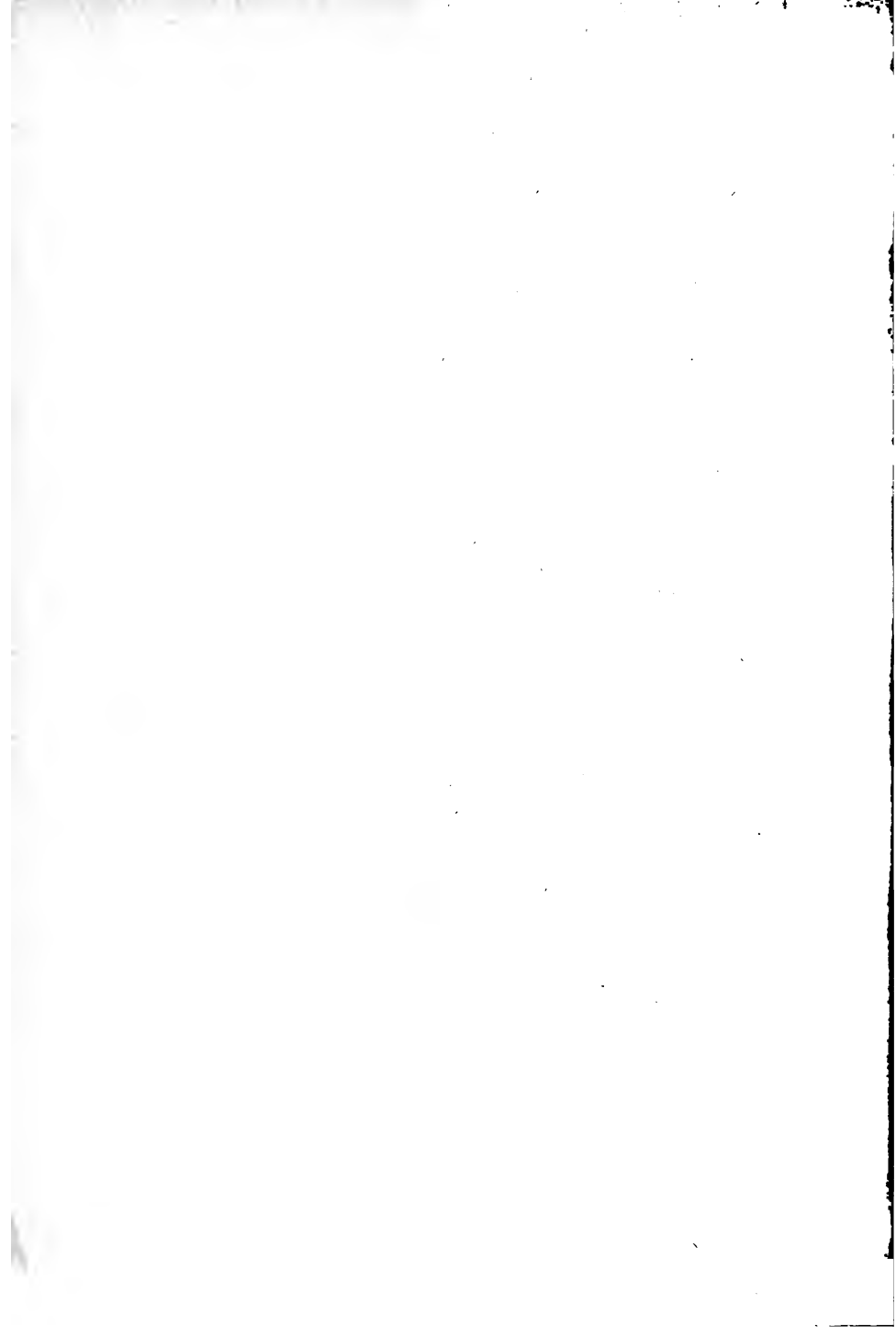
Оглавление

VII ТОМА.

Бѣглый Лаврушка въ Парижѣ. Разсказъ.	3
Село Сорокопановка. (Изъ воспоминаній депутата***).	26
Феничка. Разсказъ.	53

Семейная старина. Разказы.

I. Прабабушка.	90
II. Тѣнь прадѣда. (Лейбъ-Кампанецъ)	110
III. Именины прабабушки.	129
IV. Дѣдовъ лѣсъ.	147
V. Бабушкинъ рай.	173



СОЧИНЕНІЯ
Г. П. ДАНИЛЕВСКАГО.

ТОМЪ ВОСЬМОЙ.

ИЗДАНИЕ ВОСЬМОЕ, ПОСМЕРТНОЕ,
ВЪ ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ,
СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1901 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.

1901



Типографія А. Ф. Мариса, Измайл. пр., № 29.

ЦАРЕВИЧЪ АЛЕКСѢЙ.

I.

Среди зимы 1716 года въ Петербургѣ заговорили о сильномъ разладѣ между царемъ Петромъ и его единственнымъ сыномъ.

Грозная «сѣверка» Петра готовилась, какъ всѣ ожидали, разразиться надъ царевичемъ Алексѣемъ. Овдовѣвъ съ осени, самъ царевичъ, между тѣмъ, продолжалъ мирно и тихо жить въ небольшомъ дворцѣ, выстроенномъ къ его свадьбѣ, на Невѣ, близъ Литейной, повидимому, не очень беспокоясь даже о томъ, что отецъ при встрѣчахъ пересталъ съ нимъ говорить. Кстати же, трауръ давалъ ему возможность вовсе не появляться на торжественныхъ пріемахъ отца и ассамблеяхъ вельможъ, а дома у себя, боясь смотрѣльщиковъ отца, онъ не принималъ почти никого.

Крытый тѣсомъ, въ двѣнадцать оконъ по улицѣ, съ антресолями и обширнымъ садомъ на Неву, деревянный, на высокомъ каменномъ фундаментѣ, дворецъ царевича былъ на Шпалерной, противъ нынѣшней церкви Всѣхъ Скорбящихъ Радости. Въ глубинѣ двора, вдоль сада, шли разныя службы, избушки, бокѣвуши, сарайчики и склады, и возвышалась церковь. У крыльца на улицѣ стоялъ караулъ. Комнаты были убраны уютно и со вкусомъ: стѣны — въ кожаныхъ, съ позолотой, обояхъ, зеркала — въ фигурчатыхъ фарфоровыхъ рамахъ, съ потолоковъ пріемной и столовой висѣли хрустальныя люстры, а мебель обтянута цвѣтнымъ сукномъ и штофомъ. Все это, впрочемъ, какъ и ковры, за-

навѣси оконъ и столовая посуда, было свадебнымъ подаркомъ, присланнымъ покойной женой царевича и тѣхъ ея сестры, жены австрійскаго императора. Скупой и неприхотливый царь, глядя на эту обстановку, морщился. «Денегъ-то убито сколько, денегъ!»—думалъ онъ при этомъ, не охотно поспѣвавшій сына и при жизни покойной кронпринцессы.

Вверху, на антресоляхъ, съ гофмейстериною, кормилицей и нянями, жили дѣти царевича. Внизу помѣщался онъ самъ. Его кабинетъ, двумя окнами выходившій въ садъ и однимъ на уголъ улицы, былъ расположенъ между пріемною и спальней. Еловый лакированный полъ кабинета, у письменнаго стола, былъ покрытъ бухарскимъ ковромъ, передъ софой и креслами—медвѣжьимъ мѣхомъ. На стѣнныхъ полкахъ лежало нѣсколько нѣмецкихъ, французскихъ, польскихъ и церковныхъ русскихъ книгъ. Въ углу комнаты, возлѣ окна, стоялъ небольшой голландскій клавесинъ, а на стѣнѣ, надъ нимъ, висѣла небольшая семиструнная люта.

Было утро двадцать-пятого января.

Солнце ярко свѣтило въ разрисованныя морозомъ окна кабинета. У письменнаго стола, на обитомъ черною кожей креслѣ, откинувшись на его высокую спинку, сидѣлъ худощавый и блѣдный, выше средняго роста, лѣтъ двадцати-шести-семи, человекъ. Онъ былъ въ шелковомъ сѣромъ кафтанѣ, въ черныхъ шерстяныхъ чулкахъ и башмакахъ съ серебряными пряжками. Темнокаштановые, слегка напудренные его волосы длинными завитками падали на узкія плечи. Большіе, черные глаза неподвижно были устремлены на столъ, на которомъ стоялъ раскрытый, отдѣланный слоновою костью и сафьяномъ, ларецъ. То былъ царевичъ Алексѣй.

Давно молодой камердинеръ поставилъ передъ нимъ, возлѣ ларца, подносъ съ кофе, сливками и булкой. Онъ нѣсколько разъ неслышно отворалъ дверь изъ гардеробной и смотрѣлъ изъ-за кресла, качая головой. Кофе остыло; до него не касались.

Царевичъ болѣе часа сидѣлъ, задумавшись и не помня, гдѣ онъ и что съ нимъ. Онъ зналъ одно, что въ послѣднее время сильно прогнѣвилъ отца и что сталъ у него въ явной и полной опалѣ, а какъ и чѣмъ онъ прогнѣвилъ его, объ этомъ онъ боялся и избѣгалъ думать. День и ночь его мысли были далеко. Въ памяти проносились годы его дѣтства,

жизнь въ Москвѣ, потомъ въ Измайловскомъ, когда онъ жилъ на глазахъ матери.

Гдѣ эти счастливые годы и гдѣ мать? Не вернуть ихъ. Она насильно пострижена, томится въ монастырѣ, а у отца, при живой женѣ, другая, бывшая плѣнная нѣмка. Тяжело было ребенку безъ матери. По девятому году его хотѣли отправить учиться въ чужіе края, въ Дрезденъ, но это не состоялось. Четырнадцать лѣтъ онъ былъ уже въ рядахъ новаго войска, въ преображенскомъ мундирѣ; по семнадцатому году ему поручили возведеніе укрѣпленій Москвы, въ ожиданіи шведовъ. Его обучали точить, чертить, французскому и нѣмецкому языку и ариметикѣ; возили его по воинскимъ и корабельнымъ дѣламъ то въ Смоленскъ и Сумы, то въ Воронежъ, Сѣвскъ и Ярославль,—въ бой подъ Полтаву, однако, не взяли.

Деятнадцать лѣтъ Алексѣя, по болѣзни, отправили за границу, въ Карлсбадъ. «Не остаться ли здѣсь навсегда?—подумалъ онъ въ то время, охваченный волей, любясь дивными видами и нравами чужихъ краевъ.—Но разстаться съ родиной?.. Да что тамъ и хорошаго на этой родинѣ,—день денской возня и сутолока, воинскіе смотры и парады, спуски кораблей, построики,—ни на часъ отраднago, тихаго отдыха... а тамъ выберутъ тебѣ иноземную принцессу, о которой не гадалъ и не думалъ, и насильно женить. Нѣтъ, лучше остаться тутъ простымъ, вольнымъ человѣкомъ!..»

Мечты царевича не сбылись. По двадцатому году ему посватали въ невѣсты принцессу Шарлотту Вольфенбютельскую. Она показалась ему «человѣкъ добръ» и черезъ годъ онъ женился на ней, въ Саксоніи, въ Торгау. Ему грезилось счастливо пожить съ женой, но и это ему не удалось. Вскорѣ потребовали его отъ жены въ корпусъ Меншикова, подъ Штетинъ, и онъ пробылъ тамъ всю весну и лѣто, а осень и зиму въ Мекленбургѣ, откуда, по волѣ отца, отправился съ мачихой въ Петербургъ и хотъ по дорогѣ думалъ встрѣтиться съ женой, бывшей все еще въ чужихъ краяхъ, но и здѣсь не видѣлъ ея. Въ слѣдующемъ году сама жена прибыла въ Петербургъ и снова неудачно, — царевичъ находится въ то время при войскѣ, въ Або; черезъ мѣсяцъ онъ возвратился изъ похода, но опять его поспѣшно усади, для надзора за корабельными работами, въ Ладугу.

Въ такихъ-то постоянныхъ разъѣздахъ и мыканьяхъ шли

первые годы семейной жизни царевича. Согласія и лада съ иноплеменкою женой, не знавшею ни слова по-русски и окруженною собственнымъ дворомъ, не было и быть не могло. Выходили частыя ссоры; царевича содержали скудно. Отъ огорченій онъ снова захворалъ и вторично былъ посланъ на излѣченіе за границу. Наблюдательный умъ его нашелъ тамъ не мало пищи для размышленія и сравненій родного гнета съ чужеземными порядками и льготами. Въ Карлсбадѣ, Франкфуртѣ и Берлинѣ онъ накупилъ нѣмецкихъ, французскихъ и польскихъ книгъ, философскіе трактаты Баронія, Де-Лявальера и Ларима, басни Езопа и другія. Полюбивъ, благодаря женѣ, музыку, онъ посѣщалъ духовные и свѣтскіе концерты и слѣдилъ по курантамъ за церковными и общественными событіями. По собственному благочестію, прочтя когда-то пять разъ подъ-рядъ Библію по-славянски и творенія св. отцевъ, онъ теперь ознакомился съ книгой *Манна небесная* Дрекслера, съ разсужденіями «объ истинной правдѣ», о томъ, «какъ скоро ученымъ себя сдѣлать», «какъ безъ болѣзни жить» и проч.

На родину царевичъ возвратился здоровый, но еще болѣе настроенный противъ дѣлъ, убѣжденій и стремленій отца. Да и какъ ему было сочувствовать отцу? Ихъ нравы были совершенно чужды и даже противоположны другъ другу.

Добрый, мягкій сердцемъ, щедрый и впечатлительный, царевичъ походилъ не на отца, а на тѣзку-дѣда — «типайшаго царя» Алексѣя Михайловича и отчасти на дядю, отцова брата, царя Ѳедора Алексѣевича. Суевѣрный и набожный, какъ дѣдъ, онъ былъ не прочь отъ занятій нетрудными дѣлами, предпочиталъ изученію неголовомолное чтеніе и умные разговоры, не отвергая пользы отъ образованія и изученія языковъ. Подобно же дядѣ, царю Ѳедору, онъ былъ подозрителенъ, слабъ волею, скрытенъ и остороженъ до трусости. Вставая поздно, за всякое, порученное отцомъ, дѣло брался неохотно и вяло. Огненный, не знавшій покоя и удержу, нравъ непосѣды-отца не выносилъ обычаевъ сына. Онъ осыпалъ его укоризнами, стыдилъ наединѣ и при другихъ, но всѣ укоры шли мимо. Сыновъ не любилъ отца и какъ тирана своей матери, а сознавая, что нѣтъ болѣе тяжкихъ мукъ, какъ требованіе измѣнить, переломить врожденный нравъ, питалъ къ нему только недоброжелательство и страхъ.

Уклоняясь, подъ разными предлогами, отъ зова на отцовскіе смотры войскъ и верфей, свои домашніе досуги онъ проводилъ за бесѣдой и тихой, хотя подчасъ и болѣе знатной, выпивкой съ близкими пріятелями, съ которыми, въ подражаніе «всепьянѣйшему собору» отца, и у него, въ его холостыя годы, бывали такіа же «соборныя» засѣданія и бѣднія. Принося жертвы Вахусу, отецъ своимъ сотрапезникамъ давалъ клички «всепутѣйшаго князь-папы», «князь-игумени», «патріарха Яузы и всего Кокуя», — участники пирушекъ царевича также носили клички: «Жибанда», «Захлѣстки», «Ада», «Сатаны» и другихъ.

Женитьба мало измѣнила наклонности и привычки царевича. Хотя, послѣ семейныхъ ссоръ и огорченій, иногда во хмелю, онъ и жаловался «собиннымъ» друзьямъ на жену: «Вотъ, батюшкины клеветы чертовку-нѣмку навязали мнѣ! Иду къ ней, а она все сердитѣть!» — молодая, образованная кронпринцесса находила способъ обуздывать и снова привлекать къ себѣ разгнѣваннаго мужа: вывезя изъ родного Брауншвейга любовь къ музыкѣ, она прекрасно играла на клавишинѣ. Торжественныя сонаты и фуги Баха, суровыя псалмы и ораторіи Генделя и нѣжныя прелюдіи, аріи и менуэты Скарлатти приковывали къ себѣ, въ ея исполненіи, вниманіе царевича. Въ неизъяснимомъ восторгѣ, потрясенный и растроганный до глубины души, онъ нерѣдко по цѣлымъ часамъ не отходилъ отъ клавирина, подарка невѣстки, изъ котораго обыкновенно сухая и чопорная, затянута въ фижмены, кронпринцесса извлекала такіе нѣжные и сладкіе, бурные и страстные звуки. Особенно Алексѣю нравилась въ игрѣ жены одна изъ сюитъ Генделя. Начинаясь лѣнливою и медленною саксонскою «алемандой», она переходила въ оживленную французскую «куранту», смѣнялась жгучею испанскою «сарабандой» и кончалась безумновеселою англійскою «жигой». «Еще, либхенъ, герцхенъ, еще!» — повторялъ онъ женѣ, слушая эту сюиту и не отходя отъ клавирина, — а потомъ, bitte, изъ Ринальдо и Те-деумы!..» Кронпринцесса молча поворачивала ноты и снова безъ умолку играла.

Съ миновавшей осени все это кончилось. Жена царевича, родивъ сына, неожиданно для всѣхъ, скоростижно умерла. Клавишинъ закрыли, ноты съ него убрали. Вдовый царевичъ заперся въ своемъ дворцѣ и нигуда не показывался, пови-

димому, ни отъ кого и ни отъ чего не ожидая болѣе отрады и счастья по душѣ.

На стѣнѣ, надъ клавесиномъ, однако, появилась лютия. Откуда она взялась и кто на ней игралъ, объ этомъ знали только онъ самъ и немногіе изъ его ближнихъ.

II.

«Да! какъ это было, какъ случилось?.. И неужели, Господи, все это произошло?»—съ замираніемъ сердца, вспоминая о прошломъ, думалъ царевичъ. И сколько онъ ни думалъ, мысленно кончалъ: «Да, все это было, произошло, но воротится ли опять?»

Два года назадъ ему купили у Нарышкина алатырскую вотчину, село Порѣчье. Бдучи туда, онъ остановился, по пути на ночлегъ, въ подмосковной деревушкѣ Вяземахъ, родинѣ бывшаго своего дядьки Никифора Вяземскаго. Звонили къ вечернѣ. Царевичъ зашелъ въ церковь, а послѣ службы присѣлъ на поповомъ крылечкѣ. Былъ конецъ покосовъ. Улицей съ поля шли косари и гребцы, спѣшившіе къ празднику по домамъ. Нѣсколько гребчихъ, съ домочадцами попа Созонта, вошли въ его дворъ. Между ними царевичъ разглядѣлъ статную и рослую, въ бѣломъ платкѣ, надъ густою, темнорусою косою, дѣвушку. Она бодро и весело шла, съ граблями на плечѣ; а когда во дворъ увидѣла, что поповымъ работникамъ не сложить съ телѣга до ночи въ сарай подвезеннаго новаго сѣна, крикнула товаркамъ: «Ну-ка, дѣвушки, Веронья! Оедосья, за рожны!»—и принялась помогать рабочимъ. Алексѣй видѣлъ, какъ эта дюжая, полногрудая и голубоглазая дѣвушка, откинувъ съ головы на спину платокъ, смѣясь и скаля зубы, быстро взмахивала рожномъ и, то нагинаясь, то выпрямливаясь и опять натуживаясь всѣмъ станомъ, подавала въ окно сарая тяжелые сѣнные вороха. Долго слѣдилъ царевичъ съ крыльца за этою гребчихой, любуясь ея ловкостью и радостнымъ блескомъ ея красивой и сильной природы. «Кто это?»—спросилъ онъ попадью, шедшую въ ворота отъ сарая. Та оглянулась на сѣнникъ. «Толстогубая-то?»—спросила, усмѣхаясь, попадья.—«Да, что впереди всѣхъ». — «Наша питомка». — «Какъ звать?» — «Фрося». — «Откуда она у васъ?» — «Твоего пестуна, а намъ кума, Никифора Кондратьевича Вяземскаго крѣпостная, изъ плѣнныхъ, что ли...» — отвѣтила Созонтиха. — «Гдѣ взята въ полонъ?» — «Подъ Полтавой, сказывали, от-

бита, съ братоужь, у шведовъ; малыми ребятками были, Ванюша да Фрося, не помнящіе ни племени, ни родства; моужетъ, изъ богатой, дворянской семьи, убиенной на войнѣ,—руки были бѣлыя, лица чистыя». — «Какъ же они попали къ вамъ сюда?» — «Раздавали въ ту пору плѣнныхъ боярамъ, этихъ записали за Вяземскимъ, а онъ дѣвчурку отдалъ, до возраста, въ науку намъ, бездѣтнымъ, а мальчѣнку въ пѣвчіе. Дѣвка выросла у насъ, всякому рукомеслу обучилась, у мужа грамотъ, а у братишки съ голоса пѣть, и надсѣдается нынче иновѣ, какъ жавороночекъ тебѣ, либо какъ та пеструшка, и на крылосѣ поѣтъ...» — «Гдѣ же ея братъ?» — «Былъ тоже сперва у насъ, а недавно въ соборъ, въ Кашіру, батюшка отослалъ».

Задумался царевичъ. Рабочіе и домоладцы отъ сѣнника разошлись. Дворъ опустѣлъ. Дюжая, съ рожномъ въ рукахъ, загорѣлая и весело скалившая зубы полонянка не выходила изъ головы Алексѣя. «Писаная красота! — мыслилъ онъ. — И какъ жалы! Не здѣсь ей быть, не на грубой и черной, простой работѣ! И почему Никифоръ столько времени молчалъ, — хоть слово бы сказалъ о своихъ плѣнныхъ?»

Стемнѣло. Царевичъ вышелъ въ садъ и долго тамъ ходилъ. Ночь была теплая, безлунная. Изъ-подъ развѣсистыхъ ивъ и липъ онъ прошелъ въ вишенникъ, оттуда на полянку къ рѣкѣ, въ малинникъ. Воздухъ былъ напоенъ цвѣтущими липами. За околицей водили хоробы; по рѣкѣ неслись пѣсни дѣвокъ и парней. Вдругъ Алексѣй замеръ. Съ вышки попова дома, черезъ садъ, слышались сперва тихіе, потомъ болѣе явственные струнные звуки, какъ бы отъ гуслей или торбона. Одно изъ оконъ на вышкѣ было отворено. Струнамъ вторилъ и человѣческій голосъ; пѣла, очевидно, женщина. «Неужели она, этотъ жаворонокъ, пеструшка?» — подумалъ царевичъ, упиваясь переливами голоса и струнъ. Съ шибко бившимся сердцемъ, онъ направился, пробиваясь сквозь кусты и деревья, къ дому. «Лютня! — проговорилъ онъ себѣ, узнавъ инструментъ, не разъ слышанный имъ въ горахъ Саксоніи, — и такъ стройно, душевно беретъ, искусства, лады!» Звуки затихли, окно на вышкѣ притворилось, но Алексѣй еще долго бродилъ по тропинкамъ сада, поглядывая на вышку.

На другой день онъ былъ у обѣдни. Сельская церковь была наполнена молящимися. Дьячку и понамарю на кли-

росѣ подгѣвали племянники священника и его питомка. Последняя читала и апостолѣ. Царевичъ не узналъ гребчихи. Въ праздничномъ алomъ сарафанѣ и бѣлыхъ кисейныхъ рукавахъ, съ двумя густыми русыми косами, въ синихъ лентахъ, взойдя на амвонъ среди церкви, она такъ степенно поклонилась на три стороны и, опустивъ глаза въ книгу, такъ истово и толково-звучно вычитывала святые слова, хоть бы первому грамотею и чтецу. Когда лысый, подслѣповатый понамарь, въ концѣ обѣдни, вынесъ царевичу изъ алтаря на блюдѣ просвиру, Алексѣй, принявъ ее съ крестомъ и глядя на клиросъ, гдѣ стояла чтница, положилъ на блюде золотой дукатъ.

Царевичъ прожилъ въ то время въ Порѣчьи недолго, опять завернувъ въ Вязѣмы, гдѣ отдыхалъ и охотился, а когда вернулся въ Петербургъ, Вяземскій неожиданно для всѣхъ прислалъ обоимъ своимъ крѣпостнымъ плѣннымъ отпускныя. Бывшій каширскій пѣвчій, Иванъ Ѳеодоровъ Аванасьевъ, тогда же былъ ваятъ въ Петербургъ, ко двору царевича, гдѣ его назначили камердинеромъ и гардеробмейстеромъ Алексѣя, а вскорѣ къ нему на побывку пріѣхала и его сестра, Афросинья Ѳеодоровна, по прозвищу взявшаго ее въ плѣнъ полтавскаго козака, Смолокурова. Она нѣсколько разъ навѣщала брата и впоследствии. При жизни покойной жены царевича, его ближніе поговаривали о ней, какъ о будущей, новой камермедхенъ Шарлотты. Такого назначенія Смолокурова не получила, хотя, гостя у брата, при дворѣ царевича, допускалась и въ собственные апартаменты кронпринцессы, гдѣ ее жаловали дозволеніемъ поиграть на лютнѣ. По смерти кронпринцессы, Афросинью отправили обратно въ деревню, но уже не въ Вязѣмы, а, въ уваженіе ея брата, на мызу царевича, доглядывать за огородомъ, птичней, прядильнымъ дворомъ и садомъ, въ Порѣчьи. Попа Созонта туда же перевели.

Всѣ о ней вскорѣ забыли и вовсе перестали толковать. Не забылъ о ней самъ царевичъ. Онъ не только поминалъ ее; но тайно переписывался съ нею, посылалъ ей черезъ ближнихъ своихъ и получалъ отъ нея нѣжныя грамотки и, глядя на оставшуюся послѣ нея лютню, съ замираніемъ сердца, робко думалъ: «Вотъ гдѣ мое счастье, вотъ отрада! И ничего другого, кромѣ этого рая, жизни съ нею, если бы только то случилось, мнѣ болѣе не нужно!»

Тѣ же мысли наполняли Алексѣя и теперь.

«А отецъ? Что скажетъ онъ, какъ узнаетъ? — въ ужасѣ подумаль онъ. — Куда загонитъ меня, какія кары наложить? — Царевичъ вспомнилъ о грозныхъ письмахъ, полученныхъ отъ отца. Ихъ было два и оба они лежали теперь у раскрытаго ларца. Онъ приподнялся и блѣдными, тонкими пальцами потянулъ къ себѣ эти письма. — Неужели же ихъ написалъ отецъ? И какой отецъ могъ выражаться такъ сурово и безпощадно-зло? Да, его почеркъ, его мысли!» — Алексѣй, съ содроганіемъ, снова прочелъ два посланія.

Первое письмо, врученное царевичу въ минувшемъ октябрѣ, вслѣдъ за похоронами невѣстки, Петръ озаглавилъ: «Объявленіе сыну моему». Вспоминая въ немъ свои успѣхи, послѣ начальныхъ тяжелыхъ годовъ своего царенія, онъ выразился: «И егда, сію радость разсмотря, обозрюся на линію наслѣдства, горестъ мя снѣдаетъ, видя тебя, наслѣдника, весьма на правленіе дѣлъ государственныхъ непотребнаго, — ибо Богъ разума тебя не лишилъ, ниже крѣпость тѣлесную весьма отнялъ». «Есмь чловѣкъ и смерти подлежу, — говорилось въ заключеніе этого письма, — то кому оставлю? За благо избрѣлъ я сей testamentъ тебѣ написать и еще мало подождать, аще неліцемерно обратишься. Ежели же ни, извѣстенъ будъ, что я тебя наслѣдства лишу, яко удъ гангрѣнный; и не мни себѣ, что ты одинъ у меня сынъ и что я сіе только въ устрастку пишу: во истину, како могу тебя, непотребнаго, жалѣть? Лучше будъ чужой добрый, нежели свой непотребный».

Получивъ это письмо, Алексѣй бросился за совѣтомъ къ тайнымъ своимъ друзьямъ и въ томъ числѣ къ ближайшему изъ нихъ, дворецкому его тетки, царевны Марьи Алексѣевны, Александру Кикину, жившему не вдали отъ него, въ собственномъ домѣ, у Смольнаго двора. Друзья сказали: «Давай писемъ хоть тысячу, еще когда-то что стрясется! Улита ѣдетъ, да коли-то будетъ! Это не запись съ неустойкою!» Алексѣй, помедливъ, отвѣтилъ отцу: «По погребеніи жены моей, отданное мнѣ отъ тебя, государь, вычелъ; на что иного донести не имѣю, только, буде изволишь, за мою непотребность, меня наслѣдія лишить короны російской, — буде по волѣ вашей, — о чемъ и я васъ, государь, всенижайше прошу. Всенижайшій рабъ и сынъ вашъ Алексѣй».

Второе письмо Петра сыну отъ 19 января было еще су-

роше. На немъ значилось заглавіе: «Послѣднее напомина-
ніе еще». «Только о наслѣдствѣ вспоминаешь, — писалъ въ
немъ отецъ сыну, — и владеешь на волю мою то, что всегда
и безъ того у меня; а что столько лѣтъ недоволенъ тобою,
то все тутъ пренебрежено и не упомянуто, хотя и жестоко
написано. Когда нынѣ не боишься, то какъ по мнѣ ста-
нешь завѣтъ хранить? Хотя бы и истинно хотѣлъ хранить,
то возмогутъ тебя склонить и принудить большія бороды,
которыя, ради тунеядства своего, нынѣ не въ авантажъ
обрѣтаются, къ которымъ ты и нынѣ склоненъ. Такъ остаться,
какъ желаешь быть, ни рыбою, ни мясомъ, невозможно. Или
отмѣни свой нравъ и неліцемерно удостой себя наслѣдни-
комъ, или будь монахъ. На что дай немедленно отвѣтъ, на
письмѣ, или самому мнѣ на словахъ резолюцію. А буде того
не учинишь, то я съ тобой какъ съ злодѣемъ поступлю».

Полученное шесть дней назадъ, это письмо еще болѣе взвол-
новало и огорчило Алексѣя. Онъ снова поспѣшилъ къ Киѣну.

— Да чего же ты сомнѣваешься, паревичъ? — сказалъ со-
вѣтникъ. — Придетъ время и разстрижешься: клобукъ, вѣдь,
не гвоздемъ къ головѣ прибить!

Алексѣй на другой день отвѣтилъ отцу: «Милостивѣйшій
государь-батюшка. Письмо ваше я получилъ, на которое
больше писать, за болѣзнію, не могу. Желаю монашескаго
чина и прошу вашего о семъ милостиваго позволенія. Рабъ
вашъ и непотребный сынъ Алексѣй».

Перечтя письма, Алексѣй молча уложилъ ихъ обратно въ
ларецъ и спряталъ его въ шкафъ. Онъ вспомнилъ опять о
Смолокуровой. «Какъ я низокъ и гнусенъ, что такъ мало
забочусь и думаю о ней! — мыслить онъ, прохаживаясь по
комнатѣ. — Почти забылъ ее, а она теперь единственное мое
счастье, вся отрада! И какъ она любитъ, какія грамотки
пишетъ; умица, богобоязненна, хозяйственна и добра. Но
давно не отзывалась, — ужъ здорова ли?»

Алексѣй живо представилъ себѣ дальнѣйшія встрѣчи съ
Афросиньею въ Вязѣмахъ, чрезъ которыя онъ не разъ по-
томъ ѣздилъ на осмотръ новокупленной вотчины и гдѣ
иногда оставался охотиться. Послѣ вечера, когда онъ впер-
вые увидѣлъ ее во дворѣ священника, онъ, идучи съ бор-
зыми по полю, неожиданно встрѣтилъ ее у опушки лѣса.
Смолокурова собирала съ подругами грибы. Алексѣй загово-
рилъ съ нею, шутилъ. «Какія мы милыя, да красавицы, съ

такими-то ручищами! — усмѣхнувшись, отвѣтила она, показывая свои загорѣлыя, точно испеченныя на солнцѣ, руки. — Эткими только жать, да вязать снопы!» Случались и другія встрѣчи, за околицей, на дорогѣ, у мельницы на рѣкѣ. Царевичу приходилось вскорѣ возвращаться изъ Порѣчья въ Петербургъ. Вязёмовскій священникъ въ ту пору отлучился въ Москву... Темною ночью, къ задворкамъ его усадьбы, подкатила телѣга. Бубенцы и колокольчикъ на лошадахъ были подвязаны. Садомъ, въ огородъ, неслышно сошла попова питомка. Ее подхватили черезъ заборъ и усадили въ телѣгу. Лошади помчались. Ими правилъ въ кучерскомъ нарядѣ самъ царевичъ. Утромъ спохватились питомки, — ея и слѣдъ простылъ. Впослѣдствіи оказалось, что ее увезли, съ поклажей царевича, въ особой колымажкѣ, въ Москву. Здѣсь она нѣкоторое время скрывалась въ домѣ пріятеля царевича, Александра Васильевича Кикина, а потомъ навѣщала въ Петербургѣ своего брата, уже служившаго при дворѣ Алексѣя.

III.

Дверь въ кабинетъ изъ спальни отворилась. На ея порогѣ появился, радостно сіяющій, съ подносомъ въ рукѣ, камердинеръ.

— Что ты? — спросилъ его царевичъ.

— Отъ Александра Васильевича, — отвѣтилъ слуга, подавая на подносѣ письмо изъ Москвы: — коли что надо, накавалъ, писали бы; вечеромъ, молъ, опять въ вотчину оказія.

Алексѣй въ надписи на письмѣ узналъ четкій, прямой и крупный почеркъ Афросины.

— Ну, хорошо, ступай, — сказалъ онъ: — позову, когда надо.

Краска залила его лицо. Съ забившимся сердцемъ, онъ всякрылъ печать. На пакетѣ была надпись: «Государю моему, другу сердечному, царевичу Алексѣю Петровичу. Прійти близко, поклонитесь низко, честь весело, быть радостну». Въ письмѣ было написано: «Государь мой батюшка, другъ желанный, царевичъ Алексѣй Петровичъ, здравствуй на много лѣтъ! Азъ же, по волѣ Божіей жива еще, по десятый день сего януарія. Не забудь, радость, любовь мою къ тебѣ, а во мнѣ духъ съ печали едва живъ. Охъ, другъ мой, любонька-свѣтъ! Съ ежечасной докуки свѣта Божьяго не вижу. Будь крылья у сироты убогой, сама прилетѣла бы. Ой, скучно, смерть моя! Милъ-человѣкъ день и ночь въ глазахъ.

И гдѣ прежнія веселыя восхищенія, гдѣ радости? Либо вызови, либо самъ прїѣзжай. Дай повидать свѣтлыя оченьки. Самъ не можешь, хотъ вели, солнышко, ближнимъ по тайности описать. Да пришли мою семиструнку. Ей, соскучилась, не на чемъ душеньку отвести. А я, писавши, остаюсь вѣрная твоя раба, женишка запретная Фроська, челоуѣкъ премного бью».

«Не запретная и не по тайности, — когда-нибудь все то обрѣтется и въ-явь!» — подумалъ царевичъ, пряча за пазуху письмо Смолокуровой. Онъ снова присѣлъ къ столу, досталъ бумаги, вырѣзалъ конвертъ, надписалъ на немъ: «Матушкѣ, хозяйшкѣ, любезнѣйшей Афросьюшкѣ. Прїйти близко, поклонитесь низко, честь весело, принять радостно» — и подумавъ, съ разстановками, написалъ слѣдующій отвѣтъ:

«Матушка Афросьюшка, другъ мой сердечный, здравствуй! О себѣ извѣствую, Божьею помощію такожде еще живъ, о твоёмъ же здравіи непрестанно слышати желаю. А что безгласна по се число была, ни единой грамотки не писала, и тѣмъ уязвися сердце мое печалью. Никто съ вотчины не писывалъ же, а иные съ домовъ непрестанно получаютъ. Ей, матушка, любонька, утѣшь, пожалѣй; не мало тяготы и смертныхъ докукъ отъ вышней стороны имѣемъ. Инако же не думаемъ, какъ объ увольненіи насъ отъ всѣхъ дѣлъ на покой, на наше съ тобою хозяйство. Какъ наши лебеди, павлины, гуси, живы ли? Какъ житный, скотный и конюшій дворы? такожде урожай каковъ вышелъ, варятъ ли брагу, меды? далъ ли Богъ убережъ улечковъ, пчелъ молодыхъ? Придетъ вешня пора, опиши все, бережены ль пруды и какъ уродить всякій новый овоцъ и хлѣба. Улетѣлъ бы я къ хозяйшкѣ. Вспомяни гудянье въ рошѣ. Возвѣрнувшись кверху древа и види гнѣздо и птичища, въ немъ сидяща, кому въ тѣ поры уподобила мя еси? малѣйшей птичицы хуже! У той — зелена, густа, дубрава, у насъ сиротъ — скорбная тюрьма; у той — высота синь-небесная, воля — свѣтъ, намъ отъ родшаго ны — таковы печали, абы, случаю зовущу, не умерти безъ покаянія. И что нынѣ приводится: либо насильно постригитись, идти въ чернецы, либо таки на иноземной велятъ жениться. Только батюшка вершитъ свое, а Богъ свое. Попуститъ Богъ, женюсь, только по своей волѣ, — вить и батюшка таковымъ же образомъ учинилъ...»

Написавъ это, Алексѣй остановился и оглянулся. «Ну,

какъ кому изъ стороннихъ смотрѣльщиковъ попадутся эти строки?—подумаль онъ,—пустяки! некому теперь смотрѣть и доносить. Отецъ съ осени ни ногой сюда, со мной вовсе не говорить, а написавъ послѣднее свое напоминаніе, и окончательно махнулъ на меня рукой. Будь, что будетъ, — сердцу не преградить пути».

Алексѣй вспомнилъ просьбу Смолокуровой о присылкѣ ей въ Порѣчье лютни. Онъ снялъ послѣднюю со стѣны, отеръ съ нея пыль, тронулъ ея струны. Ему вспомнилась пѣсня, которую подъ эти струны пѣла Афросинья:

«Ахъ, сколь трудно человѣку
Жить безъ счастья въ младомъ вѣку!
О младыя мои лѣта,
Что дрожайша всяка цвѣта!
Коли пройдетъ цвѣтъ mladости,
Не чаешь уже быть въ радости»...

— «Именно,—сказаль себѣ Алексѣй:—на что и почести, сила и высокій санъ, коли нѣтъ счастья, нѣтъ радости?» Онъ снова склонилъ надъ бумагой и дописаль: «Семи-струнку твою, не безъ жалости, отсылаю, цѣлуя личико бѣлое, оченьки ясныя, рученьки и ноженьки. И пожалуй, матушка, не молчи, отписывай, а коли твоя воля на то, изволь безъ опаски и къ намъ побывать. Вышніе на-дняхъ паки отъѣзжаютъ къ арміи и надолго, и имъ, по всему видать, нынѣ не до насъ. За симъ, будь здорова, кланяюсь до-клонно. Писавый—другъ твой вѣрный, Алексѣй.»

Запечатавъ письмо, царевичъ позваль слугу, отдалъ ему пакетъ и лютню и велѣлъ немедленно отослать съ ѣздовымъ къ Кикину. «Да въ руки самому Александру Васильевичу, слышишь ли?—приказаль онъ,—ему одному; не будетъ дома, чтобъ обождалъ». — «Не сомнѣвайтесь, ваше царское высочество!—отвѣтилъ слуга.—Недалекъ путь, самъ отнесу».

Алексѣй, съ облегченнымъ сердцемъ, опустился въ кресло.

«Вѣрно написаль я,—мыслилъ онъ,—батюшка вершить свое, а Богъ свое. Мало ли на что, по вынужденію, соглашаются? Ужли и вправду надѣтъ рясу и клобукъ, что Василию Шуйскому? Не попуститъ Богъ, руки коротки!»—Онъ вспомнилъ о забытомъ кофе, и только-что коснулся чашки, на улицѣ послышался звукъ барабана. Часовой у подѣзда билъ тревогу. Царевичъ бросился къ окну и замеръ въ недоумѣніи.

Караулъ у подъѣзда строился во фронтъ. Прохожіе на улицѣ снимали шапки. Со стороны Литейной неслись государевы сани. «Не ко мнѣ, вѣроятно, мимо, на прядильный дворъ,—подумалъ царевичъ,—не за чѣмъ ему сюда!» Сани, между тѣмъ, подкатили къ крыльцу. Отдавъ честь караулу, государь вышелъ изъ саней, отряхнулъ съ себя снѣгъ и сталъ подниматься на крыльцо. Совершенно растерявшійся Алексѣй нѣсколько секундъ не зналъ, что ему дѣлать. Опомнившись, онъ схватилъ съ полки и раскрылъ—было на столѣ еще осенью присланную отцомъ тетрадь пушкарныхъ чертежей, но раздумалъ, прилѣгъ на софу и, повторяя мысленно: «помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!»—принялъ видъ недужнаго и страждущаго. Въ прихожей слышались знакомые тяжелые и твердые шаги. Они близились къ пріемной. «Гдѣ же онъ? здоровъ ли?»—громко спрашивалъ растерявшихся слугъ голосъ Петра.

Въ то утро, проснувшись, по обыкновенію, съ зарей и откинувъ занавѣску съ окна, государь навелъ подозрительную трубу на противоположный берегъ Невы, гдѣ на окраинѣ Лѣтнаго сада, рядомъ съ каменнымъ двухъэтажнымъ дворцомъ Екатерины, тогда строился новый флигель, очень заботившій Петра. Онъ самъ въ то время продолжалъ еще жить въ крошечномъ деревянномъ дворцѣ, на Петербургской сторонѣ, гдѣ нынѣ часовня Спаса. Все его помѣщеніе состояло изъ маленькой пріемной, служившей вмѣстѣ и столовою, еще меньшей дежурной комнаты для адъютантовъ и ординарцевъ и кабинета, гдѣ государь и спалъ.

Дежурнымъ въ то утро состоялъ недавно возвратившійся изъ арміи, посланной противъ шведовъ, бывшій любимый государевъ денщикъ, нынѣ капитанъ гвардіи, Александръ Ивановичъ Румянцевъ. Ему было нѣсколько не по себѣ. Являсь, по привычкѣ, на дежурство до разсвѣта, онъ съ тревогой поглядывалъ на узенькую кабинетную дверь. Нагорѣвшая сальная свѣча тускло освѣщала дежурную комнату. Увидѣвъ на ступѣ у двери государевъ суконый зеленый кафтанъ, такіе же пшотлеты и камзолъ, а на полу высокіе, съ раструбами, сапоги, Румянцевъ, не дождавшись камердинера, досталъ изъ шкафика въ углу комнаты ваксу и щетку, почистилъ государевы сапоги и принялся за его платье. Замѣтивъ отпоротый на камзолѣ позументъ и плохо держав-

шуюся на кафтанѣ пуговку, онъ отстегнуть у себя лапканъ, гдѣ про запасъ всегда держалъ иглу, обмотанную ниткой, и, подсѣвъ къ свѣчѣ, принялся штопать. «Вотъ она, его бережливостъ!—разсуждалъ онъ, закрѣпивъ пуговку и принимаясь чинить камзолъ.—Побывать я и въ Турціи, и въ Швеціи, сколько одежды истрепалъ, а онъ все одно и то же носитъ платье. Оно у него и будничное, и праздничное, — залоснилось на отворотахъ, стамедь на подкладкѣ вытерся, а ему ничего, — о лучшемъ нарядѣ и не думаетъ. Хорошо еще, скупился бы на себя, да насъ не забывалъ бы... Куда! Зовемъ ближними, видать по всѣ дни его царскую расположенность къ намъ, а въ домашнемъ обиходѣ совсѣмъ истончали, живемъ скудно, чуть не въ бѣдности и послѣдней тѣснотѣ. Тридцать шестой годъ пошелъ, двѣнадцать лѣтъ несу службу и никакого состоянія; хоть бы деревнюшкой какой пожаловалъ или домомъ въ столицѣ. А того ли можно было, по близости къ цареву дому, ожидать?» Румянцеву вспомнилась первая его встрѣча съ царемъ.

Сынъ бѣднаго костромскаго дворянина, двѣнадцать лѣтъ назадъ записанный въ преображенскіе солдаты, онъ стоялъ на часахъ у только что отстроеннаго государева дворца. Петербургъ въ то время также едва возникалъ изъ болотъ. Былъ сильный, съ вѣтромъ, морозъ. Прогнозировавшій до костей, въ неподбитомъ мѣхомъ плащѣ, широкоплечій и рослый, разруганный на морозѣ часовой, пожимаясь и постукивая ногой объ ногу, прохаживался у дворца съ ружьемъ на плечѣ. Государь былъ на постройкѣ верфи. Всѣ поглядывали на Неву; пушка давно пробила адмиральскій часъ, а государя еще не было. На льду показались, наконецъ, государевы сани. Завидѣвъ у крыльца статнаго, молодцеватаго солдата, Петръ подозвалъ его къ себѣ. «Какъ прозываешься?»—спросилъ онъ.—«Румянцевъ».—«Прозвище и лицо одной масти!»—улыбнулся Петръ.—«Коли нравъ и ревность къ службѣ не разнствуютъ отъ того жъ, быть тебѣ на отличіи... Имѣешь состояніе?»—«У отца двадцать душъ».—«Сильно озябъ?»—«Никакъ нѣтъ,—это что еще за морозы! Клоуетъ только, не рветъ...»—«Шуба есть?»—«Въ деревнѣ у матушки осталась, — тутъ не до шубъ».—«Молодецъ!.. Смѣнишься, зайди къ Данилычу». Постѣ смѣны, являсь къ Меншикову, Румянцевъ былъ осчастливленъ двумя монаршими милостями: ему поднесли стаканъ собственной пар-

ской церкви и объявили, что государь изволилъ принять его, съ того же дня, въ ординары. За расторопность, честность и точность въ исполненіи множества ежедневныхъ порученій государя онъ вскорѣ былъ произведенъ въ сержанты гвардіи, за привозъ изъ Турціи извѣстія о мирѣ съ Портой — въ поручики и черезъ три года — въ капитаны гвардіи.

«Отличій, что и говорить, не мало, а жить, все-таки, не чѣмъ! — мыслить Румянцевъ, кончивъ штопанье государева платья и пряча иглу. — И сколько разъ жадобно печалился я ему; одинъ отвѣтъ: подожди! Ну, да, Господь дастъ, скоро авось оправимся. Отецъ наѣхалъ, сватаетъ богатую невѣсту. Только какъ и съ этимъ рѣшиться, не объявлясь царю?»

IV.

Бережно сложивъ на стулъ государеву одежду и видя, что начало разсвѣтать, онъ загасилъ щипцами свѣчу. Вскорѣ за дверью послышались шаги государя въ туфляхъ. Румянцевъ, по привычкѣ, каждую минуту угадывалъ, что въ извѣстную пору дѣлалъ государь. «Вотъ онъ откинулъ занавѣски у оконъ, умывается, — думалъ онъ. — Теперь умылся, чешется, скоро возьметъ одежду, станетъ молиться». И точно, дверь пріотворилась, въ нее просунулась мускулистая, волосатая рука государя: Петръ самъ взялъ платье и сапоги. Слышно было, какъ молча постоялъ, очевидно, молясь, и присѣлъ къ рабочему столу. Прошло съ полчаса. Послышался стукъ отодвинутаго стула; зазвучало точильное колесо. «Точить костяное паникадило, — скоро выйдетъ!» — сказалъ себѣ Румянцевъ, бросаясь въ столовую, взглянуть, — всё ли тамъ припасено. Дверь отворилась.

— А это ты, Иванычъ? — произнесъ Петръ: — и, кстати, есть дѣло къ тебѣ. Готова ли закуска?

— Готова, ваше величество.

Петръ направился къ столовой. Румянцевъ у ея порога упалъ передъ нимъ на колѣни.

— Что ты? — удивился государь.

— Много, превыше заслугъ, твоею милостью, государь, почтенъ, только не осуди за правое слово.

— Въ чемъ дѣло?.. Встань, говори.

Петръ вошелъ въ столовую, Румянцевъ за нимъ.

— За твои милости, великій государь, до конца дней буду

молить Бога о твоёмъ здоровіи,—сказала онъ, поднося Петру флагу тминной.—Люди мы только, прости, мелкотравчатые, малопомѣстные, жить въ скудости и бѣдности тяжело. За что попускаешь терпѣть недостатки?

— Учись, братецъ, терпѣнью, продолжай отличать по службѣ,—произнесъ Петръ, выпивая тминной и закусывая ее кренделемъ,—придетъ время, рука моя развернется, посыплются и на тебя всякіе земные дары и блага.

— Казна у тебя, батюшка царь, не богата,—продолжалъ Румянцевъ:—много про нея нужды, а насъ, просящихъ, у тебя еще того больше... Есть, государь, иной способъ...

— Какой?

— Родитель сватаетъ мнѣ богатую невѣсту; назначена и вечеринка для смотринъ и сговора.

— Сколько за невѣстой приданаго?

— Тысяча душъ.

— Чѣмъ будетъ невѣста?

— Племянница Кикина.

— Какого?

— Александра Васильевича.

— Но у него свои дѣти, почему такъ награждаетъ племянницу?

— Ея мать была изъ богатыхъ; родная сестра жены Кикина, у нихъ сирота и выросла.

Петръ помолчалъ.

— Нравится дѣвка тебѣ?—спросилъ онъ:—видѣлъ ты ее? хороша-ль?

— Не видѣлъ, государь, не утаю; а сказываютъ, не дурна и не глупа.

— Такъ съ чего жъ тебѣ за нее свататься? ужли потому только, что коза съ золотыми рогами?

Румянцевъ смѣшался, подыскивая, что отвѣтить государю.

«Кикинъ,—съ досадой думать тѣмъ временемъ Петръ,—сынку моему тайный доброхотъ и радѣлецъ во всѣхъ его непотребствахъ; смекнулъ, видно, что царскому ординарцу легче, чѣмъ иному, дойти до первыхъ степеней, и затѣялъ сбыть свою родню».

— Вотъ тебѣ, Румянцевъ, мое рѣшеніе,—сказалъ государь, вставая изъ-за стола.—Вечеринкѣ и смотринамъ почему не быть, позволяю,—отъ сговора же вслѣдски помедли, удержишься... Когда назначена вечеринка?

— Завтра.

— Простая или какъ быть слѣдуетъ, съ музыкой и танцами, ассамблея?

— Ассамблея.

— Отлично. Дай сейчасъ знать Кикину, я и самъ буду у него на смотринахъ; и коли невѣста тебѣ пара, не стану перечить браку и твоему счастью.

Румянцевъ низко поклонился.

— А вотъ и кстати, — сказалъ Петръ, увидя въ окно готовыя сани у крыльца, — ѣдемъ вмѣстѣ; мнѣ къ Литейной, и тебѣ туда же, — подвезу.

Румянцевъ сталъ на запятки государевыхъ саней. Осмотрѣвъ постройку у Лѣтнаго сада, Петръ на Литейной ссадилъ Румянцева, а самъ, повернувъ на Шпалерную, оставился у дворца Алексѣя.

— Что же и впрямь хвораетъ? — спросилъ онъ, войдя къ сыну и видя, что тотъ, унылый и блѣдный, лежитъ на софѣ.

— Недужень, государь-батюшка, — отвѣтилъ, поднявшись и кланяясь, Алексѣй.

Петръ зорко осмотрѣлъ его, приподнялъ его волосы, коснулся лба и взялъ его руку.

— Жара не слышно, пульсъ умѣренный, лихоманки, стало-быть, нѣтъ, — въ чемъ же немочь, скажи?

Сынъ молчалъ. Отецъ взглянулъ на столъ.

— Чертежи разсматривалъ, — произнесъ онъ: — сдѣлать ремарки?

— Прости, государь, за хворостъ, не успѣлъ.

Петръ покачалъ головой.

— Все некогда? — сказалъ онъ. — Мы къ обѣднѣ — тамъ отѣли, мы къ обѣду — тамъ отѣли, мы въ кабакъ — только такъ... Вѣрно ли говорю?

Увидя на полѣхъ духовныя, въ почернѣлыхъ переплетахъ, книги, Петръ взялъ одну изъ нихъ, разогнулъ и сталъ просматривать.

— Ужли и впрямь готовишься, — спросилъ онъ: — слушая своихъ бородачей, подъ клобукъ?

Алексѣй молча переступилъ съ ноги на ногу.

Петръ бросилъ книгу на столъ и опустился въ кресло.

— Слушай, Алѣша, — сказалъ онъ дрогнувшимъ голосомъ: — сядь и обдумай, что скажу.

Царевичъ сѣлъ, противъ отца, на софѣ.

«Боже Господи, — съ радостно-забывшимся сердцемъ подумалъ онъ, — Алѣшей, какъ въ дѣтствѣ, называлъ Алѣшей, вмѣсто ненавистаго, нѣмецкаго Зоона, и такъ добродушно... неужели привезъ прощенье и забвеніе всему?»

— Ой, черноризцы, попы, бородачи, — корень всякому злу! — началъ Петръ. — Не научать они тебя, любезный, добру. помани меня; ученіе въ этихъ книгахъ свѣтло, да, душа-то ихъ и сами они черны, какъ перенцетъ. Къ намъ приставлено по одному бѣсу, къ нимъ по семи. Скажи мнѣ, только откровенно, не картавя, безъ удобо-вымышленныхъ аргументовъ и лживыхъ рацей, — почему въ столь ранніе годы предпочитаешь ты живому, бодрящему дѣлу монашескій чинъ?.. Одни мы, никто насъ не слушаетъ, говори...

Государь всталъ, заглянулъ въ пріемную и въ опочивальню сына, заперъ обѣ двери и снова сѣлъ.

— Батюшка, — отвѣтилъ царевичъ, — дѣло простое: не всякому подѣ силу тяжелый трудъ, тѣмъ паче воинское поведеніе.

— А меня, Алѣша, тебѣ не жаль? — произнесъ Петръ. — Ты обученъ всему, получилъ доступъ къ умнымъ книгамъ, а же во младости былъ лишень не только дѣльныхъ наставниковъ, но и книгъ... Не взирая на то, поднимай я непомѣрное бремя на плечи, отечество отъ прежнихъ азіатскихъ обычаевъ ввелъ въ Европу, и вездѣ одинъ, одинъ, какъ перстъ. Давно говорю тебѣ и всѣмъ вамъ, — глѣвшей не владѣю, въ одной же рукѣ держать шпагу и перо возможно ли, а помощниковъ вѣрныхъ, самъ знаешь, ни одного... Да хотя бы и были, развѣ они то же, что родной сынъ?

Слезы навернулись на глазахъ Алексѣя. Онъ дышалъ тяжело.

— Батюшка, помилуй, — сказалъ онъ, схвативъ руку отца и покрывая ее поцѣлуями. — Не повелишь изъ жалости въ монахи, не принуждай къ дѣламъ, коихъ недостойнъ и не осидю, — отпусти, увольъ отъ всего.

— Какъ уволить? — спросилъ, нахмурясь, Петръ.

— Въ деревнишки мои, на хозяйство, — отвѣтилъ, не выпуская руки отца, царевичъ. — Никнѣ Господь дасть мнѣ брата, у васъ второй есть сынъ, до его возраста управлять другіе; дай вѣкъ въ тихости прожить, простымъ человѣкомъ.

Въ глазахъ Петра сверкнулъ гнѣвный огонь. «Уголь его рта, съ подстриженнымъ усомъ, судорожно задвигался.

— Это откуда, — вскрикнулъ онъ, вырвавъ отъ сына руку, — подсказано? Пароль суздальской чернохвостницы? Глупъ ты, Алексѣй; двадцать шесть дѣтъ тебѣ, а ты какъ игна желтоногая, безпѣрая, все въ чужой ротъ смотришь. Эй, остерегись слушать льстивую, древнюю змѣю и всѣхъ черныхъ воронъ, старцевъ да поповъ, ея прислѣшниковъ и вѣрныхъ слугъ. Ну, да ты правды не скажешь и не сознаешься. Впослѣдствіи самъ доподлинно узнаешь ихъ скрытую прелесть и клеветные поступки. Не даромъ, поймешь, пошелъ я, съ костылемъ Грознаго, на всѣхъ этихъ безчинниковъ и ихъ крамолу. У исторіи ротъ незатворенный, — потомство узнаетъ все.

Петръ замолчалъ, стараясь утишить поднявшееся въ немъ негодование. Царевичъ обсуждалъ, сказать ли отцу заветную свою мысль объ Афросинѣ. «Мы съ нимъ на одной стезѣ поставлены судьбой, — мыслить онъ, — подобно ему, и я люблю плѣнницу, только онъ нѣмку, я русскую, онъ при живой женѣ, я вдовый. Кто изъ насъ болѣе правъ?»

— Такъ что же ты скажешь, чѣмъ окончательно рѣшишь? — спросилъ Петръ. — Черезъ три дня ѣду въ Копенгагенъ, хочешь ли быть мнѣ помощникомъ, или, въ стыдъ и досаду отечеству, на самомъ дѣлѣ примешь монашескій чинъ? Ужели царевичу, моему сыну, быть въ нѣтѣхъ?

Алексѣй склонилъ голову. «Не согласится отецъ, — мыслить онъ, — еще отъ гнѣва разразится въ конецъ, изведетъ неповинную».

— Позволь, государь, постричься, — отвѣтилъ онъ, вставая въ поясъ. — Въ томъ мое рѣшеніе, коли позволишь, нерушимо.

Петръ, медленно выпрямляясь, всталъ. «Вотъ оно, Авдотьино сѣмя, упорный заклѣтый родъ Милославскихъ, вотъ оно! — подумалъ онъ, съ горечью глядя на сына. — Да не будетъ потачки лицемѣрамъ и всякому ихъ дурну и алу! Малаго обошли, ошутали черные науки... Надо дать время; авось самъ комаръ вырвется изъ ихъ паутины».

— И это твое послѣднее слово? — спросилъ государь.

Алексѣй молча поклонился.

— Прощай же! Дѣлю важное, одумайся, не спиши. Мое мнѣніе — лучше взяться за открытую, прямую дорогу, чѣмъ

въ столь молодые годы идти въ чернецы. Я же не забылъ, что тебѣ отецъ, а потому вотъ тебѣ и мое послѣднее слово: буду ждать окончательнаго твоего рѣшенія, отъ сего дня, еще полгода.

Петръ надѣлъ шляпу, обнялъ сына и направился къ выходу.

— Кстати, — сказалъ онъ, одѣвшись и спускаясь съ крыльца къ сѣнямъ: — у насъ скоро быть помолвкѣ, твой пріятель Кикинъ племяннику сватаетъ.

— За кого, батюшка?

— За капитана Румянцева; не былъ бы ты въ траурѣ, вмѣстѣ бы поѣхали, — я же завтра на смотринахъ буду.

«Вотъ удивительно, — подумалъ царевичъ, — отецъ собирается къ Кикину: знать не къ добру».

Проводивъ государя, Алексѣй медленно возвратился въ кабинетъ, постоялъ передъ столомъ и упалъ, горько рыдая, на софу. «Молодые годы!.. прямой путь! — мысленно повторялъ онъ, ухватясь за голову. — Но если бы точно все это говорилъ отецъ, если бы онъ по правдѣ любилъ меня, ужли для молодости, для счастья родного сына онъ не уважилъ бы его искренней, душевной мольбы?»

V.

На другой день была ассамблея у Кикина. Гостей съѣхалось много. Кромѣ радушія пріятливыхъ и умныхъ хозяевъ, всѣхъ привлекала вѣсть, что на ихъ вечеринкѣ будетъ самъ государь.

Александръ Васильевичъ Кикинъ двадцать лѣтъ назадъ, въ числѣ другихъ волонтеровъ, былъ при великомъ посольствѣ съ Петромъ въ Голландію, гдѣ съ товарищами учился кораблестроенію. Вернувшись оттуда, въ званіи мачтъ-макера, онъ состоялъ на верфяхъ въ Воронежѣ и Олонцѣ. Въ чинѣ адмиралтействъ-совѣтника онъ снова побывалъ въ чужихъ краяхъ. По кончинѣ отца, получивъ изрядное наследство, онъ сталъ проситься на покой, но не былъ уволенъ. Это было началомъ его охлажденія къ Петру. Назначенный состоять при дворѣ царевны Маріи Алексѣвны, Кикинъ, кромѣ дома, не удали отъ двора Меншикова, на набережной Васильевского острова, построилъ себѣ еще домъ, на Невѣ, у Смольнаго двора. Здѣсь онъ жилъ съ семьей.

Перейдя въ рядъ тайныхъ недоброжелателей Петра, Кикинъ, и въ первые годы близкой службы при немъ, не выполнѣ одобрялъ ломки царемъ всего стараго, освященнаго обычаями вѣковъ. Отъ природы набожный, строго соблюдавшій посты и всѣ прочіе церковные обряды, онъ въ домашней жизни охотно допускалъ непротивные догматамъ отцовской вѣры европейскіе обычаи — вечеринки, музыку, танцы.

Ассамблея у Кикиныхъ была въ полномъ разгарѣ. Шли угощенія сластями и виномъ. Пожилые играли въ карты и шахматы. Танцы, въ ожиданіи царя, нѣкоторое время не начинались; но въ виду того, что государь не любилъ, чтобы имъ гдѣ-либо стѣснялись, хозяева дали знакъ музыкантамъ и молодежь пустилась въ плясъ. Гавоты смѣнялись менуэтами. Румянцевъ, познакомясь съ дѣвушкой, которую ему сватали, танцовалъ съ нею нѣсколько разъ, все поглядывая на входную дверь, гдѣ толпившаяся прислуга любовалась танцующими, разряженными въ пышные робы дамами и дѣвицами. Вечеринка кончилась; ни хозяева, ни гости государя не видѣли. Впослѣдствіи только стало извѣстно, что уже въ концѣ вечеринки, когда подпившіе старики крикнули «русскую» и двое изъ лучшихъ гвардейцевъ-плясуновъ, выйдя на средину залы съ своими дамами, стали танцовать, — неожиданно подѣхавшій государь вошелъ въ переднюю, протискался между слугъ, поглядѣлъ изъ-за нихъ на гостей и, проговоривъ вполголоса: «Неважно! ничему не бывать!» — уѣхалъ.

На утро Петръ призвалъ Румянцева.

— Былъ я, братецъ, у Кикиныхъ, — сказалъ онъ ему: — на-короткѣ, а все видѣлъ; невѣста тебѣ не пара и о бракѣ съ нею позабудь. Ты вонъ какой молодецъ, и ростомъ: взялъ, и красой, а она хоть и умильна, — отнять того нельзя, — но сухошава больно и мелка, въ родѣ, извини, какъ бы воробушекъ.

Румянцевъ нахмурился. «И какое ему дѣло, — подумалъ онъ, — вѣщиваться, такъ разбирать? Одно ясно видно, не хочеть онъ допустить просвѣтленія моей участи, даже и черезъ женитьбу».

— Печалишься, недоволенъ? — спросилъ Петръ. — Успокойся, я твой свать; найду и высватаю тебѣ получше. Приходи вечеромъ сегодня, увидишь, правду ли говорю.

Въ тотъ же день вечеромъ Румянцевъ снова явился къ государю.

— Вчера черезъ тебя я попалъ на одну вечеринку, — сказалъ ему Петръ: — сегодня самъ тебя свезу на другую. Домъ, куда поѣдемъ, не Кикинымъ чета. Тамъ будутъ дѣвушки инныя: выбирай любую, какая приглянется, — отказа черезъ меня не получишь.

Государь и Румянцевъ поѣхали въ домъ графа Матѣева, на Луговую.

Андрей Артамоновичъ Матѣевъ былъ любимѣйшимъ изъ посѣбниковъ Петра. Сынъ знаменитаго боярина, Артамоа Сергѣевича, у котораго царь Алексѣй нѣкогда высмотрѣлъ и посваталъ за себя Наталью Кирилловну Нарышкину, мать Петра, — Андрей Артамоновичъ свои дѣтскіе годы провелъ, при царѣ Ѳеодорѣ, въ ссылкѣ, въ Пустозерскомъ монастырѣ, гдѣ изгнанники жили въ нуждѣ и въ холодѣ, безъ печи и безъ хлѣба. Съ воспареніемъ Петра, Андрей Артамоновичъ былъ назначенъ двинскимъ воеводой, потомъ состоялъ посломъ въ Голландіи, Франціи, Англіи и Австріи. Пожалованный, два года назадъ, графомъ, сенаторомъ и президентомъ юстицъ-коллегіи, онъ поселился въ Петербургѣ, гдѣ всѣхъ плѣнялъ своимъ широкимъ и щедрымъ хлѣбосольствомъ.

Обширный каменный домъ графа Матѣева, близъ адмиралтейства, на Луговой, состоялъ болѣе чѣмъ изъ тридцати комнатъ. Къ дому, сквозь каменные ворота, съ дворянскимъ гербомъ на щитѣ, вела аллея изъ липъ и березъ. Стѣны столовой палаты въ домѣ были обиты нѣмецкими золочеными кожами. Передній уголъ въ ней и часть прилегающихъ къ нему стѣнъ были унизаны иконами, въ дорожкахъ окладахъ, съ висящими передъ ними лампадами. На прочихъ стѣнахъ висѣли, въ рѣзныхъ деревянныхъ рамахъ, «персоны» царей Іоанна Васильевича Грознаго, Михаила Ѳеодоровича, Алексѣя Михайловича, Іоанна и Петра Алексѣевичей, также французскаго Людовика XIV и шведскаго Карла XII. Окна въ столовой были въ два пояса, верхнія изъ нихъ по стекламъ расписаны севозною живописью, фигурами красивыхъ женщинъ и воиновъ. На срединѣ полотнянаго, крытаго голубою краской, потолка золотомъ было изображено солнце, съ лучами, и вокругъ него созвѣздія и планеты. Изъ середины солнца надъ столомъ

опускалось костяное паникадило, о четырехъ поясахъ, съ шестью свѣчами въ каждомъ. Въ простѣнкахъ между оконъ висѣли зеркала въ точеныхъ деревянныхъ, посеребрённыхъ и черепаховыхъ рамахъ. Скамьи и стулья были обиты синимъ сукномъ. На полкахъ и особыхъ неставкахъ красовалась старинная, серебряная и золотая посуда, — кубки, братины, кружки и ковши съ чеканенными на нихъ крылатыми геніями, деревьями и цвѣтами.

Въ пріемной-гостиной палатѣ окна были также въ два пояса, но на верхнихъ, вмѣсто фигуръ, были изображены сады и поля. Здѣсь былъ большой, на ножкахъ, голландскій изразцовый зеленый каминъ. На немъ стояли часы съ боемъ, и въ нихъ, вмѣсто маятника, амуръ, качавійся на качели, подъ стекляннымъ полпакомъ. Стѣны гостиной палаты обиты краснымъ сукномъ, вперемежку съ холщевыми шпалерами, изображавшими морскіе виды и корабли. Съ потолка гостиной, на проволоку, съ хрустальными прорѣзями, спускались три хрустальныя люстры. Стулья и лавки здѣсь были обиты косматымъ бархатомъ и бухарскими коврами. Въ углу, на деревянномъ станкѣ, стоялъ нѣмецкій органъ. На стѣнѣ, противъ оконъ, висѣли три голландскія картины, съ библейскими изображеніями: Судъ Соломоновъ, Давидъ и Голиафъ и прекрасная Сусанна у купели; на полкахъ подъ ними были разставлены разныя вещи: шкатулки съ янтарною и костяною отдѣлкой, кувшинцы, сулей и чашки черепаховыя, фарфоровыя и алебастровыя, и костяныя фигурки, а по бокамъ полокъ висѣло древнее оружіе: мечи и кинжалы съ серебряною и финифтяною насѣлкой, обухи, пищали, протазаны, кульчуги, луки и топоры. Изъ пріемной одна дверь вела въ бильярдную, другая — въ библіотеку. Здѣсь въ фигурчатыхъ шкапахъ, вывезенныхъ хозяиномъ изъ Лондона и Вѣны, за стеклами, хранилось собраніе иностранныхъ изданій и русскія книги, по духу времени, большею частью церковныя: *Руко одушевленное, Евангеліе толковое, О благовѣстномъ стояннѣ въ храмъ Божіемъ, Патерикъ печерскій, О житіи вѣнца Христова, Объ антихристѣ и пр.* Но были здѣсь и свѣтскія: *Римотворная, Право или уставъ Галанскія земли, О вражданскомъ житіи и направленнѣи въсѣхъ дѣлъ, аже надлежитъ народу и Како царица Олунда близнѣтъ породы и како ихъ мать кесарева хотѣ поубити.*

Едва смерклось, дворъ графа Матвѣева освѣтился площадками и фонарями. Съ шести часовъ вечера начался съѣздъ гостей. Въ ворота то и дѣло въѣзжали шестерками и четверками, на полозьяхъ и колесахъ, колымаги, берлины и открытыя калѣши. Государь пріѣхалъ въ семь часовъ. Встрѣченный музыкой, онъ хозяиномъ и хозяйкой былъ проведенъ въ театральную палату, гдѣ ждали уже всѣ гости. Здѣсь, по знаку хозяина, въ глубинѣ комнаты раздвинулась занавѣсъ и на подмосткахъ, убранныхъ живыми растеніями, собственными актерами графа, изъ его дворовыхъ слугъ, была разыграна въ переводѣ комедія Мольера *Докторъ принужденной*, съ веселою интермедіей *О гаетъ, шляхтичъ, цыганъ, купитъ и двухъ молодокъ*. Между дѣйствіями, гостямъ разносили вина, пуншъ и сласти.

По окончаніи представленія, начались танцы. Шведскій оркестръ духовыхъ и струнныхъ музыкантовъ игралъ съ разубранныхъ хоръ. Танцовали въ двухъ смежныхъ залахъ.

Бесѣдуя съ моряками, сенаторами и дипломатами, Петръ не спускалъ глазъ съ Румянцева. Изрѣдка онъ подзывалъ его къ себѣ.

— Что, Иванычъ, находишь по сердцу? — спрашивалъ онъ его: — нравится кто-нибудь?

— Глаза, государь, разбѣгаются, только не нашего все полета... гдѣ низменной синицѣ сравняться съ соколами, съ орлами?

— Полно, братецъ, не дешеви себя, приглядывайся.

Въ концѣ вечера, когда у гостей и у самого государя глаза стали особенно веселы отъ безпрестанно разносимыхъ гданскихъ, токайскихъ и иныхъ винъ, государь всталъ изъ-за стола, за которымъ игралъ въ карты съ Долгоруковымъ, Ягужинскимъ и Апраксинымъ, и позвалъ къ себѣ Румянцева. Онъ приблизился съ нимъ къ залѣ, гдѣ оживленные пары танцующихъ только-что кончили веселую, шумную куранту, и, медленно двигаясь въ менуэтъ, то присѣдали другъ передъ другомъ, то плавнымъ шагомъ отходили и, снова присѣдая, сближались и кланялись.

— Приглянулась, нашелъ? — спросилъ Петръ Румянцева.

— Прости, государь! Что вижу — неприступно, что нравится — и думать страшусь.

— Ну, а эти три? — указалъ государь на среднее окно,

противъ котораго, съ морякомъ и гвардейцами, танцовали три дѣвушки.

Румянцевъ зналъ ихъ. То были бѣлокуроыя княжны Шелешпанская и Щетинина и черноволосая дочь хозяина дома, графиня Матвѣева. «Неужели могу мыслить объ одной изъ этихъ? — подумалъ, замирая отъ волненія, Румянцевъ. — Нѣтъ, царь только испытываетъ, шутитъ, послѣ самъ засмѣется... У каждой за полмилліона приданого. Отцы же ихъ, за дерзость одного помысла, опозорятъ, разнесутъ!»

— Что же молчишь? — спросилъ, пристально вглядываясь въ красавицъ, Петръ.

— Умъ дѣпенѣетъ, не смѣю и взора поднять.

— А ты подними, приударь! — усмѣхнулся Петръ. — Съ малыми, да храбрыми батальонами не такія еще фортеці берутъ. Вотъ хоть бы княжна Щетинина, да и графинюшка Марья Андреевна... отчего бы тебѣ не просить ихъ въ пару?.. Музыка перемѣнилась; ну-ка, не плошай, — начинаютъ гавоть...

Государя ждали у карточного стола. Ему была очередь сдавать. Онъ возвратился туда. Продолжая игру, онъ видѣлъ, однако, что Румянцевъ, какъ вкопанный, оставался на мѣстѣ, слѣдя за танцующими, и не пригласилъ ни Шелешпанской, ни Матвѣевой. «Храбрецъ по этой части, видно, не изъ смѣлыхъ, — подумалъ Петръ. — Надо инымъ путемъ».

«Шутить государь или правду говорить? — терялся, въ то же время, въ догадкахъ Румянцевъ. — И неужели дѣло идетъ и онъ намекалъ о графинѣ Марьѣ Андреевнѣ? Нѣтъ, это несбыточно, невозможно!» Краска выступила на его лицѣ. Облокотясь о притолокъ двери, онъ пристально вглядывался въ высокую и стройную, черноглазую красавицу, со вздернутымъ носикомъ и приподнятою верхнею губой, обнажавшею при улыбкѣ бѣлые и острые, какъ у бѣлки, зубы. Онъ все забывъ, музыку, ярко-освѣщенный залъ и танцы, помня одно — эти пышные, черные волосы, вздернутый носикъ и бѣлые, сверкающіе зубы.

VI.

Музыка разомъ затихла, танцы прекратились. Гостей звали ужинать. Къ государю подошли хозяинъ и хозяйка.

Они, съ низкими поклонами, пригласили его откупать въ цвѣточную, носившую названіе зимняго сада. Петръ пошелъ туда съ немногими изъ приближенныхъ. Румянцевъ удостоился также ужинать съ государемъ. Не любившій вообще гдѣ-нибудь долго сидѣть, Петръ и здѣсь то и двѣ вставалъ, обходя ужинающихъ. Съ бокаломъ вина, а то и съ крылышкомъ недоѣденной дичи въ рукахъ, онъ одного изъ сотрапезниковъ уговаривалъ выпить налитый хозяиномъ ему, какъ и прочимъ, ковшъ аликанте; другому приказывалъ, при общемъ смѣхѣ, рассказать, какъ онъ нѣкогда былъ пойманъ и уличенъ своею женой въ тайной любовной авантюрѣ; третьяго заставлялъ осушить, присужденный, по примѣру царскихъ ассамблей, общимъ приговоромъ пирующихъ, за молчаливость, уныніе и скуку, огромный кубокъ мальвазіи.

Среди ужина, въ цвѣточную, двумя слугами, на серебряномъ блюдѣ, былъ внесенъ и поставленъ на столъ огромный, обложенный цукатами и облитый вареньемъ и ромомъ, пудингъ. Едва слуги отошли отъ стола, пудингъ распался, изъ него выскочили карлики и карлица, одѣтые пастушками, и, подъ музыку изъ залы, начали тутъ же, на столѣ, между тарелками и бокалами, плясать менуэты. Веселью пирующихъ не было конца. Послѣ пирожнаго принесли корзину глиняныхъ трубокъ съ табакомъ. Дымъ поднялся коромысломъ. Разговоръ сталъ шумнѣе. Начались споры, даже перебранки хмельныхъ. Государь, куря трубку, всѣхъ подзадоривалъ. «Какой ты слуга? я вѣришь тебя! — кричалъ, стуча по столу, сенаторъ Бутырлинъ сенатору Юшкову. — Васъ на алтынъ мѣняли!» — «По-нѣмецки пьешь, выпьемъ по-московски!» — твердилъ Салтыковъ Стрешневу, — вотъ какъ, видишь? — вотъ!» — «Древнему другу и благодѣтелю! въ поминаніе старыхъ благъ!» — обращался Головинъ къ Писареву. — «Маменька, другъ мой! вотъ какъ люблю!» — отвѣчалъ совсѣмъ растроганный Писаревъ. Раздался звонъ разбитой кѣмъ-то посуды. Всѣ хохотали, говорили безъ умолку. Кто-то, желая обнять сосѣда, полѣзъ къ нему черезъ столъ и сапогомъ попалъ прямо въ блюдо съ пирожнымъ. Кого-то за руки, а наконецъ и за воротъ оттаскивали отъ зеркала, которое охмѣлѣвшій разбилъ головой, принявъ его за дверь...

Среди общаго шума, гама и хмельныхъ восклицаній, го-

сударь, какъ видѣлъ Румянцевъ, былъ, по обыкновенію, свѣжъ и бодръ. Онъ всталъ изъ-за стола и, съ коротенькою голландскою трубкой въ зубахъ, прошелъ съ графомъ Матвѣевымъ въ сосѣднюю комнату. «О чемъ онъ съ нимъ бесѣдуетъ?» — размышлялъ Румянцевъ, глядя въ раскрытую дверь на Петра. Лицо государя казалось озабоченнымъ. Онъ то вынималъ изъ рта трубку, поправлялъ въ ней пепелъ и разсматривалъ лѣпныя на ней изображенія, то опять порывисто курилъ.

— Завтра ѣду въ Копенгагенъ, — сказалъ онъ Матвѣеву: — а душа неспокойна, — царевича все сбиваютъ; имѣю несомнѣнный суслѣтъ на стороннихъ, и чего боялся паче всего — связей съ Суздалемъ, съ тамоніею моею черницей, — то, кажется, какъ разъ и дѣйствуетъ.

— Въ чемъ же твои подозрѣнія, государь?

— Умру, все погибнетъ и, вмѣсто славы, пойдетъ у насъ одно безславіе.

— Не понимаю, прости, — произнесъ Матвѣевъ.

— Алексѣя, скажу тебѣ, склоняютъ, по примѣру матери, также въ монастырь, — связь понятна... По кончинѣ моей оба скинуть черныя рысы, облекутся въ иныя одежды и все повернуть по-своему.

— Въ такомъ разѣ не соглашайся, батюшка, не давай своего благословенія, — и кто же противъ воли твоей пойдетъ?

Петръ положилъ трубку на столъ.

— Въ томъ-то и ловушка, самъ я ему, какъ вдовцу и лѣнвицу, въ острастку, предложилъ монашество, — сказалъ онъ: — а простака, видимо, научили, онъ и согласился, просить постриженія. Одинъ путь — Алешѣ жениться бы снова на здоровой, доброй бабѣ. Не знаешь ли подхожей какой, изъ видѣнныхъ тобою, опять-таки иноземныхъ, не худородныхъ принцессъ?

— Не мало пожелали бы съ вашимъ величествомъ породниться, на какую только страну изволишь бросить взглядъ.

Петръ подумалъ, прислушиваясь къ цвѣточной, откуда, попрежнему, неслись веселые голоса пирующихъ.

— Эта метерія еще терпитъ, теперь объ иномъ, — сказалъ онъ, положивъ руку на плечо Матвѣева, — выражусь прямо, безъ утайки... Одно сватанье въ сторону, другому, надѣюсь,

пособишь; у тебя, Андрей Артамоновичъ, невѣста, а къ тебѣ привезъ жениха.

Матвѣевъ растерянно взглянулъ на государя.

— Твоя дочь, Марьюшка, — ты знаешь, какъ я къ ней расположенъ, — продолжалъ Петръ: — умна, мила, привѣтлива; но, извини, по молодости, легкомысленна... да, да, не смущайся, это вѣрно! Ею надо выдать за такого, кто любить бы ее, но, притомъ, держалъ бы въ рукахъ...

— Развѣ, ваше величество, что за нею замѣчено? или проглядѣла глупая, слабая мать? Да я ее, негодницу, если въ чемъ провинилась, разражу, собственными руками убью...

— Успокойся, не стоить; лучшая, братецъ, исправка дѣвичьяго нрава — вѣнецъ, и я потому-то у тебя нынче и сватомъ...

— Много чести, великій государь; но кто, извини, выбранъ тобою?

— Вонъ онъ, у края стола, — указалъ государь въ цѣточную на Румянцева, — этого предлагаю въ женихи твоей Марьюшкѣ; просимъ честию, не осуди жениха и свата.

Матвѣевъ сталъ блѣде стѣны. Его грудь дынала тяжело; въ опущенныхъ глазахъ проступили слезы. «Какое униженіе и какой стыдъ! — мыслить онъ, не помня себя, — мелкопомѣстный дворянчикъ, изъ самыхъ бѣдныхъ, и это женихъ моей графинюшкѣ! За что такая немилость?»

— Ты недоволенъ, вижу, сватовство не по тебѣ? — спросилъ Петръ. — Говори прямо: считаешь его недостойнымъ твоей дочери и тебя?

— Затрудняюсь, великій государь... Тебѣ повелѣвать, намъ слушать и покоряться.

— Не ладно говоришь, Артамоновичъ, — не приказую и не насилую твоего рѣшенія... А только помни, этотъ слуга изъ близкихъ мнѣ, и я люблю его, какъ любить и тебя; ты за труды сенаторъ, министръ и графъ, — отъ меня, отъ моей милости, самъ ты знаешь, зависить и его сдѣлать счастливейшимъ между вами, превознести выше всѣхъ. Не знаешь, не богатъ теперь, будетъ богатъ и знатенъ черезъ часъ.

Матвѣевъ молчалъ. Потъ крупными каплями падалъ съ его лица на расшитый золотомъ кафтанъ.

— Что же скажешь? согласенъ? — спросилъ Петръ.

— Весь въ твоей милости, — отвѣтилъ, кланяясь, Матвѣевъ. — Необижень тобою донинѣ, не обидишь и впредь.

— Отлично, Артамонычъ,—сказалъ, обнявъ его и цѣлуя, Петръ.—Дѣло, значить, слажено; только заповѣдь тебѣ: до срока о томъ, чуръ, никому.

— А жениху, государь, изволишь объявить? — спросилъ Матвѣевъ.

— Никому, повторяю, и ты — ни женѣ, ни дочкѣ; приданого тебѣ не готовить,—чай, давно полны сундуки; сговоръ останется тайнымъ, промежъ меня только да тебя. И тому важный резонъ: завтра надолго ѣду въ чужіе края, беру съ собой и жениха. Будемъ, съ Господомъ, живы, вернемся, напомнимъ тогда,—за парадною помолвкой, сыграемъ и свадьбу.

Государь позвалъ Румянцева. Тотъ подалъ ему шляпу и шпагу. Провожаемый Матвѣевымъ, Петръ вышелъ въ сѣни. Здѣсь съ матерью, накинувъ на плечи желтую тафтиную шубку, въ зеленой бархатной шапочкѣ, съ алымъ верхомъ, стояла раскраснѣвшаяся отъ танцевъ графиня Марья Андреевна.

— И ты вышла проводить? — улынулся, увидя ее, Петръ. — Простудишься, плутовка! Береги здоровье, — оно надобно тебѣ,—иди...

Онъ обнялъ и поцѣловалъ дѣвушку въ обѣ щеки. Матвѣевъ подалъ государю теплый плащъ. Петръ уѣхалъ.

— Что же, братецъ, такъ и не выбралъ себѣ суженой? — спросилъ онъ Румянцева, подъѣзжая съ нимъ ко дворцу.

— Превыше силъ, прости, не смѣю...

— Я за тебя выбралъ... только до времени посмотрю еще на тебя, не скажу. Готовься, завтра ѣдешь со мной въ Данцигъ и далѣе въ Копенгагенъ.

Въ ту ночь совсѣмъ не спалось Румянцеву. Онъ лежалъ на правый бокъ и на лѣвый, закрывалъ глаза, вызывая дремоту, думалъ о морѣ и спящей, колеблемой вѣтромъ ржи,—ничто не брало, сонъ бѣжалъ отъ него. Въ мысляхъ неотлучно были веселые черные глаза, вздернутый носикъ и зеленая шапочка, съ алымъ верхомъ, надъ пышными черными волосами.

Въ ожиданіи отъѣзда съ государемъ, Румянцевъ всталъ до зари, одѣлся въ парадную форму, уложилъ небольшой дорожный свой скарбъ и готовился ѣхать во дворецъ. Онъ жилъ у просвирии Казанской церкви, въ Мѣшанской сло-

бодѣ, возлѣ Невской першпективы, занимая двѣ горенки, изъ которыхъ въ одной ютился самъ, а въ другой помѣщались его отецъ и мать, пріѣхавшіе провѣдать его изъ Ео-стромской деревушки. Отецъ привезъ ему волчью шубу, своей охоты, которой сынъ теперь, въ виду дальняго во-яжа, особенно былъ радъ. Старики тоже встали рано, по-бывали въ банѣ и, красные, съ повязанными головами, хлопотали надъ укладкой сыновнихъ вещей.

— Ну, Александръ, что же государь? — спросилъ отецъ, увязывая узелъ съ бѣльемъ. — Какъ насчетъ, то-есть, сва-товства? Выбралъ, наконецъ, указалъ тебѣ какую краю?

— Молчать, — съ недовольствомъ отвѣтилъ сынъ, — и что у него на умѣ, не пойму...

— Молчать? А присаженную, указанную отцомъ и ма-терью, отвергъ?.. Ему что? — терпится; намъ-то какво? Хоть бы, примѣромъ, бѣлье, — нешто въ такомъ ходить гвардей-скому офицеру, да еще капитану? Сорочки — одно званіе, карпетки — въ заплатахъ... Степанидушка, глянь сюда, ужли сына этакъ-то въ дорогу и снаряжать?

— Пусти, постылый, не видишь развѣ? — съ сердцемъ вскрикнула мать, вырывая у мужа обноски сына, — вотъ новые чулки... не помнишь нешто, какъ сама вязала? А вотъ и сорочекъ трое изъ фряжскаго холста. Гдѣ были? или опять запамятовалъ, какъ о Спаса пять ройковъ про-дали, кума за холстомъ ѣздила?

— Такъ, такъ, сорокоумовцамъ продали.

— То-то, сорокоумовцамъ. Носи, Сашенька, насъ поминай. Безъ матери-отца кому вспомнить, приглубить тебя?

Старушка отерла слезы.

— Вотъ пирожки, съ сигомъ, да съ курятинкой, а на дорогу хозяйка печетъ блинцы. Не торопись, родимый, успеешь еще, — духомъ принесу.

Старуха ушла къ хозяйкѣ.

VII.

— Ужъ не думаетъ ли царь, — сказалъ Румянцеву отецъ, когда они остались вдвоемъ, — не затѣялъ ли онъ выдать за тебя одну таковую персону?

— Какую?

Старикъ оглянулся.

— Новую одну матресишку, послѣднюю... это съ нимъ бываетъ.

— Кто же она?

— Ужли не знаешь?

— Я отсутствовалъ, только что вернулся изъ похода, почему же мнѣ всѣ здѣшнія новости знать?

— Да тебя же туда онъ и возилъ.

— Не понимаю, батюшка, о комъ рѣчь.

— О дочкѣ графа Андрея Артамоновича.

Румянцевъ не взвидѣлъ свѣта. Комната заходила въ его глазахъ.

— Клевета, родной, какъ же не видѣшь? Небылица! — вскрикнулъ онъ. — И кто тебѣ такіа слѣтки напелъ?

— Не слѣтки, Ликсаша, а истинная, должно быть, правда. Дворецкій изъ Катерингофа, — ну, старый знакомецъ ты знаешь его...

— Знаю, только что изъ того?

— Вечоръ это, какъ повезъ тебя государь къ Матвѣеву, онъ зашелъ и сказывалъ... и такое открылъ, что лучше бы не слышать...

— Эхъ, батюшка, не мучь; что же онъ, лысый чортъ, говорилъ такое? Языкъ бы ему клещами пощупать...

— Не горячись и не шумаркай, все скажу, только не прочуялъ бы кто посторонній.

Старикъ всталъ, посмотрѣлъ за дверь въ сѣни и заперъ ее на крючокъ.

— Такъ-то будетъ спокойнѣе, — сказалъ онъ. — Господи, какія дѣла! Вышнимъ полюбилась эта графинюшка Марья Андреевна и самой дѣвкѣ, видно, пріятны были милости отъ него. Да, да, не вскакивай, слушай... Какъ жилъ государь, лѣтось, съ царицей въ Катерингофѣ, и Матвѣевы на своей мызѣ, по близости, тамъ же въ тѣ поры пребывали. Государь ихъ чествовалъ и дочку ихъ, изъ пріязни, тоже отличалъ, брать въ одноколку съ собой кататься по садамъ и рощамъ, на буерѣ съ нею по Невѣ и по взморью до-поздна плавать. Тѣ ногъ подъ собой отъ радости не чули; счастье, молъ, такое имъ вышло. И все шло будто ладно, все лѣто они въ удовольствійхъ и восхищенійхъ проводили. А осенью, какъ царю пришлось перетѣзжать уже на зиму во дворецъ, онъ и подмѣтилъ, что графинюшка Марья, такъ же, какъ съ нимъ, по рощамъ и по взморью каталась еще и съ нѣ-

кимъ другимъ. Выслѣдиль государь, самолично убѣдился, позвалъ ее на допросъ, та и повинилась.

— Фу, ты, Господи! Не вѣрится!.. И что же, родителю открылъ государь?

— Для чего? Непто опять-таки его не знаешь? Самолично все прикончилъ... Никому не говори, припасъ въ сѣнникѣ пукъ березовыхъ, пригласилъ ее туда, будто новую паричину корову-голландку посмотреть, да собственноручно и высѣлъ.

Румянцевъ вскопчилъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, это клевета, умыселъ на Матвѣевыхъ! И кто могъ это видѣть, узнать?

— Да полно тебѣ фуфыриться! Говорятъ тебѣ — вѣрно, ну такъ же, какъ мы вотъ тутъ сидимъ.

Старикъ еще что-то говорилъ, но сынъ не слушать его. «Графиня Марья Андреевна, красавица, гордая, недоступная, и такой о ней слухъ,—мыслилъ Румянцевъ.—Отецъ сердитъ, что не удалось сватовство за Кикину, и вѣрить всяческой небылицѣ».

— Но затѣмъ, батюшка, все это передать ты мнѣ?—спросилъ онъ.—Изъ ревности за предложенную тобой невѣсту? Да, вѣдь, государь, повторяю, никого еще не указалъ, а что до Матвѣевой -- и намска о ней не бросилъ. Съ нею танцевали Шелешпанская, Щетинина и много другихъ,—можетъ быть, изъ тѣхъ, кого онъ имѣлъ на примѣтѣ.

— Какъ знаешь, Ликсаша, а только нашему роду еще не бывало подобнаго покура и стыда. И ужъ лучше, помни ты мое слово, вѣкъ въ нищетѣ доживать, чѣмъ таковую персону брать за себя.

Въ дверь постучались. Вопла съ крынкой блиновъ мать. Наскоро закусивъ, сытъ уложилъ на подводу свои пожитки, получилъ благословеніе родителей, простился съ ними, одѣлся въ привезенную отцомъ шубу и отправился ко дворцу.

— Своей охоты, Ликсаша, своей!—говорилъ отецъ, крестя сына и указывая ему на шубу.—Въ двѣ пороши затравить, одного живьемъ связаннаго привезъ.

Государь уѣхалъ послѣ ранняго обѣда. «Правъ отецъ, неподхожее было бы дѣло,—разсуждалъ Румянцевъ, идучи въ одной изъ кибитокъ въ свитѣ государя. — Брошенная фаворитка,—какъ ни говори,—надоѣвшая, ненужная забава. И любить-то тебя, послѣ такихъ протекторовъ, врядъ ли

будеть, да и выгоды, пожалуй, никакой!» Петербургъ вскорѣ скрылся за снѣжными холмами. Дорогу обступили стѣны темныхъ, вѣковѣчныхъ лѣсовъ. Издали блестятъ только шпицы адмиралтейской башни. Вечерѣло; начиналъ падать снѣгъ. Воробы взлетали надъ вершинами елей и березъ. Тройки царскаго поѣзда мчались безконечною лѣсною просѣкой.

Румянцевъ, укутавшись съ головой въ шубу, вспоминалъ недавнее прошлое, походы въ Швецію, разговоръ съ царемъ на дежурствѣ, ассамблею у Кикиныхъ и ассамблею у Матвѣевыхъ. «А пышность и роскошь ихъ дома, а эта боярская сановитость ихъ рода! Нѣтъ, быть не можетъ!—разсуждалъ онъ.— Все слышанное отцомъ сушая злобная клевета! Государь недаромъ меня туда возилъ. Что въ его мысляхъ— не угадать... Но если-бъ онъ имѣлъ въ виду, не теперь, хоть современемъ...» Снѣгъ валилъ безъ остановки. Сумерки сгущались болѣе. Лошадей изъ кибитки трудно уже было разглядѣть. «Да и вдругъ все это, по правдѣ, небылица и ложь?—мыслилъ Румянцевъ,—и что, если государь и въ самомъ дѣлѣ рѣшитъ и скажетъ: вотъ тебѣ невѣста, графиня Марья? Боже-Господи, удостой этого выбора. Лучшаго счастья, полагаю, и во снѣ не видать, не испытать. И ужъ коли суждено было бы мнѣ стать зятемъ графа Андрея Артамоновича, Царица Небесная! какой колоколь пожертвовалъ бы на церковь въ графскую вотчину,—въ пудъ, мало того, въ два-три пуда, изъ чистаго серебра!»

Царевичъ провожалъ государя до заставы. Онъ простудился дорогой и нѣсколько дней послѣ того не выѣзжалъ изъ дому, удивляясь, что никто изъ «собинныхъ» друзей его, даже Кикинъ, не навѣщалъ его. «Объ отошедшемъ, какъ бы, всюду промчалось,—разсуждалъ онъ,—не для кого болѣе подглядывать, а видно и теперь бояться!» Онъ послалъ за Кикинымъ; тотъ отвѣтилъ, что угорѣлъ послѣ бани и явится, когда одужаетъ. «Лукавить, дозора опасается, случая ждетъ!»—подумалъ Алексѣй. Онъ отъ скуки взомель наверхъ къ дѣтямъ и до вечера игралъ тамъ въ шахматы съ ихъ гофмейстериней. Возвратись при свѣчахъ, онъ сталъ просматривать присланныя Меншиковымъ изъ сената дѣла. Скучно было ихъ читать. Ему подали письмо. Онъ по почерку узналъ руку попа Созонта Печунина, у котораго въ

Вязёмахъ жила нѣкогда Афросинья и который теперь, по милости Алексѣя, состоялъ при церкви въ Порѣчьи.

«Многолѣтню, благополучно и радостно здравствуя. батюшка-церевиць,—писать пошъ Созонтъ.—Высокоблагородствію твоему искатель милостей твоихъ челомъ земно бью; а посылаю превысочеству твоему бѣлужью тѣшку, щукъ провѣсныхъ четыре, балычка прута два, да полпуда икорки,—изволь во здравіе кушать; помаранцевой настойки такожде малое ведѣрце, и его кушайже, во здравіе, съ пріятеля. Покровенъ десничею Вышняго да пребудеть домъ твой въ благодати на многіе предыдущіе годы. Про здравіе же твое слышати ежечасно желаю. Въ пріѣздишки твои кормиль ты и поилъ насъ, сиротъ, довольъ, а нынѣ безъ тебя зѣло мы оскудѣли. О, горе мнѣ, мизірюму! Никто прошеніишка моего принять и честь не хочетъ. Младоумножаемая вѣтвь прекраснаго, цвѣтущаго и превысочайшаго царскаго древа! Воззри на нуждишки наши, ждемъ тебя, яко Миссію. Въ Вязёмахъ лугъ намъ давали, хлѣбушка съ копны, лѣсу—сколько зришь; тутъ все твоимъ старостою Мосеичемъ урѣзано, а за что, одинъ создавый ны вся вѣсть. Афросинью Ѳедоровну просили, ее не слушаютъ,—твое-де бабѣ дѣло токмо пичия, да огородъ, да кудель. А по-нашему вотъ кому, ей быть адѣся старостою. Яви божескую милость, а Мосеичу повели намъ пособить. У самого великій роскошь и деспотичество во всемъ, загребають съ огуменниковъ, съ амбары и кладовыхъ, а на слугъ церковныхъ помощи никакой. И не ходи къ нему, всякой мольбѣ отсѣченіе, правдѣ—посрамленіе, добру—погубленіе, душѣ—углубшій гвоздь. За твою же милость азъ писавый, за весь праведный домъ твой и за всѣхъ любящихъ многолѣтнее здравіе твое, нынѣ и впредь, безъ урыву, вѣчный твой богомолецъ — смиренный Созонтъ».

«Надо ѣхать въ Порѣчье, вотъ какъ надо бы,—подумаль царевичъ, прочтя посланіе Печунина.—Но какъ ѣхать? какой къ тому видимый предлогъ, да еще зимой? Донесутъ отцу, а тотъ сыщика слѣдомъ пошлетъ,—какія, молъ, такія хозяйскія нужды унесли его, оглашеннаго, отъ важныхъ штатскихъ дѣлъ на мызу въ такіе холода?» Жалобу Созонта Алексѣй вкратцѣ изложилъ въ цидулкѣ порѣченскому старостѣ, приказавъ дать Печунину все, что ему отпускалось въ Вязёмахъ, и прибавилъ въ концѣ приказа: «А о

прочемъ, что доносить и слышу, разберу, коли Госнодь позволитъ самому быть въ вашихъ оныхъ мѣстахъ».

VIII.

Въ половинѣ февраля надъ Петербургомъ носился и гудѣлъ сильный сѣвѣжный бурянь. Митель сугробами устилала площади, преграждала улицы и заваливала переулки. Нѣкоторые дома были заметены снѣгомъ до крышъ. Ни проѣзда, ни прохода. Царевичъ, слушая свистъ и яростный ревъ бури, уже собирався на ночлегъ, когда слуга доложилъ ему, что его желаетъ видѣть Кикинъ. Алексѣй обрадовался и приказалъ звать его въ кабинетъ.

— Это банный утаръ доселѣ не пускалъ?—спросилъ онъ, встрѣчая гостя, страхивавшаго съ волосъ и соболей шапки хлопья снѣгу.

— Всякаго утару вдоволь, — отвѣтилъ, оглядываясь, Кикинъ.

— Садись, Александръ Васильевичъ, будь гостемъ; пріятно видѣть хоть одного, когда остальные всѣ забыли.

— Да помнимъ ли мы сами себя и свою жизнь? Какъ живетъ-то намъ, спросилъ бы ты, — сказалъ Кикинъ, припирая дверь и садясь на софу рядомъ съ царевичемъ.

— Или стряслось что новое? — спросилъ, глядя на него, царевичъ.

— Все старое, батюшка Алексѣй Петровичъ. Довольно одного: Питеръ, гдѣ живемъ съ тобой. Что онъ? Съ одной стороны—море, съ другой горе, съ третьей—мохъ, съ четвертой—охъ...

Царевичъ улыбнулся. Онъ любилъ паходчивость и всегда замесловатыя выраженія умнаго, бойкаго и наблюдательнаго эконома своей тетки, царицы Марьи Алексѣевны.

— Ну, слушай, — сказалъ царевичъ, взявъ за руки гостя:—скажу безъ утайки, и мнѣ тутъ тяжело; а гдѣ быть? куда укрыться?

— Ъзжай въ чужіе края, у тебя великая протекція, — австрійскаго кесаря сунруга—твоей покойной женѣ сестра; отъ нея и отъ самого кесаря всегда тебѣ будетъ защита и покой. Ты, вѣдь, російскій кронпринцъ, и кесарю немалый резонъ тебѣ секундовать во всемъ.

— Но какъ рѣшиться? Опасно это, да и жаль родины, близкихъ своихъ.

— Съ весны мою царевну, вѣдомо, можетъ-быть, тебѣ, шлютъ, изъ-за ея болѣстей, на воды въ Карлсбадъ; ну, и я ѣду, въ провожатыхъ,—буду не вдали отъ Вѣны и о тебѣ могу, отъ чего же нѣтъ, промыслить тамъ.

— Ой, страшно, Васильевичъ! Гдѣ у кесаря скрыться? Батюшка легко, черезъ клеветовъ, откроетъ въ Вѣнѣ, — вѣдь, она на большой дорогѣ.

— Отпросишься, какъ уйдешь, въ итальянскія владѣчества кесаря,—тамъ не откроютъ; а ужъ тѣ палестины — неземныя красоты, сущій рай, не разстанешься съ ними во вѣкъ.

— Ты же нешто былъ въ Италиі?

— Былъ, съ гардемаринами, на первой посылкѣ въ выучку.

Царевичъ задумался. Большіе черные глаза его съ грустью были устремлены на коверъ. Поскомъ башмака онъ водилъ по его узору.

— А скажи, Васильичъ, каковы тамъ люди и какъ живутъ?—спросилъ онъ, взглядывая на Кикина:—и впрямь и похоже на нашихъ?

— Ужъ истинно сказать, все не по-нашему; на улицахъ, въ городахъ, ночью, великая свѣтлость отъ фонарей, какъ днемъ; древнія и новыя хоромы больше все въ два жилища, а есть по четыре и пяти житій въ высоту; огна вездѣ стеклычатия, не слюдиныя. А сады? Вездѣ, по прпорціи, пѣкты—дивными штуками, перипективы зѣло изрядныя, на полянахъ лимоны, персики, померанцы, дули и миндаль; въ огородахъ — кудрявые салаты, кэпросы и всякій дивный овощъ. Въ садахъ и на бульвардахъ бсѣлки писаны хитрымъ, тамошнимъ письмомъ; пропускныя воды многоструйно прыщутъ вверхъ фонтаномъ, а на тѣхъ фонтанахъ — часы бывають, невиданнаго строенія, бьютъ водой перечае въ великіе и малые колокола...

— А люди, народъ?

— На площадяхъ и улицахъ, по всякъ день, гуляніе въ калѣнахъ предивной французской рабсты. И въ каждомъ, почитай, городѣ театрумъ, а въ немъ для увеселенія—опры, либо зѣло хитрая комедь.

— И ты видѣлъ опры и комедь?

— Бываль не разъ; между дѣйствами, гдѣ Аполло, либо Венусъ выходятъ и говорятъ вирши, дивныя хоры увеселяють гостей на фрейтахъ, скрипицахъ и фіолгабалахъ предивнаго мусикійскаго мастерства.

— А какъ тамошніе баре?

— Главы женъ и дѣвицъ непокровенны; какъ и въ Дрезденѣ, и Карлсбадѣ ты видѣлъ. Только женскъ полъ къ дѣламъ въ тѣхъ краяхъ больше охочи, къ дѣлу неприлежны, ко грѣху же зѣло слабы и права часомъ весьма зазорнаго. Ну, да ты, вѣдь, на нихъ и не взглянешь,—слышно, и впрямь собираешься въ монастырь.

Алексѣй отвернулся.

— Тебѣ шутки все шутить!—сказалъ онъ съ досадою.— До того ли мнѣ, и какой я монахъ?

— На что же, батюшка, въ такомъ разѣ, рѣшаешься, чѣмъ задумалъ кончить, по требованію отца?

— Объ одномъ мыслъ, къ одному стремлюсь,—произнесъ, задумчиво глядя передъ собой, царевичъ:— когда бы отъ всего меня уволить, чтобъ жить мнѣ, какъ Богъ изволитъ, въ деревнѣ, и ни до чего бы мнѣ дѣла не было.

— Ну, на это, самъ пойми, врядъ ли согласятся вышніе,—возразилъ, качая головой, Кикинъ:— потребуютъ несомнительно, жестоко притянуть къ иному.

— Да не могу же я, Александръ Васильичъ, душа не лежитъ,—сказалъ Алексѣй.—Самъ ты говоришь: Питеръ—горе да охъ... Изъ-за чего отецъ старые порядки бросилъ, потопталъ? изъ-за чего, что ни день, заводятъ все новыя? Мучить всѣхъ, во снѣ и наяву, шпыняеть, теребитъ. Жило же царство безъ этихъ новшествъ,—безъ гвардіонцевъ и потѣшныхъ,—въ славѣ и силѣ состояло. Стрѣльцы били шведовъ, нѣмца и ляховъ. Всѣ сторожно и честью блюли нашъ народъ и санъ. Батюшка вѣру дѣдовъ и прадѣдовъ презрѣлъ, патріарха синодскими канцеляристами замѣнилъ. И на что намъ это, прости Господи, чортово болото—новая столица? На что кургузые кафтаны солдатства, а вмѣсто древнихъ, урядныхъ сарафановъ, хоть бы эти хвостатые роброны, на фижмахъ, да пудра? Истерзаль отецъ родину, уродуетъ, кромсаетъ, какъ мясникъ телку, по живому тѣлу ножомъ...

Алексѣй всталъ. Лицо его залилъ румянецъ.

— И все потатчики подбиваютъ его на эти новшества,—продолжалъ онъ, порывисто ходя по комнатѣ,—измѣнники заповѣдямъ роднымъ, боголюбивцы, церковные и мірскіе мятежники,—Головкинъ, Шафировъ, Ромодановскій, Трубецкой и сколько иныхъ! Какъ попустить Господь взойти, постѣ

батюшки, на древній предковскій престолъ, быть на колахъ головамъ супостатовъ. Алексашка Меншиковъ особливо попомнить; мѣста на его шеѣ не станетъ, гдѣ уасть топору!

Алексѣй, опершись о столъ, перевелъ дыханіе. Глаза его горѣли гнѣвомъ и негодованіемъ.

— Быть Петербургу пусту! — вскрикнулъ онъ, ударивъ кулакомъ по столу. — Кораблей не стану строить, гвардію распушу, воевать брошу, — со всѣми будь миръ и покой. Зимѣ стану жить въ Москвѣ, лѣто въ Ярославлѣ... Плюю на всѣхъ, абы здорова была мнѣ чернь.

— Такъ-то такъ, — промолвилъ Кикинъ: — да чернь-то — стадо безсловесныхъ; имъ нуженъ съ доброю клякой пастухъ, а ты многокъ сердцемъ, вельми добръ.

— А тѣзка мой, дѣдъ Алексѣй? Нешто не жилъ онъ въ Господней благодати, въ общей любви и уваженіи отъ иноземныхъ и своихъ? Никуда-то онъ, тишайшій, непрошено не лѣзъ, никого не тормозилъ и не тиранилъ, а былъ счастливъ. Такъ, съ Господнею защитой, буду царствовать и я.

— Сядь, батюшка, царевичъ, сядь, — произнесъ Кикинъ, ловя Алексѣя за руку: — уgomонись, для Бога, и слушай; объясню съ иной стороны.

Алексѣй, со вздохомъ, опустился въ кресло.

— Царствовать думаешь ты... великое слово, — продолжалъ Кикинъ: — только надо еще добиться того. А удастся ли, бабушка на-двое сказала.

— Такъ что же мнѣ дѣлать и о чемъ мыслить? — тихо проговорилъ царевичъ, ломая руки. — По волѣ батюшки, съ нищими, что ли, да съ дьячками, схоронить себя въ монастырѣ или отъѣхать, по-твоему, въ такое царство, гдѣ приходящихъ пріемлютъ и никому не выдаютъ? Какъ рѣшиться — на его или на твои слова? Вѣдь, я человѣкъ, Васильичъ, жить на волѣ, какъ всякій послѣдній смердь, хочу, а развѣ въ черной расѣ или на чужбинѣ вольная жизнь, по душѣ?

— Видишь ли, Алексѣй Петровичъ, не обезсудь, опять прямо скажу... Ты зѣло невоздержанъ въ рѣчахъ... Именно такъ... Мнѣ открываешься, но повѣдалъ, можетъ статься, и другимъ, а отцу-то долго ли отъ дозорцевъ про все узнать? Ну, раздѣлка и не далека...

— Ну что же отецъ, хоть и царь онъ, можетъ сотворить со мной?

Кикинь сдвинулъ брови.

— Какъ что?—спросилъ онъ, глядя на царевича. — Да развѣ не знаешь, какъ таковы дѣла творились и творятся у насъ? Очень даже просто, — слышалъ, полагаю, про ядъ, потопленія и прочія наши галантереи?... Вѣдь, даже Грозный царь Иванъ, какъ сравнить его съ батюшкой Петромъ Алексѣвичемъ, передъ нимъ, въ хитромъ неустанномъ тираствѣ, малый шаловливый ребенокъ, шутникъ...

Алексѣй снова всталъ. Въ глазахъ его были слезы.

— Помоги, Александръ Васильичъ, — сказалъ онъ: — молю тебя, какъ мнѣ быть и какъ избавиться отъ отца?

— Невидимымъ учиниться! Былъ, молъ, человекъ и нѣтъ его, по-французскому термину, знаешь, чай, его, — *il est espiègle*...

— То-есть опять-таки говоришь о бѣгствѣ, о чужеземцѣ?

Кикинь молча кивнулъ головой. Царевичъ нѣсколько мгновеній смотрѣлъ на него, не находя выраженій тому, что вставало и кипѣло въ его душѣ. Грудь его дышала тяжело.

— Ахъ, другъ любезный, ахъ, радѣтель, — выговорилъ онъ черезъ силу: — ужели не понимаешь? Не могу я жить безъ Афросиньи... Вразуми, наставъ, какъ не покидать мнѣ ея? Ну, вотъ птицѣ, малому звѣренку нуженъ воздухъ, рыбѣ вода... Она мнѣ—вода и воздухъ...

Кикинь опустилъ глаза въ землю. Теребя свою курчавую, косматую голову, какъ бы въ тяжеломъ смущеніи, молчалъ.

— Былъ я въ Венеціи, — произнесъ онъ: — и слушать тамъ въ клишторѣ езуиты; онъ передъ принципомъ венецкимъ сказывалъ казаніе. Самъ въ чѣпи золотой, въ алмазныхъ запонахъ, фіолетовой робѣ и въ крахмальныхъ подолняныхъ брызжахъ около шеи, а недоросли-ребятки, въ бѣлыхъ стихарикахъ, подолъ той робы держали, какъ его на золочепомъ сѣднѣ покоевые камерѣры въ церковь внесли. Езуита сказывалъ, а наши, бышгѣ тамъ долѣ, переводили. Его проповѣдь была про зѣло высокую гору, что въ Неаполѣ, отъ сотворенія міра, неустанно день и ночь горитъ. Ничѣмъ ея не угасить и не повергнуть въ темь. И равняли езуита ту гору Везувій съ душою людскою; не угасить и въ человѣкѣ жара палищихъ страстей. Горячесть наша нынѣ спадетъ, завтра опять дымомъ и пепломъ бьетъ и огненные пускаетъ ручьи.

— Къ чему это ты ведешь?—спросилъ царевичъ.

— Помянутый сказатель навелъ, въ тѣ поры, на мою мысль и тебя. Не дивись, такъ оно и есть. Видѣлъ я твоей предметъ, Афросьюнку, впервые на Москвѣ, въ непригожемъ, бѣдномъ уборѣ видѣлъ, но и тогда она пріятствомъ плѣняла. Брови черныя, союзныя, тѣломъ породна, вся быдто облита молокомъ; возрастомъ изрядна, глаза велики, умные, а косы русыя, велики же, трубчатыя, падаютъ по плечамъ.

— Такъ и тебѣ, Васильчъ, она приглянулась?—съ счастливою улыбкой спросилъ Алексѣй.

— Еще бы, бабюшка! А какъ нарядилъ ты ее и увидѣлъ я ее послѣ въ Питерѣ, просто диву дался. И не платьице аль-атласъ, не чулочки узорныя, синій шелкъ, не башмаки съ каблучками, и не золото, серебро, канителью строченное по платью,—сама она, словно Венусъ планета, свѣтила между другихъ... И скажу безъ утайки, великаго ума и нѣжныхъ провицательствъ твоя Афросинья, хоть ты ее и не изъ высокаго ранга примѣтилъ и сблизилъ къ себѣ. Не въ такой,—въ высшей долѣ слѣдовало бы ей быть...

Алексѣй, въ безмолвномъ восхищеніи, слушать эти слова. «Переборщилъ, превысилъ похвалы Фроськѣ,—думалъ тѣмъ временемъ Кикинъ,—ну, да ладно, масломъ каши не испортишь; а взойдетъ онъ на отчий престолъ, Смолокурову царицей наречеть,—быть мнѣ изъ первыхъ въ министрахъ».

— Такъ ты не шутишь, Васильчъ?—спросилъ Алексѣй:—одобрилъ бы этотъ союзъ? Вѣдь батюшкина нынѣшняя жонка изъ простыя полонинокъ, лкторга, чухонкой въ услугахъ была... моя тоже полонянка, да русская и правой вѣры... Отецъ при живой женѣ ее взять къ себѣ, а я—вдовый...

— Чтѣ и говорить!—отвѣтилъ Кикинъ.—Еще и еще повторю: какъ замѣтишь что неладное, неумедительно бѣги; вручи себя въ добрую пріемность кесаря.

— А какъ же съ Афросиньей?

— Беря и ее. Только не сразу дѣлай; снабдѣвай недостатки, порывы права благоразуміемъ. Отведи глаза досмотрщикамъ: начини умненько охатъ, на недомоганыя главы и всѣхъ мыслей жалуйся, съ недѣлю, двѣ не умывайся, не брейся,—сочтутъ тебя скорбнымъ и слабымъ... тутъ разомъ, все изготова, и бѣги.

Царевичъ задумался.

— А ты побываешь въ Вѣнѣ?—спросилъ онъ, не спуская глазъ съ Кикина.

— Нарочно, какъ бы по своимъ частнымъ дѣламъ, отпущусь у царицы и съѣзжу.

— Выберешь, устроишь мнѣ тайное мѣсто?

— Не только съ кесарскими министрами поведу переговоры, самого кесаря постараюсь видѣть и о твоёмъ приѣмѣ и защитѣ уговорить.

Алексѣй бросился на шею Кикина. Вѣтеръ шумѣлъ за окномъ. Сквозь его гулъ слышались всхлипыванія царицы.

— Помоги, вѣрный другъ, устрой!—проговорилъ онъ, отирая слезы.— У прочихъ на ихъ дѣла всякихъ нужныхъ и сильныхъ словъ много, у меня мало, почти никакихъ... Ну, Васильичъ, Христомъ тебя сохрани,—заклочилъ Алексѣй, видя, что Кикинъ собирается встать:— часто видѣться не приходится, хоть отписывай о себѣ, какъ и что.

— За милость твою буду тебѣ, государю моему, своею головою работать и отвѣчать,—сказалъ Кикинъ.— Одного молю, въ тайности великой держи все, что говорено межъ насъ.

— Нешто и здѣсь боишься отца и его смотрѣльщиковъ?— съ укоризной воскликнулъ царица.— Даже обидно,—гдѣ они?

Вьюга на улицѣ въ это мгновеніе разразилась страшнѣйшимъ взрывомъ. Домъ царицы вздрогнулъ. На крышѣ что-то рухнуло. Напоромъ бури сорвало крючокъ съ оконной форточки, и она распахнулась. Вѣтеръ съ ревомъ ворвался въ комнату, задулъ свѣчи на столѣ и обдалъ вихремъ свѣга лица хозяина и его гостя. «Ужъ не батюшка ли подъ окномъ подслушалъ насъ и вошелъ сюда?»— въ суетвѣ ужаса подумалъ Алексѣй, съ содроганіемъ отступая отъ окна. Ему показалось, будто ледяной, грозный гигантъ сталъ передъ нимъ во тьмѣ, глядя на него страшными, бѣлыми глазами. «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!»— шепталъ онъ мысленно, едва держась на ногахъ. Кикинъ бросился въ сосѣдній покой, принесъ оттуда канделябръ со свѣчами и принялся закрывать форточку. Его руки дрожали. «И здѣсь чортова сиверка нашла,—думалъ онъ,—нигдѣ отъ нея не спрячешься!»

— Счастливо оставаться,—сказалъ онъ, откланиваясь.— Черезъ вѣрныхъ посыльщиковъ не оставь и насъ безвѣстно о твоёмъ здравіи и прочемъ.

Царица молча обняла его. По уходѣ гостя, онъ приѣлъ въ кресло, облокотился о столъ, склонилъ на руки голову и такъ просидѣлъ за полночь, изрѣдка взглядывая

на дрожавшее отъ вѣтра окно. Подъ гулъ и грохотъ бури ему все мерещился ледяной гигантъ, будто склонявшійся къ оконной рамѣ съ улицы и укорительно глядѣвшій на него бѣлыми глазами. «И почему я такъ боюсь его, — мыслилъ царевичъ, — фантома его пугаюсь, какъ дитя?.. Развѣ звѣрь онъ, не человѣкъ, мнѣ не отецъ? И отчего, вмѣсто сыновней, нѣжной любви, я съ малыхъ лѣтъ, сколько знаю себя, такъ не любилъ и такъ всегда боялся его?»

Алексѣю вспомнилось время, когда онъ юношей впервые возвратился изъ чужихъ краевъ. «Ну, каковы твои успѣхи? — спросилъ тогда отецъ, — какъ учился языкамъ; чертить и прочему? Принеси-ка свои чертежи». Напалъ тогда смертный страхъ на юношу-царевича. «Что, какъ заставить онъ, въ испытаніе, чертить при себѣ? — подумалъ при этомъ Алексѣй. — А я столь лѣнился и не сумѣю? Пропадать, видно, злой кары не избѣгну!» Онъ пошелъ за чертежами, взялъ со стѣны пистоль, зарядилъ его и, какъ бы нечаянно, лѣвою рукою выстрѣлилъ себѣ въ правую, — пуля слегка ранила ладонь. «Что съ тобой, Алѣша?» — спросилъ царь, бросившись на выстрѣлъ и увидя кровь на рукѣ сына. «Не примѣтилъ, съ чертежами, пистоля, — отвѣтилъ царевичъ. — Ухватился, прости, и негаданно поранилъ себя». Петръ подозрительно глянулъ на сына, но смолчалъ; опыта съ черченіемъ не было.

«Трусъ я негодный, смѣло думаю, говорю о борьбѣ съ ними! — мыслилъ Алексѣй подъ гулъ несмолкавшей бури. — И когда же кончатся эти муки, когда, вмѣсто мятелей и холода, настанутъ ясные и теплые вѣшніе дни?»

Кончился февраль, миновали мартъ и половина апрѣля. Снѣгъ въ Петербургѣ и его окрестностяхъ сошелъ. Весна была въ полномъ разгарѣ. Царевичъ изрѣдка ѣздилъ въ засѣданія коллегій и сената, принуждалъ себя заниматься текущими дѣлами, прочитывалъ присылаемые Меншиковымъ на его просмотръ бумаги и нѣмецкіе куранты. Объ отцѣ мало было слуховъ. Знали только, что онъ ведетъ какія-то переговоры въ Дании. Постыжая церква, царевичъ навѣдывался кое къ кому и явъ ближнихъ къ отцу вельможъ. Въ концѣ великаго поста онъ отговѣлъ и приобщился св. Таинъ.

Солнце пригрѣвало болѣе и болѣе. Скучная питерская природа готовилась одѣться въ вѣшній нарядъ. Ивы давно

сбросили чехлы съ цвѣтовыхъ почекъ. На полянахъ лѣсовъ Васильевскаго острова и Охты дружно прорастали зеленныя травы и по нимъ выдѣлялись голубые и желтые пролѣски. Распускались вздутыя почки липъ и березъ. Съ орѣшника свѣшивались сѣрые цвѣточные доконицы. Въ садахъ пахло смолой раскрывшихся листьевъ тополей. Грачи и воробьи, справивъ прошлогодня гнѣзда, съ крикомъ носились надъ ними. Появились мошки и жуки. Въ лѣсныхъ затинѣхъ налетѣли зяблики, долгоносые удопы, сѣрые и черныя дрозды. Зазеленѣла черемуха и на вскрывшихся рѣкахъ показались первые дикіе гуси и утки.

Ко двору царевича, передъ Пасхой, прибылъ весенній обозъ изъ Порѣчья съ живностью, — кончеными опороками, масломъ, творогомъ, балыками, яйцами и провѣсными гусиными полотками. Съ обоза ему подали два письма. Первое вскрытое было отъ попа Печѣнина. Отецъ Созонтъ благодарилъ Алексѣя за оказанныя щедроты и дары. «О-го, чудное милосердіе, Христе Боже!—писалъ онъ царевичу.—Хитродѣлецъ и злопамятогубецъ, староста Мосенчъ, какъ ни роскошенъ и честолюбивъ, все по твоему указу исполнилъ. Не корить болѣе, не узвляеть каменномѣтными словесы; дай, Господи, тебѣ своего времени и лѣтъ царствованія твоего благолѣпно устроить, аки устроилъ и хозяйствованіе твое на мызахъ. Молился азъ многогрѣшный тезоименнику твоему, человѣку Божьему Алексѣю, и оный прендобный мученикъ милости намъ отъ щедротъ твоихъ изліи: дадены намъ лугъ и лѣсъ, пашенка и помощь въ скотѣ и прочемъ, на прокормленіе мучицы аржаной и ячной, а для просфоръ матушкѣ кладушечекъ двѣ и пшеничной крупчатки. И во всемъ томъ добросердная и къ помощи склонная моя питомца Ефросинья, вашей худобы блюстительница, совѣтомъ и дѣломъ помогла совершить. Азъ же, многогрѣховный и мизирный, пишу сіе, а она къ милостямъ радѣтельница, Ефросинья Ѳеодоровна, вышла отъ себя, супротивъ, на крылечко, зрѣть въ вашъ садъ и онаго съ зими, ей Господи, больше не познать. И егда убо дверцы въ оный садъ нынѣ на солнцѣ отверзались, отъ тѣхъ деревьевъ и кустовъ, яко ароматъ изліянный, духъ сладкоуханъ и благоуханъ всѣхъ обьѣ,—дворъ и церковка наша исполнися аки смиренны и ладона. Въ прежнемъ житіи, въ Вязѣмахъ, было хорошо; въ твоей же, батюшка-царевичъ, здѣсь

купленной мызѣ, ей многократно лучше! Сему же письму конецъ предлагая и твоихъ милостей вѣкъ не забывая, азъ писавый словесъ ставлю конецъ, да сохранить твое превысочество Богъ-отецъ».

«Виршами на радости кончить! — подумаль съ улыбкой царевичъ, дочитавъ посланіе Созонта: — Что же, дай ему Господи! добрые люди оба они...»

Но во второмъ письмѣ онъ увидѣлъ надпись Смолокуровой. Краска восторга залила его лицо. Торопливо распечатать вчетверо сложенную бумагу, Алексѣй прочелъ слѣдующія строки:

«Государю моему, царевичу Алексѣю Петровичу. Прійтѣть близко, поклонитесь низко, честь весело, быть радостну. Съ особливимъ увеселеніемъ извѣщена есмь любительнѣйшимъ вашимъ писаніемъ. И мое письмишко честно да вручѣтся тебѣ, государю моему, и ты впредь забвенно не учини, а мы о здравіи вашемъ хоть одну строку слычати на всякъ часъ желаемъ. Доношу же твоей милости, не видя ясныхъ твоихъ очей, несносная мнѣ печаль, сердечная, смертоносная изва. А кругомъ развѣ не рай? да кому безъ тебя, желанный, любоватися? Хозяѣство ваше, аки младенецъ пріятный, ласковый, досмотрѣно мною паче зеницы. А которыми слова приказаны, все то сдѣлано. Солодовня починена, винокурня и маслобойня труждаются по всякъ день; ледники набиты и въ нихъ изъ медоварни и пивного завода вкачаны бочки новаго варева, до вашего пришествія къ намъ. Каменная рига покрыта, съ чешуйнымъ, зѣло краснымъ, оббиваніемъ по тѣсу и съ пѣтушки. Въ хоромашъ потюхъ, по волѣ твоей, зѣло пѣтушно, итальянскою работою, изъ гипса кладенъ, и слуги ваши, кормилицыны оба хлопчика, красно же одѣты, — плащикъ дологъ, бѣло сукно, шапочка бархатъ-синь, съ обручикомъ смушковымъ, — сама съ матушкой шила. Ахъ, пріѣзжай, любоньга-свѣтъ, все повидишь, самъ не нахвалишься нашимъ трудамъ. На птичемъ дворѣ — веселіе отъ крику и радости велиа. Гуси, павлины, утки и куры вывели малыхъ птенцовъ. Отъ мельницы, какъ приказалъ ты, радость, ѣдучи, гилями въ огородъ тянется вода. Рѣки, ручьи въ мѣстахъ полистыхъ и лугахъ изыграли. Роша листьемъ кроется. Цвѣты изъ теплицъ выставлены и скоро аки бы цвѣсть яблонямъ, дулямъ, сливамъ и всему. Не пріѣдешь — въ конецъ я пропала. И какаа это Богъ

мой, будетъ тоска! Видь, свѣте мой, братецъ, простъ я сердцемъ человекъ, а всему свѣту доказала, въ любви вѣрна. Ахъ, сердце, ахъ, лапушка! Зови къ себѣ, либо пріѣзжай. Твой вѣрный другъ Афросинья».

«Надо ѣхать. — подумалъ царевичъ. — Какой ни придумать резонъ, нѣтъ силъ. — вырвусь и уѣду!»

Волга, Кама, Ока и Донъ въ то время уже вскрылись. Въ Воронежѣ готовились къ спуску на воду вновь построенныхъ кораблей. Алексѣй объявилъ въ сенатѣ, что, выполняя всегдашнія желанія отца и чувствуя себя нынѣ вполне здоровымъ, онъ рѣшилъ отбыть въ Воронежъ, для осмотра тамошнихъ судовъ и верфи. Получивъ отъ морской коллегіи прогоны и подъемныя, онъ собрался и вскорѣ, со слугой и поваромъ, двинулся на ямскихъ въ Москву, а оттуда на Муромъ и Арзамасъ, въ алатырскую свою вотчину, Попрѣче. «Въ Воронежъ еще успѣю, какъ просохнетъ, — думалъ онъ. — Давно собственнаго не видѣлъ хозяйства».

.

Ноябрь 1890 года.

~~~~~

# СТАРОСВѢТСКІЙ МАЛЯРЪ.

(РАЗСКАЗЪ.)

«Ты куколка, я куколка,  
«Ты маленькая, я маленькая—  
«Приди ко мнѣ въ гости».

*Изъ старой сказки.*

## I.

Было знойное лѣто. По гребню высокаго косогора, на возу съ пшеницей, по степи ѣхалъ старый хуторянинъ. Свѣсивъ ноги съ воза, лѣнливо сторбясь и наклонивъ голову на грудь, онъ покачивался подъ мѣрный шагъ воловъ, дремалъ и пѣлъ. Напѣвалъ онъ все одно и то же, а именно, слѣдующія слова, повидимому, начало любимой его пѣсни:

«Ой были у кума пчелы,

«Ой... да были-жъ... у кума... пче-е-лы!»

Онъ пѣлъ ясно первую строку, начало второй слабѣе, а конецъ уже—засыпая. Встрѣчный толчокъ будилъ его. Онъ просыпался, затягивалъ ту же пѣсню, засыпалъ на словахъ: «Ой... да были у кума... пчѣлы»—и, проснувшись на новомъ толкѣ, опять принимался за старое.

Далѣе новости о томъ, что «у кума были пчѣлы», онъ не шель, и такъ ѣхалъ уже нѣсколько часовъ.

Ѣхалъ онъ въ Полтаву. Навстрѣчу ему, также подремывая и напѣвая, на телѣгѣ въ одну лошадь, двигался другой хуторянинъ-казакеъ, молодой. Ѣхали казаки и сѣпились возами.

Необычный скрипъ снастей разбудилъ ихъ. Они очнулись и молча стали погонять, старый — воловъ, молодой—своего коня.

Возы не трогались съ мѣста. Посыпались отрывочныя восклицанія.

— А! чтобъ тебѣ было пусто... — произнесъ старикъ, зѣвая и потягиваясь.

— Ишь, колодою развалился и не сворачиваетъ, — замѣтилъ молодой, также зѣвая...

— А ты что губы развѣсилъ? вѣрно тѣтку схоронилъ? — прибавилъ старикъ и, спустившись съ воза, принялся копать около колесъ.

— Ты вѣрно тѣтку схоронилъ! — обиженно произнесъ молодой, помолчавъ и усаживаясь на окраинѣ воза: — у тебя вѣрно тѣтка умерла, да и отецъ твой — пьяница!

— Какъ пьяница? — съ удивленіемъ спросилъ старикъ: — время ты! Не отецъ мой пьяница, а ты — такъ пьяница! — Синяки подъ глазами гдѣ взялъ?

Тотъ, къ кому относилось замѣчаніе о синякахъ, такъ часто этимъ украшался, что синякъ подъ его глазомъ скорѣе можно было принять за родимое пятно, чѣмъ за синякъ. Молодой хуторянинъ привскочилъ на мѣстѣ.

— Пьяница? Я — пьяница? А чтобъ твоя жена была воровкою, чтобъ ты самъ проворовался, да еще пусть тебя поймають и отдерутъ...

— Это тебя вѣрно отдерутъ! — сказалъ старикъ, безуспѣшно потягивая за колесный ободъ и очевидно теряясь отъ причитываній своего противника.

— Меня? Ахъ ты, старая подошва! Ахъ ты, бродяга... ишь, слюни распустилъ...

— Чтобъ тебѣ было пусто! — плюнулъ старикъ, не зная, куда дѣться отъ брани молодого, который гремѣлъ, какъ труба, сидя на окраинѣ воза.

Молодой не уговорился и еще прибавилъ:

— Чтобъ у тебя въ метель, посреди степи, кобыла распрялась, поясъ лопнулъ и руки окоченѣли...

Старикъ окончательно растерялся, выпустилъ ободъ и съ изумленіемъ замѣтилъ:

— Ахъ, да какъ же вы такъ удивительно ругаетесь!

Хуторяне развели возы, приподняли шайки и молча разѣхались. Скоро отлогій косогоръ остался у каждаго за спиною. Странники раскинулись на возахъ и заснули. — Когда они снова открыли глаза, была уже ночь, возы ихъ стояли гдѣ-то, передъ низенькою хаткою шинка, и стояли, зѣ удив-

взвѣнію ихъ, опять спѣвившись колесами... Молча покачали путники головами и слѣзли съ возовъ. — «Надо почевать тутъ!» — сказалъ одинъ изъ нихъ. — «И то правда! надо почевать!» — прибавилъ другой. Хуторяне распрягли воловъ и улеглись подъ открытымъ небомъ.

Скажемъ теперь, кто таковы были путники, такъ странно сведенные судьбою. Младшій былъ чумакъ, Омелько Брусь, въ большихъ обозахъ и въ одиночку ѣдившій лѣтомъ за солью, а зимою, съ утра до ночи, лежавшій на печи, въ своемъ хуторѣ. Старшій... но о старшемъ надо сказать подробнѣе.

Старшій былъ старосвѣтскій маляръ, изъ Борисовки, по имени Ефимъ Сояшница. Старосвѣтскіе маляры нынче переехались; но въ Борисовкѣ еще кое-гдѣ ихъ встрѣтять. Сояшница былъ украшеніемъ и гордостью Борисовки; его носили на рукахъ. Это былъ худенькій, низенькій человѣкъ, совершенно сѣдой и обстриженный въ кружокъ, въ зеленомъ длинномъ кафтанѣ изъ набойки и въ синемъ жилетѣ. Его жилетъ былъ съ непомѣрно-глубокими карманами, куда Сояшница собиралъ все, что ни попадалось; ему стоило только опустить въ эту кладовую руку, и оттуда, когда нужно, появлялись: иголка съ нитками, наперстокъ, или мѣдная грѣбенка, ножницы, сломанный циркуль, пуговка, восковой огарокъ, пуля... Сояшница брилъ затылокъ, носилъ большой отложной воротъ рубахи, читалъ по воскресеньямъ Апостолъ и любилъ, ставъ на клиросѣ, подтягивать тоненькимъ дискантомъ соборнымъ пѣвчимъ. Вслѣдствіе разныхъ тревогъ въ жизни, Сояшница, и прежде ѣдившій довольно часто съ работою по сосѣднимъ слободамъ, рѣшился окончательно бросить родимую Борисовку, вблизи которой родился на слободскомъ хуторѣ, и кончить вѣкъ въ работѣ по добрымъ людямъ...

Чуть крикнули пѣтухи, путники уже проснулись. Но прежде проснулся маляръ: — Вѣтеръ колыхалъ пучокъ бѣлаго ковыля на длинномъ шестѣ корчмы, и стая скворцовъ съ шумомъ летѣла на близкую поляну, засѣянную горохомъ. Роса блестѣла по травѣ. Издалека неслись звуки церковнаго колокола. Въ полѣ раздавалось веселое ржанье жеребенка. Маляръ сталъ противъ восходящаго солнца, осынивъ глаза рукою. Онъ молчалъ. Грудь его дышала спокойно, и въ маленькихъ карихъ глазахъ отражалась такая безмятеж-



ность, что никто бы не повѣрилъ, что ихъ хозяину давно стукнуло семьдесятъ лѣтъ.

— А знаете, оно хорошо было бы выпить!—раздался за его спиной голосъ. Сѣяшница обернулся. Передъ нимъ стоялъ, протирая глаза и зѣвая во весь ротъ, его вчерашній знакомецъ, Омелько.

Шаровары Омельки были сильно выпачканы дегтемъ, ноги—босые, шапка въ заплаткахъ.

— Выпить, такъ и выпить!—рѣшилъ маляръ.

Шинкаръ вынесъ водки. Путники потребовали хлѣба и сѣли подъ возами. О встрѣчѣ и перепалкѣ прошлаго дня не было и помину. Первый налилъ водки Омелько Брусъ.

— Будьте здоровы!—сказалъ онъ, осушая стаканчикъ, покривился, сплюнулъ, покачалъ головою, выпилъ еще стаканчикъ, посмотрѣлъ на его дно, махнулъ рукой, какъ бы говоря: «ну, теперь уже довольно!» и бережно поставилъ графинчикъ на траву.

— Откуда вы?—спросилъ маляръ.

— Ъздилъ въ Крымъ за солью,—жена посылала; да только не доѣхалъ, чтобъ нечистый побилъ ту канальскую водку. Всѣ деньги пропилъ на дорогѣ, и кисеть съ табакомъ пропилъ, и сапоги пропилъ, и теперь меня жена ужъ непремѣнно побьетъ...

Сѣяшница покосился на плечи Бруса и нѣсколько усомнился въ томъ, что его можетъ побить жена.

— Ну, а вы, дядюшка, откуда?—спросилъ Брусъ, опять посматривая на стаканчикъ.

— Ъду въ Полтаву къ одному знакомому человѣку хату писать.

— Э, друже, такъ вы — маляръ? — вскрикнулъ Омелько Брусъ не безъ радости:—такъ вы уже лучше постойте. Лучше вы меня выслушайте.

— А что?

— Поцѣлуемся прежде!

— Поцѣлуемся...

Странники, снявъ шапки, чмокнули другъ друга въ усы!

— Бросьте вы Полтаву,—сказалъ Брусъ:—на нечистаго вамъ Полтава? ничего вы тамъ не сдѣлаете!

— Нѣтъ! — сказалъ маляръ, помолчавъ: — никакъ уже нельзя теперь, далъ слово, пріятель обругаетъ!

— Не обругаетъ. Поѣдемъ въ наши мѣста, работы не оберешься!

Маларъ задумался.

— Нѣтъ, никакъ нельзя! — отвѣтилъ онъ рѣшительно: — дать слово! и какъ это можно. Пріятель скажетъ, что у меня языкъ даромъ во рту колотится!

— Не скажетъ пріятель. Поѣдемъ въ нашъ край! наны у насъ—все люди хорошіе, а картинами всѣ панскія хоромы увѣшаны.

Маларъ взглянулъ на Бруса и подумалъ: «Какой же ты, однако, должно-быть, добрый человѣкъ! Оно сейчасъ видно: и не спѣсивъ, и водку хорошо тянешь»...

— Ёду, такъ и бытъ!—сказалъ маларъ, махнувъ рукою.

Шинкаръ вынесъ новую флягу горѣлки. Маларъ скинулъ свитку и обратился къ другимъ путникамъ, съ любопытствомъ обступившимъ новыхъ друзей:

— А ну, братцы, садитесь и вы, да помочимъ усы въ горѣлкѣ!

Омелько Брусъ взялся за флягу, и пошла попойка. — Солнце, между тѣмъ, стало сильно припекать. Распряженные воли малара паслись за шинкомъ; лошадь Бруса щипала траву на взгорѣ, за выгономъ.

Въ это время по дорогѣ показался какой-то человѣкъ, въ картузѣ, съ коротенькою трубкою и кнутомъ. Онъ шелъ прямо къ коню.

— Смотрите, кто-то идетъ къ вашему мерину!—замѣтилъ маларъ.

— Идетъ!—отвѣтилъ Брусъ, спокойно лежа на животѣ.

— Вѣдь онъ украдетъ вашего коня!—сказалъ маларъ.

— Нѣтъ, не украдетъ.

— Какъ не украдетъ? Да вѣдь онъ идетъ прямо къ нему!

— Такъ что же? — отвѣтилъ Брусъ: — развѣ коня ужъ нельзя и на выгонъ выпустить?

— Да вѣдь онъ уже берется за гриву!—сказалъ маларъ.

— Мало ли что! теперь день, и насъ семеро.

Человѣкъ въ картузѣ орлянулся, взобрался на коня, хлестнулъ его кнутомъ и понесся по полю: только пыль столбомъ взвилась за нимъ.

Вскочили озадаченные хуторяне. Они безъ шапокъ бросились въ догонку за похитителемъ.

— Отдай, отдай коня, вражий сынъ!—кричалъ Брусь:—держи его, держи...

Но всадникъ мелькнулъ въ луговой травѣ и скоро исчезъ за косоторомъ.

Вернулись хуторяне къ корчмѣ и, снова охая, усѣлись подъ возами.

— Коня теперь нѣтъ,—сказалъ Брусь:—такъ зачѣмъ и телѣгу оставаться! Продадимъ телѣгу! Деньги на дорогу понадобятся: что-нибудь сломается, или за постою нужно будетъ заплатить.

Отуманенный маляръ сказалъ-было: «Не совѣтую! телѣга совсѣмъ новая!» Но тутъ же привсталъ, повозился зачѣмъ-то въ шароварахъ, опять сѣлъ и, сказавъ: «А не то, продавай телѣгу; она теперь совсѣмъ уже не нужна!» кинулся головою въ траву и заснулъ... Омелько Брусь продалъ телѣгу подтѣхавшимъ чумакамъ и, отвѣдя ихъ за шинель, объявилъ, что хочетъ танцевать. Чумаки вытащили изъ корчмы мальчика съ дудкой. Мальчикъ утеръ носъ, усѣлся на землѣ и принялся играть.

— Пейте, братцы! гуляйте! — кричалъ Брусь, взявшись подъ бока и съ трубкой въ зубахъ отвертывая ногами бѣшеную присядку:—гуляйте такъ, чтобы тошно стало самому нечистому...

Сперва Брусь плясалъ подъ корчмой, а потомъ и въ самой корчмѣ, уже полной народа. И чего только онъ ни дѣлалъ: билъ себя по бокамъ и по головѣ, кидалъ направо и налево руки и ноги, и каждая складка платья, каждая жилка, руки и губы,—все въ немъ плясало...

Вспомнилъ Брусь свое прошлое время, когда еще у него не было жены и онъ украдкою отъ дяди-кузнеца бѣгалъ на вечерницы.

Смерклось...

Омелько растолкалъ маляра, и широкій возъ хуторяны снова заколыхался по пыльной дорогѣ.

## II.

Бѣжали хуторяне долго, и въ дорогѣ съ ними было не мало приключеній. Когда въ полѣ попадался имъ въ потертомъ халатѣ и съ кисетомъ за поясомъ прохожій и; поднимая передъ ними картузь, говорилъ: «Душечка, дайте мнѣ грошикъ!» Омелько спрашивалъ: «На что вамъ гро-

шникъ?» Получая въ отвѣтъ: «Я за ваше здоровье, душечка, выпью!» онъ опускалъ руку въ карманъ маляра и, вынувъ оттуда деньги, говорилъ: «Вотъ вамъ грошикъ, только выпьемъ вмѣстѣ!» и подвозилъ его къ шинку.

По ночамъ путники не ѣдили, а всегда съ вечера гдѣ-нибудь останавливались.—Тутъ языкъ Бруса, при помощи денегъ, вырученныхъ за телѣгу, развязывался, и онъ угощалъ маляра разными любопытными разсказами.

Мало вниманія обращали странники на то, что у нихъ, наконецъ, не стало ни копейки денегъ.

Населенный и богатый край, родина Бруса, былъ не за горами. Какъ-то подъ вечеръ странники встрѣтили красноносаго городского скрипача. Едва державшійся на ногахъ, съ трубкою во рту и съ маленькою, потертою скрипкою подмышкой, музыкантъ, покачиваясь и понутивъ голову, подошелъ вензелями къ странникамъ. Снявъ шапку, онъ принялся напильникать на скрипкѣ что-то заунывное, закончилъ трепаконъ и, по обыкновенію всѣхъ слобожанскихъ скрипачей, попросилъ скрипкою пить: «пи-и-ти, пи-ти-ти». Но, увидѣвъ, что пить ему не дадутъ, онъ объявилъ, что если у добрыхъ людей есть кнутъ и хворостина, то его надо побить, потому что онъ рѣшительно никуда не годится... Онъ тутъ же положилъ скрипку на траву, снялъ поясъ, растянулся по срединѣ дороги и отъ души сталъ просить хуторянъ исполнить его желаніе.

— Что же? побить, такъ и побить!—рѣшилъ Брусъ:—это ужъ такъ ему, видно, нужно, душа захотѣла...—И сталъ его слегка хлестать.

Въ другомъ мѣстѣ странники встрѣтили мужа, несшаго на рукахъ подкутившую жену. — «То, вѣрно, съ веселья идуть!» — сказалъ при этомъ маляръ. — «У кума были!» — отвѣтилъ Брусъ, умильно слѣдя за счастливою четвою.

Скоро потянулись хутора. Все здѣсь было спокойно и уютно. Жизнь тутъ текла, какъ тихая, дремотливая струйка воды въ лѣсу. Народъ сидѣлъ у своихъ хатъ и, кажется, почти не замѣчалъ, какъ солнце всходило и садилось за цвѣтущими полями, какъ смѣнялись вечеръ, утро и темная ночь. Омелько качалъ головою и говорилъ: «Вотъ жизнь!» Маляръ ему вторилъ:

Маляръ любилъ засматриваться на какого-нибудь казака или на бабу, написанную на вывѣскѣ шинка. Омелько же,

большую частью, спать безъ просыпу, какъ только могутъ спать хуторяне, прогулявшіе до копейки свое добро и ѣдущіе, подобно ему, домой къ сердитой и бойкой женѣ, пославшей мужа продать, на примѣръ, на ярмаркѣ мѣшокъ пшеницы, или годовалаго бычка. Прѣзжаетъ такой хуторянинъ домой, хозяйка ласково встрѣчаетъ его и сажаетъ за столъ.—«Вотъ это жъ тебѣ—вареники, а вотъ это—блины! Кушай на здоровье, а я тебѣ еще и водочки поднесу!—Сидитъ пропащій мужъ, ни живъ, ни мертвъ, уплетаетъ молча вареники и блины и не знаетъ, какъ ему выпутаться изъ бѣды!—«Ну, говори же!»—начинаетъ хозяйка:—«почемъ была пшеница на ярмаркѣ и почемъ бычки?»—Мужъ, утирая усы, принимается рассказывать.—«Ну, а кофту купилъ ты мнѣ?»—робко спрашиваетъ хозяйка, наливая мужу водки.—«Купилъ!»—отвѣчаетъ мужъ.—У хозяйки душа готова выпрыгнуть отъ радости.—«Гдѣ же она?»—«Тамъ!»—отчаянно отвѣчаетъ мужъ, махая рукою.—«Гдѣ тамъ?»—«Пропала наша пшеница, да пропалъ и бычокъ. Сижу я, голубочка ты моя, на возу и думаю, какъ бы это ихъ не украли...»—«Ну?»—«Вотъ, сижу я и думаю. Утро пришло, не украли!.. Обѣдъ пришелъ, не украли! Солнце стало садиться...»—«Ну?? Ну??»—«Да уже вечеромъ украли, вражьи люди!»—замѣчаетъ мужъ, утирая усы. Хозяйка, блѣдная и возбужденная, вскакиваетъ изъ-за лавки... Только такіе хуторяне и могутъ такъ спать, какъ спалъ во всю дорогу Брусь. Наконецъ, путники увидѣли пристань своего странствованія.

Рано, на разсвѣтѣ теплой и влажной зари, передъ ними и съ косогора развернулась широкая долина, съ синѣющими лѣсами, курганами и лугами по берегамъ рѣки. Солнце только-что начинало подниматься изъ-за пригорковъ, и легкій туманъ висѣлъ по долинѣ.—Омелько Брусь остановилъ воловъ, приподнялся на возу и, на вопросъ маляра, сказалъ:

— То, будто овцы по долинѣ блѣютъ, деркачевскіе хутора; на этихъ хуторахъ живетъ панъ добрый и богатый; мы у него тоже побываемъ...

### III.

Быль полдень.

На крыльцѣ хуторянскаго домика стоялъ низенькій господинъ, въ шелковомъ стеганомъ бешметѣ, въ нанковыхъ панталонахъ и въ гарусныхъ ботинкахъ на босу ногу.

Это былъ Мнхѣй Мнхѣичъ Деркачь, обладатель деркачѣвскихъ хуторовъ.

На головѣ Мнхѣя Мнхѣича была широкая, изъ степной травки, шляпа. Онъ держалъ въ рукахъ пѣнковую трубку съ большимъ янтаремъ и потиралъ въ раздумѣ небритый подбородокъ. Этотъ подбородокъ имѣлъ обыкновеніе, какъ бы гладко его ни брили утромъ, къ вечеру того же дня обростать изсиня-черною щетиною.

Мнхѣй Мнхѣичъ пошелъ-было купаться, но уже было жарко. Мухи нестерпимо жужжали. Онъ вынулъ носовой платокъ и повязалъ его, въ видѣ вуали, на соломенную шляпу. Шедшія по дорогѣ бабы, присматриваясь къ бѣлому платку, который, какъ султанъ каски, отъ вѣтра то поднимался, то опускался на поляхъ шляпы, недоумѣвали, кто бы это могъ быть, и думали про себя: «Не то адъютантъ, не то дама!» — а подходя ближе, распознавали лицо добраго Мнхѣя Мнхѣича.

Передъ Мнхѣемъ Мнхѣичемъ у крыльца стояли, съ шапками въ рукахъ, уже извѣстные странники, маляръ Сояшница и его спутникъ Омелько Брусъ.

Воловъ у маляра также уже не было, и отъ самаго воза осталась одна пустая дегтярная мазница, да и ту онъ заложилъ въ кабакъ, при входѣ на деркачѣвскіе хутора.

Помѣщикъ прошелся по крыльцу и, потягивая изъ трубочки, спросилъ:

— Что же вамъ отъ меня нужно?

— Я—маляръ!—сказалъ Сояшница.

Окинувъ глазами сѣдую голову, долгополый зеленый кафтанъ и вообще всю слабую и плохенькую фигурку маляра, Мнхѣй Мнхѣичъ затянулся трубкой и, пуская дымъ колечками, произнесъ:

— Нѣтъ... идите съ Богомъ... мнѣ васъ... не нужно!

Маляръ съ уныніемъ взглянулъ на него и спросилъ:

— Отчего же... не нужно? Я вамъ такую вещь напишу, что еще сроду не видано!

Мнхѣй Мнхѣичъ помолчалъ.

— А карету распишешь?

— Распишу...

— Да вѣдь ты, я знаю тебя, заломилъ, Богъ вѣсть какую цѣну? Маляръ изъ Вахмута брался расписать ее за пятьдесятъ цѣлковыхъ.

— А я возьму... двадцать, а не то и меньше! — сказала Сояшница.

— Когда такъ, то я согласенъ! — отвѣтилъ помѣщикъ.

Сдѣлка тутъ же была заключена на условіяхъ, что Сояшница будетъ жить на барскихъ харчахъ до той поры, пока окончитъ всю работу; съ нимъ будетъ жить и Брусь, въ качествѣ *подмалярія*; и каждому изъ нихъ, за обѣдомъ, будетъ подноситься по рюмкѣ водки, а за ужиномъ, по окончаніи дневныхъ трудовъ, по двѣ. Сверхъ того, имъ дозволено, разъ въ недѣлю, ходить въ гости къ сосѣднимъ хуторянамъ и, если пожелаютъ, напиваться пьяными, отъдохнуть, ходить на четверенькахъ. Полная расплата за работу должна была послѣдовать, когда деркачѣвскій баринъ прокатится въ заново-отдѣланной каретѣ.

Маляръ и его другъ перешли на новое жительство.

Это былъ курень, съ навѣсомъ и погребомъ, въ садовой пасекѣ. Омелько Брусь скоро огласилъ своды новаго жилища звонкимъ храпомъ, а черезъ недѣлю, въ курень, неизвѣстно откуда, появилась круглая и «полновидная» бабенка, съ бѣлымъ лицомъ и въ аломъ платкѣ на черныхъ, лоснящихся волосахъ. И когда деркачѣвская дворня, приѣхавъ эту гостью, иронически спрашивала у Бруса: «Что это за баба?» — Брусь отвѣчалъ: «А то я сюда свою жему перевелъ, потому что, какъ же на свѣтѣ человеку жить безъ жены?» — А у тебя, Сояшница, есть жена? — спрашивала любопытная дворня. — «Есть! — нехотя отвѣчалъ маляръ: — только она ходитъ теперь... на заработкахъ!» — Дворня болѣе не спрашивала. — Маляръ свѣзилъ въ уздный городъ, накупилъ кистей и красокъ, перетаскилъ карету изъ сарая подъ навѣсъ пасѣки и принялся за работу.

Старая, пыльная карета была вымыта, выгушена, до половины закрыта широкою полотняною тканью, и маляръ, соскобливъ съ ея боковъ старую краску, началъ покрывать ее грунтомъ. Омелько Брусь, получившій титулъ недмалярія, на гладко отполированномъ жерновѣ вѣтряной мельницы принялся растирать бѣлила, охру, сурикъ, синьку, и мѣдянку.

Работа пошла, какъ по маслу, и Сояшница до того расходился, что, покрывая желтымъ слоемъ грунта кожаные бока кареты, захватилъ налету и стекла кареты, и порядочную часть собственнаго фартука.

Михѣй Михѣичъ, какъ человѣкъ знающій и старательный, хотя до того безтолковый, что, по замѣчанію сосѣдей, муха преспокойно могла усѣсться на кончикъ его носа и загнать его въ болото, часто заходилъ въ мастерскую Сояшницы.

— Это у тебя ямочки и негладко! — говорилъ онъ, вода рукой по загрунтованнымъ бокамъ кузова.

— И въ самомъ дѣлѣ, ямочки и негладко! — подхватывалъ маляръ, издали прищуриваясь на свою работу и тоже вода по ней рукою: — и какъ это могло случиться?

— Это нужно поправить! — говорилъ Михѣй Михѣичъ, сжавъ губы и вопросительно смотря на Сояшницу.

— Поправлю! — отвѣчалъ Сояшница: — безъ того нельзя.. вонъ, трещины...

Михѣй Михѣичъ черезъ нѣсколько дней снова заходилъ на пасѣку.

— А вѣдь у тебя, погляди — опять ямочки и не заглажено! — говорилъ онъ, нагибая носъ къ каретѣ.

— И въ самомъ дѣлѣ, не заглажено! — удивлялся маляръ, недоумѣвая, какъ это могло случиться.

И сколько Михѣй Михѣичъ ни приходилъ на пасѣку, — медомъ тамъ удивительно пахло, — а ямочки и трещины на каретѣ оставались въ прежнемъ положеніи...

Между прочимъ, онъ крайне любопытствовалъ узнать, какъ маляръ обойдется, при своей работѣ, безъ должныхъ инструментовъ.

— Какъ это ты выточилъ и вылощилъ? — спрашивалъ онъ, указывая на разные мѣста: — у тебя нѣтъ ни стамески, ни пемзы!

— А вы не безпокойтесь! — отвѣчалъ маляръ: — я это все отлично сдѣлаю! — я это сапожнымъ шиломъ сдѣлаю!

— Какъ, сапожнымъ шиломъ?

— А такъ же: гдѣ вогнуто, я остріемъ-сь, а гдѣ гладко, проведу плашмя-сь...

Михѣй Михѣичъ на это теръ у себя переносицу и молча отправлялся смотрѣть пчелъ, за которыми, скажемъ мимоходомъ, въ свободное отъ работы время, было поручено смотрѣть Брусу.

Среди занятій по подмалѣвкѣ и окраскѣ кареты незамѣтно мелькнуло нѣсколько мѣсяцевъ.

Одинъ бокъ кузова былъ выправленъ и загрунтованъ.



Маларъ принялся за другой бокъ. Экономка Михѣя Михѣича аккуратно подносила маларамъ за обѣдомъ по рюмѣ водки, а за ужиномъ по двѣ, и Михѣй Михѣичъ спокойно смотрѣлъ изъ окна гостиной, какъ, по условію, по праздникамъ, малары прогуливались на четверенькахъ передъ корчмою его хутора, несказанно тѣмъ потѣшая пеструю слобожанскую толпу.

— А знаешь что, Сояшница?—сказалъ однажды Михѣй Михѣичъ, навѣстивъ малара: — ты бы тогда, какъ не пишешь кареты, и она сохнетъ, другое что хорошее написать.

— И въ самомъ дѣлѣ! Что даромъ время тратить!

— Что же ты напишешь?

— Все на свѣтѣ. Для того мнѣ нужна только та краска, что зовутъ «кошечьи румяна», да хоть чуточку настоящихъ свинцовыхъ бѣлилъ.

«Кошечьи румяна», бѣлила и прочее были доставлены, и въ одно прекрасное утро Михѣй Михѣичъ обратился къ малару съ слѣдующимъ вопросомъ:

— Ну, что же ты теперь мнѣ напишешь?

Маларъ опустилъ кисть и, глядя на оставленную работу, сказалъ:

— Напишу бѣднаго Лазаря, или прекраснаго Іосифа, высокую гору, или какъ мать сына въ походъ провожаетъ; напишу турецкаго пашу...

Черезъ нѣсколько недѣль Сояшница принесъ Михѣю Михѣичу что-то завернутое въ клѣтчатомъ синемъ платкѣ. На вопросъ барина: «это что такое?» онъ отвѣчалъ: «я вамъ, Михѣй Михѣичъ, снѣгиря, поймалъ». — Снѣгирь, однакоже, оказался картиною, и Михѣй Михѣичъ, взявъ ее въ обѣ руки, сталъ ее глубокомысленно разсматривать... На полотнѣ былъ изображенъ кавказскій плѣнникъ.

— Хорошо, весьма хорошо!—сказалъ Михѣй Михѣичъ:— усы вышли нѣсколько будто голубые, но хорошо... очень хорошо... горы, черкесы и лѣсъ...

Услышавъ похвалу, Сояшница размахался руками.

— Эхъ, Михѣй Михѣичъ! Эхъ, сударь вы мой!—воскликнулъ онъ:— да если бы мнѣ да этакое помѣщеніе, да краски, такъ я бы не то написалъ! Ну, что это? Пустяки. Нѣтъ, я славную бы вещь написалъ! Эхъ, я уже знаю... да что... лучше и не говорить.

Раскозырявшемуся малару, однакоже, пришлось получить

неожиданный щелчок судьбы. Михѣй Михѣичъ нечаянно взглянулъ на одно мѣсто картины и сдвинулъ брови.

— Послушай,—сказалъ онъ:—а рука плѣнника куда дѣвалась? ты рукавъ написалъ, а даже саблю на воздухѣ около него написалъ, а про руку и позабылъ.

— Ахъ! и въ самомъ дѣлѣ! — вскрикнулъ Сѣяшница: — совсѣмъ позабылъ! изъ головы вылетѣло, Михѣй Михѣичъ! право, вылетѣло!

И онъ тутъ же сбѣгалъ на пѣсѣку, утѣлся на перевернутомъ ведрѣ и пририсовалъ къ рукаву плѣнника забытую руку.

#### IV.

Прошло еще нѣсколько мѣсяцевъ.

Другой бокъ кареты былъ окончательно загрунтованъ, и маляръ принялся покрывать его изсиня зеленою краской.

— Знаешь, Сѣяшница, — сказалъ баринъ: — я думаю на дверцахъ написать свои гербы.

— Что же ничего... оно точно хорошо, какъ гербы...

— Какъ же ты думаешь, голубою или зеленою краскою написать гербы?—спрашивалъ онъ.

— Ни голубою, ни зеленою...

— Какъ такъ?

— А такъ же! Ужъ если что рисовать, такъ я вамъ съ каждой стороны, на дверцахъ, нарисую лучше по два самоварчика...

— Какъ, по два самоварчика??

— А видите ли: я въ Зміевѣ нарисовалъ одному купцу, на выѣскѣ, рядомъ по два одинаковыхъ самоварчика, и повѣрите ли, весь городъ повалилъ въ гостиницу къ тому купцу, и онъ разжился въ нѣсколько мѣсяцевъ, и мнѣ зато далъ плису на житье и совсѣмъ почти новую шапку...

Михѣй Михѣичъ улыбнулся.

— Нѣтъ, ужъ ты мнѣ самоварчиковъ лучше не рисуй.

— Отчего же не рисовать?

— Да такъ; это, кажется, теперь не въ модѣ.

— Такъ какъ же? Вѣдь этакъ вся карета будетъ безъ украшеній...

— Нѣтъ, ужъ пусть лучше будетъ безъ украшеній, а самоварчики... это не въ модѣ...

Прошло еще несколько месяцевъ съ той поры, какъ маляры поселились на пасѣкѣ Михѣя Михѣича.

Омелько Брусь блаженствовалъ. Сдѣявшица, однакоже, замѣтилъ, что его пріятель съ нѣкотораго времени начинаетъ впадать во многія, не совсѣмъ благовидныя наклонности, хмурилъ брови и дулся. Такъ, напримѣръ, оказалось, что въ ульяхъ садовой пасѣки, за которою Брусу было поручено ходить, когда ихъ осенью принесли къ подвалу, чтобы, по обыкновенію, подрѣзывать соты, не отыскалось ни крошки меду.

Баринъ удивился.

— Куда дѣлся медъ? говори!—спросилъ онъ строго Бруса.

— А Богъ его знаетъ, куда!—отвѣтилъ спокойно Брусь:—можетъ-быть, высохъ, или кто-нибудь его съѣлъ.

— А вотъ, я тебя какъ положу, да вспрысну березникомъ, такъ ты и будешь у меня рассказывать.

Михѣй Михѣичъ, впрочемъ, напрасно храбрился, такъ какъ во всю жизнь онъ наказалъ одно только существо, а именно, голландскаго гуся, который во время купанья укусилъ его за голую икру, за что въ тотъ же день и попалъ въ горшокъ съ борщомъ.

За Брусомъ былъ учрежденъ строгій надзоръ, и было велѣно перевести его изъ пасѣки въ особую хату.

Оказалось также, что Омелько Брусь и его жена навѣдываются безъ спроса въ огородъ, гдѣ стали исчезать ягоды, картофель и бобы. Михѣй Михѣичъ замѣчалъ объ этомъ маляру, маляръ Брусу, но Брусь на это отмалчивался или принимался икать.

Не радовалъ сердце друга Брусь, какъ въ тѣ времена, когда они странствовали по степи и дѣлили вмѣстѣ счастье и горе, смѣхъ и слезы.

Работа подходила къ концу.

Колеса кареты были осмотрѣны и окрашены, и маляръ принимался за покрытие всего кузова лакомъ. Злая грусть, между тѣмъ, съѣдала сердце маляра. Онъ выходилъ изъ пасѣки, глядѣлъ на улицу, гдѣ жилъ Брусь, и молча хмурилъ брови. Омелько, видимо, его избѣгалъ, не являлся растирать на жерновѣ красокъ и водился либо съ зажиточными хуторянами, либо съ поповичами сосѣдняго мѣстечка. И часто, изъ-за ограды сада, маляръ слышалъ, какъ при его имени, произнесенномъ Брусомъ, головы хуторянъ

обращались къ пascькѣ и раздавался хохотъ чернобровыхъ хуторянскихъ красавицъ.

— Эхъ-ма! — говорилъ на это маляръ: — вѣдь вотъ человѣкъ! Ну, не говорилъ ли я? вѣдь только даромъ живетъ на свѣтѣ! Такіе ли бываютъ подмаляринъ? Знаемъ мы васъ, шеромыжниковъ... Эхъ, дай-ка мнѣ хорошихъ рабочихъ, написалъ бы я славную вещь... И всѣ бы тогда сказали: «ишь ты, сидѣль-сидѣль, да и написать такую вещь, что еще и не видано...»

Замѣтивъ, что маляръ начинаетъ сильно тосковать, Михай Михайчъ, въ утѣшеніе его, подарилъ ему старенькое охотничье ружье.

Маляръ, однакоже, не прикасался къ ружью и даже съ сердцемъ говорилъ Брусу, который иногда являлся на пascьку пострѣлять въ отсутствіе Сояшницы воробьевъ: «оставь ты эту бѣсову вещь, Омелько, оставь: еще глазъ выбьешь!» — «Ничего, не выбью!» — отвѣчалъ на это Брусъ. — «Какъ, не выбьешь! оставь, говорю тебѣ: забыть ты развѣ, какъ Михай Михайчъ хотѣлъ тебя высѣчь за медь? забыть?» — «Гдѣ забыть, вовсе не забывалъ! только ужъ не знаю, можно ли кого на свѣтѣ высѣчь за воробьевъ!» — «Воробьи, Омелько, тоже хотятъ жить, и ты — дрянъ, а не человѣкъ, если станешь ихъ убивать!»

Однажды маляръ шелъ за мукою черезъ господскій дворъ. Въ окнахъ дома раздавался крикъ. Помѣщикъ, блѣдный и растерянный, выбѣжалъ на крыльцо.

— Маляръ, маляръ! — кричалъ онъ: — бѣги скорѣе на пascьку и носи свое ружье; мои запорты въ кладовой, а въ чуланѣ вскочилъ бѣшеный котъ, только-что взбѣсился!

Маляръ оглянулся, выхватилъ изъ-подъ плеча пустой хлѣбный мѣшокъ и сказалъ: «на пascьку далеко, а я и этимъ кота поймаю!» — Съ этими словами онъ вбѣжалъ на крыльцо, отперъ дверь чулана и остановился на порогѣ.

Жирный сѣрый котъ ключницы дѣйствительно взбѣсился и, злобно вращая помутившимися глазами, съ пѣною у рта, ходилъ по чулану...

Маляръ присѣлъ на корточки, разставилъ передъ собою мѣшокъ и сталъ подходить къ коту. Михай Михайчъ, блѣдный, стоялъ за нимъ. Котъ вытянулся, оцѣтинился, замяукалъ и бросился на маляра; маляръ бросился на кота.

Помѣщикъ вскрикнулъ и пошатнулся. Когда онъ раскрылъ

глаза, котъ сидѣлъ уже въ мѣшкѣ маляра, и послѣдній молча закручивалъ надъ нимъ веревку.

— Въ воду, въ воду его! — кричали дворовые, когда маляръ вытащилъ и торжественно вынесъ кота на крыльцо.

Маляръ пошелъ къ рѣкѣ. Помѣщикъ и дворня слѣдили за нимъ.

«Зачѣмъ, — разсуждалъ маляръ, — я кину кота въ воду вмѣстѣ съ мѣшкомъ? Мѣшокъ можетъ на что-нибудь пригодиться!»

Онъ сталъ развязывать мѣшокъ...

Но едва узелъ развязался, котъ стремительно ударился въ его руки, весь въ пѣнѣ выскочилъ изъ мѣшка и вспрыгнулъ ему на шапку. Маляръ въ ужасѣ присѣлъ къ землѣ...

Опеченившись на немъ и дико маябая, котъ сталъ его скрести когтями...

Михѣй Михѣичъ окончательно потерялся и бросился бѣжать къ дому безъ памяти, крича и махая руками.

Въ тотъ же мигъ раздался выстрѣлъ, и котъ, завертѣвшись кубаремъ, полетѣлъ съ головы маляра въ воду. Всѣ съ изумленіемъ оглянулись на звукъ неожиданнаго выстрѣла...

Изъ двери пчелинаго шалаша голубою струйкой тянулся дымокъ. Омелько Брусь, склонившись надъ ружьемъ, блѣдный стоялъ у порога шалаша и молча осматривалъ курокъ.

Сосѣдница увидѣлъ, кто былъ его спасителемъ, и въ безумной радости кинулся къ своему другу. — «Голубчикъ мой, Омелько! Такъ это ты убилъ кота?» — кричалъ онъ, смаргивая крупныя, катившіяся по усамъ слезы.

Брусь на это не поднялъ даже головы, какъ будто это былъ не онъ, и сквозь зубы ворчалъ, пристально разглядывая ружье: — «Вотъ такъ ружье, Ей-Богу, и не думалъ, чтобы не промахнуться, а оно и убило кота! Славное ружье, чтобъ бѣсъ забралъ его батька!»

Въ груди маляра похолодѣло.

— Такъ ты не радъ, Омелько, что спасъ меня? — спросилъ маляръ.

— Гдѣ не радъ! Я только говорю, что какъ это я такъ вѣрно попалъ въ кота! И не думалъ совсѣмъ попадать, а уже на удачу...

---

Случилось около того же времени, маляръ завелся соб-

ственнымъ боченкомъ полынной водки и тщательно сберегалъ этотъ напитокъ въ погребѣ около шалаша.

Онъ долго имъ пользовался втихомолку и вдругъ замѣтилъ, что боченокъ началъ пустѣть, будто усыхать, и скоро водки осталось на его днѣ не болѣе нѣсколькихъ стакановъ... Изумился маляръ, осмотрѣлъ боченокъ: ни одной щели не было на его бокахъ. — «Должно-быть, повадился воръ!» — рѣшилъ Сояшница и задумалъ, во что бы то ни стало, поймать вора.

Онъ залѣзъ на ночь подъ лавку, на которой стоялъ боченокъ, и только-что успѣлъ умѣститься, какъ дверь погреба тихо скрипнула, и въ него сталъ спускаться какой-то человѣкъ съ фонаремъ.

Боченокъ снятъ со скамьи; кто-то опрокинулъ его надъ головой.

Сояшница быстро выскочилъ изъ своей засады и остолбенѣлъ: передъ нимъ стоялъ Омелько Брусъ...

Маляръ стиснулъ зубы.

— Такъ это ты, Омелько, мою водку воруешь?—спросилъ онъ глухимъ голосомъ.

— Я! — отвѣтилъ Омелько, бессознательно разглядывая боченокъ...

Маляръ вздохнулъ.

— И полюбилась тебѣ моя водка?

— Какъ не полюбилась!..

— Отчего же ты не пришелъ ко мнѣ и не попросилъ?

Брусъ молчалъ.

— Затѣмъ же ты... сюда... по ночамъ... сюда, Омелько?

Голосъ маляра дрогнулъ.

— Лучше бы ты, Омелько, взять ножъ да и зарѣзалъ меня, какъ стараго барана!—сказалъ Сояшница и вышелъ изъ погреба; слезы душили его, и онъ зарыдалъ, какъ ребенокъ.

На другое утро маляръ, позабывшись, за чѣмъ-то опять вошелъ въ погребъ: боченокъ, ужъ окончательно допитый, лежалъ на полу.—«Собака!»—сказалъ съ холоднымъ негодованіемъ маляръ, отталкивая ногою боченокъ.

Съ той поры онъ заперся въ шалашѣ, пересталъ пускать изъ себѣ Бруса и болѣе не промолвилъ съ нимъ ни слова. Да и не къ чему уже было говорить съ Омелькой.

Омелько въ это время неожиданно приказалъ всѣмъ долго жить...

Произошло это такимъ образомъ.

Было то тяжелое время, когда повсюду стали запрещать ѣсть дыни, арбузы, яблоки и всякую овощь, потому что появилась страшная болѣзнь, холера. Омелько Брусь, незадолго до того времени, сталъ окончательно пропадать по оврагамъ и пропивать послѣдній платокъ жены. Но вдругъ онъ неожиданно остепенился и даже сталъ заводить хозяйство. Онъ, между прочимъ, посѣять огородъ и день и ночь его караулить, не трогая ни капли водки. Огородъ у Бруса созрѣлъ, но никто не покупалъ у него овощей.— «Что! — подумалъ Брусь, — повезу я ихъ хоть по помѣщикамъ; можетъ, на кормъ скоту купятъ!» — И онъ навалилъ дынями и арбузами огромный возъ. Солнце проежало его до костей. Воды негдѣ было взять, и Брусь, забывшись, проткнулъ пальцемъ большую дыню, выпилъ ее съ смечками до дна, заболѣлъ — да дорогою и умеръ. — Лошадь его привезла къ чьей-то усадьбѣ. Дворян со страхомъ обступила возъ и повернула его оглоблями назадъ; лошадь обратно повезла хозяина въ деркачевскіе хутора. — Шумъ поднялся на тихой улицѣ. Народъ сбѣжался, но никто не рѣшился коснуться бѣднаго Бруса. Сама его жена, увидѣвъ трупъ мужа, забѣжала неизвѣстно куда, захвативъ съ собою все уцѣлѣвшее добро покойнаго. Коснулся Омельки Бруса, снялъ его съ воза, одѣлъ и похоронилъ одинъ только человѣкъ на всемъ хуторѣ. И былъ этотъ человѣкъ — старый маляръ Сояшница. — «Всѣмъ былъ добрый и хорошій человѣкъ, всѣмъ, да проворовался, какъ собака!» — говорилъ сѣдой маляръ, стоя съ лопатой надъ могилою отошедшаго друга...

Вѣтеръ шумѣлъ между черными крестами хуторскаго погоста, волнуя траву, покрывавшую одинокія могилы, и никто не видѣлъ, какъ горевалъ маляръ надъ покойнымъ другомъ. — «Эхъ-ма! — говорилъ старикъ, качая головою: — зачѣмъ ты, Омелько, проворовался!» — И глухія рыданія прерывали сѣтованія осиротѣлаго маляра.

## V.

Карета была окончательно окрашена, и чистенькая и свѣтлая, какъ новый поливанный кувшинчикъ, стояла подъ навѣсомъ пчельника. Маляръ видѣлъ, что дѣло пришло къ цѣли, что настала пора расплаты; но все еще ходилъ и возился возлѣ кареты, смотрѣлъ на ея дверцы и колеса и не

рѣшался сказать ей обладателю, что работа совершенно окончена. Жаль было старику покинуть пригрѣтое и обжитое мѣстечко. Онъ кашлялъ и смотрѣлъ въ землю, встрѣчаясь съ Михѣемъ Михѣичемъ, и всегда заводилъ посторонній разговоръ. Да и Михѣй Михѣичъ, впрочемъ не торопился съ каретой. Онъ очень удобно ѣздилъ въ самодѣлковыхъ деревянныхъ дрожжахъ, которыхъ имя было «чертапхань».

Соймщица не зная, куда дѣться отъ тоски. Скитался безъ цѣли изъ угла въ уголъ, онъ привязывался то къ голубямъ, то къ послѣдней дворовой собацѣ, которую всѣ гнали и били безъ милосердія.

Неожиданно судьба послала ему утѣшеніе.

Стоялъ однажды, по своему обыкновенію, Михѣй Михѣичъ на крыльцѣ. Изъ кухни вышелъ заспанный лакей, Терѣшко. Онъ былъ любимецъ барина и имѣлъ право заговаривать съ нимъ во всякое время, заложивъ руки за жилетъ и отставивъ одну ногу впередъ.

— Чего тебѣ, Терѣшко?—спросилъ баринъ.

— Да я къ вашей милости.

— А что, развѣ?

— Да тамъ такое диво, что я и родился, и выросъ, и вашей милости служу, а не видѣлъ еще такого, убей Богъ...

— Что-жъ тамъ за диво?

— Гляну я въ окно, идетъ по улицѣ фокусникъ, а за нимъ бѣжитъ весь хуторъ, и мужики, и бабы. Вынулъ фокусникъ дудку и мѣшокъ, а въ мѣшкѣ сидѣлъ ученый пѣтухъ.

— Ну?

— Вынулъ фокусникъ того пѣтуха, подвязалъ ему къ ногамъ ходули изъ палочекъ и сталъ играть на дудкѣ.

— Такъ что же?

— Да бабы просятъ зазвать фокусника...

— А зазвать, такъ и зазвать.

Передъ домомъ собралась густая толпа дворни.

Фокусникъ, оказавшійся скромнымъ продавцомъ гребенокъ и ножей, явился, весело поглядывая на окружающихъ; онъ поклонился барину, попросилъ рюмку водки, выпилъ, и представленіе началось. Пѣтухъ сталъ огромными шагами расхаживать подъ дудку хозяина. Присутствующіе заливались дружнымъ хохотомъ. Баринъ всталъ. — «Терѣшко, а бѣги въ комнаты и принеси сюда моего пѣтуха!»—сказалъ онъ



— А вотъ, я на амбаръ: хочется на голубей посмотре́ть— не подмерзли бы!—отвѣтилъ старикъ, и онъ скоро скрылся изъ глазъ сторожа...

Слѣдующее за этимъ утро было ясно и безоблачно. Солнце весело катилось по голубому небу. Равнины искрились серебромъ перваго снѣжнаго убора. Михѣй Михѣичъ, въ тепломъ бешметѣ и въ ваточномъ картузѣ, съ суконными кланчиками на ушахъ, сходилъ съ крыльца, собираясь побродить по хозяйству. И только-что онъ подумалъ: «а посмотримъ, много ли дѣвки надрали пуху», — какъ къ его дому подѣхалъ возъ, покрытый рогожею. Сотскій шелъ возлѣ воза и что-то говорилъ рыжему въ веснушкахъ парню, который погонялъ воловъ.

— Что тебѣ, Никита? — спросилъ Михѣй Михѣичъ сотскаго.

— А вотъ, работникъ мой ѣхалъ по степи съ сѣномъ и подъ стогомъ нашелъ двухъ замерзшихъ людей.

Парень откинулъ съ воза рогожу. На кучѣ сѣна лежали окоченѣлые маляръ Сояшница и гребенщикъ.

## VI.

Судьба сжалилась надъ маляромъ и не допустила его отойти изъ дольняго міра такимъ печальнымъ путемъ. По распоряженію Михѣя Михѣича, тѣла замерзшихъ со всѣми усилиями были оттираемы, и когда ничто не помогало, ихъ поставили въ такъ называемый *мертвый домикъ*, который читатель всегда встрѣтитъ на многихъ степныхъ кладбищахъ.

Михѣй Михѣичъ нѣсколько трусилъ, не зная, кому отдать слѣдующую плату за карету, и опасаясь, какъ бы маляръ самъ, въ видѣ мертвеца, не пришелъ за нею ночью. Мертвецъ, однако, его не беспокоилъ. Когда, передъ вечеромъ, сторожъ вошелъ въ мертвый домикъ, замерзшій гребенщикъ лежалъ на столѣ, а маляра тамъ не было. — Сторожъ заглянулъ подъ столъ и въ канавы, окружавшія кладбище, даже на колокольню: нигдѣ не было старика. Сояшница ожилъ, покинулъ мертвый домикъ и притащился къ себѣ въ шалаши, истопилъ тамъ печь, сварилъ себѣ кашу, обогрѣлся, проспалъ чуть не цѣлыя сутки и снова, какъ ни въ чемъ не бывало, сталъ жить на бѣломъ свѣтѣ.

Но уже лучшія струны его души были порваны, и онъ болѣе не выходилъ изъ холодной, постоянной тоски. Тѣмъ

перваго его друга, Омельки Бруса, носилась передь нимъ, и онъ съ печальнымъ раздумьемъ смотрѣлъ черезъ заборъ сада. Однажды онъ пробовалъ-было расхрабриться передъ хуторянскими молодцами и объявилъ, что вы, вотъ, не смѣйтесь, что онъ самъ женатъ, и что его жена молода и не уступитъ никакимъ на свѣтѣ молодыцамъ. И когда въ его словахъ усомнились, онъ пошелъ къ Михѣю Михѣичу, занялъ у него, въ счетъ будущей платы за карету, денегъ и сообщилъ, что пойдетъ за женою и приведетъ ее на хуторъ. — Отправился маляръ въ дорогу. Весь путь его мочилъ холодный дождь и была острая осенняя стужа. Иззябшій и измученный, добрался онъ къ купцу, у котораго проживала работницею его жена. — Нѣсколько десятковъ верстъ, пройденныхъ пѣшкомъ, дали себя знать старику. Купецъ посмотрѣлъ на него съ изумленіемъ и спросилъ: «Да развѣ это твой жена?» — «Моя!» — отвѣтилъ Сояшница. — Купецъ задумался, повелъ его въ свои комнаты, накормилъ его, напоилъ и сказалъ: «Жены твоей теперь у меня нѣтъ!» — «Какъ нѣтъ? Гдѣ же она?» — спросилъ маляръ измѣнившимся голосомъ. — «Она, — вотъ видишь ли... она теперь уже не у меня, а у одного аптекаря, въ Харьковѣ, занимается... ключницею». — Маляръ разставилъ руки и вперилъ глаза въ землю. Слеза выкатилась изъ-подъ его рѣсницы и, задрожавъ, повисла на небритомъ подбородкѣ. — «Ступай и возьми свою жену! она здорова, сыта и тебѣ обрадуется!» — сказалъ купецъ.

Маляръ печально улыбнулся.

— Нѣтъ! — отвѣтилъ онъ: — жена теперь не пойдетъ за мною! Дождь, и теперь очень мокро!

— Какъ не пойдетъ? Да ты ее возьми силою; на то ты мужъ..

— Мужъ!.. нѣтъ, она не пойдетъ! — замоталъ головою маляръ: — я ужъ знаю свою жену! не пойдетъ, потому дождь и мокро.

И, несмотря на всѣ увѣщанія купца, онъ покинулъ Харьковъ и опять пустился въ длинный путь. Ночуя подъ копами и въ старыхъ кирпичныхъ заводахъ, пришелъ онъ къ Михѣю Михѣичу и молча подаль ему гривенникъ.

— Что это? — спросилъ его изумленный баринъ.

— Это осталось отъ денегъ! Возьмите, отдадите разомъ, при расplatѣ за карету; а то еще пропъешь его, какъ паршивый бродяга.

— А вотъ, я на амбаръ: хочется на голубей посмотре́ть— не подмерзли бы!—отвѣтилъ старикъ, и онъ скоро скрылся изъ глазъ сторожа...

Слѣдующее за этимъ утро было ясно и безоблачно. Солнце весело катилось по голубому небу. Равнины искрились серебромъ перваго снѣжнаго убора. Михѣй Михѣичъ, въ тепломъ бешметѣ и въ ваточномъ картузѣ, съ суконными кланчиками на ушахъ, сходилъ съ крыльца, собираясь побродить по хозяйству. И только-что онъ подумалъ: «а посмотримъ, много ли дѣвки надрали пуху», — какъ къ его дому подѣхалъ возъ, покрытый рогожею. Сотскій шелъ воза веза и что-то говорилъ рыжему въ веснушкахъ парню, который погонялъ воловъ.

— Что тебѣ, Никита? — спросилъ Михѣй Михѣичъ сотскаго.

— А вотъ, работникъ мой ѣхалъ по степи съ сѣномъ и подъ стогомъ нашелъ двухъ замерзшихъ людей.

Парень откинулъ съ воза рогожу. На кучѣ сѣна лежали окоченѣлые маляръ Сдяшница и гребенщикъ.

## VI.

Судьба сжалилась надъ маляромъ и не допустила его отойти изъ дольняго міра такимъ печальнымъ путемъ. По распоряженію Михѣя Михѣича, тѣла замерзшихъ со всѣми усиліями были оттираемы, и когда ничто не помогало, ихъ поставили въ такъ называемый *мертвый домикъ*, который читатель всегда встрѣтитъ на многихъ стѣнныхъ кладбищахъ.

Михѣй Михѣичъ нѣсколько трусилъ, не зная, кому отдать слѣдующую плату за карету, и опасаясь, какъ бы маляръ самъ, въ видѣ мертвеца, не пришелъ за нею ночью. Мертвецъ, однако, его не беспокоилъ. Когда, передъ вечеромъ, сторожъ вошелъ въ мертвый домикъ, замерзшій гребенщикъ лежалъ на столѣ, а маляра тамъ не было. — Сторожъ заглянулъ подъ столъ и въ канавы, окружавшія кладбище, даже на колокольню: нигдѣ не было старика. Сдяшница ожилъ, покинулъ мертвый домикъ и притащился къ себѣ въ шалаши, истопилъ тамъ печь, сварилъ себѣ кашу, обогрѣлся, проспалъ чуть не цѣлыя сутки и снова, какъ ни въ чемъ не бывало, сталъ жить на бѣломъ свѣтѣ.

Но уже лучшія струны его души были порваны, и онъ болѣе не выходилъ изъ холодной, постоянной тоски. Тѣмъ

перваго его друга, Омельки Бруса, носилась передь нимъ, и онъ съ печальнымъ раздумьемъ смотрѣлъ черезъ заборъ сада. Однажды онъ пробоваль-было расхрабриться передь хуторянскими молодцами и объявилъ, что вы, вотъ, не смѣйтесь, что онъ самъ женатъ, и что его жена молода и не уступитъ никакимъ на свѣтѣ молодыцамъ. И когда въ его словахъ усомнились, онъ пошелъ къ Михѣю Михѣичу, занялъ у него, въ счетъ будущей платы за карету, денегъ и сообщилъ, что пойдетъ за женою и приведетъ ее на хуторъ. — Отправился маляръ въ дорогу. Весь путь его мочилъ холодный дождь и была острая осенняя стужа. Иззябшій и измученный, добрался онъ къ купцу, у котораго проживала работницею его жена. — Нѣсколько десятковъ верстъ, пройденныхъ пѣшкомъ, дали себя знать старику. Купецъ посмотрѣлъ на него съ изумленіемъ и спросилъ: «Да развѣ это твоя жена?» — «Моя!» — отвѣтилъ Сояшница. — Купецъ задумался, повелъ его въ свои комнаты, накормилъ его, напоилъ и сказалъ: «Жены твоей теперь у меня нѣтъ!» — «Какъ нѣтъ? Гдѣ же она?» — спросилъ маляръ измѣнившимся голосомъ. — «Она, — вотъ видишь ли... она теперь уже не у меня, а у одного аптекаря, въ Харьковѣ, нанимается... ключницею». — Маляръ разставилъ руки и вперилъ глаза въ землю. Слеза выкатилась изъ-подъ его рѣсницы и, задрожавъ, повисла на небритомъ подбородкѣ. — «Ступай и возьми свою жену! она здорова, сыта и тебѣ обрадуется!» — сказалъ купецъ.

Маляръ печально улыбнулся.

— Нѣтъ! — отвѣтилъ онъ: — жена теперь не пойдетъ за мною! Дождь, и теперь очень мокро!

— Какъ не пойдетъ? Да ты ее возьми силою; на то ты мужъ..

— Мужъ!.. нѣтъ, она не пойдетъ! — замоталъ головою маляръ: — я ужъ знаю свою жену! не пойдетъ, потому дождь и мокро.

И, несмотря на всѣ увѣщанія купца, онъ покинулъ Харьковъ и опять пустился въ длинный путь. Ночуя подъ копами и въ старыхъ кирпичныхъ заводахъ, пришелъ онъ къ Михѣю Михѣичу и молча подаль ему гривенникъ.

— Что это? — спросилъ его изумленный баринъ.

— Это осталось отъ денегъ! Возьмите, отдадите разомъ, при расплатѣ за карету; а то еще прошьешь его, какъ паршивый бродяга.

— А гдѣ же твоя жена?  
— Осталась тамъ.  
— Какъ осталась!—ты развѣ не былъ въ Харьковѣ?  
— Былъ, да она не пошла бы за мною!  
— Какъ не пошла бы?—Что ты городишь?  
— Мокро!.. Я ужъ знаю свою жену; не пошла бы, потому что дождь и очень мокро.

Съ той поры маляръ точно преобразился, сталъ совершенно спокоенъ. Еще онъ иногда возился съ подпилкомъ у винтовъ и у ручекъ кареты. Но уже работы надъ нею не доводилъ до конца. Прислонясь къ забору сада, онъ смотрѣлъ по цѣлымъ часамъ въ поле, по которому посились, каргая, черныя воробьи. Онъ ужъ не встряхивалъ съдыми волосами, говоря о томъ, что вотъ придетъ время, и онъ напишетъ такую славную и хорошую вещь... Маляръ видимо утасалъ и, какъ бы предчувствуя близкій конецъ, не заводилъ ни съ кѣмъ разговора.

Баринъ звалъ его иногда къ передъ-обѣденной порціи водки. Но маляръ отводилъ рукой поданную ему рюмку и молча устремлялъ въ землю глаза, неожиданно залитые слезами. Баринъ съ изумленіемъ смотрѣлъ на маляра.

— Чтѣ съ тобою, Сояшница?—спрашивалъ онъ.

— Скучно мнѣ, сударь, вотъ чтѣ...

— Какъ скучно?—что за чепуха...

— Такъ-таки совсѣмъ скучно!

Баринъ смотрѣлъ на доннышко рюмки.

— Но отчего же тебѣ скучно?

— А врагъ его знаетъ!—отвѣчалъ маляръ, утирая рукавомъ катившіяся на кончикъ носа слезы:—вездѣ скучно: и въ шалашѣ скучно, и на хуторѣ, и въ полѣ, просто—на свѣтѣ бы не глядѣлъ...

— Что же? вѣрно война будетъ?—спрашивалъ Михай Михайчъ.

— Ну, войны не будетъ! а просто скучно—руки бы на себя наложилъ...

— Тебѣ, вѣрно, жаль... кого?—допрашивалъ Михай Михайчъ:—вѣрно, жены?

— Не ее, а Бруса!—отвѣчалъ тихо маляръ и уже не могъ удержаться... Глухія рыданія вырывались изъ его старой груди.

Въ свѣтлый іюньскій вечеръ, когда въ прозрачномъ воздухѣ, противъ солнца, роились мошки и облака ярко блистали за рѣкою,—когда дружно звучали въ нѣсколькихъ мѣстахъ поля пѣсни идущихъ съ работы косарей и на хуторѣ передъ колодцемъ, тихо бесѣдуя, стояли поселяне и поселянки,—маляръ Сояшница, лежа на тулупѣ передъ шалапомъ, вслушивался въ шопотливые звуки степного вечера. Отрадно было ему дышать свѣжимъ воздухомъ, напоеннымъ благоуханіями цвѣтовъ. Онъ робко улыбался, вглядываясь въ отдаленные очерки полей. Солнце золотило круглую вершину клена, одиноко поднимавшагося на просѣкѣ зеленого сада. Кукушка звонко куковала въ кустахъ за рѣчкой, въ осиновои рощѣ... Маляръ сталъ считать крики кукушки, далеко разносившіеся въ чистомъ вечернемъ воздухѣ,—сталъ считать съ мыслью:—«а посмотримъ, сколько еще мнѣ лѣтъ остается жить на свѣтѣ»... и не досчиталъ. Старого Сояшницы не стало въ живыхъ...

Случилось мнѣ, въ качествѣ депутата крестьянскаго комитета, проѣзжать мѣста, гдѣ происходило дѣйствіе разсказа. Вечеръ засталъ меня въ полѣ, и я завернулъ на постоянный въ деркачевскихъ хуторахъ. Постояльный былъ вблизи хуторскаго кладбища.

Я вспомнилъ о лицахъ, похороненныхъ здѣсь, и захотѣлъ взглянуть на ихъ одинокія могилы.

Свѣтилъ полный мѣсяцъ. Въ концѣ хутора показались двое крестьянъ.

Я подозвалъ одного изъ нихъ, онъ вызвался меня проводить на кладбище.—«Гдѣ тутъ могила маляра Сояшницы?»—спросилъ я его.

Провожатый указалъ палкой на деревянный крестъ и отвѣтилъ:

— Вонъ она.

Я подошелъ къ кресту.

— А гдѣ могила Омельки Бруса, что похороненъ тутъ? Провожатый помолчалъ и отвѣтилъ:

— Да это она же и есть.

— Какъ она? Ты же сказалъ, что это — могила маляра! Мужикъ зѣвнулъ и сказалъ:

— Ну, да, она и есть могила маляра!

— А Омелько Брусъ гдѣ похороненъ?—спросилъ я.

— Омелько. Брусь?

— Да!

— Не знаю. Такого тутъ и не бывало. Да и маляръ, постоите, должно быть, не тутъ похороненъ! — прибавилъ онъ, немного помолчавъ.

— Ну, а не знаешь ли ты, гдѣ похороненъ у васъ проходной гребенщикъ? онъ тоже, если помнишь...

Мужикъ надвинулъ шапку, запахнулъ полы зипуна и молча пошелъ обратно къ кабаку, не удостоивъ меня отвѣтомъ... У кабака слышалась пѣсня.

На постояломъ мѣ не спалось. Я всталъ, посмотрѣлъ на часы, закурилъ сигару и вышелъ на улицу.

Деревушка стихла.

Посидѣвъ нѣсколько времени на откосѣ канавы у барскаго двора, я уже хотѣлъ идти обратно на постоянный, какъ изъ-за угла кухни, отъ села, раздались мѣрные шаги и какое-то мурдыканье грубымъ голосомъ, точно кто едва двигался и бормоталъ, или, вздыхая, пѣлъ. — «Конкуррентусъ, винѣнтусъ, бабѣнтусъ»... — отдавалось въ тишинѣ.

Я поднималъ голову. При блескѣ мѣсяца, на полянѣ показалась, съ палкой и въ какомъ-то бѣломъ длинномъ балахонѣ, фигура старика, повидимому, слѣплого. Ощупывая палкой знакомую дорогу и напѣвая про себя непонятныя слова, онъ поровнялся со мной, остановился и вдругъ скинулъ шапку.

— Здравія желаю! — сказалъ онъ, шамкая губами и въ носъ.

Это меня сперва удивило. Но потомъ я понялъ, въ чемъ дѣло. Запахъ сигары далъ ему средство угадать мое присутствіе.

— Кто ты? — спросилъ я старика.

— Крѣпостной его благородія Михѣя Михѣича... крѣпостной и усердный рабъ или холопъ, Емельянъ Ивановичъ Бутко... Отставной музыкантъ, капельмейстеръ, сочинитель нотъ и пѣвчій, — отъ малыхъ лѣтъ, отъ холопства имѣлъ необычайный голосъ!.. А вы кто?

Я назвалъ себя и объяснилъ свое депутатство. Онъ гордо выпрямился, отставилъ ногу и, помахивая шапкой, съ презрѣніемъ отвернулся.

— Это все — пустяки, дрянъ, ваша милость.

— Какъ пустяки, отчего?

— Пустяки, — повторилъ онъ и даже плюнулъ: — сами не знаютъ, чѣмъ дѣлаютъ! Я съ малыхъ лѣтъ былъ пѣвчимъ у

дѣда и у отца моего нынѣшняго владѣльца: дискантише у меня былъ бѣдовый! А теперь? Вотъ, вчера и сегодня я пьянъ; ну, пьянъ, и пьянъ, даже въ канавѣ вонъ проспалъ цѣлый день... Ну, а баринъ мой, значить, Михѣй Михѣичъ наидобрѣющій, только глянулъ на меня, да и полно, а прежде дали бы дерку, посватали бы съ березой, на пять недѣль закаялся бы...

Я не оспаривалъ отставного музыканта, сказавъ только, что, пожалуй, ему-то вольность и не нужна, да молодые-то за нее поблагодарятъ. Онъ опять усмѣхнулся, замигалъ слабыми глазами и смолкъ. Выраженіе его безбородаго, желтоблѣднаго и морщиноватаго лица изъ насмѣшливаго перешло въ грустно-задумчивое.

— Скучно на свѣтѣ, вотъ что-съ, — добавилъ онъ: — скучно, а выпьешь, и веселѣе станетъ... Эхъ, сударь вы мой, — покачалъ онъ сѣдой, плотно стриженной головой: — гдѣ она, вольность-то, у насъ на свѣтѣ? Птицы ее, что ли, имѣютъ? или мухи крылатыя? или звѣрь полевой? Нѣтъ ея, нѣтъ, и бѣсъ одинъ, видно, знаетъ, гдѣ она! Нѣту. И пусть на нее молодые не таращатся. Нѣту-ти, и лучше не ищите!

Онъ тряхнулъ картузомъ, какъ-то всхлипывая, вздохнулъ, хлопнулъ по картузу ладонью разъ и другой, надѣлъ его на затылокъ и пошелъ далѣе черезъ дворъ къ какой-то канурѣ, коверкая опять на латинскій ладъ бессмысленныя слова. Я ему крикнулъ вслѣдъ: «Емельянъ Ивановичъ, погоди, я объясню тебѣ кое-что... ты не понимаешь!» — Но старикъ не воротился.

Ночь свѣжѣла. «Стожаръ», или «волосожаръ», по мѣстному названію — золотая горсточка звѣздъ на сѣверной сторонѣ небѣ — высоко поднималась надъ землей, — признакъ близости утра. Большая Медвѣдица, по-здѣшнему — возъ, склонила къ землѣ свое дышло и подняла бока своей воздушной колесницы...

Со стороны кладбища, къ которому принадлежалъ огородъ и садъ хутора, послышался въ тишинѣ протяжный окликъ. Онъ замолчалъ и отдался опять. Я сталъ вслушиваться. Кто-то изъ гущины вербъ, ограждавшихъ огороды и кладбище, должно быть, парень, кричалъ товарищу: «Иване, Иване! А чи не хочешь ты Гапки?» — И этотъ окликъ повторялся нѣсколько разъ, разносясь по огородамъ и по рѣкѣ, уже подернутой туманомъ близкаго разсвѣта.



# ХРИСТОСЪ-СЪЯТЕЛЬ.

РАЗСКАЗЪ.

Жилъ старый и вдовый казакъ Наумъ. У него было два сына, Андрей и Иванъ. Наумъ разбогатѣлъ извозомъ соли и торговлею скотомъ, выселился изъ родной деревни и сѣлъ невдале отъ нея особнякомъ, завелъ въ степи, у лѣса, свой хуторъ.

Люди завидовали счастью и богатству Наума. Хата у него была просторная, крыта подъ гребенку камышомъ и раскрашена цвѣтными разводами, дворъ обнесенъ заборомъ. А во дворѣ—чего не было? телята, куры, гуси, свиньи, крѣпкія доморослыя лошади и раскормленные, круторогіе вои, да не одна пара, а паръ пять—какъ вытянутся въ возахъ подъ солью, точно писанные, идутъ важно и тащатъ каждый за двухъ и трехъ.

Старикъ былъ еще въ силахъ, но почувствовалъ близкій конецъ и позвалъ старшаго сына Андрея. Говоритъ ему:

— Ты уже женатъ, хозяйка у тебя добрая, имѣешь малыхъ дѣтокъ,—а Иванъ еще холостъ: оставляю вамъ наследство. Бери заступъ.

И повелъ Андрея къ лѣсу.

Былъ вечеръ, взопелъ мѣсяцъ. Они достигли лѣса и вдовъ остановились на полянѣ, въ кустахъ, у коряваго душлистаго дуба.

— Копай,—сказалъ отецъ:—а я буду сторожить.

Андрей сталъ копать и выкопалъ чугунный котелокъ съ крышкою. Отецъ поднялъ крышку: котелокъ полонъ сере-

брюныхъ дукатовъ, а между ними желтъютъ на мѣсяцъ и червонцы.

— Слушай, — сказалъ отецъ Андрею: — ты теперь знаешь, гдѣ наше добро. Люди считаютъ меня колдуномъ, а дѣло простое: все нажито моими и вашими трудами. Говорятъ, золото вѣско, а къ верху тянетъ, и что всего веселѣе свои деньги считать. А я скажу: трудись, паши и сѣй; какова пашня, таково брашно. Пѣсь космать, ему тепло; мужикъ богатъ, ему добро. Только деньгами не чваньтесь и Бога чтите. Иванъ молодъ; когда женится и будетъ у него первый ребенокъ, отдайте часть этихъ денегъ на домъ Божій, остальнымъ и прочимъ подѣлитесь по-ровну и, чтя Господа, разживайтесь далѣе. Богъ вѣнчаетъ труды; малъ муравей, а горы роетъ. Я тебѣ, какъ старшему, повѣдалъ эту тайну; блюди ее и всю семью накрѣпко.

Котелокъ опять зарыли въ землю и возвратились. Старикъ прожилъ еще лѣто, дотянулъ до осени и осенью померъ.

Прошли три года. Андрей и Иванъ живутъ дружно, трудятся, торгуютъ и ведутъ хозяйство, какъ и при отцѣ. — «Вотъ лихой не взялъ колдуновыхъ дѣтей, — толкуютъ люди: — они еще гораздѣ отца. Все имъ спорится. Золотой молодецъ и желѣзные ворота прокуетъ!» — Весною третьяго года Иванъ, на проводахъ, на родныхъ могилахъ, разглядѣлъ чернобровую и румяную Ганну. Ганна полюбила его. Любовь — не пожаръ, загорится — не потушишь; Иванъ рѣшилъ посвататься.

Миновала лѣтняя страдная пора, поспѣлъ, былъ убранъ и обмолоченъ хлѣбъ. Пошли по селамъ и хуторамъ гулянки и веселье; извѣстно, осенью и у воробьевъ — пиво. На Покровъ Андрей послалъ братниныхъ сватовъ къ отцу Ганны, а передъ Филипповками справилъ и братнину свадьбу.

Жены Андрея и Ивана зажили мирно; по очереди прибирали хату, пекли и варили, шили и пряли, доили коровъ и ходили за птицею и скотомъ. Не налюбуются братья своими хозяйками. Такъ прошелъ еще годъ.

Андрей видитъ, что Иванъ все бездѣтенъ, и стало ему жаль брата. Онъ вспомнилъ завѣщаніе отца. Хочется ему утѣшить Ивана, раздѣлить съ нимъ отцовы деньги и прочее наслѣдство, и боится нарушить заповѣдь отца. Придумалъ другое. Выждалъ время и, когда оба они пахали, выпрягъ воловъ, пустилъ ихъ на пашию и повелъ брата къ дубу.

— Ты, Иванъ, добрый и мнѣ почтительный братъ,—сказалъ онъ: — и твоя хозяйка уважаетъ мою. Скажу я тебѣ отцову тайну. Онъ намъ, кромѣ хозяйства, оставилъ деньги. Вотъ у этого дуба, съ этой стороны и подъ этимъ корнемъ, зарытъ котелокъ съ дукатами и червонцами. Говорю это тебѣ на случай моей смерти. Никто, кромѣ меня, даже моя хозяйка, про то не знаетъ. Видишь, я тебѣ открылся; но дѣлиться мы до срока не можемъ,—отецъ положилъ зарокъ.

И онъ разсказалъ брату этотъ зарокъ. Иванъ поклонился Андрею въ ноги. Говорить:

— Спасибо тебѣ, что ты мнѣ довѣрилъ; другой на твоёмъ мѣстѣ утаилъ бы такое наслѣдіе; вижу—настоящій ты мнѣ братъ. Можетъ-быть, ожидать намъ уже недалеко, — соблюдемъ волю отца.

Иванъ говорилъ отъ сердца. Какъ сказалъ, такъ и поступилъ; не настаивалъ на раздѣлѣ отцова наслѣдства, продолжалъ трудиться вмѣстѣ съ братомъ, но не утерпѣлъ обрадовать жену. Былъ Иванъ съ нею на ярмаркѣ. Видить, что всѣ, даже послѣдніе, завалящіе мужиченки снуютъ у красныхъ товаровъ, женамъ покупаютъ наряды. Иной и въ вѣшній день, какъ обгорѣлый пень,—ни хужи, ни крыши, пыль, да копотъ, что нечего и лопать,—а тоже на послѣднюю полтину тащить женѣ обновку. Тотъ красную плахту, этотъ коралловое монисто, цвѣтные сапоги, либо платокъ.

И взяла Ивана досада. Въ тотъ годъ былъ неурожай, скотъ дешево, и всѣ обратно гнали домой непроданный товаръ. Гдѣ тутъ было просить у брата денегъ на наряды женѣ? Андрей же и съ своею хозяйкою былъ на это скупенекъ, говоря въ шутку: «лучшее ожерелье — женино смиреніе!»

— Не тужи,—сказалъ Иванъ дорогою хозяйкѣ:—будутъ и у насъ деньги; тогда все тебѣ куплю, будешь какъ писаная краля. Пойдемъ на богомолье, отслужимъ молебень, и Господь намъ дастъ дѣтей. Дѣти—благодать Божья; у кого ихъ много, тотъ не забыть отъ Бога.

Ганна и безъ того въ послѣднее время была сама не своя, а тутъ совсѣмъ задумалась: на чтѣ это намекаетъ мужъ? Дѣло не простое; у него что-нибудь особое на умѣ. Она стала допытывать мужа; онъ не сдается. Но когда они сходили на богомолье и возвращались домой черезъ лѣсъ, Иванъ, будто отъ усталости, присѣлъ подъ дубомъ,

заставилъ жену побожиться, что она никому не выдастъ его словъ, и не только разсказалъ ей завѣтъ отца о кладѣ, но и показалъ ей самое мѣсто, гдѣ кладъ быть зарытъ. Жена отъ радости заплакала и всѣми святыми поклялась, что никому не откроетъ сообщенной ей тайны.

Съ той поры Ганна повеселѣла и еще болѣе стала угождать мужу и семьѣ брата. Ранѣе другихъ встанетъ, позже всѣхъ ложится спать. Копасть въ огородѣ—поеть; треплеть кудель, или по колѣна въ водѣ мочить бѣлье, голосистая пѣсня не умолкаетъ. Люди говорятъ: «Андреева баба—молодецъ, а Иванова и того лучше; никто противъ нея не смолотить и не сожнетъ; по ихъ хутору и по ихъ землѣ Богъ походилъ».

Было о Петровкахъ. Стояло грозное лѣто. Тучи сходились, застилая небо. Раздавались раскаты грома и падали обильные, благодатные дожди. Хлѣба зазеленѣли на диво. Травы стояли по поясъ. Вздорожали скотъ, овцы и всякая живность. Братья погнали на ближній торгъ старыхъ коровъ и лишнихъ овецъ и отлично продали. Рѣшили—и на другой, болѣе дальній торгъ погнали откормленныхъ за зиму воловъ. Съ ними по пути поѣхала и Андреева жена,—показать знахарю больное дитя. Дома осталась одна Ганна. Она управилась по хозяйству, уложила Андреевыхъ дѣтей спать и сама легла. Не спится ей. Смутныя мысли проносятся въ головѣ. Лѣсной кладъ не выходитъ изъ ума.

Ганна вышла изъ хаты, постлала зипунъ у порога и легла. Свѣжѣ на воздухѣ. Ночь темная, тихая. Все небо усеяно звѣздами; то и дѣло онѣ золотыми искрами сыплются съ неба на землю.—«Точно червонцы!»—подумала Ганна, накрывая зипуномъ голову, чтобы не видѣть этихъ падающихъ огней, этого непрестаннаго сверканія.—«Нѣтъ, то—Божій теремъ,—думаетъ она,—звѣзды—окна, и черезъ нихъ ангелы вылетаютъ на землю!»

И вдругъ она вздрогнула, не понимая, во снѣ или наяву она испытывала то, что потомъ съ нею случилось. Ганна подумала: «Зачѣмъ Ивану дѣлать кладъ съ Андреемъ? Иванъ лучше Андрея: такъ красивъ и добръ, а ужъ любить меня... Завладѣемъ сами отцовскимъ богатствомъ; не даромъ всѣ смѣются, зовутъ насъ скопидами; покажемъ людямъ, какъ слѣдуетъ жить,—да мужъ еще и болѣе по-

любить меня». — Она вспомнила, куда поставила заступъ, взяла его и, не обувшись, на босу ногу, пошла въ лѣсъ.

Въ лѣсу было тихо и темно. Ганна отыскала поляну и дубъ, стала рыть у его корня, а руки трясутся, едва держать заступъ. Поборола она страхъ, выкопала котелокъ и заровняла землю, даже травой прикрыла то мѣсто, гдѣ онъ былъ зарытъ. Открыла крышку, тронула подъ нею рукой и обомлѣла: котелокъ, дѣйствительно, былъ полонъ денегъ. — «Ну, куда же съ этимъ теперь?» — стала думать Ганна: — дома не спрятать, не уберечь; кинутся, отыщутъ и все отберутъ». — Она прошла въ глубину лѣса, исколола ноги и руки и, разглядѣвъ при мерцаніи звѣздъ суховерхую, далеко съ поля всегда видную липу, зарыла подъ нею котелокъ. — «Теперь не найдутъ!» — подумала Ганна и ушла, оглядываясь, чтобы получше запомнить выбранное мѣсто. Пришла домой, поставила на мѣсто заступъ, легла у порога и заснула.

Долго ли Ганна спала, она не помнила и даже ясно не сознавала, спала ли здѣсь въ ту именно ночь, когда сходила въ лѣсъ, или это было спусти нѣсколько времени, — только слышитъ, надъ нею говорятъ. Тихо повернула она голову: видитъ, будто свѣтаетъ, и возлѣ нея лежитъ воротившійся съ торгу Иванъ, а къ нему нагнулся, будить его и ему что-то тихо и испуганно говорить блѣдный и на себя не похожій Андрей. — «Что тебѣ?» — спросилъ его проснувшійся Иванъ. — «Какъ что? большое горе.» — «Какое?» — «Отцовъ кладъ украли.» — «А ты почему знаешь?» — «Ходилъ повѣрять; стацили.» — «Кого повѣрять?» — Андрей молчалъ. — «Не я укралъ!» — проговорилъ Иванъ. — «Кто же?» — «Не знаю.» — «Слушай Иванъ, — сказалъ Андрей: — кромѣ тебя никто про это не зналъ и не знаетъ; покаяйся, укажи, куда ты деньги свесъ, я тебя прошу.» — «Не я укралъ, божусь.» — «Нѣтъ, ты.» — Иванъ вскочилъ. Ганна, ни жива, ни мертва, лежала, боясь шелохнуться и выдать себя. Кругомъ еще болѣе посвѣтлѣло. — «Такъ я — воръ?» — спросилъ Иванъ. — «Да, воръ, — отвѣтилъ Андрей: — и если ты не признаешься, не скажешь, — конецъ тебѣ». — Иванъ бросился на брата; а у того въ рукахъ ножъ. Ганна примѣтила лезвіе ножа, увидѣла искаженное злобою лицо деверя и обиженное лицо мужа, хотѣла крикнуть имъ, сознаться во всемъ, и не могла произнести ни слова. Надъ нею въ су-

меркахъ началась нѣмая, страшная борьба родныхъ братьевъ. Ни криковъ, ни стоновъ. Теплая кровь закапала на лицо Ганны.

Она очнулась. Видитъ, — давно наступило утро; мычатъ въ хлѣвахъ коровы, отзываются телята и овцы, просясь въ поле. Ганна вскочила, оглянулась по двору, бросилась въ хату и тутъ поняла, что ей привидѣлся сонъ: клада она не вырывала и Андрей съ Иваномъ еще не возвращались домой.

«Такъ это былъ сонъ? — подумала, крестясь, Ганна, — сонъ — смерти братъ; но хоть грозенъ сонъ, да милостивъ Богъ». И принялась опять за свое дѣло. Братья возвратились. Жизнь на хуторѣ пошла по прежнему. Не по прежнему только на душѣ Ганны. Ея не покидала мысль о сонномъ видѣннѣ. — «Что бы это значило? — разсуждала она, — недаромъ такое привидѣлось. Сонъ правду скажетъ, да не всякому. Или я ступила въ чужой, лихой слѣдъ? или до утренней зари посмотрѣла въ окно? Братъ кинулся на брата... пустяки! Они такъ дружны; изъ-за денегъ не схватятся за ножи». — И стала она думать-думать, поглядывая въ поле, на лѣсъ. Байракъ пожелтѣлъ; съ него осыпались листья. Наступила зима. Снѣгъ занесъ поле, завалилъ сугробами оголѣлые деревья и кусты.

Весною Ганна сходила, будто за ландышами, въ лѣсъ. Поляна около дуба уже зеленѣла; земля у его корня не была рушена. — «Все цѣло, — успокоилась Ганна: — будь, чтъ будетъ; и то правда, лучше подождемъ. Да и что богатство! богатые на томъ свѣтѣ голыми руками каленные пятаки считаютъ!»

Наступила небывалая жара. Люди съ тревогою поглядывали на небо, напрасно ожидая дождя. Небо было безоблачно. Зной стоялъ неугасимый. Растрескалась земля; все увядало и сохло. Иванъ и Андрей съ женою пахали, подъ озиими, въ полѣ. Ганну оставили дома, варить ѣсть и доглядывать дѣтей. Она съ осени недомогала; все ей было какъ-то тошно и не мило: она то вздыхала и молилась, то плакала, и отъ слабости едва ходила. Андрей, глядя на нее и на брата, думалъ: «Ну, теперь уже, кажется, и вправду не долго ждать».

Былъ обѣденный часъ. Ганна выглянула въ окно и не

узнала выгона. Небо потускнѣло. Облаковъ и тучъ не было видно, но въ воздухѣ стояла какая-то мгла, сквозь которую туманомъ синѣлъ чуть видный лѣсъ. Ганна вышла изъ хаты. Слышитъ, куры кудахчутъ; видитъ, воробьи купаются въ пыли. Думаетъ: «Слава те, Господи, къ дождю; недаромъ небо было красно до зари». Она накормила Андреевыхъ дѣтей, прибрала посуду, налила въ чистый горшокъ горячаго борщу, наръзала хлѣба и все увязала въ платокъ, чтобы нести въ поле. Обулась, сказала дѣтямъ: «сидите же смиренно, пока возвращаюсь» — и вышла съ узломъ въ сѣни. Тутъ она увидѣла въ углу заступъ и замерла. — «Сонъ, сонъ!» — подумала она, не помня себя отъ страха и мучительной, ей самой непонятной радости. Отворивъ дверь въ каморку, она ткнула туда узелъ, схватила заступъ и безъ оглядки пошла къ лѣсу. Идетъ, какъ на крыльяхъ.

Идетъ, а навстрѣчу ей изъ-за лѣса подымается и растетъ темная, грозная туча, мигаетъ голубыми и алыми молніями. — «Пойдетъ дождь, меня не спохватятся, — думаетъ Ганна, — успѣю откопать и зарыть и въ иное мѣсто». — Ужъ она надъ деревьями завидѣла маковку старой суховерхой липы. Ганна подошла къ лѣсу. Огромная дождевая капля упала ей на лицо.

Тутъ откуда-то вырвался и выигрался страшный вихорь. Раздался оглушительный ударъ грома. Все завертѣлось въ пыли, сорванныхъ листьяхъ и сучьяхъ: поле, травы, лѣсъ и сама Ганна. Она видитъ, что заступъ выналь у нея изъ рукъ и ее, какъ былинку, несетъ куда-то высоко-высоко, съ листьями и сучьями, что-то бѣлое, туманное и гремящее непрерывными раскатами грозы. Она съ ужасомъ поняла, что ее подхватилъ налетѣвшій полевой вихорь. Ни молиться, ни думать отъ страху она не могла. Взглянула внизъ — земля чуть видна; кругомъ облака, молніи, а громъ реветъ и стонетъ.

Вихорь унесъ Ганну на небо.

Облака разсыпались. Выглянуло солнце. Поверхъ облаковъ — другая земля. Зеленѣютъ травы, а по свѣжей пахоти ходятъ какіе-то старцы. Ганна очутилась возлѣ нихъ и поняла, что впереди — самъ Господь Христосъ, а за нимъ апостолы Петръ и Павелъ и угодникъ Божій, побѣдоносецъ Юрій. Удивилась Ганна: Господь-Христосъ въ сѣромъ вѣнцѣ, простоволосый и съ лукошкомъ черезъ плечо. Иисусъ

бралъ горстью зерна пшеницы и сѣялъ; Петръ ему подсыпалъ изъ мѣрника, а Павелъ и Юрій, ведя сзади воловъ, борошили слѣдомъ землю.

И увидѣлъ Господь Ганну и позвалъ ее. Та упала ему въ ноги.

— Господи, Иисусе сладчайшій,—рѣшилась, не смѣя глянуть на Спаса, проговорить Ганна:—вижу твое чудо, я на небѣ; но зачѣмъ ты меня, грѣшную и глупую рабу, взялъ съ земли, отъ мужа и близкихъ, въ твое высокое царствіе?

Раздалось властное слово:

— Чтобъ ты видѣла все.

— Но, Боже милый, Боже правый,—проговорила Ганна:—я грѣшными мыслями мыслила, что твое царствіе въ вѣчномъ сіяніи солнца, что ты на престолѣ облачномъ, въ вѣнцѣ изъ звѣздъ и въ одеждѣ изъ утренней и вечерней зари; а ты въ простомъ зипунѣ и, какъ убогій пахарь, сѣешь землю. Тебѣ служатъ ангелы и апостолы, не тебѣ ли быть въ вѣчномъ достаткѣ и насъ, всѣхъ бѣдныхъ, сдѣлать богачами? Мы бы тогда не работали, жили бы на покоѣ и вѣчно прославляли бы имя твое.

Прозвучала тихая, милостивая рѣчь.

— Рабыня добрая, но малосмысленная! Богатому сладко тѣсся, но плохо спится. О деньгахъ не думай; когда деньги говорятъ, тогда правда молчитъ. Нѣтъ выше благодатнаго, земельнаго труда. Въ немъ, послѣ молитвы, все спасеніе и все счастье на землѣ. Трудись и тому же учи своихъ дѣтей.

— Но какъ же, какъ же?—взмолилась въ слезахъ горестная бабенка:—мужъ у меня хорошій человѣкъ, но денегъ у насъ мало; все, что наживается, идетъ на хозяйство; домъ, какъ яма, никогда не наполнишь; у меня же, боженка, ни шелковаго платка, ни добрыхъ коралловъ, ни красныхъ сапоговъ. И мужа до сихъ поръ не слушаютъ на міру...

— Все вырастетъ изъ земли отъ вашихъ рукъ,—прозвучалъ ей отвѣтъ:—будетъ колосъ, будетъ и голосъ.

Ганна слышитъ, опять взыгралъ вихорь. Она подняла голову. Видитъ: она сама лежитъ ничкомъ, на полянѣ, у дуба. А надъ лѣсомъ, гремя и сверкая молніями, въ небо уносится бѣлотуманная туча, и отъ той тучи, какъ отъ кадила дима, идетъ благоуханіе по всему лѣсу.



Ганна встала. На томъ мѣстѣ, гдѣ былъ зарытъ кладъ, росъ спѣлый и сочный, несмотря на засуху, пшеничный колосъ. Ганна все передала мужу и привела его сюда. Иванъ, сорвавъ колосъ, сообщилъ о случаѣ съ женою Андрею. Братья подумали и рѣшили отдать кладъ, на поминъ отца, цѣликомъ на бѣдныхъ и на церковь.

Въ ихъ селѣ и донинѣ показываютъ иконостасъ, надиво расписанный на ихъ жертву. Ганнѣ, вскорѣ послѣ того, когда съ нею было видѣніе, Господь далъ сына, и родители назвали его Богданомъ. Отъ найденнаго колоса пошла въ той сторонѣ пшеница-усатка, какой дотолѣ и не видывали. Урожай всѣхъ хлѣбовъ вышелъ диковинный, и обрадованные братья накупили женамъ всякихъ нарядовъ.

1886 г.

# СТРѢЛОЧНИКЪ.

(СВЯТОЧНЫЙ РАЗСКАЗЪ.)

На одной желѣзной дорогѣ жилъ стрѣлочникъ, отставной, уже пожилыхъ лѣтъ, но еще бодрый солдатъ, Емельянъ. Его стрѣлка была въ полѣ, въ концѣ выѣзда изъ большого города. Онъ помѣщался въ ближней сторожкѣ, съ женою Ариной и съ подросткомъ сыномъ, Васей, веселымъ и шустрымъ мальчикомъ. Емельянъ женился, лѣтъ семь назадъ, на молодой, работающей бабѣ и служилъ, вообще, исправно. Прежде онъ сильно пилъ, но, женившись и получивъ хорошее мѣсто, одумался, а съ недавняго времени опять втайнѣ началъ выпивать, и не то, чтобы съ горя, или возвратился прежній запою, а такъ, — попробовалъ на радости, потомъ для компаніи, да и пошелъ куликать.

Жена въ страхѣ стала уговаривать его.

— Стыдись, — говорила она ему, когда онъ, бывало, опять опомнится: — жалованье пропиваешь, пропьешь скоро вовсе и совѣсть!

— Мнѣ чѣмъ, — отгрызался Емельянъ: — шутка ли? Господь сына на старости далъ, да какого! Вырастетъ, будетъ молодецъ, прокормитъ и тебя, и меня.

— А, не дай Богъ, во хмелю спутаешь стрѣлку? Великому горю быть... Сколько погубишь невинныхъ душъ!

— И видно, что баба дура, — отвѣчалъ Емельянъ: — нѣшто видѣла, чтобы я хмельной да осмѣлился когда къ стрѣлкѣ стать?

Жена со страхомъ рассказывала кумѣ, кухаркѣ городского лѣкаря, что Емельянъ иной разъ, послѣ запою, говорилъ неслухарныя вещи: то онъ видѣлъ въ сторожкѣ мно

жество змѣй и жабъ, будто бы ползавшихъ кучами по полу и по окнамъ; то ему казались противные, какъ мыши, бѣсенята, съ рожками, во всѣхъ углахъ и за печью, и онъ, просыпаясь, плевался и отгонялъ ихъ, точно мухъ. Временами Емельянь брался за умъ и не касался до чарки, особенно, если никто изъ товарищей не подвергивался ему и его не соблазнялъ. Онъ усердно посѣщалъ церковь, былъ грамотный, съ чувствомъ читалъ, въ часы растаянія, житія святыхъ—и тѣмъ, хотя отчасти, сдерживалъ себя.

Васѣ пошелъ шестой годъ. Еще красивѣе сталъ вертунъ: румяный, кудрявый, черноглазый. Всѣ имъ любовались, Арина ходила въ городъ прачкой, поденно мыла бѣлье въ хорошихъ домахъ. Она справила, на свои заработки, Васѣ картузь и козловые сапожки, на высокихъ каблукахъ. Емельянь посмотрѣлъ, подумалъ: «опередила баба»—и купилъ сыну на базарѣ красную шерстяную рубашку и плисовые шароварцы; не мальчишъ вышелъ—сухая картинка!— «Развѣ въ сапогахъ дѣло? — думалъ онъ: — походить бы и босикомъ, а въ рубашкѣ—настоящій купеческій дворникъ».

Передъ Спасомъ, Емельянь былъ не на очереди. У кабака онъ увидѣлъ своего кума, дистанчнаго десятника, угостилъ его—и самъ наѣзжался. Загорѣлась въ немъ опять жажда къ водкѣ; казалось, море бы выпилъ; только онъ пересилилъ себя. Хотѣлъ-было закурить трубку, но увидѣлъ, что забылъ дома табакъ. Пришелъ къ вечеру въ сторожку; жена стряпала въ печи. Набилъ онъ трубку, напустилъ табачица въ сторожку и давай куражиться надъ хозяйкой.

— Мой сынъ!—сказалъ онъ:—любуйся! Не видать бы тебѣ, глупой, безъ меня такого!

— Такой же твой, какъ и мой, — отвѣчала жена, съ досадою глядя на его хмельную рожу: — обоимъ Господь послалъ.

— Нѣтъ, мой!

— Нѣтъ, нашъ, — обоихъ.

Емельянь обезумѣлъ. Искры заворотѣлись у него въ глазахъ.

— А! такъ вонъ оно какъ! — крикнулъ онъ въ злобѣ: — надо мной похваляешься? Вонъ изъ моего дома! Чтобы и духу твоего тутъ не пахло.

— Да за что же, Емельянь Мосейчъ? Слыхано ли?

— А за то... Я голова всему, я! Сломановадь и — проваливай.

— Но куда же мнѣ, противъ ночи, подумай?

— Куда знаешь, мало ли въ городѣ у вашей братіи угловъ.

Обидѣлась Арина, въ слезы.

— У полипмейстерши,—говорить:— все намедни помыли; у хѣкарши еще черезъ два дня. главная стирка,—теперь только постирушка дѣтямъ, куда мнѣ, постыдись, въ такую темь?

— Вонъ, чортова голова, не перечь,—затопалъ ногами Емельянтъ:— не уйдешь съ глазъ долой, полѣномъ выгоню, искалѣчу въ труху.

Пуще заплакала Арина; видитъ, ничего съ окаяннымъ не подѣлаешь. Отерла слезы, увязала въ узелокъ одеженку, заслонила печь, взяла краюху хлѣба, перекрестила спавшаго въ уголку Васю и пошла въ городъ.

«Такъ ей, сатанѣ, и надо! — подумалъ Емельянтъ, усѣвшійся у дверей сторожки и глядя въ темноту, вслѣдъ за женой,— тоже, лапотницы, важничаютъ! Взялъ ее въ лаптяхъ, да въ дерюгѣ; теперь въ ситцѣ стала ходить; начальствовать, вишь, затѣяла, укорять. Не усмири, не притопчи бабу, — верхъ возьметъ. Давно пора! опостылѣла! а мы и сами сына вырастимъ, сбережемъ!»

Настала ночь... Хмель сильнѣе стала разбирать Емельяна. Впотьмахъ мимо него гремѣли товарные, длинные поѣзда, пыхѣли закоптѣлыя трубы, сыпались искры и свистѣли горластые свистки. Онъ курилъ, глядѣлъ передъ собой, и вдругъ ему жутко стало: впотьмахъ ему опять померещились разныя чудища, а при этомъ, какъ живой, привидѣлся изможденный, нѣкій преподобный старецъ, съ длинною, сѣдою бородой, о которомъ онъ недавно вычиталъ въ житіяхъ святыхъ. Онъ вспомнилъ, какъ этотъ страстотерпецъ—угодникъ божій, спасался въ аравійской пустынѣ, и какъ къ его пещерѣ подошелъ ночью кто-то изъ пустыни и сталъ молить его—сдвинуть камень отъ входа.—«Впусти меня,—молился плачущій голосъ:—пусти, старче, левъ рыкающій гонится за мной, хочетъ разорвать; я безъ одежды, на холодѣ, и три дня безъ ѣды».—Старецъ засвѣтилъ лампаду, отодвинулъ камень; вошла женщина—неописанной красоты. То было, какъ помнилъ Емельянтъ, видѣніе. Старецъ зажегъ хворостъ и сталъ палить свою руку на огнѣ; кожа трескалась, сукровица и жиръ капали на угли, смрады наполняли пещеру, — но преподобный молился, — не при-

коснулся къ гостѣ. Бѣлолилейный ангелъ явился тутъ въ туманѣ, вывелъ гостю, — то былъ дьяволъ, — и спасъ старца.

— Чуръ меня, чуръ! — шепталъ, вспоминая это видѣніе, Емельянъ: — и меня тянуло и тянетъ... не пойду, не стану пить!

Онъ перекрестился.

«Вырастетъ Васыка, — разсуждалъ онъ: — обучу его грамотѣ, а кумъ-десятникъ пристроитъ его на правленскій счетъ въ дорожное училище. Станетъ онъ человѣкомъ. Да, не бабѣ-дурѣ оборудовать такое дѣло, — нашему только брату, потому къ намъ, за наши заслуги, благоволитъ начальство. Станетъ Васютка слесаремъ, кочегаромъ, а дѣтѣ — и машинистомъ, будетъ водить поѣзда, и за мои хлопоты доглядитъ отца до кончины дней. Что мать? молитвамъ только выучила сына... оно ладно, да не прокормить...»

Емельянъ вздохнулъ.

«А надо правду сказать, — какъ онъ, пострѣленокъ, ловко за нею молится, всякія молитвы знаетъ: отъ несчастій разныхъ, отъ злого случая и тяжкой, неожиданной бѣды. Выучила сына, а все-таки, треклятая баба, мужа пьяницей зоветъ, не уважаетъ, озорница... А какой я пьяница? изъ всѣхъ слугъ первый и главный слуга! И теперь вотъ хочется выпить, да не пойду... Руку на костръ сожгу, какъ тотъ преподобный, а ужъ въ ротъ — ни-ни...»

Емельянъ собрался въ сторожку спать, да глянулъ по направленію къ городу. Издали, черезъ дорожное полотно, какъ красный глазъ, еще свѣтилось окно въ крайнемъ городскомъ кабацѣ.

«Видно, еще рано; у кабатчика гости и все, должно-быть, наши! — подумалъ Емельянъ, — пойти развѣ такъ, на зло женѣ, — только поглядѣть. Пусть плачетъ, чортова баба! Обвинила, — хоть не даромъ же слушать бабьи укоры».

И онъ опять пошелъ въ кабацъ. А тамъ и впрямь были все свои, — смазчикъ вагоновъ, кривенькій сосѣдній стрѣлочникъ изъ матросовъ и сторожъ при дровахъ. Онъ выпилъ съ ними четвертку и другую. Въ кабацѣ завернулъ и главный изъ общихъ ихъ пріятелей, весельчакъ и пьяница — вахтеръ съ водокачалки. Всѣ, въ ожиданіи службы съ утра, опорожнили еще по сороковкѣ и по другой, и, когда разошлись, Емельянъ уже не помнилъ, какъ онъ добрелъ въ свою сторожку. Ему грезились жабы, змѣи и арабійскія

пещера, гдѣ уже не красавица, а онъ водкой соблазнялъ старца. Въ ужасѣ онъ искалъ словъ молитвы — и не находилъ.

На зарѣ его разбудилъ голосъ Васи:

— Тятя, тятенька! — повторялъ на всѣ лады мальчишъ, теребя его за рукавъ: — твоя очередь, старшой кликается давно!

Емельянъ вскочилъ, сталъ протирать глаза. Утро только что начинало брезжить въ окна сторожки. Какъ ни трепала голова Емельяна, онъ умылъ Васю, причесалъ его, обулъ, одѣлъ и накормилъ вчерашнею кашей. Но все это у него плохо выходило; непривычными къ дитяти руками онъ и рубашонку его облилъ водой, и больно гребнемъ дергалъ его встрепанные волосы, и насилу розыскалъ подъ лавкой и напялил ему на ноги сапожки, а все-таки остался доволенъ, что обрядилъ сына.

— Такъ-то, — сказалъ онъ себѣ, вспоминая, какъ съ вечера прогналъ жену: — не провалюсь! и безъ бабьяго духа все, какъ слѣдуетъ, наладимъ!

Онъ заставилъ сына прочесть молитвы.

Вася прочелъ «Отче нашъ» и «Богородицу» и сталъ проситься поиграть, съ деревенскими ребятами, въ ближній береговой лѣсокъ.

— Да чего ты тамъ не видѣлъ?

— Галчата, тятенька; на березѣ цѣлое гнѣздо!

— Затѣмъ такъ рано?

— Ребята сказываютъ, что теперь они одни, — матки въ разлетѣ за йдой... Пусти; галчата прежде были махонькіе, голенькіе, а теперь вотъ какіе, въ перѣ.

— Ну, иди, Богъ съ тобою! — объявилъ Емельянъ: — только не лазъ на дерево, — еще оборвешься; собакъ тоже берегись; не забодали бы коровы въ лѣсу...

— Вона! не боюсь!

Вася побѣжалъ въ поле. На дворѣ посвѣтлѣло, хотя падъ полемъ и окраинами города былъ еще туманъ. Поверхъ тумана блеснула маковка соборной колокольни. Емельянъ вспомнилъ, что онъ ставилъ сына на молитву, но не молился самъ, и, снявъ шапку, уже повернулся-было на восходъ солнца, но ему почудился гдѣ-то въ полѣ ситальный свистокъ.

— Помолюсь послѣ! — рѣшилъ Емельянъ и, застегиваясь, бросился къ стрѣлкѣ.

Вправо забѣгло облако дыма и сталъ виденъ вдаль медленно подходившій, изъ-за пригорка, товарный поѣздъ. Прямо противъ стрѣлки, по другой бокъ чугушки, шлепая по грязи, двигалось городское стадо коровъ, за ними, въ разсыпную, овцы; еще далѣе, проселякомъ, тащились телѣги съ кладью и одинокіе пѣшеходы.

«Куда имъ всѣмъ до чугушки! — подумалъ Емельянъ, потягиваясь и разминаясь съ трубой у стрѣлки, на утренней холодку: — все одно, что бабѣ до солдата! Загудитъ, загремитъ — и всѣхъ ихъ обгонитъ нашъ кормилецъ — скороходъ!»

За дорогою, надъ березами, поднялась стая галокъ. Емельянъ вспомнилъ о Васѣ и галчатахъ.

«Маху далъ, — подумалъ онъ, — отпустилъ сына къ ребятамъ; не напроказилъ бы чего, — будетъ отъ жены! Ну, да ладно; пропущу товарный, отзову его».

Слѣва тѣмъ временемъ неожиданно послышался другой, болѣе сильный свистокъ. Емельянъ удивился, соображая, не ужели время уже подходить отъ города скорому, курьерскому поѣзду?

«Проспалъ во хмелю!» — съ досадой подумалъ Емельянъ.

Издали въ туманѣ послышались, перекликаясь, трубы ближайшихъ къ городу стрѣлочниковъ. На ихъ сигналы отзывался и кривенькій, сосѣдній Емельяну, стрѣлочникъ-матросъ, бывший ночью въ кабацѣ; затрубилъ о свободномъ пути и Емельянъ, а самъ зорко смотритъ влѣво, за ближайшій мостъ: вотъ-вотъ, съ нѣмцемъ-машинистомъ, выскочитъ изъ-за холма на мостъ утренній курьеръ.

Громыкнули, слѣва, еще въ туманной дали, тяжелыя колеса и скрѣпы поѣзда, выдвинулся грузный, троеглазый паровикъ, и длиннымъ змѣемъ, по насыпи, стала приближаться вереница вагоновъ. Дымъ валилъ изъ черной трубы и стался надъ дорожнымъ полотномъ и его откосами. Стало слышно пытѣніе широкотрубнаго, американскаго силача-паровика.

Но опять, видимо не по положенію, оттуда же, слѣва, повторился свистокъ и другой. Емельянъ ухватился за рукоятку стрѣлки.

«А, понимаю! — подумалъ онъ, — меня завидѣлъ и распозналъ глазастый нѣмецъ-машинистъ; полагаетъ, не выпилъ ли

я? Врешь, не собоюсь. Вижу все, какъ на ладони; вонъ справа—подходить товарный, съ углемъ; ему—одна дорога, а тебѣ—другая...»

Тревожные свистки, однако, не унимались. Поѣздъ слѣва летѣлъ по насыпи, не убавляя хода.

«Что за оказія?—подумаль, теряясь, Емельянтъ, — дать сигналы, а тормозить не успѣютъ, да и зачѣмъ?»

Онъ глянулъ вдоль дорожнаго полотна и замеръ.

Товарный поѣздъ также несся къ березамъ. Тамъ, гдѣ деревья за стрѣлкой разошлись и къ нимъ изъ-за пригорка приближался товарный поѣздъ, машинистъ съ курьерскаго, очевидно, примѣтилъ на рельсахъ что-то живое, не то овцу, не то человѣка, потому и давалъ свистки.

— Да что же это?—вскринулъ Емельянтъ, не помня себя:—Господи, Господи!

На-помотѣи дороги, между двухъ, на полномъ ходу близившихся другъ къ другу, поѣздовъ, онъ увидѣлъ что-то красное,—точно лоскутъ кумача несло по рельсамъ и поддувало вѣтромъ. Емельянтъ въ ужасѣ уналъ красную рубашку Васи.

— Бѣги, бѣги въ сторону!—хотѣлъ-было онъ крикнуть сыну и не могъ.—«Нѣтъ, онъ еще испугается, споткнется и попадетъ подъ колеса!—пробѣжало въ мысляхъ Емельяна,—но какъ спасти его, какъ?»

Оставалось одно средство,—повернуть стрѣлку и направить курьерскій поѣздъ по другому пути, навстрѣчу набѣгавшему товарному.

«Столкнутся, будетъ крушеніе, великій грѣхъ!—колебался Емельянтъ,—да что же сынъ вѣдь! единственный сынишка...»

Оставалось полминуты... Емельянтъ уже налегъ-было ногою на стрѣлку. Курьерскій поѣздъ гремѣлъ слѣва, въ ста шагахъ, перебѣгая невысокій каменный мостикъ, за которымъ, у насыпи, стоялъ Емельянтъ. Дымъ отъ подходившаго справа товарнаго застилалъ березы и рельсы, среди которыхъ все еще мелькала красная рубашечка Васи. Ребенокъ, наконецъ, самъ, очевидно, понялъ угрожавшую ему бѣду. Онъ на мгновенье остановился, бросился вправо, бросился влѣво и, второпяхъ зацѣпясь за шпалы, уналъ ничкомъ прямо на рельсы.

— Отче, Пресвятая Богородица!.. Ариша!—гдѣ ты? прости, касатикъ, молись!—прошепталъ Емельянтъ.



Оставалась секунда...

Бѣлый, какъ полотно, Емельянъ вытянулся и подумалъ: «Будь, что будетъ... всѣмъ ли погибать за одного?» — и, придерживая стрѣлку, остался неподвиженъ.

Курьерскій поѣздъ помчался мимо товарнаго. Крикъ ужаса раздался на обоихъ паровикахъ. Цѣпь вагоновъ, въ дыму и выпущенномъ парѣ, налетѣла на то мѣсто, гдѣ, среди рельсовъ, припалъ комочкомъ Вася.

Паръ свился въ облачко, поднялся, протянулся и, словно бѣлоленточное легкокрылое видѣнiе, понесся въ воздухъ. +

Оба поѣзда, разминувшись, остановились. Емельянъ бросился туда. Онъ бѣжалъ, не переводя духа и стараясь на думать о томъ, почему остановились вагоны и соскочившіе съ поѣздовъ кондукторы и кочегары столпились у откоса, какъ бы разсматривая что-то, лежавшее на землѣ.

— Гдѣ онъ, отцы родные, гдѣ? — крикнулъ Емельянъ, добѣжавъ до насыпи: — пустите, соколики, дайте взглянуть... убить?..

«Раздавленъ до смерти, въ куски! — думалъ Емельянъ, карабкаясь на откосъ, — Аринушка! не жить мнѣ теперь... Одна пьяницѣ дорога — въ омутъ!»

Емельянъ, обрываясь и падая по зеленому откосу, изобрался на насыпь. Бывшіе тамъ разступились. Среди нихъ, на корточкахъ, съ галченкомъ въ рукѣ, сидѣлъ, тараща глаза и плача, измаранный грязью Вася.

— Живъ, живъ! — крикнулъ Емельянъ, подбѣгая къ сыну и подхватывая его на руки: — сыночекъ, сынъ мой!

— А коли и вправду ты ему отецъ, вотъ на что гляди, — сказалъ старичекъ-кондукторъ съ курьерскаго поѣзда: — эва, какъ его укоротило!

Емельянъ опустил сына на земь, посмотрѣлъ, — Вася и впрямь сталъ будто короче на вершокъ.

— На каблукъ гляди, на каблукъ! — кричали стоявшіе кругомъ.

Емельянъ опять приподнялъ сына, осмотрѣлъ его — и упалъ на колѣни. Онъ сталъ молиться, кладя земные поклоны. Вася былъ невредимъ. Цѣлый поѣздъ пролетѣлъ надъ нимъ, не придавивъ его. Колесами вагоновъ на его ногѣ отчагнуло только, точно ножомъ, одинъ каблучекъ, сорвавъ часть сапожнаго задника. Всѣ дивовались и ахали.

Поѣзда засвистѣли опять, загремѣли и разошлись. Долго

Емельянъ не могъ опомниться. Онъ смотрѣлъ вдоль дороги, крестился и шептала молитву.

— Она тебя спасла!—проговорилъ онъ, наконецъ, взявъ сына за руку.

— Кто, тятя?—спросилъ мальчикъ, всхлипывая.

— Материнская молитва! больше некому... Отстоимъ очередь, пойдемъ къ мамѣ въ городъ.

— Нѣтъ, тятя, мени сдвинуло что-то бѣлое... я упалъ, а оно, точно дымъ, навалило—и отпихнуло меня...

Емельянъ пошелъ съ сыномъ къ старшѣму — проситься въ городъ. Вася бѣжалъ рядомъ съ нимъ, держа въ рукѣ оравшаго галченка.

— Эхъ, Васютка, не ладно, — сказалъ отецъ: — зачѣмъ му чинишь божью тварь?

Сынъ удивленно посмотрѣлъ на отца.

— Пусти его на волю, — сказалъ Емельянъ: — пусть жипеть и за насъ, грѣшныхъ, Господа славить.

Вася пустил галченка. Тотъ полетѣлъ въ кусты. Емельянъ не спускалъ глазъ съ неба. Ему казалось, что надъ кустами и полемъ не переставать парить бѣлолилейный, крылатый ангелъ.

У лѣкарши стрѣлочнику сказали, что его жена кончила постирушку и пошла на рѣку. Онъ засталъ Арину на городскомъ плоту. Кругомъ мыли бѣлье и тарантили во все горло другія прачки. Онъ прямо къ женѣ.

— Прости, Аринушка, — сказалъ Емельянъ, кланаясь ей въ ноги при всѣхъ: — былъ на свѣтѣ старый пьяница и баловникъ, загуливалъ и не по правдѣ жилъ; пойдемъ молебень править, — ты своими молитвами спасла сына, спасла и меня.

Всѣ въ городѣ узнали о чудѣ надъ Васей. Но случилось и другое чудо. Съ той поры Емельянъ хмельного не пьетъ и въ кабакъ даже съ товарищами не ходитъ. Въ сторожкѣ, у образовъ, онъ помѣстилъ новую икону. На ней изображенъ въ бѣлой ризѣ крылатый Георгій Побѣдоносецъ, на конѣ и съ мечемъ, надъ поверженнымъ дьяволомъ. Когда Емельяна спрашиваютъ, откуда онъ взялъ этотъ образъ, онъ отвѣчаетъ:

— Ходилъ на богомолье; человекъ слабъ, а въ одномъ Богѣ и его угодникахъ — сила въ борьбѣ противъ *окаянства и зла*.

1886 г.

## УКРАИНСКІЯ СКАЗКИ.

Помѣщаемыя здѣсь сказки принадлежать къ дѣтскимъ воспоминаніямъ, къ той же семейной старинѣ автора.

Въ сказкѣ каждаго народа дорогъ прежде всего вымыселъ, плѣнительный, вѣками созданный *миръ*. Передается народная сказка почти всегда «своими словами», причемъ неизмѣнными остаются въ ней одни вставочныя мѣста, а именно пѣсни ея героевъ. Подобныя мѣста — и въ этомъ только сходство сказки съ народною пѣсней — неизмѣнно передаются въ стихахъ и неперемѣнно, при повѣствованіи, поются. Въ народныхъ сказкахъ есть ненужныя длинноты и дословныя повторенія однихъ и тѣхъ же, почему-либо характерныхъ выраженій. Предлагаемыя сказки — не переводъ. Въ нихъ сохранены только народные миры и особенно мѣткія и живописныя присловья тѣхъ, кто ихъ передавалъ.

Большинство приводимыхъ здѣсь украинскихъ сказокъ авторъ слышалъ отъ своей няни Аграфены и отъ ея мужа Анисима, человѣка во многихъ отношеніяхъ замѣчательнаго. Анисимъ былъ огромнаго роста, силенъ, но дѣтской доброты, и всѣ его привычки были женскія. Онъ постоянно портяжилъ, но больше по бабьей части, — шилъ рубахи, мерезжилъ полотенца; прядъ, вязалъ чулки, занимался шептаньемъ отъ глаза, отъ боли зубовъ и живота, кормилъ куръ и доилъ коровъ. Умеръ онъ семидесяти лѣтъ. Аграфена его пережила.

Сказки этихъ стариковъ производили глубокое впечатлѣніе. Бывало, рассказъ давно конченъ, свѣча потухла. Всѣ спятъ, а у дѣтскаго изголовья всю ночь до утра отзывается жалобный голосъ рыбки, бывшей когда-то красавицей-ху-

торянкой; стучить-гремять по лѣсу страшная кобылья голова, шепчутся и шелестятъ степныя травы, которымъ внимають казакъ-плѣнникъ въ Крыму; плачетъ переселенная въ свирѣль душа зарѣзанной дѣвочки; колятъ носатый каратышка, солнце бесѣдуетъ съ матерью, вечерней зарей; поетъ Ивашко, котораго хочетъ съѣсть вѣдьма; а изъ-за угла выглядываютъ рога лукавой козы и уши пронырливой лисички-сестрички...

Любилъ сказки и мой дѣдушка. Онъ, подобно герою повѣсти Даля, говорилъ подъ вечеръ своему слугѣ: «ну, теперь ты меня положи, да укрой, да подотени; еще перекрести и Расскажи сказку, а ужъ засну я самъ»... — Но слуга дѣдушкѣ говорилъ сказки иного рода, богатырскія, — о Ерусланѣ, Бовѣ-королевичѣ. Я ихъ не любилъ; сказки няни и ея мужа — бытовья, напоминающія жизнь хуторовъ и слободокъ, мнѣ болѣе нравились.

I.

## Кума-лисица, пастухъ, рыболовъ и возница.

Жили были дѣдъ да баба,  
Да убогіе такіе,  
Что у бабы на хозяйствѣ  
Только курочка ходила;  
А у дѣда, у сѣдого,  
Пѣтушокъ золотопѣрый.  
Вотъ, какъ все они поѣли,  
Стали думать, чѣмъ кормиться.  
И надумала тутъ баба:  
— «Знаешь, есть у насъ по птицѣ:  
Кто скорѣй свою поймаетъ,  
Ту къ обѣду и зарѣжемъ!»  
Идутъ оба на курятникъ,  
Стали по двору гоняться;  
Только смотреть дѣдъ, а баба  
Загнала насѣдку въ уголь.  
Сѣла на земь, будто ловить,  
Да надъ нею, какъ слѣпая,  
Руки даромъ и разводять...

«Э! хозяйка, надуваешь!»  
Дѣдъ помыслилъ и промолвилъ:  
— «Нѣтъ, постой-ка ты, старуха;  
Лучше мы по чистой правдѣ,  
Никого не обижая,  
Обоихъ зарѣжемъ разомъ!»  
Призадумалась старуха;  
Дѣду ножъ несесть изъ хаты;  
Дѣдъ попробовалъ, востѣръ ли,  
На крыльцо съ ножомъ садится;  
Да какъ глянуть другъ на дружку,  
И расплакались, какъ дѣти.  
— «Ну, старуха, Богъ съ тобою!  
Пусть живетъ твоя насѣдка!»  
— «Пѣтушка жъ и я не трону!»  
Говорить ему хозяйка;  
Посудили, порадили,  
И пустили куръ въ курятникъ.  
Въ тотъ же день пѣтухъ за это  
Натаскалъ пшеничныхъ зеренъ,  
А насѣдка постаралась,  
Раздобыла гдѣ-то маку.

Заходилась стряпать баба,  
Пирожокъ съ начинкой мѣсить.  
А подъ лѣсомъ, той порою,  
Свѣрый волкъ, съ кумой-лисою,  
Выходилъ на заработки.  
— «Ты, кума, иди по селамъ,  
Я жъ пойду кругомъ, полями;  
И дѣлить потомъ мы станемъ,  
Что путемъ дорогой стинемъ!»  
Разошлись кумъ съ кумою;  
На село пошла лисица.

Тутъ, пирогъ набивши макомъ,  
Баба печь ужъ затопила;  
Слышнѣть, кто-то стукъ въ окошко,  
— «Охъ,пусти меня ты, баба!»  
Голосъ плачется подъ хатой:  
«У меня въ печи погасло!»

Баба угли раздуваетъ,  
Говорить:— «Войди, сосѣдка!»  
Гостья входитъ, носомъ водить,  
А ужъ ушки на макушкѣ;  
Хвостъ колечкомъ подвернула,  
Подползла тайкомъ къ печуркѣ,  
Пирожокъ схватила съ макомъ,  
Въ двери шмыгъ, да и пропала...  
Баба чуть успѣла ахнуть!

Съ пирожкомъ бѣжить лисица,  
На пути проголодалась;  
Съ макомъ выѣла середку,  
Пирожокъ трухой набила,  
Да подь ночь и обмѣнила  
На бычка пирогъ ребятамъ,  
Загонявшимъ стадо къ хатамъ...

Стережетъ бычка лисица  
Думу думаетъ такую:  
«Кумъ сытѣхонекъ навѣрно;  
Поживлюсь и я добычей!»  
Поднялася спозаранку,  
Всѣласть наѣлась, отдохнула;  
Кожу листьями набила,  
Оперла бычка на кустикъ,  
Въ середину напустила  
Воробьевъ и галченокъ,  
И подь лѣсомъ, какъ живого,  
Сторожить уѣлась снова...

Ѣдетъ въ санкахъ понамарь:  
— «Что, кума, бычокъ продажный?»  
— «И не спрашивай, бери:  
На корма совсѣмъ проѣлась!»  
Вотъ, ударивъ по рукамъ,  
Сторговалась съ нимъ лисица,  
Отдаетъ бычка за санки,  
Отдаетъ за непростыя,  
За рѣзныя, росписныя.  
Увезла лисица санки...

Понамарь опять въ дорогу;  
Потянулъ быча за поводъ,  
А бычокъ—бутыхъ съ сугроба,  
Бокъ распоротый раскрылся:  
И взвились надъ сугробомъ  
Воробы и галченята.

Понеслась лисица полемъ;  
Ей навстрѣчу воль голодный  
— «Помоги кума: ни крошки  
Не успѣлъ я заработать!»  
— «Охъ, и я три дня не ѣла!»  
Говорить лисица куму:  
Посудили, порадили,  
Да возокъ и подѣлили:  
Кумъ себѣ оглобли выбралъ,  
А кума усѣла въ кузовъ,  
Пригнѣздилась, развалилась  
И, раскинувъ хвостъ и лапки,  
Приговариваетъ тихо:  
«Тошій сытаго везетъ,  
Тошій сытаго везетъ!»  
— «Что, кума, ты говоришь?»  
— «Да о томъ, что мы не ѣли»...

Смотрять путники, навстрѣчу  
Ѣдутъ съ рыбой чумаки.  
— «Ну, теперь скорѣй бѣги ты!»  
Говорить лисица волку:—  
Дожидай меня подъ стогомъ,  
Что подъ тою подъ горою;  
Я-жъ дѣла пока устрою!»

Кумъ съ санями потащился,  
А кума, какъ неживая,  
Разметавши хвостъ и ноги,  
Улеглася у дороги.  
Чумаки съ ней поровнялись,  
Стали думать вкругъ лисицы:  
«Мѣхъ какъ разъ на рукавицы!»

Посудили, да находку  
Прямо въ рыбу и свалили.

На возу лежитъ лисица,  
А сама буравить дырку;  
И давай кидать въ оконце  
Замороженную рыбку...  
Вотъ очистила до крошки,  
Прыгъ сама, давай въ охабку  
Подбирать съ дороги рыбку,  
И усѣлася подъ стогомъ,  
Но не въ полѣ, подъ горою,  
А въ слободкѣ, надъ рѣкою,  
Рыбу ѣсть, ждетъ кума въ гости,  
А за стогъ кидаетъ кости.

Вотъ, когда ужъ постемнѣло,  
Видитъ—кумъ бѣжитъ долиной,  
Еле-еле тащить санки...  
— «Охъ, кума, куда зашла ты?  
Всѣ поляны я обѣгалъ;  
Нѣтъ ли чѣмъ прочистить горло?»  
— «Да и я, какъ неживая!»  
Говоритъ лисица волку,  
Лапкой рыльце утирая:—  
Мерзлой рыбкой поживилась,  
Но чуть-чуть не подавилась;  
Просто кости, а не рыба,  
Вотъ бы свѣжей наловилъ ты»...

Носъ повѣся, у сугроба  
Кумъ съ кумой усѣлись оба,  
Долго-ль, нѣтъ ли, горевали,  
Собираться къ рѣчкѣ стали.

Кумъ, какъ былъ запряженъ въ санки,  
Хвостъ лохматый, словно неводъ,  
Окунулъ со льдины въ прорубь;  
А кума, присѣвъ къ сторонѣ,  
Приговариваетъ тихо:  
— «Мерзни, мерзни, волчій хвостъ,



Мерзни, мерзни, волчий хвостъ!»

— «Что, кума, ты говоришь?»

— «Охъ, все счастье намъ звала я:

Ты ловись, ловися рыбка,

Рыбка малая, большая!»

Вотъ примеръ ко лѣдинѣ хвостъ;

Показались дровосѣки,

Увидали рыболова

И давай его въ дубины...

Безъ хвоста и весь избитый,

Волкъ ушелъ отъ нихъ полями

И столкнулся тутъ съ кумою.

А кума не оплошала,

На селѣ ужъ побывала,

Вся опачкалася тѣстомъ

И бѣжитъ навстрѣчу куму,

Громко жалуясь, что бабы

Въ кровь всю голову избили...

Пораздумалъ волкъ голодный

И кумѣ жъ поставилъ санки...

Та спокойно сѣла снова,

Пригнѣздилась, развалилась

И, раскинувъ хвостъ и лапки,

Приговариваетъ тихо:

— «Бить небитаго везетъ,

Бить небитаго везетъ!»

— «Что, кума, ты говоришь?»

— «Да о томъ, что мы съ тобою

И не сыты, и побиты!»

Вдругъ откуда ни возьмися,

На дорогу выбѣгаетъ

Изъ курятника насѣдка,

А за ней, раскинувъ крылья,

Пѣтушокъ золотопѣрый.

Волкъ забыть совсѣмъ про санки

Мигомъ кинулся за ними

И завязъ съ кумой въ воротахъ,

Какъ ужъ тутъ они ни бились,

Какъ изъ силъ всѣхъ ни возились,  
Пѣтушокъ вскочилъ въ окошко  
И во все-то горло крикнуть:  
— «Выбѣгайте, дѣдъ и баба,  
На дворѣ у насъ добыча,  
А добыча не простая».  
Дѣдъ схватилъ съ прилавка вилы,  
А старуха съ печи донце,  
Въ двери выскочили разомъ  
И въ воротахъ уходили  
Кума сѣраго съ кумою...

Съ той поры у дѣда волчья,  
А у бабы лисья шуба.  
Дѣдъ съ старухой, по задворью,  
Дружка дружку возятъ въ санкахъ;  
А пѣтухъ съ насѣдкой ходятъ  
Каждый день на заработки,  
И хозяевамъ таскаютъ  
На олады ежевику,  
На водянку комонику.

---

## II.

### Живая свирѣль.

Вдали жилия и всѣхъ дорогъ, въ степи,  
Гдѣ пахнетъ такъ клубникой, васильками,  
И то желтѣетъ все отъ сонъ-травы,  
То ало все отъ мака до горошка,  
Жилъ пасѣчникъ съ женою и дѣтьми.

Раздолье—степь, лѣнись себѣ на волѣ.  
Онъ такъ и дѣлалъ, думалъ да курилъ,  
Лежалъ въ тѣни прохладной шалаша,  
А на зарѣ стрѣлялъ гусей да утокъ.  
Не спорилъ онъ съ хозяйкою сердитой,  
Не выходилъ изъ пасѣки отъ пчелъ,  
И на пролетъ всѣ дни лежалъ въ травѣ.  
Въ полудремотѣ, глядя въ синій воздухъ...  
А въ воздухѣ недвижно и неслышно,

Какъ сонные, какъ пьяные отъ жара,  
Предъ нимъ висѣли мошки, комары,  
Шмели сновали, золотыя мухи  
И гуломъ струнъ звенѣли въ ульяхъ пчелы...

Разъ позвала дѣтей своихъ хозяйка,  
Двухъ дочерей, да сына—невеличку,  
И такъ сказала имъ:—«ступайте дочки,  
Вонъ за курганомъ, у ручья, лѣсокъ,  
Грибы пособили, ягода клубника,  
Да кстати ножъ возьмите, лыжъ нарежьте,  
И будетъ вамъ по лентѣ на сестру».  
Меньшая дочь взяла на руки брата  
И весело пошла къ кургану въ лѣсъ;  
Дочь старшая—была то баловница,  
Любимица и кѣженка въ семьѣ—  
Надулася, въ сердцахъ взяла лукошко,  
Лѣниво, чуть бреди, пошла къ опушкѣ,  
Легла въ камышъ, свернулася и заснула...  
И снится ей, что у сестры въ косѣ  
Двѣ ленты, у нея жъ на шеѣ лыко.

Вотъ дочь меньшая набрала грибовъ,  
Наблала ягодъ, брата угостила;  
И видитъ: яблонька невдалекѣ,  
На яблонѣ жъ два яблока такіа,  
Что чудо, сочныя, да золотыя.  
Сорвавъ находку, дѣвочка тайкомъ  
Отъ брата—прыгъ въ кусты и убѣжала.  
Подъ лѣсомъ, слышитъ, ей кричитъ сестра:  
— «Постой, куда сибѣишь, домой успеешь—  
Сядь я тебѣ головку расчесу»...  
Сестра послушалась, къ сестрѣ присѣла  
И, утомленная, заснула скоро.  
Увидѣла завистница находку.  
«Какія яблоки—вотъ чудо! спать дурнѣе».  
И въ сердце ножъ сестра сестрѣ воткнула...

Но пикнула бѣдняжка, а убійца  
Въ тростникъ ее стащила и домой  
Вернулася, хвастая своею находкой...

— «А гдѣжъ сестра?»—спросилъ отецъ.—«Не знаю  
И какъ мнѣ знать! мы порознь съ ней ходили».  
Искала мать, искали всѣ, напрасно...  
«Звѣрь утащилъ, на то, знать, Божья воля»...  
Погоревали такъ, потолковали,  
Года прошли, и бѣдную забыли.

Вотъ и подросъ, сталъ бѣгать братъ убитой,  
А надъ ея костями—какъ лѣсъ, камышъ  
Шумить, звенить, и чуть подуетъ вѣтеръ,  
Въ сто голосовъ такъ жалобно поетъ.

Заслышалъ звуки тѣ однажды мальчикъ,  
Пошелъ къ ручью, нагнулъ и срѣзалъ стволъ,  
Очистилъ, навертѣлъ съ боковъ отверстій,  
Къ губамъ поднесъ,—и та свирѣль зазвѣла,  
Какъ оживленная, такую пѣсню:

«Потише, тише, братецъ, играй;  
Не рази сердца моего въ край!  
Меня сестрица сгубила,  
Ножъ въ мое сердце вонзила,  
За клубочекъ  
Ягодъ,  
За золотое яблочко!»

Услышалъ тѣ слова отецъ, поднесъ  
Свирѣль къ губамъ, и та опять зазвѣла:  
«Потише, тише, отецъ, играй,  
Не рази сердца моего въ край!  
Меня сестрица сгубила,  
Ножъ въ мое сердце вонзила,  
За клубочекъ  
Ягодъ,  
За золотое яблочко!»

О чудѣ томъ узнали на селѣ,  
Сбѣжались люди, требуютъ убійцу,  
И у нея въ рукахъ свирѣль зазвѣла:  
«Потише, тише, сестра, играй,  
Не рази сердца моего въ край!

Меня, сестра, ты сгубила,  
Ножь въ мое сердце вонзила,  
За клубочекъ  
Ягодъ,  
За золотое яблочко!»

Народъ убійцу осудилъ на смерть.  
Онъ привязалъ ее къ хвосту коня  
И такъ пустилъ его по вольной стени.  
И гдѣ сестра безжалостная грудью  
Ударилась, тамъ выросъ тернъ колючій;  
Гдѣ русою ударилась коса,  
Тамъ забѣлѣла сплошь ковыль-трава;  
А гдѣ рукой ударилась грѣховной,  
Тамъ протянулись черныя могилы.  
Мать бросилась за дочкою любимой,  
Да какъ взглянула, такъ и замерла:  
Въ степь отъ кургана руки протянула  
И обратилась въ темнелистный лверь.

### III.

#### Озеро-слободка.

Какъ-то по озеру съ удочкой ѣздить рыбакъ въ перелѣскѣ;  
Рыба почти не ловилась, и сталъ онъ домой собираться;  
Вдругъ и поймалась одна, да такая красивая рыбка,  
Что ни перомъ описать, ни въ словахъ рассказать не  
сумѣешь.

Чуть онъ въ ведроко успѣлъ перебросить вертикальную рыбку,  
Тихо предъ нимъ поднялась надъ пучиною рыба постарше,  
Блѣдная вся, будто кто испугалъ ее, вышла наружу  
И человѣческимъ голосомъ вскрикнула такъ надъ водою:  
— «Гдѣ ты, дитя мое, гдѣ, моя неразумная рыбка?  
Стадо пора загонять; погляди, закатилось солнце...  
Гдѣ ты, откликнись, дитя! али хищная цапля рѣшила  
Въ когти изъ воды подхватила тебя, моя рыбка родная?»

Долго сновала по озеру, въ страхѣ и въ трепетѣ, рыбка:  
Долго рыбакъ, опустивши весло, съ челнока дивовался...  
Взялъ напоследокъ ведро онъ, привсталъ и откликнулся рыбкѣ:

— «Вотъ твое дитятко, вотъ: ты возьми свою дочку, пожалуй,  
По уговоръ лучше денегъ: повѣдай по истинной правдѣ,  
Что ты за диво сама и какіе края ваши воды?»

Быстро плеснувшись въ водѣ и уставя яугливыя глазки,  
Такъ начала говорить замирающимъ голосомъ рыба:  
— «Охъ, человекъ, много лѣтъ той порѣ, какъ на этой

полянкѣ,  
Вмѣсто воды, камышей и кустовъ, красовалась слободка,  
Въ шумной слободкѣ жила на дворѣ на широкомъ молодка.  
Много добра и богатства у ней по амбарамъ лежало,  
Много далекихъ купцовъ и мірянъ къ ней во дворъ забѣжало.  
Разъ, о полудни, она на крыльцѣ на тесовомъ сидѣла;  
Дочь на рукахъ убаюкавъ, съ крыльца за ворота глядѣла.  
Видитъ, идетъ отъ села человекъ, утомился бѣдняга —  
Низко поклонны кладетъ у воротъ и у оконъ слободки:  
Проситъ онъ ковшикъ студеной воды у ребятъ и у старшихъ...  
Только не слышать ребята, играютъ себѣ по затишьямъ;  
Старшіе жъ, кто на гудѣ, кто съ иглой, али съ пражей  
услыся.

Вотъ подошелъ онъ ко мнѣ, говорить: — «Твоя хижина  
съ краю,

Глушь за тобой и поля; а жъ отъ жары изнываю;  
Встань, захвати гдѣ-нибудь мнѣ хоть каплю водицы сту-  
деной!» —

Умъ ли померкъ у меня, и теперь разгадать не умѣю;  
Только въ отвѣтъ старику я промоявила такъ, усмѣхаясь:  
— «Какъ, старина, разбудить, какъ покинуть мнѣ малую  
дочку?

Хочешь напиться, такъ вонъ, погляди, и ручей подь горою;  
Помежъ успѣешь дойти и авось не умрешь на дорогѣ, —  
Здѣсь же у насъ, въ слободѣ, ты и капли воды не отыщешь!»  
Старникъ поникъ головой и, какъ тѣнь, изъ околицы  
вышелъ...

Вдругъ слышу я, въ тишинѣ, по околицѣ звуки несутся;  
Точно посыпался градъ, али гдѣ-то западали зерна...

Вижу — и замеръ мой духъ, на столѣ самъ собой, за по-  
рогомъ,

Брызнула кувшинъ, а за нимъ у дверей изъ печурки  
плеснуло;

Возлѣ, изъ погреба, струйка воды, словно дымъ, поднялся;  
Миски, лоханки и ведра всплываютъ, несутся къ воротамъ;  
Имъ же навстрѣчу, смотрю, выбѣгаютъ другіе потоки!  
Въ ближнихъ дворахъ та же притча: всплываютъ шесты  
и заборы...

И не опомнилась я, какъ кругомъ берега поднялись;  
Зѣлено стало въ глазахъ; колыхаясь, ослѣ слободка;  
Тамъ же, вверху, какъ туманъ, заходили студеныя волны...

Ты не дивись, рыбакъ, если въ озеро днемъ ты согласишься:  
Темныя кочки на днѣ—это хижины нашей слободки;  
Мелкія травки—сады, а ложбинки—пруды да колодцы.  
Ранней зарею, пока не шелохнулись по лѣсу листья,  
Съ берега: ухо наставь ты къ водѣ, тутъ сейчасъ и услы-  
шишь—

Какъ далеко-далекѣ, подь тобой, въ потопленной слободкѣ,  
Вѣтеръ по кровлямъ шумитъ, словно плещутся мелкія  
струйки,

Куры кудахчутъ, пѣтухъ на гумнѣ заливался звонко...  
И раздаются въ водѣ колокольные тихіе звуки,  
Будто засохшія тростники отъ дуновенія вѣтра  
Тихо звенить надъ водой, надъ пустыннымъ побережьемъ  
качались!»

Рыбка замолкла, едва отливаясь на зыби стемнѣвшей...  
Въ волны ей бросилъ рыбакъ цѣлыхъ сутокъ добычу обратно;  
И, привязавши челнокъ межъ осокой, обратно въ потемкахъ  
Вышелъ на берегъ, безлюдный и дикій, съ пустыми руками.

#### IV.

### Братъ и сестра.

Жили-были сироточки.  
Попли они искать себѣ  
Промежъ людей пристанища.  
Не день идутъ, но два идутъ,  
И стала ихъ жара томить;  
Измучились путемъ они—  
Путемъ чудо увидѣли...  
Навстрѣчу имъ мужикъ идетъ,  
Весъ бѣлый самъ и съ бѣлою

Пенозкою и лошадей.

— «Не видѣлъ ли ты, дядюшка,  
Ручья путемъ дорогою?»

— «Не видѣлъ я ручья путемъ,  
А видѣлъ, межъ двухъ дубовъ,  
Пробилъ ногой конь ямочку—  
И въ ней съ дождя воды глотокъ!»  
Хотѣлъ испить усталый братъ,  
Сестра ему въ отвѣтъ на то:

— «Не пей, не пей, Ивашечко,  
Не пей, конемъ прикинешься!»

Пошли опять съ сестрою братъ,  
Опять жарой измучились,  
Опять чудо увидѣли:  
Навстрѣчу имъ мужикъ идетъ,  
Весь огненный, какъ жаръ горитъ,  
И огненныхъ воловъ ведетъ.

— «Не видѣлъ ли ты, дядюшка,  
Ручья путемъ дорогою?»

— «Не видѣлъ я ручья путемъ,  
А видѣлъ я, подъ горкою,  
Ступалъ козелъ копытцами,  
Пробилъ въ землѣ двѣ ямочки—  
И въ нихъ съ дождя воды глотокъ!»  
Хотѣлъ испить усталый братъ,  
Сестра ему въ отвѣтъ на то:

— «Не пей, не пей, Ивашечко,  
Не пей, козломъ прикинешься!»

Сестра соснуть въ коннѣ легла;  
Усталый братъ ослушался...  
Испилъ воды съ земли сырой  
И сталъ мохнать, съ бородкою,  
И съ рожнами, и съ хвостикомъ;  
Пошелъ блеять по-козѣму,  
Траву щипать по рытвинамъ...  
Сестра его, какъ вскинулась,  
Увидѣла и ахнула;  
Услася подъ кочкою,  
Плететь косу, рыдаючи:



— «Пасись, пасись, козлёночекъ,  
Тебя теперь не брошу я».  
Взошла заря вечерняя;  
Домой съ торговъ купецъ спѣшить,  
Сталъ дѣвочку разспрашивать,  
Узналъ про все и ей сказалъ:  
— «Пойдемъ со мной, сироточка;  
Тебѣ я дамъ пристанище,  
А козлика рогатаго  
Я выкормлю и выращу  
На всемъ добрѣ, на роскоши».

Пошла къ нему сироточка;  
За всѣмъ глядитъ, ночей не спитъ,  
И стала вновь кручиниться..  
Что день—глядитъ на улицу:  
Зарей стада съ полей идутъ,  
Веселыя, сытѣхоньки;  
Одинъ козелъ, понурившись,  
Домой идетъ непоенный.  
Некормленный, всю ночь стоитъ—  
Солому рветъ съ плетней и крышь,  
Давай сестра купца просить;  
И радъ бы онъ помочь бѣдѣ:  
Жена, вѣдьма сердитая,  
Всѣхъ гонитъ прочь отъ козлика,  
На зло моритъ голоднаго.  
Пошла сестра зарей къ рѣкѣ,  
Да въ глубь ея и бросилась

Припалъ къ рѣкѣ козлёночекъ,  
Дрожить, кричить у берега:  
— «Сестра, сестра родимая!  
Ты встань ко мнѣ, ты выплыви;  
Меня, козла рогатаго,  
Колоть хотятъ, губить хотятъ,  
Вросать въ котлы кипучіе!»  
Со дна рѣки сестра ему:  
— «Охъ, братъ ты мой, родименькій,  
Не встать ужъ мнѣ, не выплынуть:  
Пески въ водѣ усыпали

Всю косу мнѣ, всю русую;  
Въ камышѣ руки увязнули,  
А грудь мою змѣя-тоска  
Сосеть-грызеть безъ устали!»

V.

### Крымскій плѣнникъ.

Давно то было—жилъ казакъ, Вакула,  
А по прованію—Налѣво Хатка.  
Былъ добрый онъ, былъ ласковый, непьющій;  
Умѣлъ колеса дѣлать, миски, грабли,  
Зимой портняжилъ, лѣтомъ по лугамъ  
Ходилъ съ ружьемъ; да какъ-то зазѣвался  
И угодилъ съ охоты въ плѣнъ къ татарамъ.

Его хозяинъ былъ богачъ и князь,  
Стадамъ его въ Крыму не знали счета;  
Онъ плѣнника назначилъ пастухомъ.  
Зайдетъ Вакула въ степь, въ траву забѣтается;  
Да день-денской на волѣ и дежить:  
И голова лежитъ, и обѣ руки  
Раскинулись привольно и лежать;  
Лежать и ноги, шапка, чубъ и трубка...  
И весь лежитъ, какъ будто не живой!  
А тамъ, внизу, въ травѣ, жуужить комаръ,  
Вверху звенять и мчатся журавли;  
И не рѣшишь, куда глядѣть, что слушать;  
Подумаешь, съ собою погадаешь,  
И кончишь тѣмъ, что цѣлый день проспичь.

Одна бѣда—татары горемыку  
Кормили власть, но строго заказали  
Не пробовать того, что сами ѣли...  
«Что тутъ за притча?» мыслить сталъ Вакула.  
Онъ разъ пришелъ со стени, думалъ-думалъ  
(Татары въ лѣсъ тогда пошли за чѣмъ-то),  
Да и хлебнулъ съ хозяйскаго горшка...  
Ѣсть не поѣлъ, невкусно и несытно—  
Взялъ палку и опять погналъ овецъ.

Но вдругъ, чуть вышелъ въ поле,—что за дивъ  
Сталъ понимать онъ говоръ каждой травки...  
Безчисленные, пестрые цвѣты  
Качаются на тонкихъ стебелькахъ,  
Поводятъ желтыми и голубыми,  
Лиловыми и алыми глазками,  
Какъ пчелы шепчутся и шелестятъ...

И кланяются травы казаку,  
И говорятъ ему по-человѣчьи.  
Канѹперъ говорить: я отъ запоя;  
Полюнь кричить: а я отъ лихорадки;  
Любистокъ увѣряетъ, что ему  
Извѣстны тайны дѣвичьихъ сердецъ,  
Перѣступень кричить: я отъ надрыва;  
Бодягъ отъ ранъ, исопъ—отъ зуда въ горлѣ;  
Сорочье мыло—отъ морщинъ, веснушекъ;  
И всѣхъ ихъ голосъ чортова орѣшка  
Надъ полемъ покрываетъ: «Кто меня  
Сорветъ, тому всѣ клады станутъ видны».  
— «А я,—звенить съ поляны сонъ-травы:—  
Я больше всѣхъ васъ, тетушки и дяди,  
Доставлю счастья; кто меня сорветъ,  
Тотъ сладко, на привольѣ всѣмъ уснетъ,  
Надъ всякою работою, надъ сказкой,  
Надъ топоромъ, у стада, надъ указкой...  
И кто сорвать меня рѣшится, съ нимъ  
За тридцать земель мы улетимъ»...

— «Вотъ такъ находка»,—думаетъ Вакула;  
И онъ сорвалъ пахучей сонъ-травы.  
Понюхалъ, опьянѣлъ и, вмѣсто травъ,  
Вокругъ себя вдругъ увидѣлъ человѣчковъ;  
Всѣ зелены и ростомъ со стрекозу,  
И счета нѣтъ въ травѣ тѣмъ человѣчкамъ.  
Такъ день лежалъ и два лежалъ Вакула,  
Все слушая, что травы говорятъ,  
И глядя на зеленыхъ человѣчковъ...  
И такъ лежалъ онъ, все курилъ, да думалъ,  
А рой годовъ надъ нимъ незримо мчался,

И зарастать казакъ травой сталъ...  
И такъ сто лѣтъ онъ ровно продолжалъ.

Сто лѣтъ!—Онъ легъ подь тонкимъ стебелькомъ,  
А всталъ подь старымъ, коренастымъ дубомъ;  
Легъ черноусымъ, статнымъ казакомъ,  
А всталъ горбатымъ, скрючившимся дѣдомъ,  
Въ истлѣвшей свитѣ, съ бородой по поясъ...  
И только недокуренная трубка  
Торчала у него между усовъ.

## VI.

### Снѣгурка.

Жилъ да былъ старикъ со старухой,  
Не было у нихъ дѣтей.  
И сидѣли подь окошкомъ,  
Горевали дѣдъ и баба;  
А на улицѣ, надь рѣчкой,  
Вереница ребятишекъ  
Гору снѣжную лѣпила.  
Вотъ и спрашиваетъ баба:  
«Не пойти ли, человѣче,  
Намъ на улицу съ тобою?»  
— «А и въ самомъ дѣлѣ, баба!»  
Отвѣчаетъ дѣдъ на это;  
И шары лѣпить изъ снѣгу  
Начинають дѣдъ и баба.  
— «Что вы дѣлаете, старцы?»  
Молвить, кланаясь, прохожій—  
Старый дряхлый, съ бородою.  
— «Лѣпимъ дитятко!» съ усмѣшкой  
Отвѣчаютъ дѣдъ и баба.  
— «Помогай же Богъ вамъ, старцы!»  
Молвить, кланаясь, прохожій  
И за рѣчкой исчезаетъ...

Лѣпить дѣдъ изъ снѣгу ножки,  
Лѣпить носикъ, лѣпить ротикъ;  
Только вдругъ изъ губокъ бѣлыхъ

Теплый паръ повѣялъ струйкой,  
Глазки синіе раскрылись—  
И красавица Снѣгурка,  
Отряхая мягкій иней,  
Передъ старцемъ вострепнулась,  
Вострепнулась, какъ живая.  
— «Крошка!—молвила старуха:—  
Будь отнынѣ нашей дочкой!»  
И, въ тулупъ закутавъ теплый,  
Унесла Снѣгурку въ хату.

Вотъ идутъ за днями ночи,  
За ночами дни проходятъ;  
Не по днямъ, а по минутамъ  
Хорошѣетъ и милѣетъ  
Русокудрая Снѣгурка.  
Не успѣлъ старикъ съ старухой  
Осмотрѣться, оглядѣться,  
Стала дѣвочкой-рѣзвункой  
Русокудрая Снѣгурка.  
Не успѣли дѣдъ и баба  
Справить ей на косы ленты,  
А на шубку позументы,  
Стала пышною невѣстой  
Русокудрая Снѣгурка.  
Женихи, какъ листья въ осень,  
Къ нимъ посыпались въ ворота!

Всѣмъ была она красotka,  
Только вовсе безъ румянцу,  
Безъ одной кровинки въ тѣлѣ;  
Да еще бывала рада  
Тучамъ, будто милымъ сестрамъ,  
Вольнымъ бурямъ да метелямъ,  
Будто сватымъ да золовкамъ,  
А туману—солвню брату...

Богогрьбъ-февраль спустился,  
Мартъ ключи въ долинахъ отперъ,  
И затаили потоки...  
Призадумалась, замолкла

И головкою понюгла  
Русокудрая Снѣгурка...

Разъ, зарею ранней было,  
Вешнихъ водъ струи гремѣли;  
Вышелъ дѣдъ, присѣлъ у двери  
И старухѣ тихо молвилъ:  
«Посмотри, какою павой  
Выступаетъ наша дочка!»

А красавица Снѣгурка  
Отъ рѣки, промежь заборовъ,  
Коромысло взявъ на плечи,  
Шла, былинкой изгибаясь,  
И былинкой колыхаясь,  
Вся въ дукатахъ, вся въ гранатахъ,  
Шла по улицѣ широкой.  
Только вдругъ остановилась,  
Пошатнулась, оступилась—  
И тихонько стала таять.  
Стала таять, словно свѣчка;  
Заклубилась легкимъ паромъ  
Тихо въ облачко свернулась  
И разсѣялась въ лазури.

---

VII.

Дѣдовы козы.

Были козы у стараго дѣда.  
Посылалъ старый дѣдъ въ поле дочку,  
На привольѣ пасти свое стадо;  
Самъ подъ вечеръ въ тесовыхъ воротахъ  
Становился въ червонныхъ сапожкахъ,  
Выжидалъ милыхъ козъ изъ-за сада,  
Вопрошалъ у любимаго стада:

— «Козы дорогія,  
Козы непростыя!  
Вли-ль вы и пили,  
Какъ весь день ходили?»

Тутъ выходить коза-лиходѣйка,  
Говорить громкимъ голосомъ дѣду:

— «Нѣтъ, не ѣли мы, дѣдъ, и не пили,  
Какъ весь день въ чистомъ полѣ ходили  
Какъ бѣжали мы черезъ лѣсочекъ,  
Ухватили кленовый листочекъ;  
Какъ бѣжали потомъ надъ рѣкою,  
Поживилися каплей одною;  
Только ѣли мы, только и пили,  
Какъ весь день въ чистомъ полѣ ходили!»

Осерчалъ старый дѣдъ, расходился,  
Сталъ бранить и корить свою дочку:  
— «Не пасла, не кормила ты стада,  
Наказать тебя, вижу я, надо!»  
И сажалъ онъ ее въ темный погребъ,  
Козъ пасти высылать въ поле сына.  
Выходила коза-лиходѣйка,  
Дѣду плакалась громко на сына,  
А потомъ обнесла и старуху...  
Дѣдъ корилъ ихъ, бранилъ, дивовался,  
Да за умъ напослѣдокъ и взялся.  
Сапоги надѣвалъ постарѣе,  
Самъ пасти своихъ козъ вышелъ въ поле;  
Накормилъ ихъ травой шелковою,  
Напоилъ ихъ водой ключевою;  
А подъ вечеръ, другою дорогою  
Обогнавъ ихъ, въ тесовыхъ воротахъ  
Выжидалъ милыхъ козъ изъ-за сада,  
Вопрошалъ у любимого стада:

— «Козы дорогія!  
Козы непростыя!  
Ѣли-ль вы и пили,  
Какъ весь день ходили?»

Выходила коза-лиходѣйка,  
Громко плакалась старому дѣду:

— «Нѣтъ, не ѣли мы, дѣдъ, и не пили,  
Какъ весь день въ чистомъ полѣ ходили!

Какъ бѣжали мы черезъ лѣсочекъ,  
Ухватили кленовый листочекъ;  
Какъ бѣжали потомъ надъ рѣкою,  
Поживилися кашей одною;  
Только ѣли мы, только и пили,  
Какъ весь день въ чистомъ полѣ ходили!»

Тутъ не вытерпѣвъ дѣдъ, на расправу  
За рога потащилъ лиходѣйку:  
«Лиходѣйка-коза, лиходѣйка,  
Расплатиться теперь ты сумѣй-ка!»  
И срамилъ онъ ее передъ стадомъ,  
Сыкъ ее за лихія лукавства,  
Снялъ съ боковъ напослѣдокъ ей кожу  
И пустилъ ее такъ въ чисто поле...

Но и тутъ та коза не смирилась;  
Прибѣжала въ лисичкину хатку,  
Стала прыгать по окнамъ, по лавкамъ,  
На чужое хозяйство насѣлась.  
Къ ночи въ хатку вернулась лисичка,  
Слышитъ—возится что-то такое...  
Постучалась лисичка-сестричка:  
— «Кто такой, кто въ лисичкиной хаткѣ?»  
Завозилась коза за дверями,  
Страшнымъ голосомъ ей отвѣчаетъ:

— «Я коза сѣчена,  
Съ боковъ перемѣчена;  
Топъ-топъ ногами,  
Заколю рогами,  
Ножками загребу,  
Хвостикомъ замету!»

Безъ оглядки лиса убѣжала;  
А навстрѣчу ей сѣренькій зайчикъ.  
— «Помоги ты мнѣ, сѣренькій зайчикъ,  
Вѣкъ тебя я за то не забуду:



У меня что-то страшное въ хаткѣ! —  
Прибѣжали они; тихо зайчиѣ.  
Лапкой — стукъ въ затворѣнныя двери:  
— «Кто такой, кто въ лисичкиной хаткѣ?»  
Завозилась коза за дверями,  
Напугала и сѣраго зайку:  
«Охъ, боюсь я, лисичка-сестричка;  
Лучше мы побѣжимъ за другими!»

Забѣгали они во всѣ норы,  
Приводили съ собой на подмогу  
И грача трубача, и лягушку —  
Скакуна, и ежа пѣхотинца,  
Всѣхъ великихъ звѣрей и звѣрюшекъ...  
Но никто самъ собой не рѣшался  
Посмотрѣть, кто забрался къ лисицѣ;  
И рѣшился лѣнтяй и трусишка,  
Какъ ползунъ и хромою лежебока...  
Онъ тихонько, бочкомъ, перебрался  
За порогъ; увидаль, что за диво  
Расходилось въ лисичкиной хаткѣ,  
И пошелъ расправляться клещами...  
Безъ оглядки коза припустилась;  
На нее нападали всѣ звѣри —  
И гуртомъ за лихія лукавства  
Разрывали ее по кусочкамъ.

---

### VIII.

#### Младенцы-утопленники.

Жилъ себѣ человѣкъ небогатый,  
Съ молодою женою и съ сыномъ.

Разъ ходилъ онъ по нивѣ за плугомъ,  
Видитъ: возлѣ, за нимъ, по полянѣ,  
Ходитъ старецъ, съ сѣдой бородою.

Вотъ и сталъ человѣкъ небогатый  
Говорить за работою старцу:  
— «Ты скажи мнѣ, скажи, человѣче,

Для чего за волами ты ходишь,  
И какая тебѣ въ томъ охота?»  
Отвѣчалъ ему старецъ прохожій:  
— «Для того я хожу за волами,  
Что хочу у тебя допытаться:  
Ты скажи мнѣ, по правдѣ, по чистой,  
Легче-ль юношѣ тяжкое горе,  
Или дряхлому, старому старцу?»  
Отвѣчалъ человѣкъ небогатый:—  
«Легче юношѣ тяжкое горе».  
Но, едва онъ слова тѣ промолвилъ,  
Надъ поляною старца не стало;  
Обломались колеса у плуга,  
И волы на траву повалились...

Воротился домой горемыка,  
Ни двора, ни хозяйки, ни сына—  
Все огнемъ у него погорѣло!  
Поглядѣлъ на свое пепелище,  
Покачалъ головой горемыка  
И пошелъ наниматься по людямъ.

Не сгорѣлъ его сынъ, не погибнулъ;  
Приключилось съ нимъ дивное диво...  
Онъ сидѣлъ въ тростникѣхъ надъ водою  
И поймалъ окунька да плотичку.  
Только чуть потянулъ онъ плотичку,  
Краснопёрая рыбка плеснулась  
И на дно за собой утащила  
Вмѣстѣ съ удочкой въ волны малютку...

Сталъ играть день и ночь у плотички,  
Въ водныхъ плёсахъ, утопшій малютка;  
Съ дѣтворой шаловливой плотички  
Сталъ изъ раковинъ домики строить,  
Изъ травы городить огороды.  
И такія жъ, какъ самъ онъ, пичужки,  
По рѣкамъ утонувшія крошки,  
Отовсюду къ нему собралися;  
Сталъ надъ ними онъ въ играхъ владыкой  
И забытъ въ водномъ омутѣ землю,

И отца, и родимую хатку...  
Такъ промчались многіе годы!  
А отецъ его съ лютатаго горя  
Одряхлаѣлъ, посѣдѣлъ, бросилъ домъ свой  
И съ сумою пошелъ вдоль по міру...  
Много лѣтъ онъ ходилъ неутишенный  
И присѣлъ отдохнуть надъ рѣкою.  
Той порой, съ своимъ войскомъ подводнымъ,  
Въ вольныхъ плесахъ рѣзвился малютка;  
Изъ воды поглядѣлъ на побережье  
И отъ жалости чуть не заплакалъ...  
Видитъ возлѣ, у самаго плеса,  
Пригорюнился старецъ прохожій  
И, какъ малое дитяtko, плачетъ.

Опустился на дно соглядатай—  
Сталъ скликать свое вѣрное войско  
И повѣдалъ, что видѣлъ на свѣтѣ...  
Расшумѣлося рѣзвое войско:  
Это, вѣрно, завистницы-рыбы  
Разобидѣли бѣднаго старца!  
Бросимъ ихъ мы зато всѣмъ народомъ,  
«А его, чѣмъ сумѣемъ, утѣшимъ!»

Поглядѣли малютки, какъ старецъ  
Надъ рѣкой задремалъ,—икотиконьку  
Наносили къ ногамъ его всякихъ  
Спѣлыхъ ягодъ, душистаго меду,  
А въ суму драгоценныхъ жемчужинъ.  
Той порой надъ полями, холмами,  
Паутинное лѣто стояло,—  
По холмамъ, по доламъ паутины  
Надъ землею до небесъ протянулись.  
Колыхаясь, по вѣтру летѣли...  
И по тѣмъ золотымъ паутинкамъ,  
Какъ по нитямъ развѣшенныхъ лѣстницъ,  
Поднялось, усложнилось, войско  
Утонувшихъ на свѣтѣ младенцевъ,—  
Въ небо синее всѣ улетѣли.

IX.

Смоляной бычокъ

Жилъ да былъ старикъ съ старухой.  
Вотъ старуха и давай просить:  
— «Ты слѣви мнѣ, дѣдъ, слѣви бычка  
Изъ смолы, изъ вару чернаго!»  
Какъ слѣпилъ старухѣ дѣдъ бычка,  
Гнала въ степь она пасти его;  
Подъ ракитою садилася,  
Да и стала приговаривать:

«Ты пасись бычокъ, по выгону,  
Пряжу я тѣмъ часомъ выпраду;  
Ты пасись, пасись по травушкѣ.  
По муравушкѣ-дубравушкѣ!»

Поплелась старуха къ выгону.  
Изъ-за темныхъ горъ медвѣдь бѣжить,  
Раскричался, разалукался:

— «Кто тутъ ходитъ, кто такой,  
Отвѣчай передо мной!»  
Смоляной бычокъ въ отвѣтъ ему:  
«Такъ и такъ, бычокъ я маленький,  
Изъ простого вару слаженный!»  
Говоритъ медвѣдь, подумавши:  
— «Коль бычокъ ты не простой,  
Коль и вправду смоляной,  
Дай смолы ты мнѣ помокъ,  
Позамазать рваный бокъ!»

Смоляной бычокъ на эту рѣчь  
Не перечить, соглашается.  
Принился медвѣдь смолу сдирать  
И завязилъ зубы вострыми...

Смотритъ баба, передъ вечеромъ,  
Къ воротамъ бычокъ бѣгомъ бѣжить,  
Волочетъ медвѣдя бураго.

Увидалъ старикъ, разахался;  
Заперевъ въ погребъ босолапаго,  
А зарей старуха, до свѣту,  
Гнала въ поле вновь бычка пасти.

Выбѣгаетъ волкъ изъ темныхъ лозъ,  
Сталь кричать, съ бычка смолу сдирать,  
И завязилъ зубы вострые...

Приволокъ бычокъ и сѣраго,  
Черезъ день стащилъ къ околицѣ  
Онъ лисицу Патрикѣевну,  
Побродягу и курятницу,  
А за ней и зайку бѣлаго,  
Скомороха и капустника.

Вотъ, когда ихъ понабралось,  
Дѣдъ садился передъ погребомъ,  
Начиналъ точить на камнѣ ножъ.  
Той порой медвѣдь разспрашивалъ:  
— «Для чего, чего ты, старый дѣдъ,  
У порога точишь вострый ножъ?»  
— «Для того, что шубу зимнюю  
Шить мы съ старою задумали!»  
— «Ты меня не трогай, дѣдушка!—  
Говорить медвѣдь изъ погреба:—  
Прикачу тебѣ за это я  
Бочку меду, меду чистаго!»  
Дѣдъ пускалъ на волю Мишеньку,  
Вновь точилъ на камнѣ вострый ножъ.  
Сѣрый волкъ изъ ямы спрашивалъ:  
— «Для чего, чего ты, старый дѣдъ,  
У порога точишь вострый ножъ?»  
— «Для того, что шапку на зиму  
Шить съ старухой мы задумали!»  
— «Ты меня не трогай, дѣдушка!—  
Говорилъ ему изъ ямы волкъ:—  
Отплачу тебѣ за это я,  
Пригоню табунъ коней степныхъ!»  
Дѣдъ пускалъ и волка сѣраго,  
Вновь садился ножъ точить-вострить

На лису онъ Патрикѣвну  
И на зайку косолапаго.  
Дѣду нужны были о-зиму  
Рукавицы на морозный день,  
На метель, на снѣгъ наушники.  
Слезно дѣду оба плакались,—  
Притащить лисица старому  
Всякой птицы вызывалася,  
А старухѣ бѣлый зайчика—  
Лентъ, мониста самоцвѣтнаго.

Выпускалъ на волю всѣхъ старикъ,  
Самъ садился на заваленку,  
Говорилъ съ своей старухой.

Не успѣла зорька ясная  
Закатиться за околицу,  
Стало слышно, долъ шумить, гудить,  
По горѣ медвѣдь къ околицѣ  
Катить бочку меду чистаго;  
Гонить волкъ табунъ коней степныхъ.  
Не успѣлъ туманъ покрыть луга,  
Замолчать, заснѣуть околица,  
Стали слышны крики всякіе:  
Ко двору лисица хлыстикомъ  
Гонить куръ, гусей и лебедей;  
А ужъ зайка, зайка бѣленькій,  
Просто диво сдѣлалъ дивное..

Прибѣжалъ въ село онъ дальнее  
(Посидѣлки тамъ собирались),—  
Подъ порогомъ легъ и ну кричать:  
— «Охъ, спасите, дѣвки, зайнику;  
Обогрѣйте меня, красныя!»  
Взяли дѣвки въ хату зайнику,  
Обогрѣли его, куцаго.  
А когда его на радостяхъ  
Нарядили дѣвки красныя  
Въ ожерелья, въ ленты алыя  
И въ монисто самоцвѣтное,—  
Началъ бѣгать бѣлый зайника,

Да къ окошку ближе, ближе все,  
Поглядѣль, прыгнуть и былъ таковъ...  
Ужъ и гнался жъ онъ проселками,  
Ужъ и гнался жъ онъ окольными!

Прибѣжалъ къ избѣ, запыхавшися,  
И давай стучать, въ окно кричать:  
— «Отворяй ты двери, бабушка!  
Принимай ты гостя дальняго;  
Гостя дальняго, знакомаго,  
Не съ пустой мошной, съ подарками;  
Полно охать да печалиться,  
Часъ пришелъ и покуражиться!»

Х.

Б Ѣ с ы.

Разъ въ судѣ было дѣло такое:  
Сталъ богатъ за избенку тигаться  
Съ сиротою, убогой вдовою.  
За него и почеть, и попойки,  
И дукаты усердно хлопчатъ;  
За нее только слезы да горе.  
Долго дѣло по судамъ тянулось;  
Разорилась совсѣмъ горемыка.

Богачу не въ избенкѣ находка,  
Да себя показать захотѣлось.  
Вотъ, зовутъ ихъ на судъ напослѣдкомъ!  
Передъ ними читають рѣшенье:  
Богачу все отдать присуждаютъ...  
Залилась сирота тутъ слезами:  
— «То была я бѣдна и убога,  
А теперь еще стала бѣднѣе!»  
Поклонилась она низко судьямъ  
И пошла со двора безъ оглядки.  
А богачъ ей кричить изъ окошка:  
— «Такъ и надо вамъ всѣмъ, попрошайки,  
Чтобъ не очень носы задирали!»  
Тутъ откуда передъ ними ни возмись

Человѣчекъ, какъ уголь, весь черный,  
Курыи ножки и хвостъ закорючкой;  
Говорить богачу съ укоризной:  
— «Эхъ, ты свать, какъ тебѣ не зазорно!  
Оттягаль ты у нищей избенку,  
Да еще и глумишься надъ нею!»  
Раскричался богачъ, расходился:  
— «Какъ ты смѣешь соваться съ уборомъ?  
Да мое, слышь ты, правое дѣло  
Такъ рѣшили законно и честно,  
Что и чорту бѣ во снѣ не приснилось!»  
Отозвался ему человѣчекъ:  
— «Какъ тамъ дѣло твое ни рѣшили,  
Только чорта напрасно ты вспомнилъ!»  
Съ этимъ словомъ онъ ножкою шаркнулъ  
И пропалъ, какъ сквозь полъ провалился.  
По дворамъ разошлись всѣ судьи,  
Скоро смерклося, и всѣ улеглись.

А въ глухую-то самую полночь—  
Растворились всѣ окна и двери,  
Стали всѣ выбѣгать за ворота..  
Въ темнотѣ, межъ дворовъ, тихимъ шагомъ,  
Отъ конца до конца черезъ городъ,  
Показался невиданный поѣздъ:  
Поднимая десятки черныилицъ  
И неся очиненныя перья,  
Вдоль по улицѣ двигались черти..  
И такія все рыла да хари:  
На одномъ былъ мундиръ полицейскій,  
На другомъ канцелярскій фрачишка;  
По бокамъ пауки, черепахи,  
На метлахъ съ протоколами крысы;  
А сѣдые, столѣтніе бѣсы  
Съ сургучомъ и съ большою печатью.  
Вѣхалъ поѣздъ на главную площадь.  
Распахнулись въ судѣ настежь двери,  
Стали бѣсы всходить по ступенькамъ;  
Они сѣли рядкомъ, заспѣтали  
Вкругъ стола погребальныя свѣчки  
И всю ночь напролетъ судъ судили;



А на-утро, передъ тою порою,  
Какъ кричать пѣтухамъ приходилось,  
Всей ордой на гербовой бумагѣ  
Черти свой приговоръ прописали,  
Приложили бѣсовскія лапы  
И опять черезъ городъ, попарно,  
Потянулись тѣмъ же порядкомъ...

Стали судьи къ крыльцу собираться;  
На судейскомъ столѣ, посредникѣ,  
На гербовой бумагѣ такое  
Изреченье передъ ними лежало:  
— «Душегубы и воры вы, судьи!  
Покривили душой вы не мало;  
Воротите вдовѣ все, что взяли,  
За убытки жъ ея и обиду,  
Всякъ имѣннемъ своимъ поплатитесь...  
А не то—будетъ вамъ на орѣхи!»  
Межъ собой переглянулись судьи:  
— «Нѣтъ! не дурни на свѣтъ мы родились,  
«Чтобъ послушать лукаваго бѣса!»  
Со стола подъ сукно тихомолкомъ  
Они сунули тутъ же рѣшенье  
И судить по мѣстамъ вновь усѣлись.  
Только глядь, а стряпня-то нечистыхъ  
На сукно вновь предъ ними ложится...

И ужъ какъ они тутъ не вертѣлись,  
А послушались воли бѣсовской.

---

## ХІ.

### Ивашко.

Жиль-быль себѣ когда-то дѣдъ да баба;  
У нихъ былъ сынъ, по имени Ивашко.  
Подросъ онъ, справили ему челнокъ,  
И сталъ онъ ѣздить съ удочкой по рыбу.  
Отъѣдетъ озеромъ, молчить и ждать,  
Покамѣстъ рыба поплавокъ не глюнетъ.  
А въ темной глубинѣ подъ нимъ, вверхъ дномъ,

Другой челнокъ, качаяся, плыветъ,—  
На челнокѣ сидитъ другой Ивашко,  
И вокругъ него такая тишь, да глушь...  
Придетъ въ обѣдъ къ нему старуха-мать  
И такъ поетъ, зоветъ его на берегъ:

«Ивашко мой, Ивашечко,  
Приплынь, приплынь ты къ берегу;  
Я съ слободки пришла,  
Тебѣ ѣсть принесла!»

Услышитъ голосъ матери Ивашко  
И такъ на зовъ ей тихо отвѣчаетъ:

«Плыви, плыви ты, челнокъ,  
Выплывай на бережокъ;  
Ко мнѣ мать пришла,  
Мнѣ ѣсть принесла!»

Заслышала тѣ пѣсни злая вѣдьма  
И рѣчью матери изъ-за кустовъ  
Ну подзывать на берегъ рыболова.  
Ивашко ни гу-гу, узналъ уловку  
И про себя вполголоса поетъ:

«Дальше, дальше ты, челнокъ,  
Не плыви на бережокъ...»

Взбѣсилась вѣдьма, въ кузницу бѣжить:  
«Кузнецъ, кузнецъ, скорѣ скуй мнѣ голосъ  
Такой, какой у матери Ивашки!..»  
Раздуть кузнецъ огонь, досталъ клещи,  
Нагрѣлъ ихъ, ухватилъ за горло вѣдьму  
И сталъ ковать, причитывая такъ:

«Куйся, куйся, голосъ злой!  
Стань добрый,  
Пой вѣжливый...»

Вернулась вѣдьма въ лѣсъ, заплѣла нѣжно,  
Въ прибрежный илъ Ивашку заманила,

Въ мѣшкѣ снесла его въ себя домой  
И такъ Алёнкѣ дочкѣ приказала:  
— «Неси дрова, топи скорѣ печь,  
Да жарче протопи мнѣ, баловница!  
Умой, напой и накорми Ивашку,  
И на обѣдъ его зажарь въ печи,—  
А я пойду, провѣтрюся маленько».

Нагрѣла печь Алёнка, накормила  
Ивашку и наставила лопату:  
— «Ну, сердце, полѣзай да погляди,  
Я хорошо ли вытопила печку?»  
Прикинулся Ивашко, что не понялъ,  
И голову слегка просунулъ въ печь.  
«Не такъ!»—Съ лопаты онъ продвинулъ руку.  
«Не такъ!»—Онъ ногу въ печку протянулъ.  
«Не такъ, не такъ!»—«Такъ какъ же? я не знаю!  
Ты покажи сама мнѣ напередъ».

Бочкомъ Алёнка сѣла на лопату;  
Ивашко толкъ ее, приперъ заслонкой,  
Да за порогъ и на осину взлѣзъ.  
Приходить вѣдьма, дочь Алёнку съѣла  
И начала внизъ по горѣ кататься:

«Покачусь, повалюсь,  
Закусивъ мясцомъ Ивашки!»

А съ дерева Ивашко ей въ отвѣтъ:

«Покатись, повались,  
Закусивъ мясцомъ Алёнки!»

«Что бъ это было?»—мыслить людоедка  
И говорить, покатываясь вновь:

«Покачусь, повалюсь,  
Закусивъ мясцомъ Ивашки!»

Ивашко ей съ осины отвѣчаетъ:

«Покатись, повались,  
Закусивъ мясцомъ Алёнки!»

Завыла вѣдьма, кинулась къ осинѣ  
И ну еѣ въ безсиьной злобѣ грызть.  
Грызеть она, Ивашко жъ видить—гуси  
Летять, и ихъ съ вершины сталъ просить:

«Гуси-гуси, лебедята,  
Дайте мнѣ свои крылята!  
Унесите вы скорѣй  
Сына къ матери моей!  
Тамъ мы будемъ въ волѣ жить,  
Сытно ѣсть, медъ, пиво пить!»

Но гуси надъ Ивашкой пролетаютъ  
И такъ ему изъ облаковъ въ отвѣтъ:  
«Пускай тебя возьмутъ иные гуси!»  
Тѣмъ часомъ вѣдьма зубъ переломила  
И къ кузнецу опять въ село бѣжить:  
— «Кузнецъ, кузнецъ, скорѣе скуй мнѣ зубъ,  
Да поплотнѣй, изъ чистаго желѣза!»  
Бѣжить назадъ опять къ осинѣ вѣдьма,  
А гуси надъ Ивашкой пролетаютъ  
И съ облаковъ опять ему въ отвѣтъ:  
«Пускай тебя возьмутъ иные гуси!»  
Качнулся стволъ, Ивашко сталъ ужъ падать...

Но тутъ послѣднй гусъ изъ всей ватаги,  
Общипанный, голодный, безъ хвоста,  
Его услышалъ, подхватилъ съ осины  
И поднялся съ нимъ вплоть до самыхъ тучъ.  
Отъ злости вѣдьма обернулась въ вихоръ,  
За бѣглецомъ вдогонку понеслась;  
Но дунулъ вѣтеръ и развѣялъ вихоръ.

А той порой Ивашко опустился  
На крышу хатки; слышнить—подъ окномъ  
Вечеряють отецъ и мать-старуха  
И дѣлятъ межъ собою пироги:  
— «Вотъ пирожокъ тебѣ, а этотъ мнѣ!»

— «А мнѣ?»—Ивашко спрашиваетъ сверху.

«Что бѣ это было?»—крестится старуха

И вновь со старымъ дѣлать пироги:

— «Вотъ пирожокъ тебѣ, а этотъ мнѣ!»

— «А мнѣ?»—опять перебиваетъ кто-то.

Тутъ отъ окна вскочили дѣдъ и баба,  
Ивашку съ гусемъ на землю спустили,  
И не было ихъ радости конца.

## XII.

### Каратышка.

Въ нѣкоторомъ царствѣ небываломъ,  
Въ нашемъ уѣздѣ немаломъ,  
Жилъ мужикъ, небогатый человекъ,  
Плотничаль и кручинился весь свой вѣкъ.  
Вотъ и родила ему хозяйка сынишку,  
Да такого-то Каратышку-невеличку,  
Что усылся бы онъ верхомъ на муху,  
Когда бѣ на мухѣ верхомъ кто ѣздить;  
И пролѣзъ бы въ игольное ухо,  
Когда-бъ притомъ не носище,  
Величиною чуть не съ топорщице.  
Пожалъ плечами горемыка,  
Говорить хозяйкѣ:—«Вотъ, поди-ка;  
Родила ты мнѣ на смѣхъ ребенка,  
Не то воробья, не то котенка!»  
Невеличка выглянуть съ печи  
И къ отцу на такія рѣчи:  
— «Это еще не бѣда, что я невеличка;  
Когда-бъ не ность, ко всему бываешь привычка.  
Ты подай-ка мнѣ все, что пожелаю,  
Такъ я тебѣ и за десятерыхъ наверстаю!»  
Сталъ мужикъ за ухомъ чесаться,  
Сталъ, глядя на сына, слегка утѣшаться.

А сынишка и впрямь догадался,  
За умъ, не теряючи времени, взялся:  
— «Собирайся ты, батъко, съ дѣлами;

Поѣдемъ мы въ лѣсъ за дровами!»

— «Да какъ же намъ ѣхать, когда нѣтъ у насъ вовсе  
Ни коня, ни хомута, ни воза!»

— «Ничего,—говорить весело Каратышка:

На такое дѣло станетъ умишка!»

Откопалъ бапмакъ, изловчился

Запрягся въ него и пустился.

Вотъ ѣдетъ навстрѣчу, въ рыдванѣ,

Панъ судья, а съ нимъ вельможная пани.

«Пади!»—кричитъ Каратышка съ мосточка.

Конюхъ смотреть: не то человѣкъ, не то кочка.

Спрашиваетъ судья:—«Эй ты, плотникъ,

Что это у тебя за работникъ?»

Отвѣчаетъ мужикъ безъ утайки:

— «Дождался я сына отъ хозяйки;

Ростомъ онъ совсѣмъ съ рукавицу,

А, поди, раскуси эту птицу!

Хоть и малъ, а въ дѣлѣ не сплоснаетъ

И за десятирыхъ наверстае!»

Расходилась въ рыдванѣ судыха...

— «Это не тебѣ чета!»—говорить мужъ тихо:

Покупай мнѣ сейчасъ Каратышку;

Если спросятъ, давай и лишку,

А безъ него я жить не стану,

Засохну и завяну!»

Дѣлать нечего, судья вздыхаетъ,

Кошелекъ вынимаетъ, въ торги вступаетъ

И беретъ Каратышку въ бумажку,

За анисовой водки фляжку,

За пригоршню цѣлковыхъ,

Да за три кафтана новыхъ.

Побѣхалъ Каратышка въ рыдванѣ;

Судыха держать его въ карманѣ.

Дорогой онъ толкался и возился,

У господъ провѣтриться просился.

Господа бумажку раскрывали,

Его побѣгать, опростаться пускали;

И онъ бѣгалъ, скакалъ, крутилъ носомъ,

Прибивалъ пыль по колесамъ...

А отецъ домой воротился,

Сочиненія Г. П. Данилевскаго. Т. VIII.

Строить новую хату заходился;  
Накупил подотна, хѣба въ волю.  
И сталъ благодарить долю:  
«Ай да сынишка! кабы онъ догадался;  
Да почаще бы судыхамъ попадался!»

Вотъ, не прошло недѣли,  
Двери новыя въ хатѣ заскрипѣли.  
Прибѣжалъ домой Каратышка,  
Еле ноги волочить, напала одышка;  
Тоненькій, дрябленькій, еще жиже:  
Узналъ жизнь-то поближе!  
Только ничего, переждалъ, отворился,  
Опять думать о дѣлѣ заходился:  
— «Этотъ кто еще, батько, за доля,  
Что у тебя хата, а нѣтъ своего поля?  
Нельзя ли намъ приловчиться,  
Чтобъ и вовсе на волю откупиться?»  
Отецъ сказалъ: «ладно!»  
И дѣло пошло у нихъ складно.

Говорить Каратышка: «Нашу поляну  
Пахать я однимъ возомъ стану»;  
— «Да какъ же однимъ? вотъ заврался!»  
Каратышка, однако, подобрался;  
Поюдитъ, пофититъ, и прыгъ волю въ уха,  
Начинаетъ тамъ ѳрзать и орать, что есть духу;  
Волъ струхнулъ, замоталъ головою;  
И пошелъ плугомъ рыть, какъ иглою;  
Не успѣлъ отецъ надивиться,  
А ужъ дѣло къ концу и валится.

Смотрить, тѣмъ часомъ ѳдетъ карета,  
Въ ней помѣщикъ и дочка куколкой разодѣта;  
Такая барышня красотка,  
Хоть какому жениху находка.  
Увидѣвъ помѣщика, дивуется диву:  
«Какъ одинъ волъ панетъ цѣлую ниву?»  
А Закричалъ мужику: «Эй ты, пахарь!  
Колдунъ ты какой, или знахарь?  
И какъ это волъ у тебя носѣваетъ,

Что съ плутомъ тажъ по полю инырлетъ?»  
Мужикъ говоритъ: «Это мой сынишка;  
Ростомъ онъ Каратышкѣ  
И почти съ рукавицу;  
А, поди, раскуси эту птицу!»  
Вышелъ помѣщикъ изъ кареты,  
Крикнулъ Каратышкѣ: «Гдѣ ты?»  
Парень на землю ферткомъ вышелъ,  
Подбоченился, козыремъ ходить, будто не слышалъ;  
Взялъ у отца трубку, курить,  
На помѣщицью дочку глаза шурить...  
Стала тутъ барышня влюбляться,  
Стала съ отцомъ въ каретѣ шептаться:  
— «Ахъ, папенька, какое жъ это диво;  
Что такой невеличка и одинъ пахнетъ ниву!  
Ты купи мнѣ, купи Каратышку,  
Если спросать, давай и лишку;  
А безъ него я жить не стану,  
Засохну и завяну!»

Дѣлать нечего: помѣщикъ вздыхаетъ,  
Кошелекъ вынимаетъ, въ торгъ вступаетъ  
И беретъ Каратышку съ собою,  
За шкатулку, съ дорогою казною,  
За непростую, росписную;  
Въ той шкатулкѣ лежали барышнинны гребни,  
Духи, колечки, наперстки и серьги  
И всякія зелья и примочки,  
Чѣмъ барышни румянять себѣ щечки,  
И отчего женихи ихъ любятъ;  
И чѣмъ онъ родъ мужской губать...  
Завернули господа Каратышку въ бумажку  
И примчали домой въ одну упряжку.  
Барышня его въ карманкѣ держала,  
Всю дорогу на воздухъ не пускала;  
Какъ онъ ни толкался, ни возился,  
Какъ у господъ провѣтриться не просился...  
А мужикъ воротился съ казною,  
Припѣваячи, зашилъ на покое  
И забылъ совсѣмъ про сынишку,  
Про лихого «пройди-свѣта» Каратышку.



Только разъ колокола загремѣли,  
По улицѣ новыя сани пролетѣли;  
Барченокъ подъѣзжаетъ въ хатѣ:  
Въ собольей шапкѣ, въ шелковомъ халатѣ,  
Въ зубахъ торчитъ трубка, бровями моргаетъ,  
Руки въ боки, самъ фертгомъ выступаетъ;  
Совсѣмъ-то красавчикъ, когда-бъ не носилъ,  
Величиной чуть не съ топориче.  
На крыльцо съ надворья важно онъ всходитъ,  
За бѣлую ручку жену свою вводитъ,  
Да такую толстوشечку, пыхтушечку,  
Изъ лица совсѣмъ игрушечку:  
Поступь лебединая, щеки—красны маки,  
И что вся не краля, это только враки!

Молодые прямо, какъ вошли съ дороги,  
Слова не сказали, родителямъ въ ноги,  
Съ ними шли рядочкомъ маху въ два сынитка,  
Точь-въ-точь, какъ отецъ ихъ—оба каратышка.  
Вслѣдъ за ними слуги несли изъ кареты  
Всякое добро и тряпье безъ смѣты,  
Строили господамъ новую палату,  
Не то, чтобъ курень или хату—  
На славу жилище,  
Чуть не съ гору, какой городище!

Вотъ вамъ и сказка,  
Мнѣ бубляковъ вязка,  
Говорилъ дѣдъ Лукашка,  
Латанная рубашка.

### XIII.

#### Лѣсная хатка.

Какъ жили, да были старикъ и старуха,  
У старой и стараго было по дочкѣ.  
Вотъ баба и стала приказывать дѣду:  
«Вези, старый хрѣнъ, со двора свою дочку,  
Вези куда знаешь, вези, да и только!»

Старикъ не перечесть, беретъ свою дочку,  
Везетъ ее лѣсомъ: въ лѣсу стоитъ хатка.

— «Сиди моя дочка, сиди, дождайся,  
Пока я въ овражекъ схожу за дровами!»  
Уходитъ старикъ, прицѣпилъ потихоньку  
У самой у хатки на вѣтку дощечку...  
Дощечка отъ вѣтра стучить по березѣ,  
Долбить словно дятель, о бѣлу кору.  
Ждетъ дѣдова дочка, сама размышляетъ:  
«То батюшка рубить въ оврагѣ полѣнья!»  
Румяная зорька по залѣсю гаснетъ,  
А дѣдъ не приходитъ съ дровами изъ лѣса!

Вотъ стало темнѣе, кругомъ затихаетъ,  
И вдругъ въ отдаленьи послышался трехотъ:  
Стучить и гремѣть, сунъ за сукомъ ломаетъ,  
Везъ ногъ «Голова Лошадиная» мчится...

Къ избѣ Голова подкатилась и молвить:  
— «Дѣвчонка! дѣвчонка! открой мнѣ ворота!»  
Послушалась дѣдова дочка, открыла.  
— «Дѣвчонка! дѣвчонка! съ порога на лавку  
Меня посади ты, меня накорми ты  
И спать на постелю меня уложи ты!»  
Послушалась дочка: ее посадила,  
Ее накормила, въ постель уложила  
И сказки ей на ночь еще говорила.  
— «Дѣвчонка! дѣвчонка! теперь полѣзай ты  
Мнѣ въ лѣвое ухо, а въ правое вылѣзъ:  
Тебя награжу за почетъ, за службу!»  
Тутъ дѣдова дочка, не молвя ни слова,  
Нагнулась, полѣзла ей въ лѣвое ухо,  
А правымъ наружу, какъ дверкою, вышла...  
И стала она красоты несказанной,  
Царевною сѣла въ рыдванъ золоченый,  
Серебряный конь ее вывезъ изъ лѣса;  
Къ отцу завезла на слободку подарки,  
И всѣ выбѣгали—глядѣли, какъ ѣдетъ  
Царевна въ свои государскія земли...

Подолгу ли, вѣтъ ли, за холодемъ зимнимъ,  
Опять затемнѣло по бѣлому свѣту;  
Опять стала баба приказывать дѣду:  
— «Вези ты теперь, старый хрѣнъ, мою дочку,  
Куда завозилъ и свою, да скорѣе!»  
Старикъ не перечить, беретъ ея дочку,  
А дочка была преехидное зелье;  
Она и руками, она и ногами,  
Да только осилилъ ее старичина.  
Поѣхалъ онъ лѣсомъ, въ лѣсу стоитъ хатка...  
И сталъ говорить онъ: «сиди, дожидайся.  
Пока я въ овражекъ схожу за дровами!»  
Ушелъ и опять прицѣпилъ потихоньку  
У самой у хатки на вѣту дощечку...  
Дощечка отъ вѣтра стучить по березѣ,  
Долбить, словно дятель, о бѣлу кору...  
Ждетъ бабина дочка, въ сердцѣхъ размышляетъ:  
«Когда бъ его волки скорѣ заѣли!  
Сидишь, какъ колода, а толку ни крошки!»

Опять затемнѣло по старому лѣсу;  
Опять въ отдаленіи слышался грохотъ:  
Стучить и гремитъ, сукъ за сукомъ ломается,  
Безъ ногъ «Голова Лошадиная» мчится...  
Къ избѣ Голова подкатилась и молвить:  
— «Дѣвчонка, дѣвчонка, открой мнѣ ворота!»  
— «Не знатная пани, сама ты отворишь!»  
— «Дѣвчонка, дѣвчонка, съ порога на лавку,  
Меня посади ты, меня накорми ты,  
И спать на постелю меня уложи ты!»  
— «Не знатная пани, сама ты и сядешь,  
Сама и наѣшься, сама же и ляжешь!»  
— «Дѣвчонка, дѣвчонка, теперь полѣзай ты  
Мнѣ въ лѣвое ухо, а въ правое вылѣзь:  
Тебя награжу за почетъ, за службу!»  
Тутъ бабина дочка смекнула, въ чемъ дѣло:  
Нагнулась, полѣзла ей въ лѣвое ухо,  
А правымъ наружу, какъ дверкою, вышла,  
И стала, да только не пышной царевной,  
А старой-престарой, беззубой каргой...

Домой дошла, стучится въ верота—  
Взглянулъ на нее старый дѣдъ, да и плюнулъ.

#### XIV.

### С м е р т ь.

Въ чистомъ полѣ косарь косилъ сѣно,  
Вдругъ за что-то коса зацѣпилась  
И въ рукахъ у него зазвенѣла.  
— «Эхъ, коса наскочила на камень!»  
Говоритъ онъ, и все себя коситъ.  
— «Да! держи ты карманъ, простофиля!»  
Говоритъ у него подъ ногами:  
Гдѣ ты видѣлъ такіе каменья?»

Смотритъ въ землю косарь: что за чудо?  
Передъ нимъ поднимается кочка,  
Будто крѣтъ ее роетъ, все больше,  
И становится лютою Смертью,  
Что въ церквахъ на страхъ людямъ малюютъ,  
Что на ней и тряпца, идохмотьевъ,  
И лица человѣчьяго нѣту;  
Замахнулся косарь на хрычовку,  
Извести ее думаетъ разомъ.  
— «Нѣтъ, стой, куманѣкъ; что за радость  
Извести меня, старую, даромъ?  
Ты меня отпусти, а за это  
Я тебя научу, да такому  
Что какъ выйдешь, да по міру глянешь,  
Загребать станешь деньги лопатой!»  
Уговоръ тутъ они заключили;  
Посудили слегка, порядили,  
И пошли всякъ своею дорогою.  
— «Ты ступай,—ему Смерть провѣщала:—  
По дорогѣ лѣчи всѣхъ недужныхъ;  
Съ этихъ поръ я тебѣ стану зрима.  
Только глянь, гдѣ въ свѣтлицѣ я стада:  
Если стада въ ногахъ у больного,  
Значитъ, кидеть недужнаго немочь;  
Если же въ головы я помѣстилась,

Отъ недуга ему не подняться!»  
Въ путь собрался косарь. Тѣмъ же часомъ,  
Сталъ лѣчить всѣхъ больныхъ и недужныхъ;  
И засыпали знахаря въ волю  
Самоцвѣтные камни и жемчугъ,  
Дорогія парчи и дукаты.

Только вотъ, какъ ужъ онъ пообжился  
И въ мѣшки какъ по горло зарылся,  
Призываютъ его о полночи  
Къ одному богачу на подворье.  
Глянулъ онъ и задумался крѣпко:  
Надъ больнымъ, у пуховой постели,  
Прямо въ головы. Смерть помѣстилась,  
Держить косу въ рукахъ наготовѣ.  
А богачъ его голдою молить:  
— «Помоги ты мнѣ, братъ, сдѣлай милость;  
Лѣчишь ты всѣхъ больныхъ и недужныхъ;  
Я въ долгу у тебя не останусь—  
Дамъ тебѣ по заслугамъ награду:  
Половиной добра и богатства  
За твои за труды поклонюсь».  
Началь тутъ про себя думать знахарь:  
«Что за бѣсъ, да и что за причина?  
Отчего не надуть мнѣ и Смерти?  
Вѣдь случается лѣчить же въ свѣтѣ  
И такихъ, что давно отпѣвають!»  
Принимается онъ за больнаго,  
Говорить: «ты не бойся, я справлюсь».  
Только къ утру больнаго, передъ свѣтомъ,  
Свою душеньку Богу и отдать...

Не успѣло пройти и недѣли,  
Непохожъ на себя сталъ и знахарь:  
Ходить, голову низко повѣсилъ,  
Все ему и противно, и тошно,  
И на свѣтъ не глядѣлъ бы, казалось.  
Повалился какъ спопъ онъ въ постель,  
Зажигаетъ кругомъ себя свѣчи,  
Куритъ ладаномъ, молится крѣпко,  
А въ оеожко швыряетъ дукаты,

Созываетъ убогихъ и нищихъ;  
Вкругъ себя самъ бьется и глануть:  
Смерть стоять у него въ изголовьи!

Кличетъ вѣрныхъ онъ слугъ на подмогу,  
Переставить велитъ свое ложе,  
Повернуть головами къ порогу...  
Переставятъ его потихоньку,  
Вкругъ себя по свѣтелямъ онъ гланеть —  
Смерть опять у него въ изголовьи,  
Держитъ косу въ рукахъ наготовѣ!  
Напоследокъ она провѣщала:  
— «Отложи ты свое пожеланье;  
Не бывать тебѣ больше поблажки!  
Какъ лѣчилъ бы ты честию, да правдой,  
То еще бы на свѣтѣ ты пожить!»  
Тутъ недужнаго кара лихая  
Подхватила и кинула д-земь...  
Такъ и отдалъ онъ душеньку Богу!

## XV.

### Сонъ въ Ивановскую ночь.

Три брата, и они же три Кондрата;  
Задумали поѣхать въ степь когда-то,  
Чтобы втроемъ, полночною прохладой,  
Засѣять дугъ арбузною бакшой.  
Поѣхали за дѣломъ казаки  
И захватили въ путь съ собой припасовъ:  
Одинъ Кондратъ взялъ трубку и кремень,  
Другой Кондратъ табачныхъ корешковъ;  
А третій задумалъ взять огниво;  
Да какъ-то замотался и забылъ...  
Вспахали братья къ ночи десятину  
И вздумали вздохнуть и покурить...

Туда-сюда, табакъ и трубка есть,  
А вырубить огня, хоть тресни, нечимъ.  
Вотъ младшему Кондрату два Кондрата  
Изъ старшихъ, помолчавъ, и говорить:

— «Вонъ подь горой, у рѣки, огородникъ,  
Поди, не раздобудешься ль огнива?»

Идетъ Кондрать и видитъ въ темнотѣ,  
У куреня сидитъ сѣдой старикъ.  
И молча курить гнившую трубку.  
«Дай, дѣдъ, огня!» — «Дамъ, а разскажешь сказку?»  
«Да не умѣю...» — «Присказку скажи!»  
«Не смѣю!» — «Ну, такъ я съ твоей спины,  
«Отъ головы до пятъ, скрою ремень».  
— «Нѣтъ, дѣдъ, пестой, ужь такъ и быть: я сказку  
Надумалъ. Только слушай, — если ты  
Меня собьешь на словѣ, или скажешь:  
Сбрехалъ, неправда! — я съ твоей спины  
Ужъ не одинъ, а два ремня скрою».  
— «Изволь». — «На ярмарку, за бочкой дѣгтю  
Отецъ мой на твоемъ отцѣ веркомъ...»  
— «Какъ, на моемъ отцѣ? да врешь...» — «А слово?  
Давай-ка спину!... стой, не убѣжишь».  
Но дѣдъ вскочить, заткнулъ за поясъ полы  
И ну бѣжать... Кондрать вслѣдъ за нимъ,  
Кричитъ, ножомъ ему грозить и машетъ,  
Да вдругъ впотымахъ о что-то поскользнулся,  
Упалъ и ножъ куда-то уронилъ;  
Глядитъ — а ножъ его воткнулся въ дыню  
И, какъ въ водѣ, въ ней съ ручкой утонулъ.

Кондрать въ досадѣ, жалъ ему ножа;  
Разулъ и полѣзъ въ отверстие дыни —  
Глядитъ, а тамъ ужъ бродить человекъ.  
«А! кумъ Кондрать!» — «Здорово, кумъ Данило!  
Куда тебя нелегкая несетъ?»  
— «Ищу воловъ, а ты?» — «Ищу ножа».  
— «Напрасно, братъ, смотри, какая темень!  
Ни зги не видно... Подождемъ зари!»  
— «Готовъ, но скука; равнѣ скажешь сказку»  
«Изволь, но чуръ — дослушать до конца...»  
«Жила была красавица казачка,  
Высокая, степенная, лихая,  
И многіе съ ней сватались въ селѣ,  
Но больше всехъ ей два припались по праву;

А именно—сапожникъ и кузнецъ.  
Кузнецъ еще и таеъ и саетъ, сапожникъ  
Такъ тотъ и свадьбу скоро заварить.  
— «Постой же, — думаетъ кузнецъ въ досадѣ:—  
Я проучу тебя, ременный шовъ!»  
Идетъ онъ разъ съ казачкой по селу  
И видитъ, пара новыхъ сапоговъ  
Торчитъ въ окно сапожниковой хаты.  
— «Вотъ диве!» — говоритъ кузнецъ. — «А что?»  
— «Да то, что твой женихъ мертвеца пьетъ,  
Чуть выпить, и протянется въ окна ноги,  
Да такъ весь день-денской лежить и спать».  
Задумалась о женихъ казачка,  
Но думала недолго: пьяный мужъ,  
Зато какіе шьетъ онъ башмаки!  
Соплосъ на свадьбу цѣлое село.  
Кузнецъ туда жъ, но прежде потихоньку  
На угольяхъ подкову раскалилъ,  
Щипцами взять ее, подъ полу спрятать  
И таеъ пришелъ къ красавицѣ на свадьбу  
И рядомъ сѣлъ съ соперникомъ своимъ.  
— «Здоровы будьте, сыты и богаты»  
Сказалъ и опустилъ за голенище  
Сапожнику горячую подкову.  
Но не моргнулъ, не подаль вида тотъ...  
Закрывъ полонъ прожженное катѣно,  
Онъ стиснулъ зубы, крикнулъ, усмѣхнулся,  
Налилъ вина и нежелалъ злѣдѣю:  
Богатства, счастья, правды у людей,  
Жены красивой, правомъ неспѣсивой...  
И досидѣлъ всю свадьбу до конца.  
Жена любила мужа-молодца.

«Вотъ, мужъ Кондрать, и сказка». — «Хороша!»

— «Теперь тебѣ чередъ; заходишь мѣсяцъ,

И знаешь зоря — кричать ужъ пѣтухи».

«Шли, — началъ такъ Кондрать: — два казака,

Отецъ и сынъ, и видать по дорогѣ

Идетъ барышникъ съ даромъ воловъ.

— «А хочашь, батя, я воловъ украду?»

«Ну, гдѣ тебѣ, дуракъ! Съ твоимъ ли рыломъ?»



— «Съ моимъ ли? ну, смотри же, замѣчай».  
Скидаетъ сынъ съ одной ноги сапогъ  
И на пути барышника бросаетъ,  
А самъ въ оврагъ и спрятался въ травѣ,  
Дошелъ барышникъ, видитъ—на дорогѣ  
Лежить въ пыли новешенькій сапогъ.  
Подумалъ онъ: «вотъ притча! вѣрно съ пьяну!»  
И далѣе погналъ себѣ воловъ.  
Встаетъ опять казакъ, какъ-слѣдъ, обулся,  
Барышника полями обогналъ  
И на пути его другой сапогъ  
Оставилъ, самъ запрятался въ траву.  
Дошелъ барышникъ, видитъ—на дорогѣ  
Лежить другой новешенькій сапогъ...  
— «Эхъ!—думаетъ:—досада! и другой!..  
Вернуться надо...» Ну, и возвратился,  
Оставя на пути своихъ воловъ  
А казаку того и было нужно!  
Обулся онъ, пригналъ къ отцу воловъ;  
Глядять—у нихъ же ихъ весной украли...»

— «Вотъ и моя, товарищъ, небылица!  
Теперь рѣшай, кто лучше разскажалъ,  
Тому изъ дыни первому и выльзть...  
Ну, кумъ Данило, что же ты молчишь?  
Эге! да гдѣ же я?.. Вотъ, право, чудо:  
Ни кума, ни бакши, ни ночи,—утро...»  
Глядитъ Кондрать—а онъ въ своемъ саду,  
Подъ вишней, рядомъ съ нимъ его два брата.  
Пахать они не ѣздили къ рѣкѣ  
И напролетъ Ивановскую ночь,  
Спокойно развѣлясь себѣ, проспали.

## XVI.

### Доля

Жилъ себѣ въ свѣтѣ чумакъ, небогатый и вовсе безродный.  
Мучилась крѣпко въ родахъ у него, дни и ночи, хозяйка.  
Разъ, передъ вечеромъ было, она и давай просить мужа:  
«Видно, приходитъ мой часъ: не дожить мнѣ до благо утра;

Встань, побѣги ты въ лѣсокъ и нарви мнѣ хоть горсточку  
яблочекъ».

Всталъ и пошелся онъ въ лѣсъ изъ слободки, съ мѣшкомъ  
за плечами;

Ходить, а день все темнѣй, и въ лѣсу потерять онъ дорогу.  
Видить, ограда.— «То, вѣрно, лѣсничихи нашей избушка!»  
Тихо онъ стукнулъ въ ворота; ворота передъ нимъ раство-  
рились;

Встрѣтила старая баба, усталого на печь пустила.

Легъ онъ, не спитъ, все молчитъ, и въ глубокую самую полночь  
слышитъ, къ окну кто-то тихо впотѣмахъ подонелъ и  
ударилъ:

— «Бабушка, бабушка, слушай - ты! — голосъ въ окно  
отозвался:—

Сто двадцать-пять человѣкъ въ эту ночь вновь на свѣтъ  
народилось;

Будетъ ли ихъ житіе долговѣчно и мирно на свѣтъ?»

Молча старуха подумала и такъ отвѣтила: «будетъ!»

Голосъ затихъ подъ окномъ, и впотѣмахъ стало слышно,  
какъ вѣтеръ

Вдругъ по кустамъ побѣжалъ, зашумѣлъ по трубѣ и оградѣ.  
Вновь съвозъ просонокъ мужикъ слышитъ, кто-то въ потем-  
кахъ подходитъ.

— «Бабушка, бабушка, слушай! — опять тихій голосъ  
раздался:

Сто двадцать-пять человѣкъ вновь на свѣтъ въ этотъ часъ  
народилось;

Будетъ ли ихъ житіе, какъ и твоѣ, долговѣчно и мирно?»

Съ лавки старуха опять поднялась, отвѣчала съ досадой:

— «Охъ! надоѣлъ ты съ своимъ мнѣ постылымъ докладомъ  
сегодня!

Вновь рожденнымъ на свѣтъ не видать долголѣтя и  
счастья!»

Голосъ у хатки замолкъ, зашумѣло въ лѣсу, загудѣло.

Утромъ чумакъ воротился домой, поглядѣлъ, да и ахнулъ:

Въ хатѣ хозяйка лежитъ, а у печки, на лавкѣ, съ ней рядомъ,—

Двое дѣтей-близнецовъ, въ эту самую полночь рожденных!

Вспомнилъ про рѣчи ночныя чумакъ и задумался крѣпко.

Вотъ начинаютъ расти близнецы, не по днямъ, по минутамъ.  
Только отъ горя отецъ, что ни день, то печалится больше.

Все хорошо: молодцы, словно кровь съ молокомъ, волосъ  
оба лицомъ, красотой и умомъ, какъ одинъ, дружка въ дружку.

Только одна лишь беда: братъ юстарше, во всемъ, что бы  
ни дѣлалъ,

Былъ и востеръ, и гораздъ; и въ рукахъ его дѣло нигдыло;  
Братъ же меньшой ни успѣху въ работѣ, ни проку не видѣлъ.

Такъ проходили годъ; сыновьямъ, что ни день, онъ дивился.  
Кажется, что бы? Ни силой, ни смѣткою не были разны.

Вотъ и задумалъ отецъ попытать съ ними лютую долю.  
Взялъ и послалъ сыновей за дровами; а самъ потихоньку

Легъ у рѣки на мосту и, какъ разъ на срединѣ помоста,  
Кинулъ онъuchi, глядѣть и тайкомъ самъ съ собой размышляеть.

— «Бѣдный синиша ты мой! родился ты не въ пору и  
время»

Доля рожденнымъ тогда предречала несчастье и горе.  
Можетъ, ошиблась она; на онъuchi путемъ ты нѣтъменьшой.

Въ свѣтѣ же молвятъ: съ находки всегда разживаются люди.  
Ждетъ онъ и ждетъ у рѣки; сынъ меньшой показался нѣтъ.

Тихо идетъ, на мостокъ ужъ ступилъ и къ онъучамъ подходитъ.  
Да заглядѣлся, увидѣлъ, что братъ припоздаль на работѣ.

Сѣлъ съ топоромъ у моста, сталъ дремать и заснулъ, какъ  
убитый.

Старшій же братъ подошелъ, на дорогѣ находку увидѣлъ.  
Поднялъ и началъ толкать подъ бока задремавшего брата.

— «Соня ты, соня, вставай; погляди, что напелъ близъ  
тебя я:

Это къ добру; вѣдь съ находки всегда разживаются люди».  
Братъ поглядѣлъ, помолчалъ, и, толкуя; они чопались.

Чуть же они отошли, всталъ отецъ и со вздохомъ проговорилъ.  
— «Нѣтъ! вижу я, какъ ни бейся, а доли своей не минувашъ».

Съ нею родишься на свѣтѣ, съ нею и въ могилу ты ляжешь».

## XVII.

### Папоротникъ.

Похвасталъ разъ нашъ деревенскій писарь.  
Что не бывалъ онъ отъ рожденья трусомъ

И никогда не вѣрилъ въ домовыхъ;

И, въ подтвержденіе истины, пошелъ  
Подъ самаго Купала, ровно въ полночь,  
За палортикомъ, на болото, въ лѣсъ...  
Пришелъ храбрецъ, задремался въ кусты  
И ждетъ: когда цвѣтокъ травы завітной  
Средь темноты полночной зацвѣтетъ...  
Ждалъ часъ—другой, кругомъ вдругъ засіяло,  
И голубой дымящійся цвѣтокъ;  
У ногъ его на стебеляхъ сталъ виденъ:  
Но чуть къ цвѣтку онъ руку протянулъ,  
Тотъ злой собакой мигомъ обернулся.  
И ждетъ его, оскалась и рыча...  
Хотѣлъ идти онъ, вдругъ еще ужаснѣй:  
Межъ лопуховъ, въ травѣ, змѣя ползетъ  
Зеленая, съ плѣтушей головой;  
На рѣшетѣ по вѣтру мчится вѣдма;  
Безрукій мальчикъ вышелъ изъ воды,  
Смѣется, въ омутъ за собою манить;  
А далѣе мышей летучихъ рой  
Вспорхнулъ, моргаетъ красными глазами;  
Крылатые проносятся коты,  
Лягушки, скрипки, перья и страницы,  
Оторванныя изъ какой-то книги...  
Не подошелъ той чертовщинѣ писарь:  
Онъ смѣло огненный цвѣтокъ сорвалъ  
И, завязавъ его въ платокъ, пустился  
Съвозъ новыя препятствія домой.

Чуть онъ ступилъ въ околицу села,  
Откуда не возмысь, ему навстрѣчу  
Съ дыпятами насѣдка: такъ въ глаза,  
Кудахча, и кидается ему.  
Но онъ идетъ своимъ путемъ-дорогой,  
Насѣдка и дыпята исчезаютъ.  
Идетъ онъ далѣе: травы и хлѣба  
Становятся водою... Всю поляну  
Рѣка, шумя, по горло заливаетъ;  
Но онъ идетъ,—расходится вода.  
«Ну!—писарь мыслить,—домъ не за горами!»  
И видитъ, на жеребчикѣ, въ телѣжкѣ,  
Знакомый дыакъ спѣшитъ ему навстрѣчу.

«Откуда?»—«Съ поля».—«А въ платкѣ что держишь?»  
— «Гостинецъ».—«Ну, садися же со мною,  
«Вотъ вожжи, правь, я же сберегу гостинецъ».  
Сѣлъ писарь, ну каураго стегать—  
Домъ близокъ: «вотъ теперь разбогатѣю!»  
И слышитъ вдругъ, какъ будто невдали  
Пропѣли пѣтухи... Глядитъ—и что же?..  
Исчезло все: дыячокъ, цѣтокъ и лошадь;  
Онъ самъ сидитъ на палочкѣ верхомъ,  
Слободкою по улицѣ гарцуетъ  
И погоняетъ плеткой рысака...  
Такъ писаря надуль лукавый чортъ,  
А ужъ куда умнѣй былъ чорта писарь!

### XVIII.

### Охъ.

Жилъ-былъ себѣ казакъ, и сталъ онъ думать,  
Куда-бъ въ науку сына помѣстить.  
Отдалъ въ сапожники—забраковали;  
Попробовалъ въ ветошники отдать,  
Въ ветошники—забраковали тоже;  
Онъ отдалъ сына въ лѣжни, но и въ лѣжняхъ  
Отвѣтъ одинъ и тотъ же: не годится.  
Задумался отецъ, махнулъ рукою,  
Взялъ сына и пошелъ бродить по свѣту.

Шелъ день онъ, два, вошелъ въ дремучій лѣсъ,  
Присѣлъ на пенъ, да съ горя и вздохнулъ:  
«Охъ, охъ!.. Судьба, судьба моя лихая!»  
Глядь, изъ земли вдругъ вышелъ человѣкъ  
И говорить:—«А что тебѣ, старикъ?  
Ты звалъ меня, я—Охъ, и вотъ явился:  
Приказывай, служить какую службу?»  
Не оплошалъ казакъ, все рассказалъ.  
— «Ну, кумъ, постой, тебѣ я помогу.  
Въ ученье мнѣ отдать попробуй сына,  
И въ эту пору, ровно черезъ годъ,  
За нимъ приди: останешься доволенъ».  
Старикъ подумалъ, отдалъ сына Оху,

А тотъ раздвинулъ сучья и юркнулъ  
Съ ученикомъ подъ оголённый пенё,  
Въ свое лѣсное царство-государство...

Тамъ, подъ землей, его онъ накормилъ  
И говорить: «фу-фу, какъ пахнетъ свѣтомъ!  
Носи дрова,—все старое долой».  
Онъ навалилъ костеръ, ученика  
На томъ кострѣ спалилъ и самый пепелъ  
На всѣ четыре стороны пустилъ.  
Къ ногамъ его скатился уголёкъ;  
Онъ взялъ его, какимъ-то зельемъ sprysнулъ,  
И передъ нимъ вновь ожилъ ученикъ.

Срокъ наступилъ, и въ лѣсъ къ тому же пню  
Отецъ явился; смотреть: сизокрылый  
Къ нему летитъ навстрѣчу голубокъ,  
Обнялъ его и на ухо воркуетъ:  
«Отецъ, отецъ! Когда у Оха нынче  
Меня просить ты станешь, не забудь—  
Онъ обратитъ насъ всѣхъ, учениковъ,  
Въ барашковъ; какъ одинъ мы будемъ схожи,  
Но я начну блеять—и ты узнаешь».  
Настало время выбора.—«А ну-ка,—  
Смѣется Охъ:—который твой? рѣшай.  
Узнаешь, такъ и быть, бери безъ платы».  
— «Вотъ сынъ мой»—указалъ казакъ барашка.  
— «Ты угадалъ! но погоди, почтенный,  
Вновь черезъ годъ за сыномъ приходи!»

Къ тому же пню, на слѣдующій годъ  
Пришелъ отецъ, и снова сизокрылый  
Къ нему слетѣлъ, воркуя, голубокъ:  
— «Сегодня, батюшка, передъ тобою  
Хозяинъ обратитъ насъ въ пѣтуховъ;  
Всѣ будутъ, какъ одинъ, всѣ будутъ схожи;  
Но ты гляди и выбери того,  
Чей гребешокъ немного будетъ на бокъ!»  
Настало время выбора, отецъ  
Вновь указалъ межъ пѣтухами сына.

«Бери,—сказаль ему съ усмѣшкой. Охъ:—  
Но помни, съ нимъ легко я не разстанусь».

Казакъ взялъ сына, съ нимъ пришелъ на торгъ.  
— «Постой-ка,—сынъ ему:—я обращаюсь  
Въ персидскаго, лихова жеребца.  
Ты продавай меня, бери дороже,  
Но ни за что не продавай съ уздечкой».  
Торгуется отецъ съ покупщиками  
И самъ себя не вѣрить: за коня  
Даютъ червонцевъ ковшъ, двѣ скирды сѣна.  
— «А я прибавлю бочку запеканки!—  
Кричитъ, въ толпу протискавшись, цыганъ:—  
Но съ уговоромъ; продавай коня  
Не одного, а какъ есть, съ уздечкой!»  
— «Что,—думаетъ отецъ,—какое диво  
Въ уздечкѣ? запеканка жъ не пустякъ».  
И отдалъ онъ коня съ уздечкой...

Взялъ старый деньги, принять и придачу,  
А покупщикъ (то былъ волшебникъ Охъ)  
Укоротилъ коню уздечку, мигомъ  
Вскочилъ къ нему на спину и давай  
Его гонять, что сиды, вдоль по полю.  
А вечеромъ его въ конюшню заперъ  
И привязалъ къ высокому столбу,  
Чтобъ тотъ не могъ достать и горстки сѣна.  
Но чуть ушелъ онъ въ хату, слышитъ крикъ:  
«Что дѣлать намъ?—работники вбѣгаютъ:—  
Мы повели коней на водопой,  
Глядимъ, а конь, что ты купилъ сегодня,  
Къ водѣ приналъ, съ него свалилась въ воду  
Уздечка, стала окунемъ, плеснулась  
И ушла, а съ ней исчезъ и конь!»  
Помчался Охъ къ рѣкѣ и въ волны—бухъ!  
Становится въ волнахъ зубатой щукой  
И, окуная догнавши, говорить:

— «Окунь, окунь, окунецъ,  
Ненаглядный молодецъ,  
Обернися головой,

Побесѣдуемъ съ тобой!»

Окунь ей на то въ отвѣтъ:

— «Коли ты, кума, быстра,  
То лови меня съ хвоста!»

Уйдя отъ щуки, окунь обернулся

Касаткою и полемъ полетѣлъ;

Глядитъ, а Охъ за нимъ орломъ несется

И, когти выпустивъ, вотъ-вотъ догонитъ.

Касатка обратилась въ кошку,

А Охъ въ огонь, и запылало сѣно.

Насилу вырвался казакъ изъ дыма

И побѣжалъ по степи сѣрымъ зайцемъ;

Охъ волкомъ, заяцъ — бабочкою сталъ...

За нимъ въ догонку Охъ совой помчался.

И видитъ бабочка — внизу, подъ садомъ,

Въ дому окно раскрыто; у окна

Сидитъ за прялкой панночка-красотка

И, поводя веретеномъ, прядетъ.

Въ окно влетаетъ бабочка неожиданно,

Становится красавцемъ-казакомъ

И говоритъ, склоняясь на коѣнни:

— «О, панночка, спаси меня, спаси!

Я обращусь въ кольцо, меня надѣнь ты;

И, чуть сюда войдетъ волшебникъ Охъ

И у тебя потребуетъ тотъ перстень,

Ты брось его о землю и скажи:

Пусть ни тебѣ, ни мнѣ колечко это!

Я жъ предъ тобой рассыплюся пшеномъ;

Одно зерно ты ножкой придави

И такъ держи, моя душа въ немъ будетъ».

Тутъ запахнула дверь, въ нее вошли

Отецъ красавицы и жидъ-мѣняло.

— «Послушай, дочка, что за штуки вновь?

Зачѣмъ взяла ты у него кольцо?»

— «А! — я взяла? такъ вотъ ему за это:

Пусть ни ему, ни мнѣ оно не будетъ!»

И о землю ударила кольцо.

Оно пшеномъ рассыпалось; одно



Зерно ногою паниочка прижала,  
Охъ въ пѣтуха тѣмъ часомъ обратился,  
Крыломъ захлопалъ, носомъ въ полъ застукалъ  
И улетѣлъ въ открытое окно.

Казакъ же выплелъ изъ-подъ ножки пани  
И такъ хозяйской дочкѣ полюбилися,  
Что въ тотъ же день засватали его...  
На свадьбѣ той и я когда-то былъ,  
За молодыхъ гулялъ, медъ-пиво пилъ.

### XIX.

#### Путь къ солнцу.

Мужикъ продалъ свою душу бѣсу,  
Богачу и злому чародѣю.  
Какъ пришелъ часъ расплатиться  
И взять свой зарокъ обратно,  
Приходить мужикъ къ бѣсу,  
А тотъ и говорить ему:  
— «Я тогда отдамъ тебѣ зарокъ обратно,  
Какъ узнаешь ты мѣть, по правдѣ, по чистой  
Отчего солнце по утру весело,  
И темно и печально въ сумерки?»  
Мужикъ бѣсу поклонился  
И пошелъ отыскивать солнце...

День идетъ, два идетъ, ужъ и близко;  
Только солнце постоитъ надъ землею,  
И окунется за лѣса, за горы,  
И за дальнее синее море.  
Закручинился мужикъ, идетъ полемъ,  
Смотрить, на курганѣ колышетъ,

А на колышкѣ, на ножкѣ, человѣчекъ;  
И мотается тотъ, куда повѣтъ вѣтеръ,  
И всего-то его вѣтромъ истрепало,  
Бурей-непогодой измотало,  
А сорваться съ колышка не можетъ.  
Спрашиваетъ мужикъ:— «куда путь къ солнцу?»

Отвѣчаетъ человѣчекъ:—«Я отвѣчу,  
Коль узнаешь ты отъ самого солнца:  
Долго ли мнѣ еще на колышкѣ мотаться,  
И за что я такою напастью наказанъ?»  
Говоритъ мужикъ:—«Я узнаю!»  
Тутъ человѣчекъ на ножкѣ повернулся  
И сказалъ:—«Иди ты прямо;  
Будетъ тебѣ на дорогѣ рѣчка,  
Тамъ ты все и узнаешь!»

Приходить мужикъ къ рѣчкѣ,  
Видитъ: стоитъ человѣкъ въ водѣ по горло;  
Студёныя струйки бѣгутъ мимо его,  
Надъ головой носпѣваютъ яблоки;  
Только онъ не можетъ къ водѣ нагнуться,  
Ухватить студёной струйки,  
Сорвать съ вѣтки яблока.  
Спрашиваетъ мужикъ:—«Куда путь къ солнцу?»  
Отвѣчаетъ человѣкъ:—«Я тогда отвѣчу,  
Коль узнаешь ты отъ самого солнца:  
Долго ли мнѣ тутъ еще мучиться,  
И за что я такою напастью наказанъ?»  
Говоритъ мужикъ:—«Я узнаю!»  
Тутъ человѣкъ промолчалъ и промолвилъ:  
— «Иди ты отсюда все прямо;  
Будетъ тебѣ на дорогѣ избушка—  
Въ ней всю правду ты и узнаешь!»

Пришелъ мужикъ къ избушкѣ..  
А въ избушкѣ живетъ сестра Солнца,  
Старшая сестра, Заря Утренняя;  
На часахъ надъ ней стоитъ Мѣсяцъ,  
Стережетъ Зарю Утреннюю,  
А приказовъ ждутъ ясныя Звѣзды,  
Солнцевы сестры младшія, золотистыя,  
На посылаяхъ у Зари слуги вѣрные...

Какъ пришелъ мужикъ къ Зарѣ Утренней,  
Поклонился ей въ самыя ноги,  
Говорилъ ей всю правду, всю чистую.  
Жалѣла его Заря Утренняя,

Призывала себя вѣрныхъ слугъ,  
Отряжала ему путь указывать.  
Провожали его Звѣзды по край земли,  
Подстилали ему подъ ноги думный лучъ...  
Поднимался онъ по лучу въ небесный край,  
Въ самое царство Солнца краснаго,  
Гдѣ дорога идетъ въ адъ и въ рай  
И гдѣ спать ложится Солнце красное.

Какъ поднялся мужикъ до облаковъ,  
Увидаль онъ дорогу въ адъ и въ рай.  
По пути тутъ сидѣли покойники,  
Души правыя и души виноватыя,  
Всѣ по отдѣламъ сидѣли души усопшія.  
Передъ тѣми, кто помогаль на землѣ неимущимъ,  
Такъ вся милостыня тутъ и лежала:  
Краюшка ли хлѣба, грошъ, иль одежда.  
По сторонамъ ходили быки тощіе, голодные:  
То были все богачи криводушные;  
А въ самомъ огнѣ, въ полымѣ,  
Гдѣ ужъ начинались муки вѣчныя,  
Двѣ собаки косматыя грызлись:  
То были два брата родимые,  
Что на землѣ межъ собою все ссорились,  
Дружка на дружку съ ножами шли...

И вступилъ мужикъ въ хоромы Солнца.  
Встрѣчала его Заря Вечерняя,  
Златовласая Солнцева матушка,  
Сажала она его за перегородку,  
Изъ чистаго серебра кованную;  
Спрашивала о своихъ дочкахъ любимыхъ,  
О Зарѣ Утренней и о Звѣздахъ:  
Что когда-то она съ ними встрѣтится,  
И хорошо ли ихъ стережетъ Мѣсяцъ-братъ?  
Отвѣчалъ мужикъ все по истинѣ.  
Долго съ ней въ хоромѣхъ разговаривалъ,  
Вскорѣ засіяли высокія горенки:  
Стало подходить отъ земли Солнце красное.  
И какъ бы не та перегородка,

Изъ чистаго серебра кованная,  
У мужика бы глаза выжглися.


Вступало Солнце въ двери высокія,  
На золотую кровать ложился;  
Чесала ему голову Заря Вечерняя,  
Начинала сына допытывать:  
— «Ты скажи мнѣ, скажи, Солнце красное,  
Отчего на свѣтѣ человѣкъ есть,  
На одной ногѣ онъ вертится,  
Съ колышка сорваться не можетъ,  
И долго ли терпѣть ему такое горе?»  
Отвѣчало Солнце:—«Милая матушка!  
Онъ за то наказанъ, что былъ измѣнникомъ,  
Продавъ родину, отцовъ и прадедовъ;  
И будетъ онъ вертѣться до конца вѣка!»  
Спрашивала Заря Вечерняя:

— «Ты скажи мнѣ, скажи, Солнце красное,  
Отчего человѣкъ на свѣтѣ въ водѣ стоитъ,  
Студёныя струйки бѣгутъ мимо его  
Надъ головой зрѣютъ яблоки,  
А онъ не можетъ ухватить капельки,  
Сорвать съ вѣтки яблока,  
И долго ли терпѣть ему такое горе?»  
Отвѣчало Солнце:—«Милая матушка!  
Онъ за то въ водѣ, что гналъ немощныхъ,  
Не давалъ голоднымъ ни пить, ни ѣсть,  
И будетъ онъ мучиться до конца вѣка!»

— «А скажи мнѣ, скажи, Солнце красное,  
Отчего ты утромъ весело,  
И темно и печально въ сумерки?»  
Отвѣчало Солнце, задумавшись:  
— «Оттого я поутру весело,  
Что иду въ обиходъ по поднебесью,  
Не видя еще зла житейскаго!  
А печально я потому въ сумерки,  
Что иду съ обхода на отдыхъ,  
И нечѣмъ мнѣ тебя, матушка,  
Повеселить часто и порадовать!  
Вотъ, хотѣ бы и теперь я скажу тебѣ:  
Есть на свѣтѣ богачъ и злой чародѣй».

Коли онъ собою не покается,  
Я отдамъ его бѣсенатамъ безъ жалости:  
Пусть они имъ тѣшатся,  
Палятъ и жарятъ его на угольяхъ»...  
Съ тѣмъ заснуло Солнце красное...  
Провожала гостя Заря Вечерняя.  
И опять становился онъ на лунный лучъ,  
Опускался вновь на бѣлый свѣтъ,  
Богача-чародѣя отыскивалъ...  
Приходилъ богачъ въ смертный страхъ.  
И когда онъ покаялся,  
Простило его Солнце красное.

1847—1860 гг.



## ПѢСНЯ БАНДУРИСТА.

Сѣлъ на курганъ съ бандурою слѣпецъ,  
И сталъ играть и пѣть сѣдой пѣвецъ.  
Пустыня пѣсни старца повторяла—  
И ни одна душа имъ не внимала...  
«Охъ, дугъ-отецъ! охъ, мать ты наша Сѣчъ!  
О васъ летить недаромъ птица-рѣчь...  
Какъ по Украинѣ нашей смерть гуляла,  
Съ бойцами пиръ кровавый пировала!  
Одинъ лишь Богъ святой на небѣ зналъ,  
Что запорожецъ думалъ, да гадалъ,  
Зачѣмъ кидалъ онъ степь съ родимымъ домомъ,  
Куда онъ мчался молніей и громомъ,  
Гдѣ комаровъ казакъ собой кормилъ,  
Въ какихъ огняхъ усы и чубъ палилъ,  
И гдѣ леталъ онъ, славы добывая,  
Да буйную головушку слагая!  
Какъ грянулъ громъ на сто холмовъ и рововъ,  
На тысячу лѣсовъ и городовъ,  
И застонали рѣки и равнины,  
И застонали горы и долины!  
Не Божій громъ въ поднебесіи гремѣлъ:  
То колоколъ надъ Сѣчею гудѣлъ!  
Межъ темныхъ тучъ мерцають свѣчки-звѣзды,  
Цари-орлы бросаютъ съ шумомъ гнѣзды;

И застилаетъ черной пеленой  
 Ночная тьма курганъ береговой,  
 А мѣсяцъ, словно лисій дѣдъ, выходитъ  
 Изъ-за него, по длиннымъ селамъ бродить,  
 По хатамъ стелеть бѣлые платки  
 И сыплеть искры по волнамъ рѣки.  
 Набать затихъ.—Голцы сторожевые  
 Бѣдуютъ по селамъ, бочки смоляныя  
 Горятъ, и дымъ встаетъ—летитъ столбомъ,  
 И грозно степь стихаетъ надъ Днѣпромъ,  
 И, полные смятенья и тревоги,  
 Ревутъ вѣтѣмъ Днѣпровскіе пороги  
 Беретъ казанъ завѣтное копье,  
 Беретъ кинжалъ, черкеску и ружье,  
 И ятаганъ, звѣзду казацкой славы,  
 Наточенный о вражескія главы,  
 Подъ образа оружіе кладетъ  
 И на могилы праотцевъ идетъ.  
 Тамъ, поклонясь гробамъ бойцовъ могучихъ,  
 Беретъ онъ горсть земли съ могилъ сыпучихъ,  
 Кладетъ ее на грудь къ себѣ съ молитвой,  
 Чтобъ и во гробъ сойти съ родной землей,  
 И крестится, и слезы утираетъ.  
 Идетъ въ курень, товарищай сзываетъ,  
 И до утра казаки плыютъ, шумятъ,  
 О стародавнихъ битвахъ говорятъ.  
 Нахмурившись сидятъ межъ атаманы,  
 Сидятъ, да молча правятъ ятаганы,  
 И до утра танцуютъ гонакъ  
 Межъ бочками два пьяныхъ казака.  
 Вотъ поднялись тѣсаны отъ земли,  
 Надъ синей степью маки зацвѣли,—  
 Кунтуши запорожскіе алыютъ,  
 На бунчукахъ султаны гордо вѣютъ,  
 Въ походъ идетъ казакъ, и гайдамакъ,  
 И строится походъ тремя полками,  
 Тремя полками, подъ тремя горами.  
 Какъ первый полкъ ведетъ Самко-Мушкетъ,  
 А на Самкѣ китайчатый бешиметъ,  
 Къ казаку мать-старуха выбѣгаетъ,  
 За стремя сына милого хватаетъ:

— «Охъ, сынъ мой, сынъ! Меня ты погубилъ!  
Меня живую въ гробъ ты положишь!»

И голосить, и плачетъ соколица,  
Какъ сирота въ поляхъ перепелица.

— «Мнѣ тошно, маты Убей тоску мою,  
Я, какъ мертвецъ, лежу, не ѣмъ, не пью!»

Ужъ что же мнѣ, родимая, не пьется,  
Вкругъ сердца моего схида вьется?

Знать, мнѣ пора на волѣ погулять,  
Кудрявымъ чубомъ съ вѣтромъ поиграть!»

— «Охъ, сынъ мой, сынъ! меня ты поводишь,  
Меня съ сестрой теперь не приласкаешь!»

— «Не для того мнѣ матеръ и сестра,  
Чтобъ не бросать мнѣ хаты да двора!»

Ужъ если надо мнѣ кого ласкать,  
Такъ не сестру ласкать мнѣ и не мать!»

Есть у меня дончакъ лихой коняка  
Товарищъ смѣлый, бѣшеный гуляка:

Того коня я буду вѣкъ любить,  
Его за ковыль червонцевъ не купить!

Есть у меня и вѣрная сестрица:  
У бока сабля, пани соболица!

Спроси ее, спроси, голубка-мать,  
Чѣмъ ей со мной не жить, не гарцовать:

Охъ, сабля-жъ, сабля, съ ляхомъ ты встрѣчалась,  
Да и не дважды съ нимъ ты цѣловалась!»

Походный рогъ въ послѣдній разъ трубить,  
Казакъ своей родимой говорить:

— «Не убивайся, матушка, съ печали,  
Уже въ сурьмы и бубны заиграли,

И заигралъ мой буйный вероней,  
Иди скорѣй, родимая, домой!»

Ты горькими слезами умывайся,  
Ты рукавомъ узорнымъ утирайся,

И вспоминай ты чаще обо мнѣ,  
Какъ буду я въ далекой сторонѣ.

Припомнишь—чорвь костей мнѣ не источить,  
А не припомнишь—горной кошкой векочить

На плечи бѣсъ ко мнѣ и загрызеть;  
И прахомъ очи въ битвѣ замететь!»

Второй отрядъ, въ черескѣ бѣлой, новой,



Выводить Кукуруза чернобровый.  
За кушакомъ его горить, какъ жарь,  
Наслѣдіе пяти родовъ татаръ—  
Алмазами усыпанная шапка;  
Жемчужиной пунцовая рубанка  
Застегнута; во фляжкѣ за сѣдломъ  
Качается столѣтній польскій ромъ;  
И шелкъ усевъ курчавыхъ; и ланиты  
Лучомъ зари пурпуровой облиты,—  
И на бекрень заломленъ на ухахъ  
Барашковый серебряный папахъ.  
Какъ лучъ изъ тучъ, хорунжіи выступаютъ  
И такъ сестру съ усмѣшкой утѣшаетъ:  
— «Не плачь, сестра, довольно жить да спать:  
Пришла пора по свѣту погулять!  
Тотъ не казакъ, кто водъ не пилъ Подольскихъ,  
Не цѣловаль въ уста красавицъ польскихъ,  
И дорогихъ атласовъ и парчей  
Не привозилъ сторонунки своей.  
Охъ, степь ли, степи! не одного съ сестрою,  
Аль съ чернобровой, вѣрною женою,  
Ты разлучала, буйная, навѣкъ...  
Да не сидить чубатый челявникъ!  
Я объ одномъ молю тебя, родная,  
Есть у меня коханна молодая,  
Ужъ я жъ ее лелѣлъ; да ласкалъ!  
Возьми, сестрица, въ домъ къ себѣ голубку,  
Одѣнь ее въ матерчатую шубку,  
Дукатами ей шейку убери,  
А лаской слезы жгучія утри.  
И ужъ обуи ты бѣленькія ножки  
Въ сафьянныя съ подковами сапожки,  
И ужъ люби-жъ ее, да почитай,  
Да милую сестрою называй!»  
— «На все, на все твоя, соколикъ, воля:  
Ужъ такова твоя лихая доля...  
Ступай, гуляй, съ лихимъ врагомъ играй,  
Да къ Покрову съ похода пріѣзжай!»  
— «Охъ, я бы и скорѣй къ тебѣ вернулся,  
Да что-то конь мой въ воротахъ споткнулся!  
На грудь мою печаль свинцомъ легла,

И словно смерть меня за чубъ взяла». .  
Послѣдній подѣзъ равниною песчаной.  
Вель Полтора-Кожуха безтаданной...  
Никто бойца, никто не провожалъ,  
И громкимъ крикомъ степь онъ оглашалъ:  
— «Сестра моя въ Крыму, а мать въ Полтавѣ!  
Гуляй, казакъ, на всей кзачкой славы!»  
И словно барсъ по камнямъ, мчался конь,  
И вылеталъ изъ-подъ копытъ огонь...  
Такъ курени вояки покидали,  
Казачки, молча, у воротъ стояли,  
И, молча, милыхъ взоромъ провожали,  
И, плача, руки бѣлыя ломали...

Какъ на четыре доли шли казаки,  
На пятое, Подолье, шли вояки.  
Однимъ путемъ пошелъ Самко-Мушкетъ,  
А за хорунжимъ ѣхало во слѣдъ  
Едва чѣмъ менѣе трехъ тысячъ братьевъ,  
Все храбрыхъ душъ, все запорожцевъ-хватовъ.  
Они стамбулки синія дымятъ,  
Какъ пчелы въ ульѣ, щепчутся, гудятъ,  
Гремятъ въ сурмы, въ литавры, въ барабаны,  
И словно жаръ пылаютъ ихъ жупаны,  
На длинныхъ пикахъ вѣютъ бунчуки,  
Ревутъ волю, гарпуютъ сердюки;  
Идетъ обозъ тяжелымъ караваномъ,  
Летятъ стрѣлки, разсыпаясь по полянамъ;  
На плащаницахъ шелковыхъ знаменъ  
Сверкаютъ лики дѣдовскихъ иконъ;  
И булавы полковъ заповѣдныя  
Несутъ на плечахъ старцы—кошевые,  
И ѣдетъ сзади писарь войсковой  
Съ чернильницей, Хмѣльницкій молодой!  
Казаки шапки черныя скидаютъ,  
И Господу хваленья возсылаютъ,  
Кладутъ кресты, поютъ святой канонъ  
И молятся до войсковыхъ иконъ:  
«Дай Богъ пожить намъ съ воеводой славнымъ,  
Какъ жили мы—всѣмъ братствомъ православнымъ,  
Ѣсть хлѣбъ его, конемъ враговъ топтать,

Да славы Запорожью наживать!»  
Отрядъ несется пыльною дорогою—  
Одинъ хорунжий занятъ думой строгой.  
Онъ на конѣ не вьется, не кипитъ,  
Все сивый усъ кусаетъ, да молчитъ:  
Чтобъ сто бѣсовъ убили то молчанье,  
То крѣпкое и грозное гаданье!  
Самбо-Мушкетъ поникнулъ головой  
И говорить въ раздумьѣ самъ съ собой:  
«Что, если какъ въ аду, насъ ляхи сжарятъ  
Да изъ костей казацкихъ пиръ заварятъ?  
Что, если нашимъ бѣднымъ головамъ  
Да лечь во прахъ по вражескимъ полямъ?  
Закричетъ воронъ, степь перелетая,  
Застонетъ лебедь, въ небѣ утопая,  
И сизый соколъ станетъ тосковать,  
И сизый коршунъ станетъ горевать  
Все по своимъ товарищамъ, казакамъ,  
Все по могучимъ братьямъ, гайдамакамъ?  
Аль занесло ихъ пылью на ходу,  
Аль ихъ враги пожарили въ аду,  
Что не видать ни по степямъ чубатыхъ,  
Что не видать ни по лугамъ усатыхъ,  
Ни по турецкимъ землямъ и морямъ,  
Ни по подольскимъ рѣкамъ и полямъ?  
Хрустятъ, какъ щепки, кости по долинамъ,  
Звенятъ мечи и копыя по равнинамъ,  
А сѣрая сорока бьетъ крыломъ,  
Оскалилась и прыгаетъ сверчкомъ...  
Висятъ чубы бойцовъ съ головъ кровавыхъ,  
Какъ будто ляхъ наплѣлъ жгутовъ кудрявыхъ,  
Въ крови чубы, въ крови позапеклись,  
Вотъ такъ-то славы всѣ мы набрались!»  
И горестно Самбо-Мушкетъ вздыхаетъ,  
Покинулъ поводъ, думаетъ, гадаетъ,  
И отстаетъ отъ войска своего,  
И, словно коршунъ, рветъ мысль его!  
И видитъ онъ: лихого казачину  
Берутъ враги за сивую чуприну;  
На крюкъ цѣпляютъ храбраго ребромъ  
И жгутъ его медительнымъ огнемъ,

По поясъ кожу съ рыцаря сдирають,  
Кровавый черепъ солюю насыпають —  
И въ подымъ свистящаго огня  
Костлявый трупъ качается три дня!

Какъ на четыре поля шли казаки,  
На пятое, Подолье, шли вои-  
Однимъ путемъ пошелъ Самбо-Мушкетъ,  
Другимъ, за Кукурузою востѣдъ,  
Пошло не менѣ трехъ тысячъ братьевъ,  
Все храбрыхъ душъ, все запорожцевъ-хватовъ.  
Они горой зеленою идутъ,  
Шумятъ, поютъ и въ барабаны бьютъ,  
И молвятъ такъ хорунжему дихому,  
Степанкѣ Кукурузѣ молодому:  
— «Здоровъ ли ты и живъ ли, панъ Степанъ?  
Что плачешь ты, иль сюзаранку-пьянъ?  
Или тебя, казакъ, заворожили,  
Любовнымъ зельемъ свахи опойли?  
Печаль да слезы храбрымъ не рука,  
Лихая смерть найдетъ и казака.  
Когда-нибудь и насъ съ тобой варюють,  
И будутъ насъ старухи поминать,  
А по тебѣ... красотки горевать».  
И молвить рыцарь: — «Все ты одинаковъ,  
Будь ты Якимъ, аль будь ты просто Яковъ...  
Вотъ, какъ придемъ мы до горы седьмой,  
Да какъ грозой на насъ ударитъ бой,  
То будетъ намъ все то, что куковала  
Кукушка, что въ сырѣмъ бору летала!  
А кто она вѣщала, вѣрь тому,  
Какъ вѣришь, рыцарь, сердцу своему!  
И занесутъ насъ прахомъ ураганы,  
И обовьютъ насъ саваномъ туманы,  
И станеть ждать добычи сѣрый волкъ,  
Какъ разобьютъ враги нашъ славный полкъ.  
Лихая смерть сравняетъ всѣхъ насъ, дѣти  
Не долго жить орламъ на бѣломъ свѣтѣ!  
Ужъ и по правдѣ-жъ, ясный панъ-отецъ,  
Ужъ и по чистой правдѣ удалецъ,  
Ты говорилъ: не миновало году,

Отпѣли запорожцы воеводу...  
Нечистый ляхъ тебя въ цѣпяхъ держаль,  
И, какъ раба, въ цѣпяхъ колесовалъ!

Какъ на четыре поля шли казаки,  
На пятое, Подолье, шли вояки.  
Однимъ путемъ шелъ удалой Самбѣ,  
Другимъ путемъ шелъ молодой Стецькѣ,  
А третьимъ шелъ, безъ чуба и безъ уха,  
Карпѣ, прозваньемъ Полтора-Кожуха.  
Онъ на конѣ передъ полкомъ игралъ,  
Въ одной сорочкѣ рыцарь гарцовалъ,  
И волновались въ буйномъ безпорядкѣ  
Его шальваръ безчисленныя складки,  
Сверкали шпоры желтыхъ сапоговъ,  
Чернѣли змѣи длинныя усовъ,  
А вѣтеръ вѣялъ шелковой уздечкой,  
Уздечкой съ кабардинскою насаѣчкой,  
Да съ сивой шапки алый платъ висѣлъ,  
Да ятаганъ у пояса звенѣлъ.  
Ведетъ Карпѣ три тысячи казаковъ,  
Все храбрыхъ братьевъ, славныхъ гайдамаковъ.  
Они стамбулки синія дымятъ,  
Какъ пчелы въ ульѣ, шепчутся, гудятъ,  
Гремятъ въ сурьмы, въ литавры, въ барабаны,  
И, словно жаръ, пылаютъ ихъ жупаны,  
На длинныхъ пикахъ вѣютъ бунчуки,  
Ревутъ волю, гарцуютъ сердюки;  
Идетъ обозъ тяжелымъ караваномъ,  
Летятъ стрѣлки, рассыпавъ по полянамъ;  
И бодро полкъ волнуется, идетъ,  
И панъ Карпѣ передъ полкомъ поетъ:

«На горѣ-ль зеленой да жнецы жнуть,  
А подъ той горою,  
Подъ горой крутою,  
Въ барабаны бьютъ!

Передъ казаками вождь похода  
Ведетъ свою лаву,  
Запорожцевъ славу,  
Воевода!

Среди казаковъ атаманы,

У нихъ кони злые,  
Кони вороные,  
Ураганы!  
А панъ Сагайдачный въ хвостъ забился!  
Онъ отдалъ за трубку  
Ясную голубку—  
И напился!  
Охъ, вернись, вернись, казачина,  
Возьми свою радость,  
Отдай мою сладость,  
Молодчина!  
Мнѣ съ женою твоею не возиться,  
А безъ трубки въ полѣ  
Казаку на волѣ  
Не ужиться..  
Гей, кто въ буйномъ лѣсѣ, отзовися,  
Да костеръ навалимъ,  
Да тютюнъ запалимъ,  
Веселися!».

Такъ на конѣ, гремя и распѣвая,  
И бунчукомъ надъ головой махая,  
Карпо на бой кровавый выступалъ,  
Въ одной сорочкѣ рыцарь гарцовалъ,  
И волновались въ буйномъ безпорядкѣ  
Его шальваръ безчисленныя складки,  
Сверкали шноры желтыхъ сапоговъ,  
Чернѣли змѣи длинныя усовъ,  
А вѣтеръ вѣялъ шелковой уздечкой,  
Уздечкой съ кабардинскою насьчкой,  
Да съ сивой шапки алый платъ висѣлъ,  
Да ятаганъ у пояса звенѣлъ.

\* \*

Охъ, братъ казакъ, ты всласть навеселился,  
Въ лихомъ пиру ты смерти полюбился!  
Пьяно было кровавое вино,  
Тебя, какъ снопъ, свалило въ прахъ оно,  
А надъ бойцомъ и люба насмѣялась,  
Съ другими смерть въ бою нацѣловалась...  
Летить гроза, ковыль-трава шумить,  
Карпо въ степи застрѣленный лежить,  
Припалъ къ кургану бѣдной головою,

Накрылъ глаза осокою рѣчною,  
И жметъ къ груди изрубленный жупанъ,  
И кровь бѣжитъ изъ трехъ широкихъ ранъ,  
А въ головахъ казака воронъ кричатъ,  
Въ ногахъ любимый конь тоскуетъ, плачетъ,  
И въ землю бьетъ копытомъ и хрипитъ,  
И съ паномъ такъ въ пустынь говоритъ:  
— «Ой, панъ мой, панъ, безъ чуба и безъ уха,  
Ой, панъ хорунжий, Полтора-Кожуха!  
Кому теперь покинешь ты меня,  
Кому отдашь ты вѣрнаго коня?  
Отдашь ли нѣмцамъ ты, аль янычарамъ,  
Аль подарить ты крымчакамъ-татарамъ?  
— «Тебя, мой конь, нечистымъ не поймать,  
Тебя лихимъ врагамъ не осѣдлатъ!  
Бѣги, летунъ мой, синими степями,  
Бѣги, соколикъ, топкими дугами,  
И прибѣги ты на мое крыльцо,  
Ужъ и ударъ ты въ звонкое кольцо.  
Къ тебѣ навстрѣчу выбѣжить сѣдая  
Казачка, руки бѣлыя ломаю.  
Она тебя за поводъ станетъ брать,  
Начнетъ тебя ласкать, да миловать,  
Омоетъ пылъ съ тебя водой студеной,  
Тебя укроетъ шелковой попоной,  
Начнетъ кормить душистою травой,  
Начнетъ поить янтарною сытой.  
И, плача, станетъ спрашивать о сынѣ,  
О гайдамакѣ, славномъ казачинѣ:  
«Ой, конь мой, конь, летунъ ты вороной,  
Скажи-ка, гдѣ ѣздокъ твой дорогой?  
Аль ты убилъ его въ бою кипучемъ,  
Аль обронилъ его въ лѣсу дремучемъ?»  
— Я казака, скажи, не убивалъ,  
Его въ лѣсу дремучемъ не ронялъ:  
Казакъ женился, взялъ себѣ панянку,  
Во чистомъ полѣ взялъ себѣ землянку:  
Туда и вѣтеръ вольный не зайдетъ,  
Туда и солнце свѣта не прольетъ,  
Тамъ въ бочкѣ винной чумаки степные  
Зарыли въ землю кости удалыя...

Печалень былъ усатаго конецъ,  
Да крѣпко спитъ рубака-молодецъ,—  
И спитъ онъ весь, и спитъ, во тѣмъ могилы,  
Его на вѣтеръ кинутыя силы,  
И сторожить далекая земля—  
Въ чужомъ краю кормило корабля!»

Слѣпецъ замолкъ. Подавленный тоскою,  
Поникъ на грудь сѣдою головою,  
И очи онъ незрячія возвелъ  
На даль небесъ, на безграничный долъ.  
А вокругъ него тянулись курганы,  
Неслись столбовъ песчаныхъ караваны,  
Да буйный вѣтеръ бушевалъ кругомъ,  
Струя ковыль волнистымъ серебромъ,  
Да стражъ степей, орелъ, подъ небесами  
Сноваль, кружилъ злобѣщими крылами.  
И всталъ старикъ, и громко зарыдалъ,  
И надъ своей бандурою припалъ:  
«Охъ, ты, бандура, любя ты моя,  
Орломъ влетала въ душу пѣснь твоя!  
Что-жъ сиротой ты горемычной плачешь,  
Что-жъ воронѣнкомъ ты безкрылымъ кричешь?  
Не я ль тебя подъ грозой прижилъ,  
Не я ль тебя безвременьемъ повилъ,  
Согрѣлъ печалью, выкормилъ бѣдами,  
Да безталанными вспоилъ слезами?  
Иль душу я на торжищѣ продалъ,  
Иль память я по вѣтру разметалъ?..  
Греми-жъ, бандура, плачь и надрывайся,  
Да въ сумрачной бывальщинѣ купайся!  
Греми и пой о славѣ казакѣвъ,  
О славѣ храброй Съчи соколѣвъ!  
За то греми, что тѣ латинство гнали,  
Что бусурманъ нещадно побѣждали,  
Что православный крестъ своихъ отцовъ  
Спасли цѣной казаческихъ головъ,  
Что за свою за славу погибали,  
Да внукамъ мечъ свой грозный завѣщали...  
И будетъ слава по міру летать,  
И будутъ славу славно поминать,



Промежъ казаками,  
Промежъ удалцами,  
Промежъ всѣми въ свѣтѣ молодцами,  
Горами  
И долами!  
Промежъ люда царскаго,  
Народа христіанскаго,  
Съ долиною Днѣпровую,  
Низовую,  
На многія лѣта  
До конца свѣта!..

Мартъ 1852 г.



# Оглавленіе

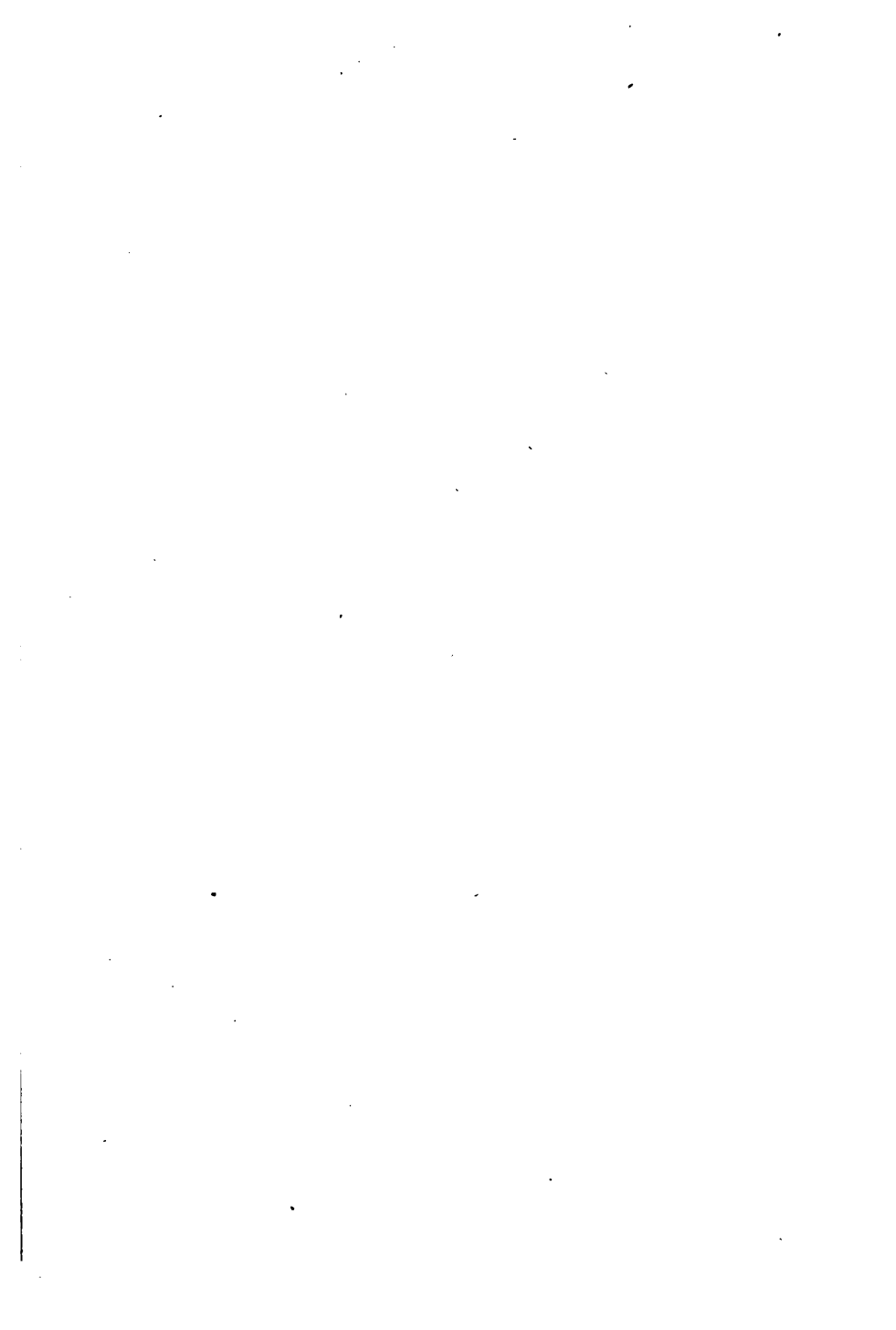
## VIII ТОМА.

|                                                      | СТР. |
|------------------------------------------------------|------|
| Царевичъ Алексѣй. . . . .                            | 3    |
| Старосвѣтскій маляръ. Разсказъ. . . . .              | 49   |
| Христось-сѣятель. Разсказъ. . . . .                  | 76   |
| Стрѣлочникъ. Святочный разсказъ. . . . .             | 85   |
| Украинскія сказки. . . . .                           | 94   |
| I. Кума-лисица, пастухъ, рыболовъ и возница. . . . . | 95   |
| II. Живая свирѣль. . . . .                           | 101  |
| III. Озеро-слободка. . . . .                         | 104  |
| IV. Братъ и сестра. . . . .                          | 106  |
| V. Крымскій плѣнникъ. . . . .                        | 109  |
| VI. Снѣгурочка. . . . .                              | 111  |
| VII. Дѣдовы козы. . . . .                            | 113  |
| VIII. Младенцы-утопленники. . . . .                  | 116  |
| IX. Смоляной бычокъ. . . . .                         | 119  |
| X. Вѣсы. . . . .                                     | 122  |
| XI. Ивашко. . . . .                                  | 124  |
| XII. Каратышка. . . . .                              | 128  |
| XIII. Лѣсная хатка. . . . .                          | 132  |
| XIV. Смерть. . . . .                                 | 135  |
| XV. Сонъ въ Ивановскую ночь. . . . .                 | 137  |
| XVI. Доля. . . . .                                   | 140  |
| XVII. Палортникъ. . . . .                            | 142  |
| XVIII. Охъ. . . . .                                  | 144  |
| XIX. Путь къ солнцу. . . . .                         | 148  |
| Пѣсня бандуриста. . . . .                            | 152  |













This book should be returned to  
the Library on or before the last date  
stamped below.

A fine of five cents a day is incurred  
by retaining it beyond the specified  
time.

Please return promptly.

DEC 11 1926

~~DUE JUL 28 1927~~

~~DUE JUN 1 1928~~

~~DUE NOV 1 1928~~